Герберт Уэллс





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ 12

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.

Король по праву

ВВОДНАЯ ГЛАВА

РАЗВИТИЕ КИНО

1

КИНО — ИСКУССТВО БУДУЩЕГО

Любопытно наблюдать, как за последние полвека развитие моментальной фотографии теснит прекрасные и благородные традиции литературы и как под его влиянием воспитываются новые вкусы. Пятьдесят лет тому назад даже самый прозорливый из пророков не мог разглядеть в зоотропе[1] и фотоаппарате зародыш таких изобразительных средств, которые по силе воздействия, совершенству и универсальности превзойдут все, что имелось до сих пор в распоряжении человечества. Теперь же возможность появления таких средств становится более чем очевидной.

Пути развития, которые раскрыли эту непредвиденную возможность, прокладывало изобретение все более и более чувствительных фотографических пластинок, пока наконец не были получены снимки, оправдывавшие название «моментальные». Причины, стимулировавшие такие изобретения, были самыми различными. Споры калифорнийского губернатора Стэнфорда с его друзьями-спортсменами о лошадиных аллюрах привели к тому, что ему захотелось зафиксировать движения лошадей, которые нельзя уловить простым глазом. Он был богатым человеком и мог позволить себе щедро поощрять поиски. Изобретатели нашлись, и он получил нужные ему моментальные снимки. На развитие моментальной фотографии также повлияла забота о «мучениках», подолгу сидевших перед объективом аппарата, и попытки облегчить обращение с фотоаппарата-

[1] Аппарат, состоящий из вращающегося цилиндра со щелями, через которые изображение кажется зрителю подвижным.

ми для фотографов-любителей, а тем самым способствовать расширению сбыта аппаратуры.

Моментальные снимки Стэнфорда были привезены в Париж и сыграли немалую роль в спорах, которые разгорелись вокруг картин Мейсонье, изображавших лошадей в движении. Мейсонье схватывал движения гораздо быстрее, чем большинство из нас, и его изображение лошадей противоречило укоренившимся представлениям. По-видимому, именно Мейсонье предложил воссоздать движения животных, показывая новые моментальные фотографии одну за другой. Так в Париже встретились зоотроп и чувствительные фотографические пластинки и родился кинематограф. Но пока фотографировали на стекло, результаты были топорными. Мистер Джордж Истмэн из компании «Кодак», стремившийся во что бы то ни стало расширить сбыт фотоматериалов фотографам-любителям, сыграл главную роль в замене стеклянных пластинок гибкой лентой. К 1890 году кинематограф уже существовал, появилась реальная возможность сохранить спектакль в новой форме, зафиксировав его на пленке. Кажется, году в 1895-м (я совершенно забыл об этом, пока не прочел историю кино, написанную мистером Терри Ремси) мистер Роберт У. Поль [1] и я начали хлопотать о патенте на «машину времени», которая предвосхищала многие основные приемы и методы, применяемые в кино.

Несколько лет, по-видимому, еще никто не осознавал, что появилось нечто большее, чем просто новый способ воспроизведения и широкого показа спектаклей. Кинематограф начался с «фактов», то есть фиксации на пленке более или менее официальных событий, и с обыкновенных спектаклей, избавившихся только от ограничений театральной сцены; он довольствовался этим и процветал довольно долго.

В самом деле, представление о том, что кино — это только способ пересказывать литературные произве-

---

[1] П о л ь, *Роберт* — лондонский оптик-механик, создавший собственную конструкцию съемочного аппарата на шесть недель позже Люмьера. По идее Уэллса он предложил конструкцию вагона, в котором зрители «отправлялись в будущее». Показ движущихся проекций на экране сопровождался тряской и постукиванием вагона.

дения при помощи «движущихся картин», господствовало в кинематографе лет двадцать и до сих пор господствует в нем. Так удовлетворялась непредвиденная до тех пор потребность в зрительном воплощении произведений литературы. И это приносило большой доход. Темы, идеи, приемы, характерные для популярной художественной литературы, популярной драмы и мюзик-холла, хлынули в кинематограф. Это было выгодно и требовало минимальной затраты сил на переделку произведений. Романисту было бы грех жаловаться. Благодаря международному авторскому праву на экранизацию за эти счастливые годы доход всякого известного романиста и драматурга вырос неимоверно. Почтенный класс художников слова обогащался путем продажи «права на экранизацию» даже тех вещей, из которых совершенно невозможно сделать фильм, и они снова находили сбыт, как только срок прежнего договора истекал. Кинопромышленности требовались «сюжеты», и она боялась главным образом того, что источник «сюжетов» может вскоре иссякнуть. Она покупала направо и налево, за дорогую цену и за бесценок; она была настолько богата, что могла покупать кота в мешке. И делала это. Действовала она просто и прямо. Она приобретала все, что могла, и превращала все, что хоть как-то поддавалось переделке, в одну и ту же старую-престарую историю, меняя только костюмы действующих лиц, их социальное положение и место действия. В фильмах непременно были и предательство, и торжество справедливости, и похищение, и погоня. Новая промышленность взяла актеров из театра и мюзик-холла и вместе с кинокамерами стала посылать их повсюду, где при солнечном свете должно было разворачиваться действие. Мы видели Кармен на настоящей испанской табачной фабрике; Людовика XI, только чуть-чуть не на месте, в Каркассоне; «Отверженных» в подлинной французской обстановке; решительных и сильных людей в сотнях вариаций «Голубой лагуны»; «Шейха», подаваемого горяченьким в его родной пустыне. Дикий Дальний Запад исчерпал все свои сюжеты, и тогда из старых вывели новые. И вывели соответственно. Пока людская изобретательность неистощимо удовлетворяет спрос на вариации все тех же старых тем,

нет причины, почему бы бесконечно не производить самый ходкий товар — все эти наивные фильмы, реалистические с виду и легковесные и условные по мысли, где воздается за подлость и предательство, вознаграждается самоотверженность, вовремя спасается добродетель и изображается настоящая любовь, где все в свое время — и цветочки и ягодки. Выступления комиков в серии ловко придуманных забавных приключений тоже зависят только от появления актеров со столь редким природным даром. (Как редко встречается этот дар! Как он чудесен!) Но как бы редко ни появлялись такие актеры, их будут находить, и кинематограф будет ждать и приветствовать их, даст им небывалый успех и, запечатлев, сохранит о них память.

Кроме этих первых, уже привычных и устоявшихся сфер использования кино, критически настроенное и проницательное меньшинство усматривало и другие возможности. Я не говорю здесь об очевидной пользе, которую оно может принести образованию: стоит только приспособить его для класса и аудитории. Система просвещения прогрессирует с осторожностью, и все же, кажется, нет причин отрицать, что это происходит; примерно за тридцать лет «учебный фильм» мог бы стать признанным средством обучения. Но с самого начала было очевидно, что большая часть возможностей кино не используется, и пытливые умы искали способы разведать эти неизвестные области. Именно в этих по-настоящему новых областях люди, которые переросли обычные экранизации, и видят наиболее интересные перспективы сегодняшней кинематографии. Возможно, многие из этих первых исследователей не совсем осознают обширность той области, в которую они вторгаются. Возможно, многие из их первых экспериментов были наивны и несовершенны. Кроме того, одно время их предприимчивость сдерживалась колоссальным коммерческим успехом обычной псевдореалистической постановки. Кинематограф слишком преуспевал, чтобы позволить себе поощрять какие-либо рискованные опыты. Он даже препятствовал им. Второстепенные новшества, которые вносили бы в кинематограф дух критики и соперничества, были нежелательны.

Эти подлинные пионеры были по большей части молодыми и неизвестными людьми, и от романистов и драматургов, достигших какой-либо популярности, они не получали поддержки и ободрения. Мы выработали собственные приемы и приспособились к прежним ограничениям. Наша карьера была обеспечена. Прибыльно торгуя «правом на экранизацию» уже написанных нами вещей, мы тем охотнее закрывали глаза на то, что мы немало еще могли бы сделать для кино. От нас хотели слишком многого, думая, что мы будем приветствовать появление новых путей, расширяющих возможности искусства и обогащающих его. Некоторые из нас говорили: «Это дело не для нас, какими бы его возможности ни были... если только вообще эти возможности есть...»; другие считали, что это — всего лишь жалкое ремесло, тогда как мы служим подлинному искусству. Мы были слишком предубеждены во всех отношениях, чтобы думать по-иному. В рамках литературы мы научились справляться со значительными трудностями в выражении идей и эмоций; было страшно даже подумать о том, что придется учиться заново. Мы знали, как передать многое из того, что хотели сказать, посредством печатного слова или театральной сцены и актерских реплик, как сдобрить все это «стишками» или предисловием, и нас лишь с большим трудом можно было убедить, что кино обладает большей глубиной воздействия, силой и красотой, более тонкими и действенными выразительными средствами, чем старые, надежные средства, имевшиеся в нашем распоряжении.

И все же иные из нас, раздумывая бессонными ночами, нашли в себе силы забыть грубо сделанные, пустые коммерческие фильмы, которые мы видели, и хоть отчасти представить себе, какое великолепное и могучее искусство окажется в руках наших счастливых преемников. Во-первых, это—эффектное зрелище. Не остается никаких ограничений, неизбежных на подмостках, на театральной сцене или арене цирка. Во весь экран можно показать трепещущую былинку, или горную цепь с высоты птичьего полета, или панораму большого города. В один миг мы можем переходить от бесконечно большого к бесконечно малому. Тысячами способов

можно дать документальную, реалистическую или условную картину; она может приближаться к «абсолютным» формам и уходить от них. Появилась возможность отделить цвет от формы. Цвет в кино уже не таков, как в реальной жизни, где он сбивает с толку и создает бессмысленные сложности для зрения. Отдельные детали черно-белого изображения можно дать в цвете, чтобы подчеркнуть их, смягчить или окрасить все в радостный тон.

Цвет может быть использован для того, чтобы выделить мелкие подробности, обратить на них внимание. Он может создавать иронию или гротеск на экране в связи и без всякой связи с изображаемым. Звук тоже приобретает самостоятельность, и автор использует его по своему усмотрению. Пока звук не имеет прямого отношения к действию, он может звучать приглушенно или вводиться в качестве гармоничного, но не навязчивого аккомпанемента. Потом он может постепенно завладевать вниманием. Эффективная синхронизация звука с изображением несложна и может быть осуществлена на практике в ближайшее время. Тогда кино и музыка сольются воедино.

Зрелище будет сопровождаться музыкой, затихающей или оглушительно громкой, в зависимости от того, какое требуется воздействие. Непрерывная утомительная театральная болтовня перестанет быть необходимой, исчезнет бесконечный раздражающий вопрос: «А что он сказал?» Если уж люди выведены на сцену, они должны разговаривать, трещать без умолку до тех пор, пока не появится возможность убрать их. Выводить людей на театральную сцену и убирать их оттуда — технически необычайно трудно. Как это, должно быть, угнетает драматургов! В фильме же голос может звучать где и когда угодно, на глазах у зрителя или за кадром.

В этом смысле кино можно сравнить с величайшими музыкальными произведениями; у нас есть возможности создавать зрелище, равное по силе воздействия любой музыке, какая была или будет написана, используя поистине совершеннейшую музыку в качестве одного из компонентов. За первыми поверхностными успехами сегодняшнего кино открывается возможность

создания музыкально-драматического искусства, более великого, более прекрасного и содержательного, чем любой вид искусства, созданный человечеством до сих пор.

Может быть, потребуется опыт многих поколений, чтобы использовать эту великую возможность, но она уже существует и требует творческих усилий. Немногие из ныне живущих увидят шедевры нового искусства, но искушение сделать попытку заглянуть хоть немного дальше в будущее, чем осмеливается нынешний кинематограф, может увлечь даже немолодого писателя. Эта книга и является такой попыткой. Попыткой весьма робкой и поверхностной. Много лет назад автор этих строк поднялся на аэроплане над Медуэем и предсказал перелет Линдберга [1]. И теперь перед нами снова нечто подобное. Встает вопрос: а можем ли мы в фильме оторваться от почвы реалистического повествования? Автор решил обсудить воображаемый фильм с читателем; это фильм на тему, имеющую мировое значение. Вот проблема, с которой мы здесь сталкиваемся: могут ли изображение, сюжет и музыка, соединенные вместе, послужить материалом для создания фильма об избавлении человечества от войны, для создания прекрасного, живого и трогательного произведения искусства, которое было бы понятно и интересно широкому зрителю?

Автор надеется, что даже неудача окажется интересной и будет способствовать пробуждению мысли. А в случае удачи этот фильм станет конкретным шагом вперед от чистого зрелища и чистого сюжета к содержательному и эстетическому развлечению.

2

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ТРАКТОВКИ ТЕМЫ

Если и есть среди существующих художественных произведений такое, которое подходило бы для кинопостановки в соответствии с новыми взглядами, то это, бе-

[1] Линдберг, Чарлз — американский авиатор, впервые совершивший в 1927 году беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Париж.

зусловно, «Вершители судеб» Томаса Харди. Какой-нибудь крупной кинематографической корпорации, возможно, повезло, что я не являюсь ее директором, а то бы я, конечно, тотчас принялся за постановку этой превосходной вещи, совершенно непригодной для театра, но так легко осуществимой для всякого кинопродюсера, располагающего необходимыми денежными средствами. В качестве примера приведу два отрывка:

«Сначала, казалось бы, ничто (даже сама река) не движется в поле зрения. Но вскоре видишь, что на фоне пейзажа все же медленно перемещаются какие-то странные полосы, они извиваются, как ленты. С такого расстояния можно увидеть на земле только огромную армию. Эти движущиеся ленты — войска».

И еще:

«Облака внизу рассеиваются, и открывается Европа, подобная распростертой в изнеможении человеческой фигуре».

Но увы! У меня нет власти ни над одной киностудией, и роль моя до сих пор сводилась к тому, что я отказывался писать сцены (или, как их называют, «либретто») для фильмов. И только несколько лет тому назад, когда некий мистер Годел явился ко мне с очень заманчивым предложением, я поддался искушению.

Он придумал название, которое считал привлекательным для публики,— «Мир на земле», и, несколько преждевременно приняв желаемое за действительное, разрекламировал его как готовый фильм. Это название я уже использовал для какой-то из своих газетных статей во время войны, но об этом я вспомнил уже гораздо позже. Реклама мистера Годела имела такой успех, что он, решив заполнить пустоту, крывшуюся под выдуманным им названием, обратился ко мне с предложением написать либретто и снабдить его таким образом необходимым материалом. После нескольких бесед мистер Годел мне понравился, и я сел набрасывать либретто. Оно очень отличалось от предлагаемого читателю сценария. Прочтя различные руководства, претендующие на полное освещение искусства писать сценарии для фильмов, и внимательно изучив нынешнюю «продукцию» кинематографа, я едва не получил от этого хроническое несварение желудка и написал либретто,

которое, по-видимому, удовлетворило мистера Годела больше, чем в глубине души меня самого. Ибо с самого начала я не доверял этим руководствам. То либретто — лишь зародыш публикуемого здесь сценария. По мнению знатоков, в первоначальном виде фильм был осуществим, но я ни в коем случае не уверен, что их мнение будет столь же снисходительным теперь, когда я расширил и переработал материал. Но у меня было больше двух лет на то, чтобы переосмыслить первоначальный набросок; я следил за возможностями кинематографа со все возрастающим интересом; коммерческая сторона дела претерпела множество изменений; что бы я ни выдумал, говорят мне, денег на это теперь жалеть не будут, и когда я спрашиваю, могу ли я делать свой сценарий каким угодно трудным и дорогим для постановки, то получаю ответ: этим смущаться нечего. Вот я и не смущаюсь.

Я старался изложить фильм почти в таком виде, в каком зритель увидел бы его на экране, и я даже скажу кое-что о музыке, которая должна быть написана для него. В сущности, я собираюсь рассказать читателю о фильме, как бы показав его в воображаемом кинотеатре, и, сделав это, хочу передать его тем, кто меня так обнадеживал, чтобы они превратили его в зримую реальность. Но сначала мне хотелось бы рассмотреть некоторые особые трудности этого фильма и наилучшие, с моей точки зрения, способы их преодоления. Кроме того, перед тем, как начнутся съемки, я коротко и в общих чертах остановлюсь на том, что это за фильм и каким требованиям он должен отвечать.

В скоропалительных и ожесточенных спорах и категорических утверждениях, из которых по большей части состоит литературная, театральная и кинокритика, всегда выделяются те или иные направления. Одни требуют возвышенности и утонченности, другие — легкости и сердечности, третьи — широты взглядов и полезности. Обычное разделение здесь оказывается недостаточным; к «высоколобым» и «низколобым» [1] надо до-

---

[1] «Высоколобыми» в Англии и Америке называют интеллигентов, далеких от жизни; «низколобыми»—людей малообразованных.

бавить еще и «широколобых». «Широколобый» так же, как «низколобый», боится быть «изысканным», но так же, как «высоколобого», его ужасают дешевка и примитив. Он не пренебрегает существующим, но и не принимает его, а ищет, пытаясь достичь невозможного, и удовлетворяется частичным успехом. Фильм, в котором рассказывается о нынешнем стремлении к миру во всем мире, возможно, внушит отвращение как «высоколобым», так и «низколобым». В нем надо выразить и обосновать мысль и тезис; в нем надо отразить все политические позиции; показать воюющего человека, которого война калечит и убивает, человека, которому война угрожает и который, возможно, способен покончить с войной. «Высоколобый» назовет такой фильм трактатом, «низколобый» — проповедью, и оба они ощупью направятся к выходу в отчаянном стремлении убежать от этой «трактатопроповеди». «Высоколобому» нечему учиться, «низколобый» ничему не хочет учиться; по сути дела, разницы между ними нет. Этот фильм не для них. В конце концов «высоколобый» — это тот же «низколобый», только вдобавок претенциозный. В общем, мозги у них устроены одинаково. «Широколобый» останется, его волнует огромность темы.

Если вдуматься, в выражении «мир на земле», в сущности, содержится отрицание. Оно само по себе подразумевает только отсутствие войны. Это человеческая жизнь, из которой изъяли войну. Значит, главное, с чем нам приходится иметь дело в фильме,— это война как ужасное зло, которое мы испытали, как зло, которое грозит повториться, как зло, которое мы надеемся сделать невозможным. Мир, повторяем, есть просто жизнь, на которую не бросает тень мрачная туча войны. Следовательно, наша тема — это жизнь омраченная, но с надеждой, что она перестанет быть омраченной, что воля и сила людей рассеют эту тучу. Итак, нам необходимы для нашего фильма три главные нити: во-первых, замечательные, чудесные возможности жизни, освобожденной от военных тягот и разрушения; далее, мрачная действительность самой войны и ее ожидания, которая калечит и чудовищно порабощает людей; и, в-третьих, желание покончить с войной. В этом последнем есть героический элемент. Сюжет фильма

должен быть историей героического подвига, достойного Геркулеса, если мы хотим довести борьбу до желанной победы, и достойного Прометея, если мы ограничимся только бунтом, временным поражением и надеждой на победу в будущем. Я выбрал для этого эксперимента наиболее простой и славный путь, так как я верю, что война может быть и будет побеждена. В этом фильме надо показать в развитии, как воля человека наносит поражение войне. Здесь человек должен быть не Гамлетом, а полубогом. Действие происходит в наш век, который представлен как век избавления от войны, и главные герои фильма должны воплощать чаяния, страхи, усилия и успех в борьбе, которая завершается полной победой.

Разрабатывая тему, необходимо рассмотреть различные способы подхода к ней. Должны ли мы воплощать действующие силы в отдельных образах и сосредоточить весь интерес фильма на личной драме одного или нескольких пацифистов или следует создавать фильм в широком плане, изображая угрозу войны и ликвидацию ее как явления массовые, показывая развевающиеся флаги, улицы, заполненные людьми, кричащие толпы, стычки, бои, военные конфликты, преследование и расстрел протестующего пацифиста, телеграммы, которые приносят горе в дом, отвращение молодых героев к войне, переговоры о мире, протесты, восстания, совещания кабинета министров, международные конференции и так далее, то есть сводя воедино большой разнородный процесс — от начала до заключительной трагедии, усталости и реакции? Второй путь вернее всего привел бы нас к сюжету «Вершителей судеб», этого великого неснятого фильма; первый — к обычному киносценарию. Это был бы обычный сценарий со сравнительно усиленным и углубленным задним планом. Стены комнаты пришлось бы раздвинуть, чтобы показать мир, которому опасность грозит и с неба, и с моря, и с земли, но потом сдвинуть их снова, чтобы можно было вернуться к личным переживаниям. Широкий показ был бы, конечно, ближе к правде, потому что покончить с войной можно только в том случае, если в одну точку будут направлены тысячи различных усилий, вся пропаганда, вся борьба. Но тогда нашему фильму пришлось

бы в масштабах и сложности соперничать с самой жизнью.

Большим фильмам должны предшествовать маленькие, и в конце концов было решено избрать первый путь и сосредоточить внимание на главном герое, чтобы объединить все, что мы хотели выразить. Материал был бы слишком разнообразным, безграничным и несвязным, если бы мы не прибегли к изображению одного человека или группы связанных между собой людей, которая была бы ключом к пониманию действия и цементировала бы все в единое целое. Совершенно бессюжетные фильмы, правда, уже создавались и производили огромное впечатление; например, великолепный фильм «Берлин». Когда-нибудь эпизоды великой войны 1914—1918 годов могут быть снова собраны в одну потрясающе правдивую картину. Но одно неотделимо от другого. Зрители уже знают, что отдельные эпизоды — часть целого. С другой стороны, наша тема — исследование и синтез того, что должно быть достигнуто. То, что нам надо показать, не достигнуто. Чтобы убедить зрителей, надо прибегнуть к четкому приему — показать, как крепнет убежденность человека, вызывающего у зрителей сочувствие. Надо изобразить такого героя, который для зрителей воплощал бы стремление покончить с войной, такого героя, для которого эта проблема стала бы личной, понятной всем проблемой.

Такой герой позволит автору быть кратким. Искусство в широком смысле можно рассматривать как попытку упростить изложение. Оно подобно науке, которая тоже стремится к простоте. Но если наука осуществляет синтез и упрощение в интеллектуальной сфере, то синтез и упрощение в искусстве являются эстетическими. Интеллектуальные процессы — это процессы, общие для всех, а эстетические процессы воздействуют на того, кто способен чувствовать, и поэтому методы искусства всегда основывались на олицетворении, а действенность его — на сочувствии. Но персонаж, выбранный случайно, не может стать олицетворением. Он должен быть исключительно характерным. Силы, стремящиеся развязать войну, должны обрушиваться на него единым фронтом; он должен быть в состоянии принимать действенные решения «за» или «против» войны.

Возможности развязывания войны в таком случае могут быть показаны в связи с его мыслями и действиями. Он может знакомиться с новыми средствами ведения войны, выслушивать военные планы и обладать исключительной возможностью видеть приближение войны и понимать, какой она будет; он должен переводить все это на язык человеческих страхов, мыслей и устремлений. Он должен обдумывать события и влиять на их ход, который должен быть типичным. Следовательно, он может быть одновременно самим собой и воплощением того разумного неприятия войны, которое так широко распространено среди современного человечества.

Несмотря на нынешнюю всемирную тенденцию к республиканским формам правления, для сюжета очень удобно, если герой будет монархом. И не просто монархом, а идеализированным средоточием деспотизма, который так силен в каждом из нас. Он не будет таким королем, который прячется за спину диктатора или удовлетворяется символическим обожанием; он будет думать и действовать с полной ответственностью. Это означает, что его не учили тактичности и любезной снисходительности, как членов современных королевских фамилий, и он отправляет свои королевские обязанности с наивной доброй верой. По сути дела, он должен быть обыкновенным умным человеком, по воле случая взошедшим на трон. Он должен быть тем королем, который живет в каждом из нас.

По-видимому, для этого лучше всего сделать его сыном принца из какого-нибудь королевского рода, уехавшим в изгнание в Америку (как это случалось с принцами), а потом в мировой войне или какой-нибудь неожиданной катастрофе погибнут все промежуточные наследники, что расчистит ему путь к престолу. Это как нельзя более подходит для нашего замысла. В Америке его отец, скажем, отказался от всех титулов, и сам он, не обремененный дворцовым воспитанием, много читал и проникся самыми современными и прогрессивными идеями. Затем, если королевство, в которое мы его вдруг перенесем,— одно из тех несчастных маленьких государств, которые становятся ареной предпринимательства Европы, Азии и Америки и где сталкиваются экономические и политические интересы крупней-

ших государств мира, то мы найдем очень удобную форму для выражения всех основных аспектов нашей темы. Допустим, при его вступлении на престол столкновение интересов больших государств в его стране выльется в кризис.

Что будет делать этот король — обыкновенный человек, который, по существу, воплощает в себе сотни комитетов, тысячи лидеров и миллионы их молчаливых приверженцев? Именно потому, что он вполне человек и вполне король, проблемы мира на земле и проблемы, стоящие лично перед ним, связаны неразрывно.

Это очень обобщенный образ, а потому наш герой непременно должен быть красив, хорошо сложен, разумен и похож не на среднего человека, а скорее на средоточие человеческой сущности. Характерными его чертами должны быть сообразительность и необычайная твердость воли. Нельзя наделять его «характерностью» в ее общепринятом понимании — странностями, необычными чертами, деревянной ногой, париком, стеклянным глазом или комплексом неполноценности. Все это целиком относится к совершенно иной теме, очень трогательной, но далекой от нашей, к теме ограниченности личности с ее комическими и трагическими положениями. Наш герой не должен испытывать горечи неудач. Он должен быть и вами и мной, таким, какими нам хотелось бы быть: простым, с чистыми помыслами, не обремененным ничем и шагающим прямо к своей цели.

3

ЛЮБОВНАЯ ИНТРИГА

Поразмыслив, директор студии, давший своему воображаемому автору полную свободу, склонен пойти на попятный. Среди коммерческих и профессиональных забот одна тревожит его больше всего. Ему надо найти на женскую роль звезду. Более половины зрителей — женщины. Он настаивает на том, чтобы они увидели себя в фильме, и, с его точки зрения, это можно сделать, только введя «любовную интригу». И без того трудная

задача, которую придется выполнять нашему герою, теперь усложняется еще и притягательной силой голубых или карих глаз, а то и тех и других вместе. С этим заблуждением необходимо поступать просто. Обычную «любовную интригу» в этот фильм допускать нельзя. Это приведет либо к пошлости, либо к полной неудаче.

Под обычной «любовной интригой» я подразумеваю страсть мужчины к женщине (или наоборот), успех или провал настойчивых попыток овладеть ею любой ценой и хороший или плохой конец. Это сейчас считается основным в человеческой жизни и уж, конечно, в большинстве фильмов. Предполагается, что женщинам особенно нравится, когда фильм в достаточной мере сексуален. Нет сомнения, что сексуальная привлекательность многое значит на некоторых этапах нашей жизни, но это не основной и не постоянный интерес в жизни большинства мужчин, и я не верю, что это занимает такое уж большое место в жизни женщины. Традиции и социальные условия делают секс более важным в жизни большинства женщин, чем большинства мужчин, и, возможно, по своей природе они более чувственны. Но уж, конечно, не до такой степени, как считают те, кто настаивает на бесконечных «любовных интригах». Женщины могут слушать музыку, в которой нет ничего сексуального, сочинять и исполнять ее; они могут проводить научные исследования, писать картины и книги, заниматься спортом или делами и не обнаруживать такую явную сексуальную одержимость, как многие мужчины. Однако нельзя сказать с той же уверенностью, что они могут совершенно отрешиться от собственной личности, как это бывает у мужчин. Если женщины и не более сексуальны, чем мужчины, то тем не менее остается сомнительным, способны ли они так же легко освобождаться от личных пристрастий. По моим впечатлениям они обычно придают большее значение женской роли, чем произведению в целом.

Что же касается этого фильма, то я убежден, что в нем не может быть никакой вульгарной «любовной интриги», никаких ухаживаний и покоренных сердец. Я считаю общим правилом, что обычная «любовная интрига» в фильме, романе, пьесе и любом другом произве-

дении вступает в противоречие со всеми другими сюжетными линиями и разрушает их или сама сводится до уровня утомительной путаницы. У меня есть некоторый опыт в сочинении фантастических романов о всяких чудесах, о посещении луны, например, о могуществе невидимки, об освобождении атомной энергии и использовании ее и тому подобное, и я убежден больше, чем в чем бы то ни было, что с этими темами можно успешно справиться, только полностью подчинив им обычную любовную линию. Пренебрежение этим простым условием привело к сотням неудач. Или Джульетта должна завладеть всей сценой и быть постоянно в центре внимания, или Джульетта (вместе с ее Ромео) будет просто мешать развитию действия. Это закон. Мир избавляется от приятного заблуждения, что Джульетта (или Ромео) может «вдохновлять» особу другого пола на что-либо, кроме сильного желания обладать ее (или его) прелестями. Наш герой хочет покончить с войной, потому что ненавидит войну. И если бы он принялся бороться с войной ради женщины, то это было бы не более убедительным, чем если бы он сделал это на пари или потому, что кто-то сказал, будто ему с этим не справиться.

Поэтому директор студии должен исключить из своих расчетов всю ту немалую часть женщин, желающих видеть картины, основное содержание которых сводится к тому, что женщин в лице их хорошенькой представительницы желают, обожают, обхаживают, преследуют, заманивают в ловушки, освобождают, изысканно одевают, раздевают и в подавляющем большинстве случаев завоевывают и принуждают к восхитительной и полной капитуляции. Эти женщины смотреть фильма не будут. И тех молодых людей, чьи тайные помыслы воплощаются в желании, обожании, ухаживании, преследовании, заманивании в ловушки, спасении и покорении восхитительной героини, нужно тоже сбросить со счетов. Может быть, мы переоцениваем численность таких людей и недооцениваем численность сторонниц преобладания «любовной интриги». И конечно, наше отрицание «любовной интриги» ни в коем случае нельзя истолковывать так, что женский пол не будет играть никакой роли в фильме, который потеряет в

таком случае всякую привлекательность даже для здравомыслящей части зрительниц. Надо не просто показать им, как они, принадлежа к роду человеческому, примут участие в достойном Геркулеса подвиге — уничтожении всего, что способствует возобновлению войны, а также, воздействуя на чувства, заставить их задуматься, не должны ли они, которые острее мужчин сознают свой долг и глубже воспринимают человеческие ценности, сыграть в борьбе особую роль.

И тут перед нами встает вопрос, который всегда возникает в бесчисленных случаях современной жизни. Действительно ли женщины в большинстве своем по-настоящему хотят организованного предотвращения войны? Точно так же спрашивается: хотят ли они мощного подъема науки? Или хотят ли они, чтобы мир был перестроен в лучшую сторону? Негодующие женские голоса, торопясь дать отпор воображаемому умалению их достоинств, тотчас ответят: конечно, да. Разве не их сыновей и мужей убивают на фронте? Разве не их дети, не их дома пострадают самым жестоким образом от войны? Но именно такой ответ внушает еще большее сомнение. Это причины, по которым женщины должны хотеть, чтобы с войной было покончено, но ни в коем случае не доказательства того, что они способствуют или готовы способствовать уничтожению войны как таковой. Многие мужчины, хотя их сыновья и друзья должны погибнуть и сами они должны испытать тяготы и опасности войны, хотят мира и переустройства на земле, совсем не думая или думая очень мало о своих личных интересах. Они видят в войне обузу и камень преткновения на трудовом пути всего человечества. Они видят неосуществленные возможности, которые им лично дали бы очень немного. Война для них — это громадное, глупое, безобразное чудовище, топчущее посевы, чудовище, на которое, впрочем, было бы очень интересно поохотиться. Они ненавидят ее не за ужасы, а за то, что она им невыносимо докучает. И солдат считается не грозным героем, а скучным дураком. А найдется ли столько же женщин с таким же образом мыслей?

Мы должны как-то ответить на это, прежде чем решим, какова будет роль женщины в этом фильме.

Сыскать ли нам Геркулесу как бы близнеца в женском образе? Героиню, находящуюся с героем рядом, как Вильгельм и Мария[1] на старых монетках? Или, наоборот, показать женщину, которая будет играть роль Деяниры, обворожит героя, выткет ему одежду, пропитанную кровью Несса[2], и в конце концов погубит? Мы часто это делали в силу необходимости. Это один из бесконечно повторяющихся сюжетов, это история о женщине, для которой главное — чувства, и она так хочет влюбить в себя мужчину, что в конце концов губит его. Но такое ли это обычное явление сегодня, как в прошлые времена? Считать ли редкостью обоюдное мучительство из любовного эгоизма, или это неотъемлемая часть человеческого бытия?

И все же поскольку мы решили, что фильм наш будет о современной победе, а не поражении, даже если Деянире и предстоит появиться, то ей придется остаться в стороне или быть побежденной. Одежду, пропитанную кровью Несса, можно вернуть в реквизитную: она не понадобится. Но из этого не следует, что остается только один путь — показывать мужчин и женщин одинаково. Если женщины будут играть ту же роль в отношении войны, что и мужчины, то нужна ли отдельная женская роль вообще? Объединить ее с Геркулесом, и пусть фильм будет бесполым.

Истину надо искать между этими крайностями. В наше время женщина все больше и больше освобождается от ощущения, которое навязывается ей обычаями, воспитанием и традициями,—от ощущения настоятельнейшей необходимости поймать и удержать того или иного мужчину. Но ничего не сделано, чтобы изменить тот существенный факт, что женщины более остро, чем мужчины, воспринимают жизнь в личном плане. Они уже не погружаются с головой в личные драмы, но, по-видимому, не могут освободиться от это-

---

[1] Вильгельм I Завоеватель — король Англии в XI веке; Мария Тюдор — английская королева в XVI веке.

[2] Несс — в греческой мифологии кентавр, убитый отравленной стрелой Геракла. Чтобы отомстить, Несс, умирая, посоветовал супруге Геракла Деянире собрать его кровь, которая поможет ей сохранить любовь мужа. Деянира выткала мужу одежду и пропитала ее кровью кентавра, тем самым погубив Геракла.

го до такой степени, до какой освободились мужчины. Под их влиянием ярче проявляется индивидуальность мужчины. Они более склонны к осуждению и с большей готовностью становятся на чью-либо сторону, а становясь на чью-либо сторону, делают это безраздельно, не зная компромисса. Если мир организуется для борьбы с войной, то в этой колоссальной и сложной борьбе, которая предстоит нам, женщины будут нашими главными судьями и вдохновительницами. В этой героической попытке вывести разумно перестроенный мир из проклятого лабиринта романтической лжи, что и составляет нашу тему, так же как и в борьбе за установление социальной и экономической справедливости женщины будут играть решающую роль. И если они будут подбадривать мужчин, оказывать им поддержку, дарить их своей дружбой и укреплять своей колоссальной уверенностью их боевой (но часто колеблющийся) дух, то мужчины смогут довести дело до конца. А если они будут поглощены мыслью о собственной личной победе, если они будут думать только о том, что в жизни у них одно предназначение — быть любимыми, быть королевами красоты, и если они по старой романтической традиции станут считать, что главное для женщины — это эгоистическая любовь, то они будут против героя и станут на сторону врага.

Поэтому наш интерес к женщине почти неизбежно двоякий: или женщина — бескорыстный друг и сторонник, или она, согласно романтической традиции, выступает на первый план и пытается стать возлюбленной нашего Геркулеса, а потом, поняв красоту его борьбы за достижение великой цели, тоже посвящает себя борьбе и в конце концов в своем самопожертвовании обретает себя, его и все, что ей хотелось. Этот второй вариант явно более драматичен, и он дает нам образец, какой должна быть главная женская роль.

В нашем сюжете олицетворением такой женщины может быть принцесса, правительница стратегически важного государства, имеющего общую границу со страной героя. Она понимает, что цель его прекрасна, а смелость велика, она старается покорить его, злится на него, и одно время кажется, что она его глав-

ный враг, а потом она быстро и решительно становится его союзником и товарищем. Как и героя, ее следует лишить всякой яркой характерности; она должна быть красивой, энергичной и прямодушной. Все дурные качества будут характерны в этом фильме только для противной стороны.

4

ВРАГИ

Теперь мы знаем, почему герой и героиня в нашем полемическом фильме должны быть личностями серьезными, абстрактными, собирательными и символическими. Что же касается враждебных сил, то для них это совершенно не обязательно. Характеры тех, кто на н а ш е й стороне, упрощены до предела, и это сделано для того, чтобы не мешать восприятию сложности сил, которые работают на войну и не дают ей исчезнуть из жизни человечества. Вот почему мы не поддались соблазну сделать нашего героя «трогательным», наградив его, например, смешной походкой или нежной привязанностью к прелестной и наивной героине. Однако враждебные силы, очевидно, будут играть на слабости и сложности человеческой натуры, на всяких ошибках и отклонениях. Мы считаем, что война не простая штука, а хаос, авгиевы конюшни, которые следует очистить. Следовательно, остальные действующие лица нашего фильма могут быть самыми разнообразными и характерными фигурами, в каждой из них сочетается и хорошее и плохое, у каждой, так сказать, есть душа, которую надо спасти.

И все-таки у всех у них есть что-то общее, что связывает их друг с другом. Это не просто бесцельная смесь непохожих друг на друга людей. Война отвечает их наклонностям. В них заложена воинственность — она порождается страхом, подозрительностью, отстаиванием своих притязаний, стадным чувством, ненавистью ко всему иностранному, драчливостью и более тонкими соображениями. Война возможна не потому, что в этих людях просто проявляется подлая порода. Чувства братства, верности, любви к ближнему и страха за других,

а то и несдержанность могут сыграть свою роль и толкнуть их на кровавый путь. Мы должны показать их хорошие и дурные склонности, должны показать их во всех человеческих проявлениях, чтобы зрители могли узнать себя и во вражеском лагере. Но, показав этих людей во всей сложности, мы придем к утверждению, что именно дурные склонности вдохновляют непохожих друг на друга врагов. С человеком-созидателем вступает в борьбу человеконенавистник, стоящий на более низкой ступени развития, ограниченный и злобный.

Предположим, что мы взяли страничку из книги средневекового моралиста, который смело отходит от догм христианского богословия и ставит под сомнение существование дьявола. Предположим, что мы сделали противника нашего героя демоном соперничества и слепящей ненависти, который сеет плевелы, заглушая полезную растительность. Что это будет за человек? Мне думается, что он будет совершенно не похож на беспокойного дьявола Мефистофеля, который играл такую большую роль в моральной символике девятнадцатого столетия. Он будет человеком прямым, скорее напористым, чем коварным.

И он и герой — бойцы; разница заключается в том, что он ограничен, помыслы его черны и пагубны; герой же борется ради созидания. Мы солгали бы, отказав ему в мрачном блеске, в своеобразной красоте. Ни тот, ни другой не пассивны. В этом они родственны, и мы должны признать своего рода сходство между ними. Он двоюродный брат героя. Он ненавидит своего родственника. Долгие годы он был заядлым врагом терпимости и целеустремленности, безжалостно эксплуатировал ту смесь любви и робости, которая превращает всех нас в апологетов и сторонников привычного и ограниченного.

Итак, исходя из смысла первоначального названия сценария «Мир на земле», мы создаем образ нашего главного героя и его противника. Следуя весьма почтенным традициям кинематографа, мы отказываемся от первоначального названия фильма и даем ему новое: «Король по праву». Теперь нам надо написать сценарий о короле — обыкновенном человеке, о принцессе и о его двоюродном брате-разрушителе, не упуская из виду те принципы, которых они придерживаются в своей борьбе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

(Первая часть фильма)

КОРОЛЬ ПО ПРАВУ

1

ПРОЛОГ

Все обычные современные фильмы неизменно начинаются с бессмысленных картинок и прочих рассеивающих внимание и не относящихся к делу штучек. Я бы сократил и по возможности упростил начальные кадры. Например, обычно дается длинный список тех лиц, которые принимали участие в создании фильма. Лишь немногие из них настолько известны, чтобы возбудить серьезный интерес или хотя бы подготовить зрителей к восприятию картины, и поэтому список, а также рекламу, рисованную марку фирмы и прочее было бы лучше перенести в конец фильма, когда зрители, довольные, взволнованные и благодарные за полученное удовольствие, захотят узнать, кого им отблагодарить. Я бы начал с *совершенно черного экрана и названия, выписанного* очень простыми четкими буквами (без всяких «художественных» завитушек): «КОРОЛЬ ПО ПРАВУ».

Название должно долго стоять перед глазами зрителей в тишине, полной и значительной.

Потом на экране вместе с названием должен появиться интригующий подзаголовок: «КОРОЛЬ ПО ПРАВУ. *История пешки, которая обычно не делает игры*». Это тоже должно долго оставаться на экране. Потом, по-моему, должна начаться музыка, а название — поблекнуть и исчезнуть, уступив место световой ряби, в ритме музыки скользящей по экрану, как скользят солнечные блики под деревьями («абсолютный фильм», как это принято сейчас называть). Музыка, сопровождаемая ритмичным стуком и звоном, звучит все громче и громче, блики кружатся и вихрем уносятся, открывая в полумра-

ке пещеры сидящую на корточках фигуру полузверя-получеловека. Это первобытный дикарь, обтесывающий кремень.

Он как бы предшественник и героя и его противника. Он незаметно меняет полузвериный облик на человеческий и уже бьет металлическим молотом по наковальне. Потом он откладывает инструмент и начинает вырезать по дереву. Над ним появляется титр: *«Человек-созидатель»* и постепенно исчезает. Рядом появляется женщина, предвосхищающая героиню. Он показывает ей свою работу, для него ценно ее одобрение. Потом он как бы раздваивается, разделяется на две фигуры. Человек-созидатель продолжает работать сидя, женщина смотрит на него, а вторая фигура стоит над ним, глядя на него и на женщину. Над этим новым человеком на фоне пещерной темноты появляется и постепенно исчезает титр: *«Человек-разрушитель»*.

Разрушитель ревнив и груб. Он домогается женщины, и ему не нравится, что ее интересует работа Созидателя. Он нагибается, хватает копье, которое сделал Созидатель, и угрожающе поднимает его над Созидателем. Созидатель вскакивает, чтобы отнять копье. Борьба. Видны два сплетенных мускулистых тела и суровые лица. Разрушитель не выпускает копья. Созидатель сжимает его запястье. Женщина смотрит, движения ее нерешительны. Она поднимает руки, словно решившись вмешаться, музыка становится громче, потом затихает, борющиеся фигуры видны смутно, и снова блики света, появившиеся неизвестно откуда, скользят по экрану. Они тускнеют, экран становится черным, и музыка тоже замирает. Заявка на тему сделана, теперь можно начинать рассказ.

2

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АМЕРИКАНЦЕВ

На экране появляется медленно вращающийся земной шар, звучит музыка, уже совершенно иная — воинственная, в темпе марша, с барабанной дробью и завываниями труб. Сначала она звучит громко, потом замирает и тихо, ненавязчиво сопровождает действие. Зем-

ной шар растет, и перед зрителями проплывают знакомые очертания западного полушария. Земной шар наплывает на зрителей, пока Северная Америка не заполняет собой весь экран, потом появляется рука и указывает на Нью-Йорк. Характерный вид Нью-Йорка с птичьего полета появляется на экране, а рука (ставшая огромной) исчезает. Вид отодвигается на задний план, и теперь на экране окно. Мы в комнате для секретных совещаний большой промышленной компании в центре Нью-Йорка. Стол, на нем чистая бумага и прочее — все готово для совещания.

Теперь комната показана так, чтобы окна не было видно или чтобы оно не бросалось в глаза (вид Нью-Йорка уже сыграл свою роль). В комнате два человека. Один, А., прикрепляет кнопками к доске географическую карту. У него вид обыкновенного процветающего бизнесмена, на лице выражение спокойной уверенности. Рядом стоит служитель и держит коробочку с кнопками.

Карта — важная деталь, и внимание зрителей следует сосредоточить на ней.

Надо, чтобы на карте не было знакомых географических очертаний. Опытный картограф должен изготовить ее так, чтобы казалось, будто это настоящая, самая обычная географическая карта. Она не должна быть контурной. На ней видно большое море, сужающееся в длинный и извилистый пролив, за которым лежит еще одно море, похожее на Черное. Через пролив и прилегающую к нему территорию идет надпись — КОРОЛЕВСТВО КЛАВЕРИЯ. Рядом гористая страна, совершенно отрезанная от моря,— РЕСПУБЛИКА АГРАВИЯ. К западу и частично огибая ее с востока лежит СЭВИЯ. Это тоже горная страна, она преграждает Агравии выход к внутреннему морю. Выше северной границы Агравии видны несколько последних букв названия страны, отрезанного верхним краем карты. Зрители читают — ССИЯ. На юго-западном краю карты виднеется море и часть его названия — СКОЕ МОРЕ. Остров...

Вот здесь мы используем цвет. Служитель протягивает пузырек с чернилами. У А. в руках линейка и гусиное перо. Он макает перо в чернила, ставит точки на карте и чертит линии. Они *ярко-красные*. Потом он пишет на полях карты: *«Красным помечены основные*

залежи калькомита». Все они в Агравии, кроме одной, которая распространяется на территорию Сэвии.

В это время входит второй бизнесмен, Б., и рассматривает работу первого.

«*Вот,*— говорит А.,— *единственные в мире залежи калькомита, которые находятся не на британской территории».*

Б. задумчиво:

«*Кто бы мог предсказать десять лет тому назад, что вся наша металлургическая промышленность будет зависеть от этого редкого минерала калькомита?»*

К ним присоединяется третий промышленный магнат.

«*На большую часть территории,*— говорит А.,— *претендует Сэвия. Эти земли были отданы Агравии по Версальскому договору».*

Подходят другие участники совещания. Они идут к столу, а потом присоединяются к разговору у карты. А., по-видимому, осведомлен лучше всех. Он объясняет:

«*Агравийцы— нация крестьян. Они не хотят, чтобы залежи минералов разрабатывались».*

Несколько секунд он виден крупным планом, потом следует реплика: «*Естественно, что англичане поддерживают эти настроения».*

Эти слова произносит только что подошедший В. Его играет тот же актер, который играл Человека-разрушителя в прологе.

Его слова, видно, меняют дух разговора. Остальные поворачиваются спиной к карте и идут к столу, где они окружают В., который стоит, поставив одну ногу на стул. Следующие фразы появляются одна за другой на экране так, чтобы получилось впечатление, что их произносят медленно, с расстановкой. Потом они мгновение остаются на экране все вместе.

«*Сэвия слишком слаба, чтобы напасть на Агравию».*

«*Но если бы Клаверия оказала ей помощь — дело другое».*

«*В Клаверии у нас есть друзья».*

Сидящий человек с бесстрастным лицом замечает: «*Сегодня день рождения короля Клаверии, и сегодня*

же, как мы уже здесь говорили, принцесса Сэвии будет помолвлена с наследным принцем Клаверии».

«Ну и что?»

В. замечает: *«У Агравии нет ни пушек, ни самолетов, о которых стоило бы говорить. Армия Клаверии невелика, но боеспособна. Это будет даже не война...»*

Но видно, что участники совещания все еще сомневаются. Чувствуя, что они колеблются, А. возвращается к карте и, показывая, говорит:

«Свободный доступ к этому калькомиту означает для Америки освобождение от тех пут, с помощью которых англичане волею судьбы душат нашу металлургию».

Несколько человек смотрят на А., пока он говорит это. Американский флаг с широкими полосами развевается на экране. Но участники совещания сомневаются в том, что замысел можно легко осуществить. Потом на мгновение появляется английский флаг, развевающийся на ветру. В. говорит: *«Англичане слишком любят блокады и всякий нажим».*

Новые кадры — английский флот плывет вдоль блокируемого берега, потом он постепенно исчезает, и на его месте появляется большой американский линкор. С развевающимися флагами он идет полным ходом на зрителей и тоже исчезает. Мы снова видим участников совещания. На их лицах беспокойство, смятение, они не знают, как быть. Г., низкорослый человек с умным лицом, говорит:

«Зачем спорить двум великим державам? Почему бы нам не сотрудничать с англичанами?»

Затем вопрос и ответ загораются на экране одновременно:

«Всегда?»

«Да, всегда».

В. протестует:

«А потом вы потребуете, чтобы мы навек воссоединились с англичанами! Что толку иметь разные правительства и разные флаги, если мы всегда будем сотрудничать с ними? К чему нам флаг, если он ничего не значит?»

Низкорослый Г. в запальчивости машет рукой: *«Вот именно, к чему он нам?»*

Все взволнованы, начинается оживленный спор.

И вот тут мы прибегаем к многозначительности, вообще присущей этому фильму. Все участники совещания понимают, что нечего и думать о слиянии американских интересов с интересами любой другой страны, и в особенности с интересами Британской империи. Мысль установить мир на земле путем объединения им претит, потому что Соединенные Штаты им очень дороги. Их охватывает вихрь мыслей и чувств; вьется полосатый американский флаг, несомненно, самый красивый флаг в мире; музыкальное сопровождение, едва слышное в начале этой сцены, когда А. отмечал залежи калькомита на карте, теперь звучит громко. Вдохновенная патриотическая музыка вызывает в памяти героическое прошлое. Перед зрителями возникают образы по возможности широко известные по иллюстрациям к американской истории: мост в Конкорде, Лексингтонская битва, Вэлли Фордж [1] и т. д. Английские солдаты идут на Вашингтон, столица горит. Сражаются «Шэннон» и «Чезейпик»[2]. Верхом на коне, заполняя собой экран, проезжает Джордж Вашингтон, наплывает звездное знамя, и все исчезает. Но пока возникают, наплывают и исчезают эти видения, разговор продолжается.

Встает низкорослый Г., все еще отстаивающий свою точку зрения.

В. перебивает его. Титры появляются прямо на изображении:

«Не по душе нам эти англичане».

«Они высокомерны».

«Целое столетие мы сидели смирно, боясь их флота».

А. ожесточенно бросает: *«Да, пришло наше время сказать свое слово».*

Вновь величественно проплывает американский линкор, он надвигается на зрителей, его пушки стреляют. Морские волны сливаются со складками развевающегося американского флага.

Человек, который до сих пор молчал, вступает в разговор:

---

[1] Места известных сражений во время войны за независимость (1775—1778 гг.).

[2] В 1813 году после упорного боя английский фрегат «Шэннон» был захвачен американским фрегатом «Чезейпик».

«Джентльмены, как же нам быть? Мы говорили о калькомите. Чем мы увлеклись?»

Флаг все еще полощется на экране.

Разговор прекращается с приходом высокого человека, Д. По-видимому, это очень важная персона. Флаг исчезает, и внимание сосредоточивается на этом человеке. Экран темнеет, переходы от света к тени становятся резче. Человек подходит со зловещим видом, в руке у него телеграмма. Спорщики, сидевшие до сих пор в непринужденных позах, встают. Потом строчка за строчкой на экране очень медленно появляются титры:

«Джентльмены, все пропало.

Помолвка и союз Клаверии и Сэвии полетели ко всем чертям.

В кафедральном соборе Клавополиса взорвалась бомба.

Наследный принц умирает, король умер.

Нас... — секундная пауза, — *...перехитрили».*

Кто-то спрашивает: *«А принцесса?»*

«Она не приехала туда».

Г. кричит: *«Нет, такого англичане сделать не могли!»* Все смеются над ним. Больше всех издевается В.

А. говорит: *«Что же нам теперь делать?»*

Этим вопросом заканчивается сцена.

3

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АНГЛИЧАН

Мельком показаны здание парламента и Уайтхолл, а потом на экране появляется одна из комнат министерства иностранных дел. Дело идет к вечеру. Массивная мебель XVIII века — резкий контраст с модерном нью-йоркской комнаты для совещаний. Над зеркалом в глубине комнаты королевский герб и английский национальный флаг. За столом, изучая карту, сидит высокий красивый мужчина — министр иностранных дел. Это типичный «английский джентльмен», обладающий сходством с Греем, Керзоном и Чемберленом, но больше он похож на Грея. Невысокий, с очень умным лицом, секретарь стоит рядом и показывает, где находятся государства, о которых идет речь. Министр иностран-

ных дел постукивает по карте очками и покачивает головой. Изредка он роняет реплики:

«Мне никогда не нравилась эта помолвка».

«Мы должны поддержать Агравию. Мы дали гарантии».

«Безобразие».

Он все время покачивает головой. Титры появляются на экране так же, как во время предыдущей сцены.

«Не нравятся мне эти американцы.

После войны они стали высокомерны.

Угрожают построить флот сильнее нашего!

Для нас это жизненно важно. Для них же — просто роскошь».

Секретарь чуть заметно улыбается, слушая эти жалкие слова. Он прикрывает рот рукой. Видно, реплики кажутся ему не очень умными. Потом он решает вставить свое слово.

«С тех пор как началось это дело с калькомитом, сэр, мы слишком много ГОВОРИМ *о своем превосходстве».*

Министру не нравится такая формулировка. Он жестом выражает свое несогласие с ней. Появляется титр:

«Так надо для дела».

Секретарь пожимает плечами, как бы говоря, что он слишком маленький человек, чтобы спорить.

Министр поднимает голову. Кто-то входит в комнату. Министр встает. С листком бумаги в руке появляется премьер-министр. В его внешности есть что-то от четырех последних английских премьер-министров, это обобщенный английский премьер-министр. Пожалуй, в нем несколько преобладают черты Ллойд Джорджа. Премьер-министр протягивает бумагу. Оба стоят, министр иностранных дел читает:

«Бомбой убито около тридцати человек».

Они многозначительно смотрят друг на друга. Взгляд в сторону секретаря. Министр иностранных дел дает ему бумагу. Тот читает и говорит:

«Это совершенно меняет положение с калькомитом, сэр».

Премьер-министр садится. У него важный вопрос. Министр иностранных дел знаком отпускает секретаря и тоже садится. Оба деятеля сидят рядом, и вид у них конфиденциальный. Они смотрят вслед секретарю.

Премьер-министр спрашивает:

«Эту помолвку устроили американцы?»

Министр иностранных дел отвечает:

«Несомненно». Он дает еще какие-то объяснения, которые не титруются. Премьер-министра занимает другая мысль.

«Это чувство соперничества между нами и Америкой, по-видимому, неискоренимо», — жалуется он.

Оба кивают. Потом лицо министра иностранных дел проясняется.

«А что касается калькомита, то мы в выигрыше».

Премьер-министр откидывается на спинку стула. Ему не по себе. Взяв телеграмму, он смотрит на нее и кладет на стол. Он с чем-то несогласен и подыскивает слова, чтобы задать вопрос.

«Наши руки чисты в этом деле?» — спрашивает он.

Министр иностранных дел показывает обе руки, безукоризненно чистые. Оба по-прежнему настороженно наблюдают друг за другом. Министр иностранных дел сбрасывает маску. Повертев в руках пресс-папье, он задумчиво говорит:

«Ни одна страна, которая ведет политическую борьбу против другой страны, не может иметь абсолютно чистые руки».

Премьер-министр печально кивает головой. Министр иностранных дел смотрит на него и замечает:

«Все страны пользуются услугами шпионов».

Премьер-министр знает это, но он не любит, когда ему об этом говорят.

«Каждая страна, — продолжает министр, — *имеет агентов. А агенты могут нанимать других агентов».*

Премьер-министра интересуют подробности. Он чувствует себя неловко. Он утрированно разыгрывает из себя человека, ничего не знающего о таких делах. Над головами разговаривающих появляется титр:

«Агенты могут превысить инструкции».

Министр иностранных дел говорит:

«Когда я был молодым, мы в Темплдейле часто играли в «испорченный телефон». Вы знаете эту игру?»

Он объясняет. На экране у камина сидят в ряд молодые люди в вечерних костюмах. Первый что-то гово-

рит на ухо второму, второй — третьему, и так далее. Их слова появляются на экране над каждой парой и так остаются.

Канада в Америке.
Канал вы промеряйте.
Каналье поверьте.
Каналью повесьте.

По титрам видно, как эти слова переходят от одного шепчущего к другому.

И вот...

Появляется другой ряд людей, впереди благородный министр иностранных дел, за ним цепь агентов, чиновников, сотрудников секретной службы, агентов-иностранцев, агравийских крестьян.

Слова *«Смелая политика»* появляются и исчезают. Люди что-то шепчут друг другу на ухо. Последний в цепи колеблется, потом достает нож, встает и кричит: *«Убить!»*

У министра иностранных дел изысканные манеры, он рассказывает это, чтобы пояснить свою позицию. Премьер-министр смущен. Министр иностранных дел невозмутим. Премьер-министр осуждающе качает головой.

Премьер-министр:

«Но что же получается? Что нам даст все это? Кто унаследует трон в Клаверии?»

Министр иностранных дел:

«Есть некий принц Михель».

Премьер-министр:

«Который может жениться на принцессе Сэвии и выполнить американский план не хуже наследного принца».

Министр иностранных дел (задумчиво):

«Да. Но у покойного короля был еще один брат, который бежал в Америку из-за какой-то женщины. Его сын жив. Он имеет больше прав на престол, чем этот Михель».

Премьер-министр смотрит на своего коллегу, словно старается догадаться, давно ли тот знает об этом. Потом он начинает обдумывать сказанное. В голову ему приходит одна возможность. Он говорит:

«Если только его отец не потерял право престолонаследования».

Министр иностранных дел заверяет его, что это не так. Премьер-министр хочет получить подробные разъяснения. Министру иностранных дел явно известны подробности. Он начинает говорить о том, что его особенно интересует.

«Он ярый пацифист. Дружит с дочерью известного пацифиста Хартинга. Я навел кое-какие справки».

Премьер-министр постукивает пальцами по столу. В это время через экран проходит колонна линкоров, сначала это просто тени, потом они видны четче.

«Зачем нам с американцами вести эту бесконечную дурацкую игру друг против друга?»

И говорит, как бы отвечая на свои мысли:

«Наши соотечественники не поддерживают нас в этом».

«Их народ не хочет этого».

Министр иностранных дел размышляет над этими крамольными словами. Они противоречат его убеждениям. Королевский герб и английский национальный флаг за его спиной наплывают и видны более отчетливо. Премьер-министр и министр иностранных дел становятся прозрачными тенями, сквозь которые мы видим все то, что символизирует смысл английской политики. По обеим сторонам трубачи-гвардейцы трубят в трубы. Потом за длинной шеренгой солдат в хаки появляются города с минаретами, восточные гавани, слоны, Гималаи, австралийцы, кенгуру, верховой, сгоняющий стадо страусов — яркие образцы величия британской власти. Призраки исчезают. На экране трепещет английский национальный флаг, потом тоже исчезает. Громко и торжественно звучит гимн «Правь, Британия». Министр иностранных дел вновь появляется на экране. Он протестующе говорит премьер-министру:

«Почему существует Британская империя? Почему существует такое понятие, как держава? Зачем нам Министерство иностранных дел? Зачем все это, если не надо вести никакой игры, если «Правь, Британия» ничего не значит?»

Премьер-министр кивает, как бы говоря: «Да, да, конечно». Потом он отворачивается. Он в затруднитель-

ном положении и полон дурных предчувствий. Над головой его появляется титр, который отражает постоянное опасение партийных лидеров: *«Соотечественники нас в этом не поддерживают».* Он плотно сжимает губы и кивает головой.

На экране его озабоченное лицо, звучат заключительные аккорды музыки.

4
ПЕШКА

Музыка меняется в третий раз. Вновь исполняется марш с барабанным боем и звоном, как в прологе, но теперь он звучит мощнее, отчетливей. В то же время на экране появляются вращающиеся колеса, работающие станки. Зритель видит большой автомобильный завод. Это зрелище должно быть ярким и впечатляющим. Ритм музыки должен сливаться с ритмом работы современных механизмов.

Мы видим нашего героя Пауля Зелинку. Он в комбинезоне, работает. Его играет тот же актер, что и Человека-созидателя в прологе. Он поглощен своим делом. Работа идет по конвейеру. Он берет деталь у соседа, проделывает над ней очередную операцию и передает дальше. Он, очевидно, старший и руководит работой. Здесь он может повторить жесты и позы Человека-созидателя из вводной сцены. Камера немного отодвигается назад, чтобы показать всех рабочих. Это должны быть самые разнообразные типы, какие только возможны среди американских рабочих,— итальянец, финн, негр, рослый восточноевропейский еврей и так далее. Они работают дружно, ритмично и быстро.

Камера отодвигается до тех пор, пока рабочие не становятся маленькими фигурками в громадной панораме промышленного предприятия.

На переднем плане четыре или пять человек. Это посетители, которым показывают завод, с ними директор и его помощник. Директор говорит:

«Человек, работающий вон там,— принц Зелинка. Между ним и троном Клаверии стоят всего три наслед-

ника. Журналисты только что пронюхали об этом. Мы не знали этого, когда он к нам поступал».

Показывается крупным планом лицо директора. Он чувствует, что его слова попахивают снобизмом, и добавляет, чтобы сгладить впечатление:

«В наших платежных ведомостях он числится просто Паулем Зелинкой».

«Здесь он не принц, а просто человек».

Потом мы видим лица посетителей. Они заинтересованы.

«Его отец стал рабочим и хорошо зарабатывал. У него есть небольшой капитал, и он хочет изучить дело на практике».

Раздается гудок, и мы видим, как люди кончают работу. Зелинка покидает рабочее место, и к нему подходит Аткинс, его знакомый. Это низкорослый, худощавый человек. На лице его написано любопытство. Они идут переодеваться.

Обстановка меняется, и мы видим Зелинку и Аткинса, идущих с работы домой по улицам многолюдного американского города.

Аткинс говорит:

«Я слышал, будто ты принц, или великий князь, или что-то в этом роде. Это правда?»

Зелинка пожимает плечами. Ему не хочется отвечать. Но вот он передумал.

«Тут нет ничего особенного. Мой отец был великим князем. У него было семь старших братьев — почти всех их убрала война. Ему надоело быть великим князем. У него вышли неприятности из-за женитьбы. Невеста была, как и полагается, из благородных, но его хотели женить на другой».

На лице Зелинки появилось задумчивое выражение. В интермедии рассказывается о жизни его отца так, как это обычно принято делать в кино.

(Роль отца Зелинки должен играть тот же актер, что играет и Зелинку. Он должен загримироваться под более светлого блондина и наклеить более густые усы, сначала длинные, потом подстриженные. Он должен сделать все возможное, чтобы казаться выше, можно также надеть корсет, чтобы сохранять «заученную» осанку).

На экране — терраса, выходящая в дворцовый парк в Клавополисе, столице Клаверии. Позже мы опять вернемся к этому месту действия. Цветы. Мы видим отца Зелинки еще молодым человеком. С ним стройная маленькая жена. Оба одеты по моде 1904 года. Они взволнованно разговаривают. Подходит придворный и передает повеление явиться к королю. Отец Зелинки повинуется с явной неохотой. Он поворачивается к жене и обнимает ее.

Потом мы видим величественный зал в Клавополисском дворце и почтенного монарха в военном мундире. Он сидит. Тут же группой стоят придворные. Они молча ждут. Входит отец Зелинки. Король принимает его холодно и, видно, строго отчитывает. Отец Зелинки угрюмо слушает короля и отрицательно качает головой. Тогда король бранит его. Нарушая этикет, он отвечает. Они яростно спорят. Старый монарх приказывает арестовать сына. Его берут под стражу.

Потом в нескольких коротких сценах показывается его побег из тюрьмы и отъезд в Америку.

Так же коротко зрителям показывают, например, как катер отходит от лайнера и направляется к Эллис-Айланду, или как беглецы идут по Эллис-Айланду, или как проверяют их паспорта. Потом путь от Эллис-Айланда до Нью-Йорка. Мать героя умирает в номере дешевой гостиницы (моды 1905 года), отец работает на каком-нибудь промышленном предприятии по выбору продюсера.

Потом отец и маленький Пауль (ему пять лет) бредут по длинной дороге (1910 год).

Потом отец в рабочем комбинезоне ремонтирует в собственном гараже автомобиль модели 1912 года (отец одет по моде 1912 года). Позже дела отца идут в гору. Он уже сидит в конторе и надзирает за какими-нибудь работами. Судя по его манерам, он лицо важное. Он отдает распоряжения подчиненным. Входит Пауль, мальчик девяти лет (1914 год).

Картина эта бледнеет, и снова видны Зелинка и Аткинс, идущие по вечерней улице. Зелинка смотрит прямо перед собой и рассказывает. Аткинс слушает его настороженно, он похож на крысу.

Зелинка говорит:

«Только после смерти отца я узнал его судьбу и свое настоящее имя».

Он замолкает, и на экране проходят его воспоминания. Теперь ему шестнадцать лет. Его отец лежит на смертном одре, рядом он сам, склонившийся над бумагами. Потом он молча смотрит на застывшее лицо отца. Оглядывается с виноватым видом, будто стыдится своих чувств, и целует отца в лоб.

Эта сцена резко обрывается, и на экране вспыхивают белые буквы:

«И вот я...».— Дальше, как обычно, черные буквы на белом фоне:— *«начал с самых низов, как и полагается хорошему гражданину».*

Вновь появляются фигуры разговаривающих. Перекресток, впереди городской парк. Аткинс и Пауль останавливаются, им пора расставаться.

Аткинс говорит:

«Ты рассказал мне замечательную историю. Ты не против, если я напишу статью для «Диспэтч?»

Зелинка протестует:

«Но ты же не журналист!»

«Я хочу стать журналистом точно так же, как ты хочешь стать промышленником. Я начинаю с самых низов, как и полагается хорошему гражданину».

После небольшого спора, в котором Аткинс добивается своего, они расстаются. Зелинка с досадой машет рукой и смотрит Аткинсу вслед. Потом он медленно идет в другую сторону. Рядом, как огромная тень, появляется его отец, потом он уменьшается почти до нормального роста. Положив Паулю руку на плечо, он говорит ему:

«Забудь, что ты принц. Пусть все забудут об этом. Забудь Старый Свет. Начинай... простым человеком... в Новом».

Зелинка все больше и больше жалеет о своей откровенности с Аткинсом. Фигура отца исчезает, а сын так поглощен своими мыслями, что не замечает хорошенькой девушки, которая в небольшом автомобиле медленно едет рядом с ним и старается привлечь его внимание.

Она особенно резко нажимает клаксон, Зелинка поднимает голову и, увидев ее, здоровается.

Она подъезжает вплотную к тротуару, и он разговаривает с ней, поставив ногу на подножку. Они, по-

видимому, друзья, но, судя по всему, между ними нет близких отношений.

«Не опаздывайте на лекцию моего отца».

Он смотрит на часы. Обещает быть на лекции. Они разговаривают. Она замечает его задумчивость и спрашивает, что случилось. Он говорит, что ничего не случилось, абсолютно ничего, но она продолжает расспрашивать.

«Я, как дурак, рассказал о своем отце человеку, который оказался журналистом. Он побежал записывать мои слова и, если я не догоню и не убью его, напишет статью. Наверно, он назовет меня принцем Зелинкой или великим князем Зелинкой... и что тогда делать в Стилвилле Паулю Зелинке, гражданину мира?»

Она пытается успокоить его, но он полон дурных предчувствий.

«Разговаривая с этим журналистом, я будто вновь увидел своего отца. Он снова и снова повторял мне: «Ты принадлежишь к Новому Свету, миру человеческого единства, по праву рождения. Старый Свет — это разобщенность и война, это — незаслуженно высокое положение, это — рабство без надежды, это мир косности и упадка».

Она смотрит ему прямо в лицо. Над ними титр:

«Я ненавижу титулы, которые мне хотят навязать».

Снова появляется парк Клавополисского дворца, но он показан искаженно. Это изображение накладывается на фигуры разговаривающих Пауля Зелинки и Маргарет. Придворные еще здесь, но фигуры их гротескно искажены. Старый король в ярости. Он показывает на Пауля, словно повелевает ему вернуться. Похожий на злого гнома, появляется Аткинс с блокнотом в руке. Придворные хватают Пауля и пытаются напялить на него мундир. Над ними появляются титры:

ПРИНЦ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ, ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ...

Тут же бурлит большая толпа франтоватых американцев, подстрекаемая Аткинсом. Пауль отбивается от нелепых людей. Они с Маргарет оказываются действующими лицами этой воображаемой сцены. Он хватает Маргарет за руку, и они пробиваются, скользят через все это нагромождение традиционной парадности на

чистое место. Появляется крытый старинный фургон, они карабкаются на него и уезжают. Удаляясь, он едет по широкой равнине. Его преследует грозная туча, принимающая облик вооруженного человека. На светлом, чистом горизонте вырастают здания и башни великолепного города мечты, к которому теперь уже едва видный фургон держит путь. Но черная туча затягивает все небо и заслоняет перспективу. На экране, на черном фоне появляется титр:

«Я боюсь Старого Света».

Потом мы вновь видим Маргарет и Пауля, которые серьезно разговаривают у машины.

Ей приходит в голову мысль. Она касается Пауля рукой, словно хочет привлечь его внимание.

«А вы уверены, что именно Америка — Новый Свет? Неужели ваш отец действительно так думал? Мой отец говорит, что Новый Свет повсюду, как и Старый. Новый Свет пробуждается не только здесь, но и в Индии, и в Ангоре, и в Берлине, и в Москве. Вот что говорит мой отец».

Да, над этим стоит подумать. Пауль смеется.

«Ну, Аткинс натравит теперь на меня весь Старый Свет, если только кто-нибудь напечатает его статью».

«А может быть, ее не напечатают!»

Она улыбается. Некоторое время оба молчат. Их сковывает робость. Она смотрит на часы и заводит мотор.

«Не опаздывайте на лекцию».

Снова небольшое смущение, столь характерное для зарождающейся любви. Потом он делает шаг назад и смотрит вслед автомобилю.

5

ДОКТОР ХАРТИНГ ЧИТАЕТ ЛЕКЦИЮ О ПРИЧИНАХ ВОЙНЫ

На экране аудитория в Стилвилле, в которой доктор Хартинг читает свою лекцию о причинах войны.

Этот пожилой, видный американец высок и худ. Он чем-то похож на ректора Гарвардского университета Элиота. Заглядывая в свой конспект, он надевает очки, а когда говорит, держит их в руке, то и дело постукивая

ими по бумагам. Он стоит на кафедре. Позади висят диаграммы, сначала плохо видные. За столом сидит председатель собрания. Сцена снята снизу вверх, чтобы доктор Хартинг как бы возвышался над собравшимися, словно высокий нос корабля.

Сначала мы видим Зелинку и Маргарет, сидящих в первом ряду, а потом и прочих слушателей. Здесь же присутствует враждебно настроенный Человек-разрушитель и несколько ничем не примечательных и шумных людей.

Лектор говорит:

«Не думайте, что мир на земле можно сохранить с помощью одних только резолюций. Угроза войны будет существовать до тех пор, пока существуют национальные флаги, национальное соперничество, национальная вражда».

Человек-разрушитель кричит с места:

«Предатель!»

А пожилой джентльмен рядом с ним говорит:

«Моя страна всегда права!» — И взволнованно оглядывается, ожидая, что его поддержат.

Поднимается человек средних лет и, указывая на лектора, говорит:

«Вы делаете слишком поспешные и далеко идущие выводы».

На экране снова лектор.

Сначала мы видим только, как он жестикулирует. Потом он говорит:

«Вот вам яркий пример. Конфликт из-за калькомита».

Он берет указку. Отчетливо видна та необычная географическая карта, которую зритель уже видел. Указка лектора движется по ней.

«Здесь, в Агравии, сосредоточены самые крупные в мире залежи калькомита».

Он начинает не торопясь излагать свои доводы.

«С появлением новых технологических процессов калькомит стал жизненно необходим для всех металлургических предприятий мира... но только у англичан есть собственные разработки в Южной Африке и Малайе».

Аудитория усваивает это не сразу. На лицах выражение неудовлетворенного интереса. Лектор делает паузу и продолжает:

«Имеет ли право обладательница калькомита Агравия, вошедшая в сговор с Англией, играть роль собаки на сене?»

У слушателей нет единого мнения.

Человек-разрушитель вскакивает:

«Если для нас этот калькомит жизненно важен, то мы имеем право взять его».

Другие его поддерживают.

Коротышка в очках, обращаясь к залу, запальчиво говорит:

«Мы не можем допустить, чтобы нашу национальную промышленность задушили из-за геологической случайности».

Разгорается спор. Здесь к музыкальному сопровождению присоединяются голоса, записанные на граммофонных пластинках. В музыку не очень громко вплетаются фразы:

«Права наций», «Простая справедливость», «Здравый смысл», «Священный эгоизм великого народа» и тому подобное.

Лектор ждет, когда станет сравнительно тихо.

«Как разрешить подобную проблему в сегодняшнем мире?»

Снова встает Человек-разрушитель и, взмахнув рукой, кричит:

«Пусть англичане откажутся от этого калькомита!»

Аплодисменты, сквозь музыку слышны крики одобрения. Наивный коротышка расстроен. Видно, как он пытается привлечь внимание лектора.

«Но ведь Пакт Келлога поставил войну вне закона».

Лектор не расслышал, машет ему, чтобы он повторил, а потом, поняв, отвечает, подняв тонкий палец:

«Но Пакт Келлога нисколько не поможет нам разрешить проблему калькомита! И любую другую проблему».

Сосед расстроенного простака хлопает его по плечу и говорит:

«Пакт Келлога не остановил постройку ни одной подводной лодки. Если бы это было выгодно, мир разоружился бы».

Человек-разрушитель выкрикивает:

«Пусть европейцы не становятся на нашем пути, или им будет худо».

Он явно пользуется горячей поддержкой возбужденных людей, сидящих рядом с ним. Он находит слова для выражения их чувств. «Вот это правильно» — написано на их лицах. Своими криками они заставляют замолчать простака.

Длинный палец лектора направлен на Человека-разрушителя.

«А как же быть с национальными правами Агравии?»

Человек-разрушитель отвечает:

«Прежде позаботимся о своих национальных правах!»

Многие явно на его стороне. На экране развевается американский флаг. Потом появляются контуры военных кораблей. Все это бледнеет и становится почти невидимым, а лектор переходит к своему основному тезису.

«Кроме войны, есть и другое решение вопроса».

Этот титр остается на экране, а потом появляется объяснение:

«Международный контроль над распределением калькомита».

И потом...

«И всех полезных ископаемых».

Слушатели смотрят друг на друга, словно спрашивают: «Возможно ли это?» А потом Человек-разрушитель, стараясь привлечь колеблющихся на свою сторону, кричит:

«Это неосуществимо!»

Он вытягивает вперед руки, пальцы его изогнуты, как когти. Его фигура растет и заполняет собой весь экран. Черный, зловещий, он оглушительно кричит:

«Это значит пожертвовать своей независимостью!»

Видны лица Маргарет и Пауля, которые внимательно следят за происходящим, а потом и лица других людей, размахивающих руками. Нужно, чтобы зал казался очень большим и как бы символизировал собой встревоженное человечество.

На экране группы представителей различных наций — немцы, склонные согласиться с лектором, итальянцы с флажками, англичане и ирландцы, множество национальных типов. На фоне спорящей аудитории по-

являются следующие титры, дублируемые граммофонной записью:

«Разве Англия согласится на такое?»

«А что скажет Агравия?»

«Каждая страна имеет право безраздельно распоряжаться своими недрами».

«Мы попадем в затруднительное положение».

«Джордж Вашингтон говорил, что мы не должны идти ни на какие компромиссы с ними!»

«Но нам нужен калькомит!»

«Нам нужен калькомит!»

«Без калькомита мы придем в упадок!»

«У нас будет три миллиона безработных».

«Война».

Лектор возвышается над сумятицей, прямой и непоколебимый. И вот он снова начинает говорить:

«Поскольку у нас нет международного контроля, поскольку вы говорите, что установить его невозможно, позвольте мне привести вам наглядный пример того, как проблема калькомита служит причиной интриг и напряженных отношений между Клаверией и Агравией».

Он снова оборачивается к карте и указывает на нее длинной рукой.

«Пока мы подписываем мирные договоры, которые практически ничего не значат, договоры, которые ни одна страна не осмеливается подкрепить реальным разоружением, Агравия с ее калькомитом представляет собой бомбу, угрожающую миру на земле».

На экране лицо Пауля. Он серьезен и внимателен.

6

НОВОСТЬ ПРЕДАЕТСЯ ГЛАСНОСТИ

Фасад Мэсоник-Холла в Стилвилле перед концом лекции. Афиши, объявляющие о том, что доктор Хартинг прочтет лекцию о причинах войны. Смутно видны афиши каких-то концертов. Выходит служитель и разговаривает с полицейским.

Проходят мальчишки-газетчики с объявлениями и остатками нераспроданных газет. Все занимаются обычным делом. Но вдруг подъезжает на мотоцикле человек

со свежими выпусками газеты «Стилвилл диспэтч», и это вызывает суматоху. Сначала зрители не видят заголовков, но в газете, по-видимому, есть экстренное сообщение. Мальчишки толкаются, стремясь захватить побольше газет. Возбужденные, они рассыпаются в разные стороны. Один из них остается, и полицейский со служителем читают новости.

Видна газета.

Зрители читают:

«Ужасное преступление. Взрыв бомбы в Клавополисском соборе. Король Клаверии убит, наследный принц при смерти».

Служителя зовут, он уходит, появляются другие служители. Двери распахиваются. Расходятся люди, слушавшие лекцию. Многие спорят на ходу. На экране большая толпа, растекающаяся по улице, потом боковой вход Мэсоник-Холла. Последними выходят Пауль, Маргарет и доктор Хартинг. Они все еще говорят о лекции и прениях. Потом Пауль слышит слово «Клаверия». Он покупает газету.

Все трое крупным планом. Они ошеломлены, так как понимают, что новость непосредственно относится к Паулю.

Потом мы видим газетные столбцы с экстренным сообщением, напечатанным немного вкось.

«Сегодня вечером, во время торжественной службы по случаю дня рождения короля, в переполненном Клавополисском соборе взорвалась бомба. Пострадали сотни людей. Король и принц Отто убиты на месте, а наследный принц опасно ранен. Господин Бакстер, американский дипломатический представитель в Клаверии, получил легкую контузию. Остальные американцы невредимы».

Пауль передает газету доктору Хартингу и стоит, ошеломленный, глядя прямо перед собой. Доктор Хартинг кивает, словно говоря: «Этого и следовало ожидать». Он медленно оборачивается к Паулю. Маргарет тоже смотрит на Пауля; она поражена волнующей новостью и уже представляет себе ее последствия. Пауль постепенно преображается. Он словно ожесточился, выражение лица и движения его решительны, как у человека, которому предстоит нелегкое дело. Он поворачи-

вается к Маргарет и, показывая на газету, которую держит доктор Хартинг, говорит:

«Видите, как Старый Свет преследует нас!»

Она говорит неуверенно:

«Наследный принц может. выжить».

Доктор Хартинг больше думает о новой обстановке, чем о судьбе Пауля.

«Кто инспирировал этот взрыв?»

Потом обращается к Паулю:

«Что вы намерены делать?»

Пауль машет рукой, как бы говоря: «А что поделаешь!»

Лицо старика, и над ним титр:

«Вы станете королем!»

Пауль решительно качает головой.

Старик считает, что отречение от престола сопряжено с трудностями.

«Должен же кто-нибудь занять освободившееся место».

Пауль все еще не соглашается. Маргарет смотрит то на одного, то на другого.

Они стоят на лестнице. По улице бежит Аткинс. Он узнает Пауля, но с разбегу проскакивает мимо. Потом он бросается к Зелинке, хватает его за руку и умоляюще шепчет:

«Это величайшая сенсация моей жизни! Ради бога, до завтрашнего вечера никому не говорите, где вы будете и кто вы такой. Сохраните это для меня. Я сделаю карьеру. Получу тысячу долларов. Две тысячи».

Он неистово жестикулирует. Получает неопределенное согласие и уходит. Зелинка и Маргарет медленно спускаются по лестнице Мэсоник-Холла, доктор Хартинг отстает. На экране двое. Пауль уже принял решение.

«Я должен исчезнуть из Стилвилла».

Он шарит в кармане.

«Я должен успеть на ночной поезд в Балтимор».

Она спрашивает:

«Что вы хотите сделать?»

«Исчезнуть. Но не для вас! Убежать от вцепившейся в меня Европы».

Старик вмешивается. Он похлопывает Пауля по плечу и говорит, что этого делать не следует.

«Во всяком случае, я должен подумать».

Старик соглашается, что это правильно.

На экране — редакция газеты «Стилвилл диспэтч», мы видим Аткинса, который добивается приема у редактора, чтобы рассказать ему про свою сенсацию. Сделать это не так-то просто.

Место действия меняется. Ночь. Длинная белая стена, освещенная электрическими фонарями. Аткинс ведет нескольких фоторепортеров к дому Зелинки. Проходят трое или четверо. Потом их бегом догоняет еще один, запоздавший.

Аткинс со своим отрядом появляется перед дверью дома, где живет Зелинка, и разговаривает с привратником.

«Нет; еще не пришел!»

Аткинс и фоторепортеры совещаются. *«Но почему его нет?»* Все удивлены. Они ждут. Фоторепортеры решили установить дежурство. Приходит еще один репортер. Аткинс в растерянности, на его глазах дело перехватывает более опытный журналист. Пришедший высказывает предположение:

«Быть может, он испугался гласности и удрал. Вы послали людей на вокзал?»

Аткинс, которому и в голову не приходило, что Зелинка может испугаться гласности, совершенно посрамлен.

На экране улица в Стилвилле на рассвете; длинные тени; встает солнце; по мостовой идет бродячий кот. Дом Зелинки. Возле него задремавшие фоторепортеры. Один из них просыпается, зевает и озирается.

7

ПЕШКА ХОДИТ

Крупно: обыкновенный американский телеграфный бланк.

«Маргарет Хартинг, 326, Уильямз-эвеню, Стилвилл.

Глубочайшем затруднении. Острая необходимость поговорить посоветоваться. Стилвилле невозможно из-за газетчиков. Вашингтонские газетчики тоже настороже. Нельзя ли встретиться где-нибудь кроме Стилвилла и

Вашингтона. Простите сумасшедшую просьбу. Не мог связаться вами по телефону. Пауль, отель Баучерз, Балтимор».

Крупно: ответная телеграмма.

«Паулю, отель .Баучерз, Балтимор.

Позвоните мне стилвиллский женский клуб завтра после десяти пообедаем каком-нибудь тихом ресторанчике Балтиморе. Маргарет».

Ресторанчик в Балтиморе. Мы видим посетителей и официантов, а потом — Пауля и Маргарет, сидящих рядом. Они уже пообедали и теперь разговаривают. Камера направлена на Пауля.

«Я думал, что убежать от всего этого будет легко. Но не тут-то было».

Поясняя свою мысль, он смотрит прямо перед собой. Над ним появляется титр: *«Переменить имя. Исчезнуть. Начать все сначала».*

Теперь Пауль смотрит на Маргарет. Следующие две фразы следуют одна за другой, причем первая остается на экране вместе со второй:

«Это не только трудно».

«Это было бы позорным бегством».

Маргарет соглашается. Втайне она думала то же самое. И теперь она может сказать ему кое-что. *«Мой отец говорит, если вы чувствуете себя обыкновенным человеком, откажитесь. Никто не может заставить вас вернуться. Но...»*

Следующие слова появляются не сразу.

«... если у вас хватит смелости, действуйте».

Да, у Пауля начинает созревать именно эта мысль. Но по некоторым причинам ему трудно высказать ее. Теперь он решается рассказать Маргарет о том, что он уже сделал.

«Я побывал в клаверийском посольстве в Вашингтоне».

Она рада, что он не просто скрывался, и в то же время ей грустно. Он продолжает рассказывать, и зрители видят все это на экране.

Здание клаверийского посольства. Над ним большой флаг с изображением леопарда, стоящего на задних лапах. У двери в раздумье останавливается Пауль. Потом он берется за ручку. Кабинет господина Каймарка,

посла Клаверии в Вашингтоне. На столе виден большой портрет покойного короля. Это не старый король — дедушка Пауля, это дядя Пауля. У него должны быть фамильные черты, он очень похож на Пауля.

Над камином что-то вроде щита с изображением вставшего на дыбы леопарда. Этот леопард во всем фильме будет символом клаверийского национализма. В сущности, это символ всякого национализма. (Смотри примечание в конце этой главы.)

Секретарь господина Каймарка разбирает почту на столе своего шефа. Господина Каймарка еще нет. За маленьким столиком сидит машинистка. Она читает газету.

В кабинет входит господин Каймарк, невысокий, живой, с умным лицом. Типичный восточно-европейский дипломат.

«*Сколько еще объявилось Паулей Зелинок?*»

Секретарь протягивает шесть писем. Одно из них, как ему кажется, может позабавить шефа. Он показывает Каймарку письмо, и оба они, читая, смеются. Входит служитель в ливрее и подает карточку. Господин Каймарк удивлен. Это уже что-то новое. Он протягивает бумагу секретарю, желая узнать его мнение.

Зрители видят обычный бланк — просьбу о приеме, отпечатанную типографским способом. Пробелы заполнены от руки. Сверху гриф: «Клаверийское посольство» и национальный герб — все тот же вставший на дыбы черный леопард на щите, поддерживаемом какими-то геральдическими тварями.

Имя и фамилия: *Пауль Зелинка.*
Цель посещения: *Посоветоваться с господином Каймарком относительно будущего династии.*

Господин Каймарк говорит: «*Ну и смельчак! Не побоялся явиться самолично*».

Молча переглянувшись с секретарем, Каймарк оборачивается к служителю и говорит: «Просите его».

Служитель уходит.

Машинистка задумалась. Появляется титр:

«*Наверно, сумасшедший*».

Ждут. Скептическое выражение лиц. Все думают о том, что, в общем, шансы на стороне самозванца.

Дверь открывается, и Пауль Зелинка останавливается на пороге.

Все трое молча смотрят на вошедшего, и по выражению их лиц видно, что их поразило его сходство с королевским портретом, на который они переводят взгляды. Пауль входит в кабинет. Он спрашивает: *«Я говорю с послом господином Каймарком?»*

Господин Каймарк кивает. Он уже отказывается от своих подозрений, он почти верит и держится почтительно. Они стоят лицом к лицу. Пауль Зелинка бросает взгляд на подчиненных господина Каймарка. Тот жестом отпускает их.

Когда дверь закрывается, господин Каймарк говорит: *«Вы пришли, чтобы заявить свое право называться принцем Паулем Зелинкой?»*

«Я пришел посоветоваться с вами».

Все еще рассматривая посетителя, господин Каймарк жестом предлагает ему сесть около портрета короля. Пауль садится, его взгляд падает на портрет, он все понимает и улыбается. Бессознательно Каймарк остается на ногах перед сидящим посетителем. Прежней недоверчивости нет и следа, он очень серьезен.

«Сэр, вы пришли, чтобы заявить претензии на очень высокое положение».

Зелинка пожимает плечами.

«Кажется, я следующий по старшинству после моего двоюродного брата Отто».

Каймарк испытующе смотрит на него. Потом берет и снова кладет на стол шифрованную телеграмму. После секундного колебания он решается сказать:

«Сэр, он скончался. Если вы тот человек, за которого вы себя выдаете, то теперь вы король Клаверии».

Пауль задумывается.

«Если только я захочу им быть».

Каймарк возражает — ведь факт налицо. Пауль говорит: *«Никакая сила на свете не может заставить меня вернуться в Клаверию, если я сам этого не захочу».* Каймарк не ожидал такого оборота, и это видно по нему. Пауль продолжает: *«Прежде чем я приму решение, мне хочется, чтобы вы поподробнее рассказали о моем положе-*

нии. Кстати, вот документы, удостоверяющие мою личность. Думаю, они вас удовлетворят».

Он достает бумаги, просматривает их и вручает Каймарку. Тот читает бумаги. Они производят на него сильное впечатление, и он преисполняется глубочайшего почтения к персоне, сидящей перед ним. Он перебирает документы, потом ему в голову приходит неожиданная мысль.

«Ваше величество... вы, наверное, говорите по-клаверийски?»

Пауль отвечает: *«Отец немного учил меня. Я не могу говорить бегло... Дайте мне газету или книгу».*

Зелинка читает вслух Каймарку, а тот одобрительно кивает. Потом Зелинка довольно легко и правильно переводит.. Это продолжается несколько секунд. Зелинка углубился в книгу. Каймарк переводит взгляд с Пауля на портрет, а потом на свой стол. Он думает о создавшемся положении, а Зелинка по-прежнему поглощен книгой. Мысли Каймарка возвращаются к документам, которые он держит в руке. Это, конечно, главное.

«Вы понимаете, сэр, что все эти бумаги необходимо проверить».

Зелинка кивает в знак согласия. Для этого он сюда и пришел. Каймарк нажимает кнопку звонка, и тотчас появляется секретарь. Каймарк вручает бумаги секретарю и отдает распоряжения. Секретарь записывает.

Потом секретарь говорит, что телефоны обрывают журналисты, интересуются наследником-американцем. Каймарк раздумывает.

«Нет, ничего нового о так называемом принце Пауле Зелинке мы прессе сообщить не можем».

Секретарь уходит, и Каймарк поворачивается к Зелинке. Он относится к молодому человеку с почтительной симпатией. Он объясняет, что на время прессу лучше оставить в неведении. Но тут же заявляет, что у него лично нет и тени сомнения.

Подумав, Зелинка говорит:

«Я не уверен, хочется ли мне быть королем Клаверии.

Расскажите мне, какая обстановка сложилась в моей стране. Почему мне надо вернуться туда?»

Широкая спина Каймарка закрывает почти весь экран. Он поражен. Пристально посмотрев на Пауля, он

пожимает плечами и жестикулирует. Он не может представить себе, чтобы кто-нибудь на месте Пауля отказался вернуться.

Пауль говорит: *«Мое положение трудное»*.

Каймарк замечает: *«Сэр, ваши предки никогда не останавливались перед трудностями»*.

По лицу Пауля нельзя понять, польщен он или рассержен. *«Какую пользу я могу принести, если вернусь? Что там за обстановка?»*

Каймарк жестом испрашивает у Пауля разрешение сесть. Пауль, немного смущенный этой почтительностью, кивает. Теперь они похожи на адвоката и его клиента.

Каймарк, очевидно, спрашивает, что́ Пауль знает о взрыве. Оба смотрят на портрет убитого короля. Потом Каймарк берет карту и протягивает ее Паулю. На мгновение она заполняет собою экран. Это знакомая карта, которую уже трижды показывали зрителям. Видны залежи калькомита, отчеркнутые красным. Потом мы снова видим Пауля и Каймарка, которые склонились над картой. Каймарк что-то показывает. Пауль понимающе кивает. Он спрашивает:

«Какая связь между преступным взрывом бомбы и интригами с целью монополизировать добычу калькомита?»

Этого Каймарк не знает. Но он чувствует, что все это связано между собой. Видно, что он в полнейшем замешательстве. Пауль пристально смотрит на него. Он настаивает.

«Но в глубине души что вы думаете?»

У Каймарка на этот счет нет соображений даже в глубине души. И он вспоминает о своих обязанностях:

«Однако, сэр, мы слишком торопимся. Это государственные вопросы. И пока ваша личность не установлена...»

Пауль соглашается с ним.

Каймарк передумывает.

«Но в конце концов тут нет никакой тайны. Мы считаем, что взрыв бомбы — это происки Агравии. Агравия боится союза Клаверии с Сэвией. Как вам известно, наследный принц должен был жениться на принцессе Сэвии Елене».

Каймарк достает фотографию и показывает Паулю. Тот смотрит на нее. Зрители видят фотографию и читают слова Каймарка:

«Практически она правит Сэвией. Она принцесса-регентша. Ее отец — человек... слабовольный».

Пауль говорит по-английски. Над ним появляется титр: *«Иными словами, он сумасшедший?»*

Как дипломата, Каймарка коробит от этого, но он кивает. Пауль рассматривает фотографию.

«И брак этой молодой особы мог взбудоражить весь мир!»

Каймарк считает это преувеличением. Он жестикулирует. Не надо делать таких выводов. Хотя, конечно...

«Давление на Агравию усилилось бы...»

Пауль кивает.

«Чтобы вернуть захваченный калькомит».

Каймарк видит, что его новый повелитель в смятении.

«Может быть, мы поговорим потом... Не окажете ли вы мне честь отобедать со мной?.. А тем временем изучат ваши документы...»

На экране появляется вид Клавополиса.

Эта фотография подготавливает зрителя к клаверийским эпизодам. Город очень красиво расположен на пологих склонах гор. Дома амфитеатром спускаются к морю. Они живописны, грязны и тесно лепятся друг к другу. Купол большого кафедрального собора святого Иосифа возвышается почти над всеми зданиями; стена его, обращенная к морю, богато украшена. Рядом здание, которое еще выше собора. Это королевский дворец, построенный в восемнадцатом веке. Над ним на вершине горы возвышается замок, окруженный старинными крепостными стенами, похожими на стены крепости в Люцерне. На переднем плане видны набережные, подъемные краны, суда. Собор, дворец, замок и не слишком оживленный порт — это как бы воплощение европейского государства, живущего традициями восемнадцатого века.

Вид города остается на экране несколько секунд, чтобы зрители поняли, что перед ними фотография. Потом она переворачивается, словно страница книги, и на экране уже только вид собора. (Сначала он показан боком, потом поворачивается.)

Затем показано здание парламента и городского парка. Новая страница — вид на порт и пролив. Рука Каймарка (манжета и рукав фрака) проплывает над видом, указывая не то на железнодорожную, не то на трамвайную линию.

Потом рыночная площадь в провинциальном городке, источник, красивые люди в крестьянской одежде, стоящие у повозок, запряженных быками.

«Крепкий и трудолюбивый народ, сэр».

Картинка наклоняется, и уже ясно видно, что это страница большого альбома, который Каймарк показывает Зелинке. Быстро следуют один из другим виды двух других городов и какой-то дикой горной местности. В горах неясно маячат всадники. Зрители заранее знакомятся с местом действия последней части фильма.

Альбом еще больше наклоняется, и над ним видны Зелинка и Каймарк, сидящие рядом. Потом страница переворачивается, и совершенно отчетливо видно, где все это происходит. Вечер. На часах четверть двенадцатого. Зелинка и Каймарк во фраках, они вместе пообедали и теперь сидят в клаверийском посольстве. Видно, что Каймарк любит хорошо пожить. На столе кофе, бутылки с вином и ликерами, сигары. На другом столе беспорядочно навалены фотографии, карты и всякие бумаги. Комнату украшает большой портрет покойного короля. На столе в рамке — портрет сэвийской принцессы Елены. Каймарк показывает Зелинке фотографии и рисунки.

Пауль говорит: *«Ну, теперь я начинаю понимать обстановку. Как вы думаете, что я должен делать, если вернусь?»*

Каймарк отвечает: *«Мне кажется, вам посоветуют придерживаться традиционной политики Клаверии».*

Пауль: *«Вы хотите сказать — объединиться с Сэвией и обрушиться на Агравию? А калькомит отдать нашим друзьям? Быть орудием в руках хозяев американской металлургической промышленности?»*

Каймарк жестом выражает свое неодобрение столь недипломатической резкости. *«Они не очень сожалели бы, если увидели, что наши два государства объединились».*

Пауль: *«Я против войны, из-за чего бы и где бы она ни была».*

Каймарк: *«Право на корону после вас принадлежит принцу Михелю. У него совсем другая точка зрения».*

Пауль: *«Я могу прекратить все это».*

Каймарк: *«Дорогой ценой. И рискуя своей головой. Конечно, если вы оставите Агравию в покое, то это будет на руку англичанам. Но не понравится нашим здешним друзьям».*

Пауль кивает. Он понимает это. Он продолжает задумчиво кивать...

На экране снова Пауль и Маргарет, сидящие в балтиморском ресторанчике.

Пауль поворачивается к Маргарет. Так, говорит он, обстоят дела.

«Если я вернусь... если я начну военные действия, может снова разгореться пожар мировой войны. Если я добьюсь мира, то помогу задушить большую отрасль промышленности.

Я как монета, которую бросают два игрока».

Она думает над его словами, ее руки лежат на столе.

«Пауль, а что произойдет, если вы откажетесь ехать?»

Пауль не знает. Он задумывается.

Словно призрак, рядом с ним появляется человек, с которым мы потом познакомимся поближе. Это принц Михель Зелинка.

«На трон сядет мой двоюродный брат принц Михель. Он опасный и вероломный человек. Мне кажется, Каймарк боится его. Он, несомненно, женится на сэвийской принцессе и начнет войну».

«Пауль, а разве нет другого выхода?»

Пауль снова глубоко задумывается.

«Можно найти выход, если поехать туда... Быть может, договориться с Агравией и получить калькомит без войны?»

Маргарет кивает. Пауль спрашивает:

«Ваш отец тоже так думает?»

Именно это отец и говорил ей. Им обоим ясно, что надо ехать. Худой и высокий, над ними появляется отец Маргарет. Его фигура, сильно увеличенная, возвышается над молодыми людьми. Над ним появляется надпись:

«Если ты смел... поезжай!»

Старик начинает говорить и постепенно исчезает, а на его месте появляются слова:

«Пауль должен ехать. У него передовые взгляды. Он возьмет Новый Свет с собой в Клаверию».

Вновь появляются Пауль и Маргарет, сидящие в ресторанчике, и над ними огромная фигура старого профессора.

«Но если он потерпит неудачу!.. Если его убьют!..»

У старика лицо пророка. Он слегка улыбается и медленно покачивает головой.

«Разве в этом дело?

Он должен ехать.

Он должен сделать все, что может».

Выражение его глаз становится таким, какое бывает у провидцев.

«Что значит жизнь или смерть одного человека, когда решается судьба всего человечества?»

Старик исчезает, Пауль и Маргарет остаются. Они испытующе смотрят друг на друга. Должен ли Пауль ехать?

И снова он как бы видит — оба они двигаются на запад через равнину, которая была показана во время первого разговора Пауля и Маргарет. Но теперь они, сгорбившись, идут пешком, а не едут в фургоне. Маленькие фигурки, видные издалека. А еще дальше сверкает город Нового Света, но на Пауля и Маргарет налетает черная туча косности и скрывает от них город. Становится почти темно — это вихрящаяся грозовая темень. На экране появляются небольшие фигурки Пауля и Маргарет, во время грозы они потеряли друг друга. Ветер гонит ее назад, а он, размахивая руками, спешит за ней.

И снова они сидят за столом, а позади них постепенно бледнеют последние кадры.

«Вы думаете, я на самом деле смогу что-то сделать, Маргарет? Смогу успешно бороться против наследия войны?»

Она в этом уверена. Пауль смотрит на ее решительное, спокойное лицо и берет ее руку.

«Маргарет, поедем вместе, помогите мне. Я уверен, что ехать надо. Но я боюсь этого Старого Света, который породил меня. Он в моей крови. Поедем!»

Маргарет не теряет самообладания. Она качает головой и пытается улыбнуться.

«Вы возвращаетесь королем».

Его жест говорит: «Будь проклята эта королевская доля!»

«Что подумают клаверийцы, если вы привезете с собой дочь американского профессора? И как мне оставить отца?»

Он умоляет. Она отказывается. Над их головами вспыхивают и гаснут слова: *«Вы будете моей королевой».* Уже сами слова говорят о несбыточности этого.

«Вы должны ехать один»,— говорит она.

Он спрашивает: *«Но неужели я вам безразличен? Неужели вы можете вот так отпустить меня?»*

Она смотрит на него — во взгляде ее страдание. Он понимает, что слова его жестоки. Она плачет, но очень тихо, сдерживаясь. Он говорит: *«Дорогая, простите меня!»* — и сжимает ее руку. Оба понимают, что пришло время разлуки. Он должен идти своим путем и осуществить свои замыслы, а она своим. Они сидят, ее рука в его руке. Впечатление от этой сцены будет зависеть от игры актеров. Маргарет первая встает и нарушает молчание:

«Благоразумнее всего было бы расстаться сейчас».

Они стоят неподвижно, думая о своей судьбе. Потом Пауль делает знак гардеробщику, и тот приносит плащ Маргарет. Пауль берет его и медленно и очень ласково накидывает на Маргарет. Они понимают, что это в последний раз в жизни.

Фон, на котором разыгрывается эта сцена,— интерьер ресторанчика, темнеет.

Маргарет протягивает Паулю обе руки, и он берет их. Она пытается улыбнуться, потом становится очень серьезной.

«Прощай, дорогой мой. Дорогой мой... да поможет тебе господь избежать войны».

Потом на экране появляется только одно слово: *«Дорогой!»*

Ее лицо обращено к зрителям. Он прижимает ее руки к своей груди, потом наклоняется и целует их.

Те же черные тучи, которые скрыли город Нового Света, теперь проносятся по экрану и скрывают от зрителей Пауля и Маргарет.

Тучи уносятся, появляется кабинет Каймарка в здании клаверийского посольства и сам Каймарк, который встает при виде вошедшего Пауля.

Пауль подходит к нему. Выражение его лица серьезное и решительное.

«Я еду», — появляется надпись над его головой.

Каймарк низко кланяется.

Герб Клаверии, увенчанный короной, теперь сдвигается со своего места над камином и наплывает на зрителей. Стоящий на задних лапах леопард заполняет собой весь экран.

Конец первой части фильма.

ПРИМЕЧАНИЕ

КЛАВЕРИЙСКИЙ ЛЕОПАРД

Для сцен, происходящих в Клаверии, художник должен нарисовать геральдического леопарда с короной и когтистыми лапами. Изображение его встречается на щитах, украшениях, монетах, мундирах и так далее. Это чванное злобное животное является символом национализма. Его длинный извилистый язык высунут, зубы оскалены.

Это животное изображено также на национальном гербе.

Знамя Пауля, королевский штандарт Клаверии, представляет собой белое полотнище, разделенное на четыре квадрата широким крестом. В левом верхнем квадрате — леопард, обрамленный лавровым венком.

Флаг михелистов серый, с черным леопардом, занимающим почти все полотнище.

Рисуя агравийского василиска, которого можно видеть на некоторых пограничных столбах, художник может фантазировать как ему угодно. Василиск, однако, должен быть очень злобным и глядеть в сторону, противоположную той, в которую глядит клаверийский леопард.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

(Вторая часть фильма)

ПЕШКА ПРОДВИГАЕТСЯ

1

ПРИМЕЧАНИЕ О МУЗЫКЕ

Уже в первой части фильма сразу же за обычным вступлением музыка должна подготавливать события следующих частей. Необходимо написать характерный клаверийский национальный гимн. Он вплетается в музыку первой части. (Когда Каймарк сомневается в притязаниях Пауля, надо, чтобы звучали трубы.) Теперь приходит время для серьезной музыки в манере Берлиоза, музыки, в которой разыгрывается фантазия композитора. В музыке, сопровождающей сцены коронации, должно быть много колокольного звона, квазирелигиозной настроенности и металлических нот патриотических маршей; Берлиоз просто необходим для создания музыкально-зрелищного фильма, и очень жаль, что мы забываем о нем.

2

КОРОЛЬ КЛАВЕРИИ

Вторая часть фильма начинается с вида большой площади перед главным входом клавополисского собора святого Иосифа. Лестница ведет вниз, на площадь. (Это место мы уже видели на фотографии в первой части. Теперь оно показано сверху. Художник должен иметь в виду, что это не просто собор в столице какой-нибудь Руритании[1]. Клаверия символизирует европейский мо-

---

[1] Вымышленное королевство в центре Европы, где происходит действие романа английского писателя XIX века Энтони Хоупа «Узник Зенды».

нархический строй и воинствующий национализм. Художник может не смущаться масштабами.)

Раннее утро. Солнце стоит низко, тени длинны. Площадь украшена шестами, с которых свисают черные и цветные гирлянды. Фасад собора задрапирован черным, рабочие еще возятся с драпировкой.

По краю площади пастухи гонят стада коз; появляется запряженная волами повозка с грузом. Потом еще пара волов. Празднично разодетые крестьяне, приехавшие в город, останавливаются поглазеть на собор и гирлянды. Играют дети. Зеваки собираются у лестницы собора. Полиция наводит порядок.

Ту же площадь мы видим в более поздний час. Больше света, тени короче. Собирается народ. На площади расставлена военная охрана. Конная и пешая полиция. Какой-то важный чиновник отдает распоряжения. Очевидно, город готовится к большому событию.

Теперь на экране та сторона площади, где она смыкается с бульваром. Конечная остановка трамвая. Из трамваев выходят люди, приехавшие, чтобы заранее занять места на площади. Полицейские показывают, куда им пройти. Камера возвращается к собору.

Мощный автомобиль врывается на площадь, пренебрегая правилами движения. Он останавливается. Внимание сосредоточивается на сидящих в нем людях.

Главный среди них — Михель Зелинка, лидер патриотической партии Клаверии. Он похож на других представителей династии Зелинок, но более смугл и очень уродлив. Он худ и высок, немного сгорблен, но лицо у него умное, волевое и злое. На нем гусарский мундир, на ташке изображение клаверийского леопарда. С ним два гусарских офицера и Человек-разрушитель, зловещая личность, по-видимому, наперсник Михеля Зелинки.

Принц Зелинка что-то спрашивает у полицейского офицера. Тот отвечает, отдавая честь. Автомобиль уезжает.

Камера следует за машиной по извилистой улице. Улица украшена. Транспарант: «Добро пожаловать, наш король». Люди, собирающиеся поглазеть на зрелище, шарахаются от автомобиля. Он останавливается у красивого портала старого дома. Все выходят, дверь открывается и закрывается за ними.

Видна большая комната, почти пустая, украшенная черными гирляндами. На видном месте клаверийский леопард. Портрет Михеля. Географическая карта. Отчетливо видна только надпись: «ВЕЛИКАЯ КЛАВЕРИЯ. ЗЕМЛЯ НАШИХ ОТЦОВ».

В центре комнаты — длинный простой стол. За ним сидят несколько угрюмых офицеров и на некотором расстоянии от них — один штатский. На штатском черная рубашка, к которой прикреплен значок с изображением леопарда. У штатского копна нечесаных волос — это карикатура на фашиствующего патриота.

Входит принц Михель со своей свитой. Вместо дружеских приветствий все стоят навытяжку и отдают честь. Михель садится во главе стола, рядом с ним Человек-разрушитель. Начинается торжественная церемония.

«Клаверия, отечество наше, земля героев, да живут слава и величие твое, Клаверия, вечно...»

Высоко подняты руки. Потом офицеры обнажают сабли.

Штатский стоит с поднятой рукой.

«Мы клянемся отомстить за убийство нашего короля. Мы клянемся вернуть нашу провинцию, отторгнутую Агравией».

Все молча вкладывают сабли в ножны. Потом Михель неохотно снова вынимает саблю.

«Присягнем на верность нашему новому королю!»

Все стоят, вытянувшись, сабли обнажены, но делается это без особого энтузиазма. Сабли вкладываются в ножны. Михель произносит речь:

«Сегодня мы его коронуем. Он чужак, американец. Он вряд ли может сказать два слова на нашем прекрасном языке. Но он наш король по праву. Если он будет служить Клаверии верой и правдой, мы должны служить ему. Сегодня я попрошу его обратиться к народу с речью на нашем родном языке».

Собравшиеся не знают, как к этому отнестись. Все явно в недоумении. Сможет ли Пауль произнести такую речь? В этом все дело. И Михель повторяет многозначительно:

«Я попрошу его сказать речь на нашем родном языке».

Его мысль доходит до собравшихся.

Штатский решает воспользоваться благоприятным случаем. Он поднимает руку и кричит:

«Да здравствует Михель!»

Все шумят и ликуют. Обнажают сабли. Входят еще два офицера и присоединяются к остальным. Все кричат: *«Да здравствует Михель!»*

В центре экрана — зловещая фигура Михеля, который одет во все черное. Он задумчив и осторожен.

Снова видна площадь перед собором. Но теперь солнце уже высоко. Собралась большая толпа, полицейские выстроились цепью. Посреди площади на свободном пространстве совершают перестроения войска. На ступенях собора появились ковры. Музыка играет все громче.

Потом мы видим площадь еще через некоторое время. Она забита народом. Посредине экипажи, конные и пешие офицеры. Люди в старомодных одеждах стоят на ступенях. Большие двери собора теперь широко раскрыты. Внутри смутно виднеется громадный неф, ряды высокопоставленных деятелей, совсем вдалеке — алтарь и множество зажженных свечей. Идет коронация. Все громче звучит церковная музыка.

Внезапно наступает тишина. Все замерли. Камера надвигается на алтарь, видны маленькие фигурки священнослужителей и сановников, участвующих в церемонии. На голову Зелинки возлагается корона.

Более крупный план. Раздается орудийный салют; начинают звонить соборные колокола, в толпе взволнованное движение.

На темном фоне появляются слова :*«Да здравствует король Пауль!»* Торжественно гремит музыка.

Здесь «вставка» — по флагштоку ползет вверх знамя и полощется на ветру. Это штандарт Пауля. (Смотри примечание в конце первой части.)

Потом мы видим громадный неф собора святого Иосифа, забитый молящимися. Вдалеке, от алтаря к выходу из собора движется процессия. Все это мы видим сверху. Впереди герольды. За ними следует король в короне и мантии, которую поддерживают пажи. На короле светлые, сверкающие одежды. По обе стороны от него, чуть отстав, идут два духовных лица. Следом вельможи несут меч правосудия, клаверийский обоюдоострый топорик и

другие атрибуты. За ними идут четыре или восемь телохранителей. Своими стальными шлемами и строгостью они напоминают пуритан, кавалеристов Кромвеля. (Эти люди сыграют свою роль впоследствии. Здесь их надо показать ненавязчиво, только для того, чтобы зрителю запомнились их мундиры.) За ними следует вдовствующая королева в трауре. Она опирается на руку принца Михеля, который тоже в черном мундире. Идут высокопоставленные государственные деятели, члены королевских семейств других стран, прибывшие специально на церемонию, и среди них особенно выделяется красавица в белом платье — Елена, принцесса Сэвии. Идет канцлер Хаген, седой как лунь старик. Идут министры, среди которых мы видим Мицинку, военного министра, похожего на жабу с умными глазами. Идут дипломаты во фраках при лентах и орденах, офицеры и т. д.

Крупным планом показывается Пауль в королевской мантии и с короной на голове. Позади него виднеются другие — Михель, у которого на лице написана зависть, скорбящая вдовствующая королева, принцесса Елена, надменная и спокойная. В поле зрения появляется фигура канцлера Хагена.

Снова площадь перед собором. Процессия спускается по ступеням. Музыка, шум толпы.

Церемониймейстеры ненавязчиво, но усердно расставляют особ, выходящих из собора, так, что король оказывается один на верхней ступени. Звучат фанфары. Гремит клаверийский государственный гимн. Канцлер Хаген, величественный старик в черном бархате, тоже стоит отдельно, на ступеньку ниже короля, справа от него. Черная одежда канцлера — резкий контраст светлому одеянию короля. У Хагена тонкое, умное лицо. Он поднимает руку.

«Клаверийцы, вот ваш король!»

Крики «ура». В воздух летят шляпы.

Хаген произносит речь. Он виден почти в полный рост справа от короля.

«Клаверийцы! Король Пауль Третий, первый человек среди клаверийцев, поклялся защищать ваши права и отомстить за ваши обиды!»

Канцлер поднимает руку.

Толпа восторженно шумит.

Затем мы видим группу, стоящую подальше, справа от короля. Принцесса Елена наблюдает за его лицом; она заинтересована.

Еще дальше справа стоит принц Михель, к которому теперь присоединились Человек-разрушитель и один из офицеров, ехавших с принцем в машине. Они смотрят то на толпу, то на короля. Один из них бросает через плечо другому:

«Он хоть понимает, о чем говорят?»

Быстро посоветовавшись с Михелем, Человек-разрушитель проталкивается вниз к толпе. Он что-то кричит, и люди в толпе подхватывают его крик:

«Пусть король говорит с нами на нашем языке! Пусть король говорит».

Мы снова видим короля со свитой. Кричат уже многие. Хаген в замешательстве, он что-то соображает. Взглянув на короля, он вновь обретает уверенность. Хаген наблюдает за королем. Остальные министры волнуются. Они совещаются позади Пауля. Но Пауль готов. Он оборачивается к ним и что-то быстро говорит. Он произнесет речь. Все понимают, что это лучший выход из положения. В толпе начинают шикать, и все замолкают. Пауль делает шаг вперед и говорит, тщательно подбирая слова:

«Братья! Клаверийцы!

Пока я еще не могу говорить на нашем родном языке свободно и бегло. Но я все время учусь.

Я вернулся на родину. И я буду говорить на родном языке.

Цель моей жизни — служить вам, нашей стране, свободе, справедливости и миру. Да будет мир в Клаверии! Да будет мир во всем мире!»

Мы снова видим старого канцлера, который облегченно вздыхает.

Потом на экране появляются лица принца Михеля и его друзей. Они разочарованы, видя, что их «добрая услуга» не удалась. Пауль оказался слишком умным, чтобы попасть в эту ловушку.

Толпа, внимательно выслушав речь, одобрительно шумит и кричит «ура».

Человек-разрушитель углубляется в толпу. Вокруг него все толкаются и аплодируют. Он пытается повли-

ять на настроение толпы, которой очень понравился Пауль. Он жестикулирует и кричит:

«А как же убийство короля?

А как же угрозы Агравии?

А кто будет отстаивать честь нашего славного знамени?»

Его никто не поддерживает. Он кричит свое. Стоящие рядом говорят ему, чтобы он замолчал. Камера отодвигается от него, пока он не теряется в волнующейся толпе.

Мы снова видим площадь, заполненную народом. Мы видели эту площадь ранним утром, но теперь здесь всеобщее ликование.

Музыка гремит. Шум толпы. Потом вдруг раздается орудийный салют, и снова радостно звенят колокола. Мотив, который вызванивают колокола, как бы подчеркивается орудийными залпами. Если музыка будет хороша, эту сцену можно продлить. Король и его свита виднеются живописной группкой на фоне соборной лестницы.

Потом экран медленно меркнет, музыка слышна как бы издалека.

Мы видим гардеробную в королевском замке. Камердинеры помогают Паулю снять облачение. Корона лежит на столе. Отказ Пауля оставаться при регалиях, по мнению слуг, граничит с неуважением к королевскому сану. Он стоит в рубашке и бриджах.

«Так вот что значит быть помазанником божьим».

Он опускается в кресло. Ему приносят вино в высоком бокале и сигары. Слуги церемонно уносят регалии. Пауль пьет и курит. Он обращается к человеку, который, по-видимому, является его личным камердинером:

«Приготовьте мне сейчас же горячую ванну и достаньте пиджак, брюки и сорочку».

Камердинер возражает. Пауль смотрит на часы.

«Банкет начнется не раньше восьми. А до тех пор я хочу быть современным человеком».

Камердинер продолжает возражать. Пауль уступает.

«Ладно! Если все будут в парадных одеждах, то, наверно, и мне придется надеть мундир! Но никаких шпор.

И сабли тоже не надо. Черный креп на рукав, чтобы сделать приятное королеве».

Камердинер, по-видимому, раздумывает, какой из мундиров будет попроще.

3

КОРОЛЬ ОЦЕНИВАЕТ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Парк королевского дворца. Удобные скамьи устланы подушками. Именно здесь отец и мать Пауля ждали решения разгневанного старого короля, но деревья стали выше, большая глициния (или что-нибудь другое) разрослась и т. д.

Слуги в клаверийских одеждах готовят чай и закуски.

Появляется вдовствующая королева с двумя фрейлинами. Она опирается на руку одной из них. Она убита горем. За нею входит принц Михель. Он озабочен. За ним следуют еще какие-то люди. Незаметно на заднем плане появляются члены дипломатического корпуса и прочие. В центре одной группы — типичный американец, в центре другой — английский дипломат.

Королева намерена устроить Паулю сцену. Она говорит:

«Он не сказал ни слова ни о моем бедном муже, ни о моем бедном сыне. Ни слова об убийцах из Агравии. Неужели у него нет ни сердца, ни мужества?»

Михель сочувственно отвечает ей, но его слова не появляются на экране. Дипломаты украдкой наблюдают за ними. Вокруг английского и американского послов — разные группы, враждебно настроенные по отношению друг к другу. Прочие немногочисленные группы, притворяясь, будто заняты разговором, слушают и во все глаза смотрят на королеву, а также на сторонников американцев и англичан.

Входит в сопровождении фрейлины принцесса Елена.

Королева горячо приветствует ее.

«Для нас сегодня невеселый день. Мы, оплакивающие погибших, не услышали ни слова о мести».

Принцесса, по-видимому, возражает. Королева говорит:

«Как может этот пришелец из другого мира понять душу нашего народа? Что он знает о наших печалях и радостях?»

Все, кроме Михеля, несколько смущены этой откровенностью. Михель выжидает.

Принцесса принимает сторону Пауля.

«Мы должны быть справедливы к королю. Он, видимо, простой, честный и смелый человек. Нам надо рассказать ему все о Клаверии и Сэвии и дать понять, что значат для мира эти две великие, хоть и маленькие страны».

Крупным планом лицо Елены. Она сильно увлечена Паулем. Она уже мечтает, как будет все это ему «рассказывать».

Камера отодвигается, виден Михель, который наблюдает за Еленой, а потом и все собравшиеся. Снуют слуги. Появляется придворный. Движение сначала среди наименее почетных гостей, потом среди остальных. Идет король. Все становятся полукругом и смотрят в ту сторону, откуда он приближается. Только Михель поворачивается к нему спиной. Пауль подходит к этим недоверчивым, сомневающимся, почти враждебным людям.

Королева готовится устроить сцену.

Пауль сразу это понимает. Он направляется прямо к ней.

«Ваше величество, этот ужасный день, должно быть, очень утомил и расстроил вас».

Он берет ее за руки. Настаивает на том, чтобы она села. Подкладывает ей подушки. Подзывает слуг и передает ей чашку чая. Садится рядом с ней в позе заботливого сына.

Оба они показаны крупным планом.

«Отдохнем немного от бремени церемонии».

Королева не может отказаться от навязанной ей роли уставшей женщины. Принцесса Елена наблюдает эту сцену. Потом, едва заметно улыбнувшись, садится в кресло и что-то говорит Михелю. Михель делает недвусмысленный жест: «Чаю! В такой момент!» Почти со злобой он поворачивается к лакею.

Напряженность обстановки разряжается. Все, конечно, стояли, пока стояли королева, король и принц; теперь они решаются сесть. Несколько дипломатов, накло-

нившись друг к другу, шепчутся. Американский и английский послы не могут скрыть своего интереса. Они бы с удовольствием обменялись ироническими замечаниями, но дипломатия запрещает это.

Королева избавляется от чашки, которая мешает ей принять трагическую позу. Король отдает свою.

Королева теперь обретает достоинство. Она медленно встает, словно собираясь уйти. Все встают вслед за ней. Ясно, что она все-таки намерена устроить сцену.

«Ваше величество, мы свидетельствуем почтение вам, нашему новому королю».

Она стоит, высокая и величественная, потом не выдерживает и начинает говорить просто, горячо:

«Вы приехали издалека!

Вы не знаете, как страдает и скорбит наша страна.

Я взываю о справедливости. Отомстите за убитых! Во имя Клаверии отомстите агравийским убийцам!»

Все молчат. Что скажет король? Пауль думает, потом говорит:

«Ваше величество, господь призвал меня из дальних краев, чтобы я правил этой страной и спас ее. Весь народ молился сегодня, дабы господь вразумил меня».

Он замолкает, обдумывая свои слова. Все кругом стараются уловить их значение. Он продолжает говорить, но уже не столько для королевы, сколько для всех присутствующих. С последней фразой он обращается к Михелю.

«Я разделяю ваше горе.

Но королевством управляю я. Я КОРОЛЬ.

Я требую от вас не указаний, а верности».

Кончив говорить, он стоит неподвижно. Королева, с достоинством выслушав упрек, медленно кланяется. Принцессе нравится его тон, но она сомневается в весомости его слов. Михель смотрит на нее. Поняв, что Пауль ей нравится, он внешне остается спокойным и только сжимает кулаки. Свидетели этой сцены обмениваются взглядами. Англичанин и американец пристально смотрят друг на друга. Губы американца трогает улыбка, он словно говорит: «Твердый орешек». Король хочет быть настоящим королем. Но что он собирается предпринять в отношении Агравии? Понимает ли он обстановку?

Все расходятся. Погруженный в свои мысли, Пауль медленно удаляется. Руки его заложены за спину. Экран меркнет.

Мы снова видим площадь перед собором. Быстро сгущаются сумерки. Мелькают черные силуэты людей. Освещенный трамвай на углу. Зажигается иллюминация. Приземистая крепость на склоне горы очерчена огнями, но громада кафедрального собора, уходящего вверх за рамку кадра, остается темной. Черный собор мрачен и зловещ.

Камера надвигается на лоджию клавополисского дворца, в которую выходят личные апартаменты короля. Из лоджии открывается вид, который очень важен для этого фильма. Виден весь город, прямо напротив — собор, возвышающийся над площадью. Из лоджии виден собор святого Иосифа вместе с куполом. В сценах на площади можно было видеть только фасад собора, а купол почти совсем оставался вне поля зрения. Клавополис — это воплощение европейской националистической монархии. Он раскинулся на склоне горы и спускается к гавани. Главные здания его возвышаются над массой старых домов с островерхими крышами. Над городом господствует средневековая крепость. Осветив лоджию, можно сделать так, что город будет виден неясно и как бы вдали. При затемнении переднего плана фигуры в лоджии будут выделяться черными силуэтами на фоне красивого города, освещенного луной и видного словно сквозь вуаль, или на фоне резко очерченных линий днем или на закате.

Сейчас мы видим Клавополис иллюминованным. Вдалеке взлетают фейерверки. Сначала сама лоджия не видна. Потом зритель как бы удаляется, и в поле зрения его появляются колонны и парапет лоджии. Камера отодвигается еще дальше, и мы видим черный силуэт короля, стоящего неподвижно в углу. Камера продолжает отодвигаться, и вот виден пол лоджии, мебель, а на заднем плане — город. Напротив короля стоит стол, стулья и лампы с абажурами, которые еще не горят. Король наконец в удобном халате.

Он вздыхает и медленно поворачивается. Он ждет.

Зажигается свет. Входит слуга. Угол, в котором стоит стол, ярко освещен, а все остальное как бы погру-

жается в тень. Очень важно, чтобы к этому свету в углу не примешивался свет иллюминации и фейерверков.

Пауль идет к столу, и в это время входит канцлер Хаген. Оба они ярко освещены, но не заполняют собой весь экран. В кадре есть что-то большое и темное, какая-то тень города и всего мира.

«Вы не слишком устали? Я не могу заснуть и послал за вами. У меня сегодня был ужасно трудный день».

Канцлер почтителен. Он и король сидят за столом. Их лица освещены лампами. Лица и руки отчетливо видны. Даже теперь эти две фигуры не заполняют собою кадр. Над ними большое пространство; эти два человека находятся во власти каких-то высших сил. Но они ярко освещены и видны четко, в фокусе. Задний план расплывчат, огромен и мрачен; парапет лоджии и колонны совершенно черные. Камера то наплывает на короля и канцлера, то удаляется от них по мере необходимости, но фигуры их по-прежнему невелики.

«Не сплю ли я?

Это похоже на спектакль... или на сон.

Неужели ВСЕ короли живут так, словно они на сцене или во сне?»

Канцлер что-то отвечает. (Титра нет.)

Лицо Пауля освещено. Он испытующе смотрит на канцлера. Потом говорит:

«Вы служили королю Клаверии целых полвека. Вы знали моего отца. Я король всего полдня.

Никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким. Могу ли я рассчитывать на вас?»

Канцлер встает и протестующе жестикулирует. Пауль делает знак, чтобы он снова сел.

«Могу ли я рассчитывать на вас как на человека?»

Канцлер колеблется — ему хочется выразить свои чувства, но этикет сковывает его. Пауль протягивает через стол руку. Канцлер сжимает ее и не отпускает несколько секунд.

«Я любил вашего отца, ваше величество, и вы очень, очень похожи на него».

Пауль поворачивается лицом к зрителям и говорит. Задний план постепенно темнеет и в конце концов становится темно-серым, обрамленным совершенно черными колоннами лоджии.

«Я думал, что я унаследовал королевство. А я, кажется, унаследовал войну. Ведь здесь все клонится к войне?»

Канцлер раздумывает. На темно-сером фоне появляется еще более темный силуэт стоящего на задних лапах геральдического клаверийского леопарда. Он чернеет, становится отчетливее. Зверь кажется гигантским, он словно собирается растоптать двоих, сидящих внизу.

Затем все на том же фоне появляются белые титры. Они вспыхивают и гаснут, а леопард становится еще более темным.

«Традиционная политика Клаверии требует экспансии на восток.

Новая Агравийская республика была отторгнута от нас и легла поперек нашего пути».

Пауль кладет руку на руку канцлера.

«Канцлер, вы хотите войны?»

Канцлер делает энергичный отрицательный жест.

«Ваше величество, я ненавижу войну».

Жест Пауля говорит: «И я». Оба молчат. Черный леопард исчезает, и на экране уже более крупным планом два человека с серьезными лицами.

«Канцлер, а вы не заинтересованы в том, чтобы какая-нибудь большая американская или европейская группа, возглавляемая англичанами, контролировала месторождения калькомита в Агравии?»

Жест Хагена: «Нисколько не заинтересован».

«Я настоящий король или шахматная фигура?»

Рядом с ним появляется шахматный король.

«Канцлер, кто-то играет не только нами, но и англичанами и американцами. Одна из пешек натравливает игроков друг на друга. Так бывает с живыми шахматами».

Разговор принимает новый оборот. На заднем плане, который до сих пор был темно-серым, теперь медленно проступает вид ночного Клавополиса, становясь все более четким по ходу разговора.

Теперь особенно важно выражение лиц, и они показываются крупным планом. Пауль задает все более острые вопросы.

«Патриоты, газеты, почти все чиновники подняли огромный шум в связи с убийством короля. Сегодня была не коронация, а скорее демонстрация против Агравии».

Подняв палец, канцлер что-то серьезно говорит. Разговор продолжается довольно долго. Канцлер высказывает главную мысль:

«Если народ не рассержен, он может отказаться воевать».

Пауль соглашается с этим. Положив руку на стол, он продолжает:

«А теперь очень важный вопрос. Канцлер, вы уверены, что это преступление действительно замыслили в Агравии?»

Канцлер задумывается.

«Уверен... если только его не замыслили в какой-нибудь более крупной стране».

Зелинка говорит, но его слова не появляются на экране: «Как вы можете так думать о современных государственных деятелях?»

Канцлер жестом отвечает: «Дело сложное. Возможно, это случилось против их воли».

Зелинка качает головой.

«Ни американцы, ни англичане не могли так поступить. В этом замешан кто-то еще, более примитивный».

Канцлер всегда был уверен, что может объяснить, в чем тут дело. Теперь ему приходит в голову решающий довод.

«На осколках бомбы, которые мы нашли, было клеймо агравийского арсенала!»

Пауль улыбается и кивает.

«Какие простачки эти агравийцы, не правда ли?»

Канцлер понимает, что хочет сказать король. Ну и дураком же он был. Он с нетерпением ждет, что еще скажет Пауль. Пауль глубоко задумывается, потом поворачивается к канцлеру.

«Я хотел бы знать еще кое-что... очень хотел бы знать.

Почему мой двоюродный брат Михель не был убит вместе с королем и наследным принцем?

Почему его вообще не было в соборе, когда взорвалась бомба?»

Король и канцлер испытующе смотрят друг на друга. Канцлер быстро понимает, что хочет сказать король, что кроется за его словами.

Король встает. Канцлер тоже. Секунду они внимательно смотрят друг другу в глаза.

Потом Пауль разрешает канцлеру уйти. Он нажимает на кнопку звонка. Зажигаются новые лампы. Входит слуга. Пауль протягивает руку канцлеру, который почтительно пожимает ее и, кланяясь, уходит.

Пауль жестом приказывает слуге погасить свет. Сначала гаснут люстры, потом лампы с абажурами возле стола. По мере того как гаснут лампы, становится все отчетливее виден задний план. Через секунду лоджия и Пауль — уже только туманные очертания на фоне города. Вид города проясняется и становится более отчетливым, словно к нему привыкают глаза после того, как погас яркий свет. Постояв, Пауль идет к парапету. Зрители направляются за ним, и их взорам открывается вид всего города.

Пауль стоит неподвижно и смотрит на волшебный, утопающий в дымке, иллюминованный город, в котором живут современные люди.

Он перегибается через парапет и смотрит вниз, на улицы, кривые, средневековые. Видна кучка людей, кажущихся совсем крохотными. Задрав головы, они смотрят вверх, на него. Экран темнеет, и на нем появляется герб с белым, стоящим на задних лапах леопардом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

(Третья часть фильма)

КОРОЛЬ, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ ЗНАТЬ

1

КОРОЛЬ ИЗУЧАЕТ СВОЮ СТРАНУ

Мы видим, как король в халате завтракает в лоджии. Снуют слуги. Он посылает одного из них за начальником своей стражи. Капитан входит, вытягивается и отдает честь. Он очень молод, у него веселое, приятное лицо. Пауль отпускает слуг.

Пауль ходит из угла в угол, что-то обдумывая. Потом он обращается к капитану.

«Капитан, мне приходится учиться королевским обязанностям. Но этого не сделаешь, сидя во дворце».

Капитан внимательно слушает.

«Я хочу сам увидеть, как живет мой народ. Побыть среди людей. Я хочу, чтобы вы достали мне костюм, какой носят, скажем, коммивояжеры».

Капитан ожидает дальнейших указаний. Пауль что-то объясняет ему. Капитан отдает честь и идет к двери. Помешкав, он возвращается и снова отдает честь.

«Простите, ваше величество, но вам грозит опасность. На вашу жизнь...

На вашу жизнь может быть совершено покушение, если вы останетесь без охраны».

Король и капитан разговаривают. Капитан рассказывает о враждебности михелистов. Воображение рисует им группу михелистских офицеров, настороженных и зловещих.

«Капитан! Я знаю, что у вас слова не расходятся с делом. Все равно в Клаверии мне грозит опасность больше, чем кому бы то ни было.

Ну и что ж, пусть опасность немного увеличится. Какая разница?!»

Капитану это нравится. Он опять идет к двери, потом что-то вспоминает и возвращается.

«Ваше величество, могу ли я осмелиться... Позвольте мне...

У меня есть брат. Он человек скромный, надежный и умный. Позвольте ему сопровождать вас».

Пауль пристально смотрит на него, задумывается и соглашается. Капитан уходит. Пауль, погруженный в свои мысли, идет на зрителей. Думая, он жестикулирует. Показывает два пальца.

«Старый Хаген. Капитан. Два человека, на которых я могу рассчитывать. Возможно. Два... На кого еще? А ведь я король. Вот что значит быть королем».

Он продолжает идти на зрителей, погруженный в свои мысли.

Теперь на экране крестьянский дом, затерявшийся в горах Клаверии. На побеленные стены падает тень большого дерева. Видна поленница, полуразвалившиеся служ-

бы. Перед дверью дома стоит стол и скамья. На пороге появляется пожилая женщина и начинает кормить кур.

Женщина должна быть красивой и держаться с достоинством. Это обобщенный образ всех крестьянских матерей Европы.

Входит Пауль. Он в прогулочном костюме и с рюкзаком. Он просит женщину накормить его. Она рада заработать лишний грош. Он садится, усталый, и бросает рюкзак на стол. Женщина, накормив кур, уходит в дом и возвращается с молоком, хлебом и сыром.

Пауль хвалит хлеб. Он ест немного, наблюдая за женщиной. Потом начинает ее расспрашивать. Женщина отвечает.

«Без мужчины в доме плохо. Осталась я только с калекой да совсем еще молодым парнем».

Пауль задает вопрос, который нетрудно угадать.

«Мужа убили во время мировой войны, а старшего сына... сами увидите».

Она уходит в дом и возвращается, ведя слепого юношу с изуродованной рукой на перевязи. Он умалишенный. Она ведет его на солнце и заботливо усаживает. Подзывает Пауля, чтобы тот взглянул на руку.

«Какие у него были зоркие глаза! Какие умные руки!»

Пауль показывает жестом, что он боится, как бы калека их не услышал. Женщина качает головой и стучит пальцем себя по лбу. Потом снова поворачивается к калеке, помогает ему сесть поудобнее. Крупным планом показывается его лицо до того, как оно было обожжено. Потом умное, живое лицо сменяет лицо слепца. Вслед за этим крупно показывается его рука — красивая человеческая рука. Она чернеет и сморщивается.

И снова на экране женщина, ухаживающая за своим сыном. Пауль задает вопрос, она отвечает.

«Мне теперь на него выплачивают пять крон в день. Едва на хлеб хватает».

Она показывает Паулю деньги. Крупным планом рука, держащая банкноту с леопардом, стоящим на задних лапах, и надписью — 5 кр. Банкнота все увеличивается и увеличивается, пока леопард не заполняет собой весь экран.

Снова предыдущая сцена, но калеку почти заслоняет собой торжествующий черный леопард.

Пауль стоит по одну сторону, а женщина — по другую. Он спрашивает, она отвечает.

«Ненавижу ли я войну? Да! И теперь они собираются напасть на нас снова!

Проклятые агравийские бунтовщики!»

Пауль вздрагивает, потому что ожидал услышать от нее совсем другое. Недоверчиво переспрашивает. Она отвечает. Неужели он не читал газет? Он выражает сомнение в ее правоте. Она спорит. Черный леопард исчезает.

Появляется юноша лет шестнадцати с каким-то узлом. В руке у него газета. Женщина выхватывает газету и показывает Паулю, тыча в нее пальцем и как бы подкрепляя этим свои доводы.

Крупным планом газета, которую держит огрубевшая от работы рука женщины. Другая рука водит по строчкам. Газета должна быть похожа по виду на провинциальную французскую или какую-либо другую европейскую газету, но не на американскую или английскую. На первой полосе — название газеты: «Сыны Клаверии». На той же полосе статья в два столбца под заголовком:

АГРАВИЯ ПРОДОЛЖАЕТ
СВОЮ АГРЕССИВНУЮ ПОЛИТИКУ.
БУДЕТ ЛИ ВОЙНА?

Женщина говорит: «Вот видите! Эти агравийцы не хотят оставить нас в покое!»

Ее сын тоже возмущается агравийцами.

Пауль смотрит на оживленного, горячего юношу и переводит взгляд на слепца. Потом смотрит на их мать. Его охватывает жалость. Женщина в исступлении проклинает агравийцев. Ее слова появляются на экране:

«Пусть ослепнут сыновья всех матерей Агравии!»

Она стоит между сыном, которому, возможно, придется воевать, и сыном, который уже воевал. Что готовит будущее младшему? Она молча вопрошает бога, Пауля и жестокий мир, протянув одну руку к старшему сыну, другую — к младшему.

Потом в отчаянии опускается на скамью. Сын стоит рядом и утешает ее. Пауль не в силах ничем помочь.

Снова появляется черная тень леопарда, попирающая мать и сына. (Или тень дерева, падающая на белую стену дома, принимает очертания леопарда и увеличивается в размерах.) Пауль ничего не может поделать. Он грустно и задумчиво отворачивается.

Брат капитана ждет поодаль. Появляется Пауль и медленно идет к нему.

«Ваше величество, вы подкрепились?»

Этот вопрос озадачивает Пауля. Мысли его заняты тем, что он видел.

«Я забыл. Пойдемте дальше. Продолжим наш путь к границе».

Двое поднимаются на возвышенность, с которой видны горы и возделанные поля. Два пограничных столба, один напротив другого. На них четкие черные и белые полосы. На одном нарисован клаверийский леопард. На другом — не менее хищный геральдический зверь, агравийский василиск.

Двое останавливаются у границы. Пауль смотрит на зверей, нарисованных на столбах, и спрашивает что-то.

«Это, ваше величество, аграваийский василиск».

Пауль рассматривает его. Потом окидывает взглядом открывающийся с возвышенности вид. Достав из кармана складную подзорную трубу, он внимательно рассматривает аграийскую территорию. На экране показывается то, что он видит,— дом, женщина за работой, мужчина, нагружающий телегу.

«Они очень похожи на клаверийских крестьян. В чем же разница?»

Молодой человек задумывается:

«Нет никакой разницы, ваше величество.
Разве только что они агравийцы».

Пауль кивает. Он продолжает осматриваться. Показывает на что-то. Спрашивает, что за здание там, внизу. Молодой человек отвечает, что это пограничная железнодорожная станция.

Снова вид через подзорную трубу — маленькая железнодорожная станция и рядом с ней несколько домов. Подзорная труба перемещается вдоль железной дороги, и мы видим уже агравийскую железнодорожную станцию. Из Агравии в Клаверию идет поезд.

Появляется агравийский пограничник с большими усами. Он взбирается на гору и, увидев Пауля и его спутника, останавливается. Ему не нравится то, что кто-то смотрит в подзорную трубу, но пограничный устав не запрещает пользоваться ею на клаверийской территории. Появляется клаверийский пограничник, отличающийся только формой, тоже останавливается и смотрит на Пауля и его спутника, которые стараются вести себя непринужденно. Пауль предлагает спуститься к пограничной железнодорожной станции. Они уходят, а пограничники стоят, широко расставив ноги, и смотрят им вслед. Потом пограничники со злобой смотрят друг на друга. Покрутив усы, уходят.

Далее зрители видят всякие нелепости и грубое обращение, которому подвергаются пассажиры при переезде границы: на станции останавливается поезд, и пассажиров — агравийцев и клаверийцев, крестьян и буржуа, нескольких американских туристов, двоих или троих путешественников из Центральной Европы — загоняют в специальные помещения для опроса и досмотра. Все они нагружены багажом. На многочисленных дверях нелепые таблички: «Только с клаверийскими паспортами», «С иностранными паспортами сюда». Толчея. Люди теряют трости и чемоданы.

Потом мы видим чиновников с резиновыми печатями в руках. Они медлительны и грубы с беднягами, выстроившимися к ним в очередь. Появляется Пауль со своим спутником, которые видят все это.

Они наблюдают, как производится таможенный досмотр. Народ толпится. Суматоха. Негодование. Злые и надменные таможенные чиновники роются в чемоданах. Поднимается дикий шум: нашли контрабандиста. Он пытался провезти три новых ножа.

Встрепанные пассажиры с кое-как уложенными чемоданами, из которых торчат пижамы и другие вещи, проталкиваются к пункту обмена валюты. Чиновник пишет на доске мелом «За 100 клаверийских кр.— 27 агравийских»,— но вскоре стирает цифру «27» и пишет «26.50». Старый еврей, опоздавший получить свои 27 крон, негодует.

Осмотр зарегистрированного багажа. Измятые и измученные пассажиры возвращаются к поезду. Большие

плакаты: «Покупайте клаверийские товары. Клаверийские товары — лучшие в мире». В киоске продают газету «Сыны Клаверии».

«Сыны Клаверии. Вечерний выпуск».

«Агравия угрожает».

«Серьезный инцидент на границе с Сэвией».

Видны другие газеты — «Клаверийский патриот» и «Леопард».

Люди покупают и разворачивают газеты.

Их загоняют в поезд. Поезд задерживается из-за опоздавших жертв таможни. Пауль и его спутник смотрят на чиновников, возвращающихся в свои кабинеты.

«Почему люди терпят весь этот идиотизм? Кому это выгодно?»

Спутник Пауля не совсем понимает его.

«Ваше величество, должны же мы делать различие между своими подданными и иностранцами».

Видно, как Пауль и его спутник идут через пустырь, заросший чертополохом Уже прошла пора цветенья, и от чертополоха летит пух. Пауль смотрит, как над землей кружатся пушинки. Ветер несет белый пух чертополоха. (Или одуванчиков, или вербейника, или какого-нибудь другого растения с летучими семенами.)

Затем мы видим ресторан в клаверийской загородной гостинице. Посередине зала стоит большой стол, а у стен — маленькие. На стене портрет покойного короля и два плаката в рамках: «Покупайте клаверийские товары. Клаверийские товары — лучшие в мире» и «Не будьте легковерными. Остерегайтесь мошенников!» Этот плакат должен висеть справа от предыдущего, чтобы один читался вслед за другим.

За большим столом сидят и спорят три человека. Один из них — пойманный контрабандист. Входит Пауль со своим спутником, и оба садятся за другой стол. Они заказывают что-то официанту и, ожидая, прислушиваются к разговору. Тем временем входит михелист, молодой человек в черной рубашке. На нем большой черный галстук бабочкой и значок с изображением леопарда. Он останавливается позади разговаривающих и внимательно слушает. Контрабандист сравнивает качества клаверийских и агравийских ножей.

«Почему я должен пользоваться этими паршивыми ножами? Хорошие ножи делаются в шестидесяти милях отсюда по ту сторону, и мы должны платить за них сумасшедшую пошлину только потому, что они агравийские. Плохие ножи делаются в двухстах пятидесяти милях отсюда по эту сторону, и нас заставляют их покупать потому, что они клаверийские. Почему я должен обижать хорошего человека по ту сторону и мучиться ради какого-то проходимца с этой?»

Разгорается спор. А как же долг перед страной! Кто-то высоко поднимает газету «Сыны Клаверии» и размахивает ею. Контрабандист кричит зло и грубо:

«К черту патриотизм! Он нам слишком дорого обходится! Мне нужен хороший нож!»

Все в ужасе. К разговаривающим бросается разъяренный михелист. В руке у него тяжелая дубинка. Контрабандист что-то живо отвечает ему. Двое других отходят в сторону. Но с молодым михелистом не поспоришь, он бьет контрабандиста дубинкой.

Негодуя, Пауль вскакивает. Спутник хватает его за руку и останавливает. В драку ввязываться не годится. Контрабандист избит, но сопротивляется. Пауль в нерешительности. Надо сдержаться. Затемнение.

Улица перед зданием редакции газеты «Сыны Клаверии». Пауль и его спутник стоят и наблюдают. Собираются и расходятся небольшие группки людей. Все взволнованы. На здании редакции большой плакат. На нем написано:

«Агравия угрожает Сэвии.

Почему наш король молчит?

Неужели мы оставим в беде дружественное государство?»

Уже отпечатан новый выпуск. На экране дверь, из которой выносят газеты. Мальчишки-газетчики хватают пачки и убегают прочь. Прохожие торопятся купить газеты. Из рук в руки переходят трепещущие листы. Пауль вспоминает чертополох. Ему кажется, что белые газеты летят по воздуху, как пух чертополоха. Пух улетает, а чертополох растет, ощетиниваясь штыками. Словно плоды, на нем появляются бомбы. На экране снова улица, камера надвигается на группу людей, спорящих на углу. Вокруг человека, который оживленно жестику-

лирует, держа газету, собирается толпа. Пауль и его спутник подходят послушать.

Пока идет спор, через толпу проезжает на автомобиле Михель. Михелисты криками приветствуют его. Сидящий рядом с ним в машине просит его сказать что-нибудь. Михель встает и, протягивая руку, обращается к толпе:

«Помогите Сэвии! Клаверия должна помочь Сэвии!»

Автомобиль едет дальше. Не все в толпе согласны с Михелем, но большинство одобряет его слова. Пауль понимает, что ему надо поскорей вернуться во дворец. Вместе со своим спутником он спешит вслед за автомобилем Михеля. Они идут по узкой улице, а позади них остается охваченная политическими страстями толпа. На экране, над толпой, появляется вздыбленный леопард.

2

ОТЪЕЗД ПРИНЦЕССЫ

Леопард исчезает, и на экране появляется длинная дворцовая галерея. Мы видим королеву и принцессу Елену. Неподалеку стоят слуги. Королева и принцесса разговаривают перед прощанием. Сбоку входит канцлер Хаген. Принцесса говорит:

«Я должна уехать. Я слишком задержалась в Клаверии. Мое место — у кормила власти».

Женщины обнимаются. Прощание. Королева выходит. К принцессе приближается канцлер.

«Государь был занят важными государственными делами, но он скоро придет, чтобы попрощаться с вами».

Принцесса величественно выслушивает канцлера. Появляется Михель. Он подходит к принцессе и здоровается с ней. Хаген отступает в сторону.

«Значит, кузина, вы уезжаете от нас.

И нашего иностранца-короля нет во дворце, он не пришел даже проститься с вами».

Хаген вежливо пытается сгладить впечатление, произведенное словами принца, потом снова отходит. Он не знает, что ему делать дальше. Михель бросает на него выразительный взгляд, и Хаген неохотно уходит. Ми-

хель приближается к принцессе, которая раздосадована невнимательностью короля, и говорит:

«Этот иностранец невежлив».

Принцесса покусывает губу и возражает, что у короля много дел. Михель пожимает плечами. Он притворно негодует. Такое пренебрежение к *вам!*

Он начинает пылко ухаживать за принцессой.

«Я ради вас оставил бы все дела. Не остановился бы ни перед какой опасностью. Совершил бы любой подвиг. Я горжусь священным самолюбием, унаследованным мной от предков».

Он прижимает руку к сердцу и страстно объясняется в любви. Принцесса не отвечает. Она возмущена невнимательностью и холодностью короля, но уже влюблена в него. Она чувствует инстинктивную неприязнь к Михелю и не доверяет ему.

Михель вдруг упрекает ее в том, что она любит короля. Она рассержена, но не отрицает этого. Михель вне себя от ревности и ненависти. Он начинает поносить короля, этого чужака, ничего не знающего о Клаверии.

«Наш король убит. Разве он стремится отомстить за него? Над вашей страной нависла угроза. Разве он пытается помочь вам?»

Она робко пытается доказать, что верит Паулю. Он просит, чтобы она подвергла Пауля испытанию.

Их разговор прерывает Хаген, который входит в сопровождении двух придворных и сообщает, что король просит разрешения поговорить с принцессой. Входит капитан королевской стражи. За ним король в мундире. Он приближается к принцессе, чтобы выразить сожаление по поводу ее отъезда. После официальных приветствий принцесса сразу же начинает откровенный разговор.

«Михель говорит, что вы боитесь войны.

Он говорит, что вы и меня боитесь».

Ее непосредственность повергает Михеля в замешательство. Она вызывающе смотрит на Пауля. По выражению его лица видно, что он восхищается ею, но он по-прежнему осторожен и не теряет самообладания.

«Я действительно боюсь войны».

Михель делает презрительную мину.

«Вы боитесь за свою королевскую жизнь?»

Пауль серьезен и задумчив.

«Я боюсь за все человечество».

Он смотрит принцессе прямо в глаза.

«Если я смогу предотвратить войну, я это сделаю».

Она возмущена его словами. Михель решает воспользоваться случаем. Он резко бросает:

«А преступление? Вы забыли об убийстве!»

Пауль задумчиво смотрит на Михеля. Потом грозит ему пальцем, словно ребенку.

*«Нет, Михель. Я обнаружил следы убийства...
ЗДЕСЬ, У НАС».*

Михель растерян. Он не думал, что Паулю могут прийти в голову такие подозрения. Пауль поворачивается к принцессе, величественно бросив Михелю:

«Мы поговорим наедине».

Пауль стоит спиной к Михелю, в котором борются страх, злоба и ревность. Помешкав немного, Михель кланяется и уходит. Пауль обращается к принцессе:

«Разве бояться войны — преступление?»

Она жестом дает понять, что считает это преступлением. Как же теперь быть? Обстановка требует решительных действий. А убийство? Пауль смотрит вслед Михелю и решает не говорить ей о своих подозрениях относительно убийства. *«Почему вы надели мундир и саблю?»* — спрашивает она. Он пытается ее убедить:

«А знаете ли вы, что значит современная война? Для крестьян? Для простых людей?»

Она отмахивается от его вопросов. Но он настаивает, чтобы она ответила. На мгновение появляется и исчезает фигура слепого сына крестьянки, и по жестам Пауля видно, что он рассказывает принцессе о своей утренней встрече. Он вытягивает руку, сгибает ее, вспоминая изувеченную руку. Он в точности повторяет жест крестьянки, которую раздирают жалость к калеке и тревога за младшего сына. Пауль воодушевляется. Он описывает бомбардировки и разрушения. По его жестам видно, что он говорит о ранах, о слепоте, о бесконечной боли. Она тронута, но по-прежнему полна решимости и стоит на своем.

«Люди страдают не только на войне, но и в мирное время.

Позор хуже страданий».

Он делает умоляющий жест. Разве это позор? Она кивает.

«А разве то, против чего мы боремся, не позор?»

Она говорит об обидах, нанесенных Сэвии и Клаверии. Он возражает:

«Да, провокации на ваших границах — это несправедливость. Но разве выход только в том, чтобы убить тысячи клаверийцев и агравийцев и, может быть, даже разжечь пожар мировой войны?»

Его благоразумие бесит ее. Она хочет уйти, но, сделав несколько шагов, возвращается. Она умоляет его быть непреклонным и постоять за свою родину. Кое в чем он с ней согласен.

«Да, я принадлежу к Новому миру. Миру трудящихся, к миру великого труда, к миру знаний и силы»:

Позади них появляется фигура трудящегося, красивого и сильного (не «рабочий» и не капиталист, а человек, смело идущий к цели), и какая-нибудь громадная машина, или гигантские ворота шлюза, или большой корабль на стапелях. Она жестом отвергает его доводы, и фигура исчезает.

«А я принадлежу к миру чести, к старому миру королей, полководцев и господ».

Появляются крестоносцы, рыцари в доспехах и с длинными копьями, короли, возвращающиеся с победой, и великие полководцы с обнаженными мечами. В этой великолепной процессии должна быть Жанна д'Арк, а рядом с ней — вооруженная женщина, похожая на принцессу.

Принцесса поворачивается к Паулю, а процессия бледнеет, но не исчезает совсем. Позади принцессы все еще видны знамена и всадники. Музыка звучит воинственно и победно, колышутся флаги, блестят копья, едут воины, а на экране появляются титры:

«Разве ваш флаг и эта маленькая чудесная страна ничего не значат для вас?

Разве вы их ни во что не ставите по сравнению с машинами и наукой, со всякими исследованиями и летающими аппаратами?»

Он качает головой.

«Время всего этого прошло. Грядет Новый мир».

Она что-то горячо говорит. Как бы в подтверждение ее слов гремит музыка, четче видны знамена и копья, ярче блестят доспехи. Над всем этим на экране появляются слова:

«Сплошная изнеженность, трусость, вырождение! Вот он, современный мир!»

Он твердо стоит на своем и улыбается, не желая принимать ее доводы всерьез. Она не понимает, что это за современный мир. Для нее существует только один мир — мир романтической любви и сражений.

«Позвольте мне заверить вас,— говорит она,— *что я непременно начну войну. Только так можно отстоять свою честь.*

Если Клаверия не осмелится объявить войну Агравии, Сэвия будет сражаться с ней один на один».

Видно, что он спорит с ней. Но она боится подпасть под его влияние и гордо возражает ему. Она чувствует, что ее влечет к нему, и сердится. Он тоже начинает понимать, что неравнодушен к ней. С умоляющим видом он берет ее за руку, и она не делает попыток высвободиться. Оба молчат, глядя друг другу в глаза. Музыка то становится громче, то тише, а знамена и вся пышная процессия видны то четче, то слабее, в зависимости от того, насколько сильны доводы принцессы. Видно, как вокруг принцессы и короля колышутся знамена и копья. Теперь принцесса уверена, что они любят друг друга. Она говорит:

«Почему бы нам не объединить Сэвию и Клаверию?

Вместе они могли бы совершать поистине великие дела».

Короля вдруг охватывает глубокое чувство к принцессе. Но он говорит:

«Если объединить, то только для мира!»

Она вырывает руку. Несколько мгновений они смотрят друг на друга — в ее взгляде читается вызов, в его — решимость. Против воли их тянет друг к другу. Она хочет, чтобы он стал романтическим королем-воином. Он хочет, чтобы она помогала ему служить Новому миру, который становится все реальнее. Она презрительно говорит:

«Жениться, как крестьяне, ради мира и спокойствия! Объединить наделы, чтобы богаче жить! Нет!

Пауль, если уж нам суждено пожениться, то женитесь на мне ради победы и величия. Если бы мы захотели, две наши маленькие страны стали бы ключом ко всей Европе».

За какие-нибудь пять минут Пауль влюбился в нее. Но он не из тех мужчин, которые поступаются своей целью ради плотской любви. Он не намерен отказываться от своих взглядов.

«С нашим браком не должно быть связано никаких кровопролитий».

Оба молчат. Потом она говорит:

«Кто боится крови, тот боится жизни...

Прощайте, кузен».

Они прощаются. Она протягивает ему руку для поцелуя и отворачивается. Потом бросает через плечо:

«Я еду в Сэвию. Там я... я объявлю войну Агравии, а потом что будет, то будет».

«Агравийцы могут разбить Сэвию»,— задумчиво, не двигаясь, говорит он.

«А вы будете смотреть на это!» — язвительно восклицает она.

Пауль делает шаг вперед, но сдерживается. Что он может сделать? Пускай уезжает. Она упряма. Принцесса идет по коридору. В конце коридора появляется Михель, встревоженный и зловещий. Увидев, что принцесса рассталась с Паулем, он останавливается и ждет. Вновь появляются слуги. Принцесса останавливается и оглядывается, как бы спрашивая Пауля в последний раз. Уступит ли он? Они смотрят друг на друга в упор. Пауль непреклонен. Она кланяется и уходит с Михелем, а Пауль остается. Он стоит неподвижно, спиной к зрителям, а потом изображение исчезает.

3

КОРОЛЕВСКИЙ СОВЕТ

На экране великолепный зал заседаний в клавополисском дворце. Виден главный вход. Лампы под абажурами освещают стол, да и вся комната хорошо освещена. У входа два лакея. В зале стоят, разговаривая, канцлер Хаген и еще семь министров. У стола поменьше

стоят два чиновника, ведущие протоколы. Все ждут короля. Сквозь стену, которая на мгновение становится полупрозрачной, видно, как приближается король, потом стена вновь становится плотной.

В стороне от других стоят министр иностранных дел генерал Монза и военный министр барон Мицинка — эти имена должны быть сообщены зрителю каким-либо удобным способом. Монза высок, на нем мундир дипломата. Мицинка — военный с головы до пят, но ростом он не вышел. Он коренаст, носит очки. Монза — это воплощенный злодей.

Он говорит:

«Все готово. Промедление даже на один день обернется против нас. Наши друзья на Западе ждут сигнала. А он все медлит, выспрашивает, колеблется».

Барон Мицинка говорит о роковых последствиях промедления. Придворные возвещают о прибытии короля. Входит Пауль. Поклоны. Король усаживается во главе стола на специальный стул с высокой резной спинкой, другие тоже садятся. Встает Хаген и вносит предложение. Нужно обсудить очень щекотливые вопросы. Чиновникам и слугам велят уйти. Хаген идет к двери и выключает свет. В зале становится темно, горят только лампы с абажурами над столом, освещая лица собравшихся. Все внимание сосредоточивается на членах совета. Темное пространство над ними подчеркивает напряженность. С того момента, как выключается свет, изображение возникает из тесных горизонтальных линий.

Хаген, сидящий по правую руку от короля, встает и, объявляя о начале заседания, говорит какую-то официальную формулу; потом он садится, и король делает знак Монзе, который встает. Он нервничает, перед ним стопа заметок. Он очень нетороплив, серьезен, вежлив, обстоятелен и вместе с тем решителен и тверд. Он, как и все остальные, обращается к королю.

Король слушает его с каменным лицом, потом задает вопрос. Монза отвечает и просит карту. Это карта, знакомая по первой части. Ее передают королю. Он внимательно разглядывает ее. Встает Мицинка и дает пояснения. На экране напряженные лица, яркие лампы, черные тени. Пальцы, ползущие по карте. В темноте наверху

проступают расплывчатые контуры леопарда. Пауль явно в затруднении. Мицинка говорит очень внушительно:

«Ваше величество, каждый день промедления на руку врагу».

Нетерпеливым движением Пауль кладет руку на стол. Он откидывается на спинку стула, лица остальных отдаляются. Пауль объясняет свою точку зрения, но она кажется всем неубедительной. По их мнению, он «идеалист». Пауль резко вытягивает руку.

«Но эта маленькая война, как вы ее называете, может зажечь мировой пожар!»

Один из министров, человек с ничем не примечательной внешностью, склонен не согласиться с королем. Медленно встает Мицинка, в резких переходах от света к тени еще более приземистый и похожий в своем мундире на пресмыкающееся. Он всем телом подается вперед.

«Ваше величество, мы на это и рассчитывали».

Каждый реагирует на его слова в соответствии со своим характером.

Пауль не сказал ни слова, он неподвижен. Потом он беспомощно разводит руками, как бы говоря: «Это не шутка». Все пристально смотрят на него.

Сидящий слева от короля Монза встает и говорит:

«Пострадает весь мир. Поделом же ему. Но мы выйдем из войны сильнее, чем были».

Монза не садится. Он высказал свою заветную мысль. Два министра кивают. Но бледный, неподвижный Хаген смотрит на короля. Пауль наклоняется над столом и думает, вертя в руках гусиное перо и ощипывая его. Наконец перо ломается. Король говорит:

«Поясните то, что вы сказали. Помните, я ваш король. Почему вы так уверены, что вы и те силы, которые, как вы считаете, стоят за вашей спиной, выиграете войну?»

Все, кроме короля, оглядываются, словно боятся, что их подслушивают, а потом поворачиваются к Мицинке. На экране крупным планом лицо Мицинки, он хитер, осторожен и не расположен к откровенности. Камера надвигается на участников заседания.

«Наши ресурсы гораздо мощнее, чем думают. И у нас есть кое-какие изобретения».

Темнота в верхней части экрана просветляется и принимает вид облачного неба. Потом небо захватывает и нижнюю часть экрана. Появляются аэропланы. Сначала видно, как они летят клином вдалеке. Клин все растет и растет, и наконец аэропланы заслоняют небо, словно туча птиц. Они сбрасывают бомбы, пока внизу не остается ничего, кроме дыма и пламени.

Все это смещается влево, и мы видим крупным планом Мицинку. Он делает жест, который как бы удаляет аэропланы и вызывает на экран что-то новое.

Это колонна разбомбленных танков.

Танки исчезают, и снова появляется Мицинка, самодовольно дающий пояснения. Потом он, улыбаясь, поворачивается к другим и открывает главный козырь:

«У нас на руках настоящая выигрышная карта. Это наш секрет. Англичане и их друзья делают ставку на танки и механизированные войска. Но некий могущественный народ, сочувственно относящийся к нашим планам, предоставляет в наше распоряжение газ... новый газ... наш газ. Ни одно военное министерство в мире не располагает таким оружием».

Он наклоняется над столом, глаза его радостно сияют, кажется, что от удовольствия по губам его текут слюни.

«Они будут дико визжать, когда надышатся этого газа. Он может деморализовать любую армию в мире. От него не защитит никакой противогаз. И он ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ дешевый!»

Все потрясены. Но Пауль по-прежнему старается образумить их.

«Но, кажется, применение газов запрещено международным правом».

Некоторые качают головами. Мицинка все еще стоит, ликуя.

«Как можно отказаться от применения газа во время войны!»

Мицинка убеждает короля:

«Война не продлится и трех недель. А потом Клаверия станет господствующим государством в Европе».

Монза и другие согласны с ним. Монза излагает королю свою точку зрения. Действовать надо незамед-

лительно. Пауль откидывается на спинку стула. Крупным планом его лицо. Затемнение, и новый кадр: мы видим людей с искаженными лицами, бегущих сквозь облака дыма. Они отравлены. Некоторые срывают маски. Многие дико кричат. Ряд за рядом, крича и отплевываясь, они проносятся через экран. Потом они исчезают, и мы снова видим Пауля на королевском совете. Он спрашивает, нет ли какого-нибудь способа предотвратить эту войну. Нет. Член королевского совета, который до сих пор молчал, говорит:

«Ходит слух, что Сэвия собирается объявить войну, не дожидаясь нас. Это нам на руку».

Монза и Мицинка знают об этом, они переглядываются и кивают.

Пауль стискивает руки на столе. Он должен принять решение, от которого зависит его судьба. Король смотрит прямо перед собой. Потом он спрашивает:

«А что будет с побежденными?»

Крупным планом Мицинка, он отвечает:

«Жизнь всегда была борьбой за существование. Мы навяжем им свою волю».

Символическая картина человеческого унижения. Толпы людей низко склоняются перед Монзой и Мицинкой, а они небрежно попирают склонившихся.

Король вдруг встает, и тотчас встают все. Король решил, что ему делать.

«Я не хочу больше заниматься этим сейчас. Заседание совета откладывается до завтра».

Все молчат. Потом Монза и Мицинка в один голос начинают протестовать. Другие члены совета поддерживают их, но более осторожно. Рядом с королем молча стоит старый Хаген.

Монза, забыв этикет, обращается уже не только к королю, но и к остальным:

«Война неизбежна. Чем скорее она начнется, тем скорее кончится. Откладывать ее — значит проявлять ложную гуманность».

Король тверд. Гневным жестом он заставляет Монзу замолчать. Появляется титр:

«Заседание окончено.

Оставьте меня».

Король жестом отпускает министров. Они выходят с видом нашаливших и наказанных школьников. Двое шепчутся. В дверях каждый останавливается и кланяется. Все движения их медленны, и это производит зловещее впечатление. Изображение в этот момент должно быть темным, но четким. Лица одетых в черное членов совета в полумраке зала образуют как бы веревку, захлестывающуюся петлей вокруг короля и уходящую в дверь. Хаген уходит последним. В дверях он останавливается и поворачивается. Король делает знак, чтобы он подошел. Хаген, оглянувшись, закрывает двери и подходит к королю, который кладет ему руку на плечо и после секундного колебания спрашивает вполголоса:

«Скоро ли... они нанесут мне удар?»

Оба смотрят на закрытые двери. Хаген говорит, как главный приказчик, отчитывающийся в расходах:

«Пока еще нет. Городская полиция надежна. Солдаты — люди простые и преданные. Вашей гвардии можно доверять без всяких сомнений. Но зреет заговор в крепости и в войсках на сэвийской границе».

Король думает. *«Есть у меня еще три дня?»* — появляется надпись над его головой. Да, Хаген считает, что за три дня ничего не произойдет.

Король и Хаген сами становятся все более похожими на заговорщиков. Король говорит:

«Вы сказали, что могли бы устроить мне тайную встречу на границе с президентом Агравии. Можно это сделать?»

У Хагена все готово. Он говорит об этом королю. Автомобиль будет ждать у стены замка. Король может ночью выехать к границе. Который час? Оба смотрят на часы. Хаген звонит. Появляется молодой капитан королевской гвардии и закрывает за собой дверь. Разговор вполголоса. Капитан выходит в маленькую, незаметную дверь в боковой стене зала. Сказав еще несколько слов, Хаген выходит через главную дверь.

Король молча стоит у стола. Предстоит ждать полчаса. Он идет к своему креслу, садится и задумывается. Дважды посмотрев на ручные часы, он замирает, скрестив руки на груди.

ГЛАВА ПЯТАЯ

(Четвертая часть фильма)

ВИДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ВОЙНЫ

1

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Глубоко задумавшись, сидит Пауль.

Опускается тень и поглощает его. Потом он появляется снова (теперь уже в собственном воображении) на троне, но в полной темноте. Вот, словно пух чертополоха, вокруг него начинают летать газеты. Они трепещут и падают. Некоторые взмывают вверх и летят в сторону зрителей, их уже можно разглядеть во всех подробностях. (Мне кажется, режиссеру следует понаблюдать, как плавает в аквариуме скат.) Зрители читают:

«Сыны Клаверии». «Война! Война!»

«Клаверийский патриот». «Война! Война!»

Слова «Война! Война!» срываются с газетных листов и летают в воздухе.

Газеты валят, как снег в метель, они превращаются в аэропланы, быстро проносящиеся по экрану. Позади короля появляется зарево, похожее на зарево пожара. Оно становится медно-красным. Следующие кадры для усиления эффекта должны быть окрашены в красные и золотистые тона, с яркими светло-зелеными, голубоватыми, зелеными и розовато-лиловыми оттенками.

По обе стороны от короля появляются двое. Один из них — Мицинка, но теперь на нем яркая зеленая форма, которая делает его еще более похожим на рептилию; другой — злодей Монза. Они хватают короля под руки и, указывая вперед обнаженными саблями, заставляют встать. Позади появляются другие смутные фигуры, подталкивающие короля. Попирая всех, проплывает черный леопард. На передний план выплывает принцес-

са Елена, разворачивается декоративное панно, на котором снова чередуются знамена и копья. Принцесса в костюме Жанны д'Арк, такой зрители видели ее в процессии во время сцены последней встречи принцессы с Паулем. Она прекрасна и обольстительна. Она язвительно обвиняет Пауля в трусости. Обнажив длинный меч, принцесса берет его за клинок и вкладывает в руку короля. Он отказывается, но она непреклонна. Он берет меч. Тотчас все перестают наседать на короля и бурно аплодируют ему. Он размахивает мечом. Принцесса становится рядом, чуть пониже.

С королем во главе, выстроившись клином, все идут вперед сквозь беспорядочно бегущие тучи. По сторонам и внизу виднеется огромная толпа простого народа и солдат.

Тем временем звучит тревожная музыка, сменяющаяся военными маршами, бравурность которых угрожающе нарастает.

Тучи сливаются в бурный поток. Этот поток дыма и туч несет Пауля и всех, кто был с ним.

2

ВОЙНА

Звучит национальный гимн Клаверии, раздаются крики, приветствия.

Пауль и толпа его сторонников идут на зрителей, их фигуры все увеличиваются, становятся расплывчатыми, прозрачными и, наконец, совсем исчезают. Толпы народа, смутно видневшиеся вокруг, теперь проступают на экране более отчетливо, и мы видим площадь перед собором в Клавополисе, заполненную беспокойной толпой людей, которые кричат, толкаются, держа в руках бесчисленные плакаты с изображением леопарда, и смотрят, как через площадь проходит колонна солдат в боевом снаряжении. Камера надвигается на толпу, выхватывая отдельные детали из этого бурлящего моря голов. Мы видим людей: неистово кричащих женщин, плачущих старух, старика, которого топчет шарахнувшаяся от грузовика толпа. Камера наведена на солдат, потом на мгновение поднимается над толпой и задерживается

на группе людей, неподвижно стоящих на ступенях собора.

Среди этой группы пожилой священник в полном облачении, с поднятой для благословения рукой. Перед ним — щетина штыков, по бокам — два прислужника. Выше, на ступенях, стоит торжествующий Монза, рядом с ним — приземистый Мицинка. Здесь же английский посол в Клаверии. Подчеркнуто спокойно он то и дело проводит рукой по усам и рту. Рядом с ним с безразличным видом стоит американский посол. И вот они встречаются взглядами. Напряженность в дипломатических отношениях заставляла их избегать друг друга в течение нескольких недель. Английский посол качает головой, как бы говоря: «Ну и ну!» Американец пожимает плечами, словно хочет сказать: «Этого и следовало ожидать».

Объектив снова направлен на войска. Он выхватывает из марширующей колонны группу солдат. Они возбуждены и кричат «ура». Один из них оглядывается на девушку, и секунду мы видим на экране только их двоих.

А теперь мы видим эту же группу солдат на рассвете в товарном вагоне поезда, идущего по железнодорожной линии в горах; усталые, измученные, они приходят в себя после долгой ночи.

Поезд резко останавливается. Солдаты высыпают из вагонов. Музыку заглушает рев самолетов. Выскакивая из вагонов, солдаты смотрят вверх. Несколько человек изготовились к стрельбе. Один стреляет вверх. Подбегает офицер и кричит: «Рассредоточиться! Рассредоточиться!» Но уже поздно. Видно, как эскадрилья самолетов устремляется вниз, и солдат начинает косить пулеметный огонь. Они падают и кричат. У одного пулями прошито лицо, но он продолжает бежать.

Юношу, который накануне оглянулся на девушку, поразила пуля. Он скатывается в ров, лицо его за рамкой кадра, ноги неподвижны. На экране мансарда, и в ней та же девушка. Рассвет. Она просыпается и в страхе садится. Ей приснился дурной сон. Она проводит рукой по волосам и задумывается. На лице ее ужас. Ища утешения, она поворачивается к распятию над изголовьем кровати.

Вдруг она вздрагивает. Раздается вой сирены. Она прерывает молитву и идет к окну. Неподалеку слышен взрыв. Она выглядывает в окно, и вдруг окно освещает красное зарево.

Она бежит через комнату.

Мы снова видим вагоны, из которых выскакивают солдаты. Теперь с агравийскими аэропланами вступили в бой клаверийские. Поединок между двумя самолетами. Один из них врезается в землю, объятый пламенем. Войска развертываются, чтобы отразить танковую атаку. На них ползут пять громадных танков, которые больше и безобразнее всех известных современных танков. Офицеры жестами приказывают солдатам отойти в укрытие. Солдаты специального подразделения, похожие на водолазов в кольчугах, переваливаясь, подбираются под прикрытием бруствера к неуклюжей, безобразной машине, похожей на помесь гаубицы, мусоровоза и приспособления для поливки улиц. К ней присоединен рукав. Один из громадных танков угрожающе вырисовывается на фоне неба, и рукав направляется на него. На секунду экран затемняется, чтобы следующая сцена была более эффектной. Из рукава вырывается струя жидкости, которая вспыхивает ослепительным белым пламенем и обрушивается на танк. Он на глазах оседает, плавится и, охваченный розовато-лиловым пламенем, с грохотом взрывается. Камера отодвигается назад, и мы видим, как один за другим взрываются танки. Через экран проплывают клубящиеся тучи багрового дыма. Оседая, они становятся зеленовато-желтыми.

Из этого дыма появляются бегущие люди с искаженными от боли лицами. Они задыхаются. Они падают, кричат, корчатся. Гул самолетов и танков, грохот пушек отдаляется, теперь это ужасное зрелище сопровождают хрип и стоны. На несколько секунд все замирает, и слышно только, как кто-то тяжело дышит и всхлипывает. Виден большой пустырь, поросший вереском, и корчащиеся на земле люди. Камера медленно приближается к ним; экран становится синевато-зеленым, и еще один из тех, кого мы видели на площади, с лицом, перепачканным засохшей кровью и грязью, медленно, морщась от боли, ползет вперед. Его изумленное лицо

заполняет собой весь экран. Он приподнимается и смотрит на зрителей.

Музыка резко обрывается, как только он начинает поднимать голову, и вся сцена проходит в тишине. Лицо солдата искажается в агонии, глаза закрываются. Торжественно гремит клаверийский национальный гимн. Солдат медленно опускается на землю. Экран светлеет, флаг с изображением леопарда полощется и хлещет по лицу умирающего человека. Видимо, это раздражает его, потому что он пытается оттолкнуть полотнище от своего лица. Он исчезает в складках развевающегося флага.

Кроме клаверийского гимна, звучит английский «Правь, Британия» и американский «Моя страна» или какая-либо другая известная патриотическая английская и американская музыка, которую сочтет нужным использовать композитор. Появляются флаги. Сначала клаверийские, потом других стран. Вьется американский флаг, сливаясь с английским. А затем мы видим вступающий в бой огромный флот. Вдалеке, на горизонте, видны корабли противника. Сверкают орудийные залпы. В музыку вплетается грохот машин.

На экране кочегарка линкора. Возле топок работают полуголые люди. Один из них поднимается по трапу. Камера следует за ним. Мы видим палубу линкора возле орудийной башни. Вдруг человек, словно испугавшись, ныряет вниз и спрыгивает с трапа. В кочегарку попадает снаряд. Никто не успел сказать ни слова. В следующее мгновение в линкор попадает еще один снаряд, видно, как струи пара бьют из лопнувших, искореженных труб и ошпаривают людей, которые тщетно пытаются спрятаться. Корабль медленно переворачивается, и вот поток морской воды захлестывает корчащихся от боли людей. Крупным планом показан человек, который в отчаянии карабкается по трапу. Но его смывает волной.

На экране оживленные улицы города в теплую летнюю ночь. Всюду полно народу, как в восточных районах Нью-Йорка или переулках Неаполя. Раздается вой сирены. Мчатся, свистя, мальчишки-велосипедисты. Люди в панике разбегаются, среди толпы рвутся бомбы,

лавки и дома охвачены пламенем. В улицы врывается бурлящий поток воды, он подхватывает обезумевших людей и, как пену, несет вперед. Люди в ужасе размахивают руками, кричат, падают, из воды высовываются стиснутые кулаки, и все это затопляют новые потоки воды.

3

КОРОЛЬ ГОВОРИТ «НЕТ!»

Бурлит поток, и сквозь сумятицу вновь появляются расплывчатые фигуры Пауля и его свиты. Он стоит по колени в черной воде, по которой проплывают мимо мертвецы и раненые. Пауль шагает через кружащиеся в воде тела. Принцесса Елена, члены королевского совета — все, кроме Монзы и Мицинки, исчезают. Эти двое держат Пауля за руки и указывают вперед. *«Победа!»* — говорят они, и это слово большими буквами вспыхивает на экране. *«Победа! Наши друзья побеждают! Да здравствует Клаверия!»* От ужаса лицо Пауля окаменело. Он сжимает рукоять меча. Теперь он в центре внимания зрителей.

Он начинает отбиваться от тех, кто держит его.

«Вот что значит ваш патриотизм, будьте вы прокляты!»

Его окутывают клубы черного дыма.

«Но мы же победили!» — говорит злодей.

Пауль рукой отталкивает Монзу. На экране появляются черные буквы: «НЕТ!»

Но ему не сразу удается стряхнуть с себя это видение. Кошмар войны все еще душит его, вокруг него кружатся раненые и убитые. Черный дым от взорвавшегося снаряда принимает облик вздыбленного леопарда.

Пауль видит себя — маленькую фигурку, шагающую рядом с громадным чудовищем. Затем он вдруг поворачивается и вцепляется в леопарда. Начинается борьба Пауля с геральдическим леопардом (комбинированная съемка с использованием мультипликации). Нелепый поединок. Голова чудовища превращается в голову злодея. Леопард уменьшается до обычного человеческого роста. Теперь силы равны. Пауль хватает леопарда за

шею и бросает его на землю. Это должно напоминать сцену борьбы во вступительной части. Злодей повержен.

Мы снова видим Пауля, сидящего в зале заседаний королевского совета. Он пошевельнулся и скомкал лист бумаги, лежащий перед ним. Он как бы сжимает горло леопарда, повторяя многие движения, которые делал во время борьбы с чудовищем. Рядом мы видим Хагена, который смотрит на короля. Справа появляется молодой капитан и становится навытяжку.

Вздрогнув, Пауль приходит в себя.

«Все готово»,— появляется на экране.

Король встает, трет рукой глаза и, повернувшись к Хагену, дает ему последние указания.

Пауль с молодым капитаном выходят в маленькую дверь. Она остается открытой, и музыка звучит в такт гулким шагам, которые постепенно замирают.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

(Пятая часть фильма)

ПАУЛЬ-МИРОТВОРЕЦ

1

ТАЙНАЯ ВСТРЕЧА

На экране — придорожная гостиница в Агравии, неподалеку от границы. Массивное темное здание гостиницы едва виднеется в предрассветных сумерках. В обе стороны от гостиницы тянется дорога. С одной стороны стоит клаверийский пограничный столб. В некоторых окнах горит свет и мелькают фигуры людей. Что-то готовится. С агравийской стороны приближается большой закрытый автомобиль с зажженными фарами. Фары гаснут, и автомобиль останавливается перед дверью гостиницы.

«Господин Химбескет, президент Агравийской республики».

Мы видим крупным планом господина Химбескета (освещенного фонарями и занимающейся зарей), который выходит из машины. Это крепкий человек приятного вида, средних лет, в тяжелой меховой шубе (позже мы видим его во фраке, но сейчас под шубой фрака не видно). Его сопровождают худощавый молодой секретарь и военный адъютант. Солдаты в агравийских мундирах отдают честь, хозяин гостиницы почтительно приветствует его. Он задает вопрос: «Приехал ли король Пауль?» «Нет». Солдаты и секретарь выходят на дорогу и смотрят в сторону Клаверии. Ага! Кажется, кто-то едет.

Зрители видят гостиницу издалека. Яркий сноп света. Со стороны Клаверии подъезжает большая обтекаемая машина. Из нее выходят несколько человек. Король и президент встречаются.

Мы видим лучшую комнату гостиницы. За окном рассвет. Но комната освещена свечами. (Если сделать свечи из быстро сгорающего материала, это поможет показать длительность встречи.) Горничная раздувает тлеющий огонь в камине, потому что перед рассветом особенно холодно.

Дверь открывается. Президент вежливо пропускает короля вперед. Король входит, стягивает перчатки, дует на руки, растирает их. Адъютанты принимают пальто, и президент греет руки у огня. Все это показывает, что ночная поездка на автомобилях была продолжительной.

Секретарь Химбескета отдает распоряжения. Дело происходит в Агравии, и потому он заботится о гостеприимстве. Не угодно ли закусить? Вот кофе и бисквиты. Входит и выходит гостиничная прислуга. Секретарь торопливо выпроваживает ее. Все ли в порядке? Химбескет делает знак, что больше ничего не нужно. В дверях секретарь оборачивается и окидывает комнату последним взглядом. Да, бумага на столе. Он уходит, закрыв за собой дверь. Король и президент остаются наедине.

«Нам надо было встретиться раньше, господин президент, но я совсем недавно стал королем и еще не освоился со своим положением».

Он предлагает президенту сесть. Ни один и не думает притрагиваться к кофе и закускам, стоящим на столе: их мысли слишком заняты делом. Они одновременно садятся. Пауль намерен откровенно высказать все. Президент более осторожен. Странный оборот принимают события! Не западня ли это? Что за птица этот король Пауль?

Пауль начинает первым:

«Я узнал, что мое правительство, моя пресса и некоторая часть моего народа настроены воевать с Агравией.

А ВЫ хотите войны?»

«Боже, конечно, нет!» — восклицает президент. Он вскакивает. (Наверно, он слишком привык выступать на собраниях, и это постоянно сказывается в его манере держаться.) Но ведь во всем виновата Клаверия! Агравия — самое мирное из государств.

Пауль говорит:

«В спорах между странами какая-то доля вины ложится на каждую сторону.

Но я хочу предотвратить войну».

Президенг говорит, что он тоже искренне этого желает. Они конфиденциально беседуют о военных возможностях обеих стран. Президент говорит:

«Вас поддерживают гигантские монополии в Америке. На вашей стороне несравненно более могучие силы».

Пауль становится откровенным. Скажите...—начинает он.— Что вы хотите знать? — спрашивает президент.

«Если Клаверия откажется начать войну, не вырвут ли у меня эти большие монополии согласие силой?»

Президент задумывается над этим вопросом. Скорей всего, нет. Чем больше он думает, тем сильнее его уверенность. Они не могут начать действовать, пока Клаверия не подожжет фитиль. Мирные договоры и весь этот женевский вздор помешают им.

«Пакт Келлога связывает их по рукам и ногам», — говорит он.

Пауль так и думал. Он рад, что его мысли подтверждаются.

«И еще один вопрос, господин президент.

Если принцесса Сэвии начнет разжигать войну, воздержитесь ли вы от нападения на Сэвию? Не начнете ли вы военные действия?»

Президент задумывается. Уж не маневр ли это с целью выиграть время перед нападением? Но король Пауль кажется ему честным человеком. Президент садится поудобнее и присматривается к королю. Он вглядывается в лицо Пауля, взволнованно потирая руки. По своей манере держаться Химбескет ничем не отличается от обыкновенных людей, но в его поведении есть что-то от крестьянина: крестьянская подозрительность и хитрость. Но он честен, и его не на шутку тревожит серьезная угроза, нависшая над Агравией. Он вновь и вновь задает Паулю вопросы. Наконец он решается: Нет, мы не начнем войны. Он дает слово. По рукам? Пауль протягивает руку. Ну, что у нас еще? Глядя на огонь, Пауль говорит не очень веселым тоном:

«Видите ли, меня могут убить. Я не верю в дурные предчувствия, но такая возможность не исключена».

В таком случае Химбескет ничего не выиграет, воздержавшись от военных действий. Да, это ясно. Пауль все больше и прочнее завоевывает доверие Химбескета. Разговор продолжается. На экране показано течение времени — свечи оплывают, часы показывают более поздний час, меняются позы, в комнате становится светлее, король и президент находят общий язык. Пауль немного колеблется, говорить ли ему еще об одном деле, но он чувствует, что его необходимо обсудить.

«А теперь, господин президент, между нами,— ведь нам обоим угрожает опасность,— скажите мне, было ли убийство, совершенное в соборе святого Иосифа, делом рук Агравии?»

Услышав этот вопрос, президент Химбескет не может усидеть на месте. Полный негодования, он вскакивает. На миг он теряет дар речи. Потом кричит, и на экране появляется черный титр:

«Это принц Михель!»

У президента вид человека, который сделал важное признание. Пауль сохраняет самообладание и медленно кивает. Да, это так. Но нет ли каких-нибудь доказательств? Доказательства — в этом все дело. Как доказать это? Президент горячо говорит:

«Он хочет стать королем. Его обуревает слепая страсть к принцессе Елене... и к власти».

Это верно, соглашается Пауль, но где доказательства?

«Улики можно найти в Клаверии. Моей полиции известны эти улики, они в Клаверии.

Как НАМ добыть их? Если нам это удастся, разоблачения будут напечатаны во всех газетах мира».

С точки зрения Пауля, это разумно. Не поможет ли ему господин президент? Помочь? Конечно! Король и президент договариваются, как им действовать. До сих пор все идет хорошо.

Пауль: *«А англичане не приложили к этому руки?»*

Химбескет жестом дает понять, что это исключено.

Пауль: *«Скажите, а американцы не замешаны в подготовке к войне?»*

Химбескет пожимает плечами. Потом он идет к камину, видимо, собираясь сказать что-то очень важное.

«Поскольку американцы и англичане по глупости соперничают вместо того, чтобы стать партнерами, то все в этой части света стараются использовать положение в своих целях. Вы думаете, принц Михель — это просто пешка?»

Его улыбка показывает, как наивна эта мысль. Он делает жест рукой, и мы видим на экране его и принца Михеля за шахматной доской, а на доске расставлены англичане и американцы: английский министр иностранных дел, крупный американский финансист и так далее.

Химбескет говорит: *«В дипломатической игре менее значительные фигуры используют более значительные в качестве пешек».*

Пока происходит все это, разгорается день, а свечи укорачиваются. В окна заглядывает солнце, в комнате светлеет, и Пауль машинально гасит две оплывшие свечи на столе. Он глубоко задумался. Может быть, все-таки удастся предотвратить войну и сохранить мир на земле? Он встает.

«Господин президент, в вашей стране есть фанатики. Попридержите их, а я постараюсь попридержать своих. Но как нам быть с калькомитом?»

Зелинка и Химбескет садятся рядом и обсуждают этот вопрос.

«Прежде всего, — говорит Зелинка, — *мы намерены сохранить независимость».*

Химбескет сочувственно кивает головой.

«Во-вторых, весь мир заинтересован в эксплуатации агравийского калькомита».

Химбескет замечает, что это гораздо сложнее. Он колеблется. Он что-то говорит о своем народе, и над ним появляется агравийский василиск, приготовившийся к схватке. Позади василиска появляется английский министр иностранных дел. Химбескет решает быть совершенно откровенным.

«Это не понравится моим английским друзьям».

Зелинка задумывается.

«Английскому народу это безразлично. Возражать будет только английское правительство и английские монополисты».

Теперь задумывается Химбескет. Потом он встает в позу оратора.

«Если бы я только мог сказать это английскому народу!»

Улыбаясь, Пауль соглашается с ним.

«Если бы мы могли сказать это прямо всем народам, то пришел бы конец всякой националистической политике. Сами люди этого не понимают. Но они устали от войн».

Зелинка откидывается на спинку стула и говорит, как бы размышляя вслух:

«Когда калькомит был заложен в недра нашей планеты, он, наверно, предназначался для всего человечества».

Химбескет находит это разумным, и Зелинка продолжает:

«К сожалению, он был заложен только на территории Агравии и Британской империи».

Что ж, это так — говорит выражение лица Химбескета.

«И поскольку он стал жизненно необходим для металлургической промышленности всего мира, и Америки в частности...»

Химбескет осторожен, он поднимает руку.

«...распределение калькомита следует поставить под международный контроль».

Зелинка добавляет:

«А вот международного контроля как раз и нет!»

На лицах короля и президента словно бы написано: «Как же нам теперь быть?»

Химбескет во всем согласен с Зелинкой, он занят обдумыванием речи, которую намерен произнести. Отвернувшись от Зелинки, он обращается к воображаемым слушателям, выразительно жестикулируя.

Зелинка сидит, задумавшись.

«А если нам опубликовать совместную декларацию, призывающую установить международный контроль над запасами калькомита с условием, что в контрольный орган войдут представители ВСЕХ стран с развитой металлургической промышленностью?»

Облокотившись на спинку стула, Химбескет говорит:

«Вашим американским друзьям это понравится не больше, чем моим английским».

Зелинка слегка ударяет по столу кулаком.

«Но мы должны помешать их игре — этой тайной, глупой игре».

Король и президент смотрят друг на друга. Зелинка встает.

«Вы сдерживайте своего василиска». На экране Химбескет, который удерживает непокорного василиска, как обычно удерживают драчливую собаку.

«А я постараюсь справиться со своим патриотическим леопардом».

На экране Зелинка, который душит леопарда за горло.

«И они тоже должны как-то обуздать своих патриотов».

Зрители видят, как дядя Сэм утихомиривает неистового человечка с огромным американским флагом. А Джон Буль приструнивает столь же неистового английского патриота.

«И мы сделаем первый шаг по пути установления контроля над сферами интересов всех стран, без чего невозможен мир на земле».

На экране бурлящая толпа, размахивающая национальными флагами, и над ней появляются смутные очертания женской фигуры, которая становится видна все отчетливее — эта грустная женщина похожа на прекрасную Сивиллу в Сикстинской капелле в Риме. У ее ног высечены слова «Единство человечества».

Да, Химбескет согласен со всем этим. Надпись «*Единство человечества*» проплывает над ним. Чем больше он думает над этими словами, тем больше они ему нравятся. Он уверен, что справится со своим василиском. В конце концов он всегда хотел мира. Он повторяет слова Зелинки перед воображаемыми слушателями. Однако Зелинка не поддается этой восторженности. Он собирается с мыслями.

«Всякий раз, как удается предотвратить войну, это помогает понять, что огромные армии и флоты — нелепица».

Ораторствующий Химбескет исчезает, и на экране остается один Зелинка, который все больше становится воплощением Человека-созидателя и мыслителя. По одну сторону от него стоит вздыбленный василиск, по другую — леопард. Он обращается к ним:

«Вы, хищники, удастся ли нам когда-нибудь приручить вас?»

Он вновь появляется на экране с леопардом и василиском, которые, как собаки, виляют хвостами у его ног. Но он не верит им и глядит на них с подозрением.

«Я рад бы задушить вас обоих».

Зелинка задумывается. Под ним появляется колонна солдат, шагающих со знаменами за оркестром. Солдаты в гренадерской форме, а перед оркестром, размахивая серебряным жезлом, торжественно шествует рослый человек. Тут же флаг Клаверии с изображенным на нем леопардом, чтобы успокоить нервных патриотов Англии и Америки. Трубят сигнал. Мы видим большой плац, на котором кадеты показывают чудеса строевой выучки. И здесь бросается в глаза знамя с леопардом. Похожие на оловянных солдатиков, фигурки солдат исчезают, и вместо них появляется Зелинка, который все еще раздумывает об отвратительных зверях, пресмыкающихся у его ног. Он пинками прогоняет их. Потом, по-прежнему в глубокой задумчивости, удаляется. Рядом с ним вновь появляется Химбескет. Они стоят лицом к лицу.

«Предатели нашей «внешней политики», они верны Человечеству».

Рукопожатие. Король с президентом стали друзьями и союзниками. Секунду они стоят, глядя друг другу прямо в глаза.

Потом президент быстро поворачивается и хлопает в ладоши. Входит секретарь. Химбескет уже настолько успокоился, что замечает нетронутый кофе. Он берет булочку и наливает себе кофе. Секретарь прикладывает руку к кофейнику — не остыл ли? Да, остыл, но через секунду принесут горячий. Тотчас входит слуга с новым кофейником. Пауль тоже наливает себе кофе. Король и президент теперь могут поесть. Тяжелые мысли оставили их.

Химбескет, который чувствует, что у него гора свалилась с плеч, дает какие-то указания секретарю. Но Пауль еще не испытывает такого облегчения. Он даже не знает, король ли он или уже нет. Экран тускнеет.

2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

На экране снова зал заседаний королевского совета в клавополисском дворце. Вновь собираются члены совета. (Один из советников не явится, но роль его несущественна, это должно быть сделано просто для разнообразия.) В зале трое советников и Хаген. Все нервничают и чувствуют себя неловко. Секретари держатся скромно, но они внимательно и с любопытством наблюдают за всем. Входят вместе Монза и Мицинка. У них приподнятое настроение: теперь они знают, как им действовать. У Монзы такой вид, будто он хочет сказать: «Ну, что еще нам преподнесут?» Знает ли Хаген, где король? Но если Хаген и знает, он не собирается рассказывать об этом.

Все трое советников, как говорят школьники, подлизываются к Монзе и Мицинке. Но (оглядываясь на дверь) где же король? Кто-то идет по коридору. Появляется смутная фигура короля и исчезает. Открывается дверь. Входит капитан с двенадцатью гвардейцами, которые выстраиваются справа и слева от двери. Такого еще не бывало. Двое советников обеспокоены, они о чем-то спрашивают друг друга. Мицинка подмигивает Монзе. Неужели этот иностранец-король испугался? Все молчат. Придворный объявляет: «Король».

Входит Пауль, свежий и тщательно одетый Он неторопливо идет к своему стулу и садится Разрешает

сесть членам совета. Хаген встает, коротко, для проформы, напоминает повестку дня предыдущего заседания и садится. Мицинка оборачивается и делает знак секретарям покинуть зал. Король считает это дерзостью. Нет, пусть останутся. «Ну что ж, пожалуйста!» — как бы говорит Мицинка.

Все выжидающе молчат. Пауль начинает спокойно:

«Сегодня утром я встретился с президентом Агравии. Я удовлетворен его заверениями. Война объявлена не будет».

Все поражены. Монза и Мицинка вскакивают и вместе что-то говорят. Хаген встает и одергивает их. Другие советники о чем-то недоуменно спрашивают друг друга. Король абсолютно спокоен. Он повторяет:

«Войны не будет».

Он знаком приказывает Мицинке и Хагену сесть. Все, кроме Монзы, садятся. Монзе разрешено говорить. Он говорит красноречиво и горячо. Он намекает на некоторые важные причины. Нельзя отказываться от своих обязательств. Взглянув на секретарей, он наклоняется над столом и конфиденциально сообщает:

«Мы заключили секретные соглашения с нашими друзьями, с очень влиятельными друзьями за границей».

Пауль откидывается на стуле с видом крайнего удивления. Что же это? О каких секретах идет речь? Монза горячо протестует против присутствия секретарей при обсуждении таких дел. Пауль делает уступку. Пусть секретари уйдут. Они уходят.

Ну, а теперь послушаем, что все это значит?

Вид у всех заговорщический.

Монза, Мицинка и другие советники высказываются, Хаген вставляет замечания. Пауль сидит с безразличным видом; обдумывая, как ему быть дальше, он едва ли слушает. Монза говорит о главном:

«Все эти разговоры, ваше величество, носят... академический характер. Война уже началась. Принцесса Сэвии объявила войну Агравии».

Уже! Пауль надеется, что Монза выдает желаемое за действительное. Но от принцессы Елены всего можно ожидать. Он говорит:

«Тогда Сэвии придется объявить о прекращении войны».

При этом он бросает взгляд на капитана гвардии, который стоит навытяжку справа от него. Они встречаются взглядами. Все готово, ваше величество. Монза вне себя. Объявить о прекращении войны! Он протестует. Это абсурд! Это неслыханно! Король хочет совершить глупость. Он уже обращается не к королю, а ко всем присутствующим. Члены совета шумят, проявляя непочтительность к своему королю, который сидит с каменным лицом. Пауль поворачивается к Хагену и что-то шепчет.

Потом он жестом призывает всех к порядку, сначала мягко, потом властно. Члены совета понимают, что их спровоцировали и заставили нарушить этикет. Король встает, и все внимательно его слушают.

«Господа, я распускаю совет. Министр иностранных дел и военный министр должны передать свои портфели канцлеру. Они арестованы».

Все ошеломлены таким оборотом событий. Король делает знак капитану. К каждому из арестованных министров подходят по два гвардейца. Монза пожимает плечами. Мицинка, очень тщеславный, уязвлен. Он выражает королю протест. Король машет рукой: «Уведите его». Арестованных министров уводят. Выходят и все остальные, кроме Хагена. Король сидит на месте.

«Первый раунд окончился в нашу пользу, Хаген».

Прочие события этого утра развиваются в лоджии. Иностранный дипломат — не англичанин и не американец,— щегольски одетый, с двумя орденскими ленточками и цветком в петлице, увещевает Пауля, который прислонился к парапету лоджии и не поддается уговорам.

«У моего правительства прочные связи с крупными американскими монополиями. Мы полагались на Клаверию и верили, что вы будете вести по отношению к Агравии жесткий политический курс. Если вы бросите Сэвию на произвол судьбы, у Клаверии не останется друзей».

Пауль спрашивает, что это значит. Дипломат объясняет.

Пауль говорит:

«Мне все равно, останутся ли у меня друзья. Или я сохраню мир на земле, или погибну. Клаверия не зажжет пожар второй мировой войны».

Они продолжают разговаривать. Входит капитан гвардии и отдает честь. Он докладывает, что арестованы владельцы двух самых крупных газет в Клавополисе и редактор «Сынов Клаверии». Пауль приказывает ввести их. Они под стражей. Капитан стоит тут же. Пауль указывает на газетчиков дипломату.

«Эти господа, думаю, вам уже знакомы... и даже слишком хорошо. Мэвик и Хесс, владельцы «Сынов Клаверии» и «Клаверийского патриота», Сэвет, редактор «Сынов Клаверии».

Сэвет держится вызывающе. Этого человека с бычьей шеей нелегко испугать, он насторожен и самоуверен. Мэвик — низкорослый толстяк, Хесс — ничем не примечательный человек в щегольском костюме. Они стоят по одну сторону от Пауля, дипломат — по другую.

Дипломат притворяется, будто он глубоко потрясен.

«Но ведь будет возбуждено общественное мнение во всем мире, ваше величество? Где же свобода слова? Где свобода печати?»

Пауль улыбается. Он относится к таким вещам скептически. Сэвет говорит, что арест незаконен. Даже клаверийский суд потребует их освобождения. Пауль спокойно отвечает:

«Может быть, и незаконен, но необходим.

Печать — великая сила в современном мире, и я хочу, чтобы она отвечала за свои действия. Для меня мир на земле дороже вашего права на свободу творить зло».

Молчание.

«И даже ваших жизней».

Но Сэвет уже увидел нечто такое, что даже эта угроза ему не страшна. Он пристально смотрит на клавополисскую крепость. Потом бросает взгляд на Пауля и делает шаг вперед:

«Взгляните туда, ваше величество. И пусть то, что вы увидите, послужит вам предостережением».

Он показывает рукой. Все смотрят вдаль и замирают. Это продолжается несколько секунд. Потом на экране отчетливо видна крепость. Большое королевское знамя опускается, и вместо него по флагштоку взлетает черный флаг. Вместо королевского флага поднят михелистский. Флаг дается крупным планом, а потом на экране снова люди, смотрящие на него из лоджии.

На фоне неба появляется черная четкая надпись *«Мятеж»* и медленно исчезает. Все по-прежнему стоят без движения; потом Сэвет искоса смотрит на Пауля. И вслед за ним все смотрят на Пауля. Он чуть-чуть изменился в лице.

«Итак, крепость стала на сторону Михеля!»

Пауль задумывается. Потом он поворачивается, идет к парапету лоджии и смотрит на крепость, а другие — дипломаты, охрана, арестованные — остаются на переднем плане и наблюдают за ним. Создается ощущение изолированности короля. Сейчас он одиночка, выступивший против всех.

Пауль поворачивается и подходит к остальным. Он обращается к молодому капитану гвардии:

«А как гвардейцы, капитан?»

Капитан отдает честь, гвардейцы вытягиваются.

«Ваше величество, гвардейцы политикой не занимаются. Они верны своему долгу».

Пауль кивает.

«Следовательно, дворец еще в моих руках... и арестованные тоже».

Но Сэвет хочет сказать что-то еще. Он утрированно почтителен.

«Ваше величество, примите уверения в моем нижайшем почтении, но, наверно, вы знаете не все, что произошло со вчерашнего дня.

Гарнизон на сэвийской границе взбунтовался, к нему присоединились сэвийские войска, и все они готовятся к походу на Клаверию».

Лицо Пауля крупным планом.

«Принцесса с ними?» — спрашивает он.

Сэвет кивает.

Пауль сердито спрашивает.

«Они хотят посадить на престол Михеля?»

Сэвету хотелось бы и на это ответить утвердительно, но он не может Поколебавшись, он говорит:

«Они еще не знают о вашем тайном соглашении с Агравией. Они идут просить вас, чтобы вы повели их против Агравии».

Пауль думает.

«Михель с ней?»

Наглая ухмылка. Да, Михель с ней.

Торопливо входит Хаген. Он принес те же вести. Он что-то говорит Паулю. Пауль ему отвечает. Необходимо показать, что все наблюдают за Паулем.

Король оборачивается. Отдает распоряжения. Велит увести арестованных. Они пожимают плечами и в сопровождении охраны уходят. Судя по их поведению, они чувствуют, что обстоятельства на их стороне и что скоро они будут свободны. Пауль резко поворачивается к дипломату, пожимает ему руку и отпускает его. Затем король подзывает Хагена, и они о чем-то говорят.

3

КОРОЛЬ УБИВАЕТ, КАК И ПОДОБАЕТ КОРОЛЮ

«Этого от принцессы я не ожидал. По какой дороге движутся войска? Сколько их? Я считал, что в моем распоряжении еще три дня».

Хаген дает разъяснения. Из небольшого книжного шкафа возле стола он достает карту. Король и Хаген обмениваются торопливыми фразами. Хаген показывает что-то на карте.

«Они идут через перевал Ридель. Это труднопроходимый перевал, высоко в горах, но так они обходят гарнизон во Фридале, который еще колеблется. Его начальник сохранил верность вашему величеству».

Пауль энергичен и сосредоточен. Он задает вопросы, водя пальцем по карте. Когда они доберутся вот сюда? А сюда?

«Если я не остановлю их прежде, чем они доберутся до Клавополиса, я обречен».

Он тотчас принимает решение выехать навстречу Михелю и расправиться с ним. Он возьмет с собой капитана и восемь гвардейцев. А Хаген с остальными гвардейцами пусть удерживает дворец. Пауль призовет мятежные войска не повиноваться Михелю. Или он вернется... или город займет Михель. Вот о чем говорят король с Хагеном, но титровать эти слова незачем. Короткое совещание; капитан, получив приказания, уходит; достаточно дать на экране последние важные слова Хагена. Король задает вопрос. Хаген отвечает:

«Жители города в растерянности. Они нерешительны и будут делать то, что им прикажут.

Сейчас они готовы поддержать Михеля».

Постепенно экран темнеет. Король и Хаген с серьезными лицами разговаривают в лоджии, на заднем плане виден Клавополис и крепость.

Теперь на экране ворота в высокой стене. Два больших автомобиля, восемь гвардейцев и молодой капитан ждут короля. Король выходит, вскакивает в первый автомобиль, и тотчас оба автомобиля быстро уносятся.

Извилистая дорога идет вверх по ущелью. Минуя древний полуразрушенный замок и делая виражи на опасных поворотах, мчатся по дороге автомобили. Такие кадры должны подчеркнуть желание короля как можно скорее добраться до границы.

Маленькая гостиница в горах. Близ нее от дороги отходит караванная тропа. Несколько солдат держат под уздцы лошадей. Они ждут. Подъезжают автомобили, из них выскакивают Пауль и его спутники. Быстро сев на лошадей, король, капитан и гвардейцы отправляются вверх по тропе.

Мы видим, как кавалькада, минуя скалы и сосны, приближается к перевалу. Капитан показывает рукой на перевал. Вид на перевал с противоположной стороны. Вниз круто спускается горный склон. Тропа уходит наискось влево, потом сворачивает, ведя под уклон, так что по мере приближения человека со стороны Клаверии сначала появляются его голова и плечи, он постепенно становится виден во весь рост, потом он поворачивает налево, и его снова почти не видно. Повернув, он едет через экран слева направо, так что перевал остается в поле зрения зрителей. У правого края экрана он снова поворачивает и едет, все вырастая, прямо на зрителей. Надвинувшись на камеру, он исчезает с экрана. Едущие в Клаверию, то есть в том направлении, в котором движутся мятежные войска, повторяют все это в обратном порядке. Они появятся сбоку, громадные, обращенные к камере спинами, и будут двигаться к перевалу по тропе, вьющейся серпантином.

На экране появляется маленький отряд Пауля — сначала головы, потом люди во весь рост. Они оглядывают

простор. Капитан показывает на что-то рукой. Потом протягивает королю бинокль.

На экране вид Сэвии с перевала. Красивые склоны гор не так круты, как с клаверийской стороны. Видно, как по извилистой тропе далеко внизу движется длинная колонна кавалерии. Во главе колонны — группа офицеров.

В бинокль видно, что среди них угрюмая и молчаливая принцесса, а немного позади нее — угрюмый и молчаливый Михель.

Крупным планом — Пауль, сидящий на лошади. Остальные — позади него и немного ниже, так что они видны только по грудь. Ближе всех к Паулю — капитан. Вышколенные гвардейцы застыли в нескольких шагах позади. Король с капитаном обмениваются короткими фразами. Капитан смотрит вперед из-под руки.

«Их около двух тысяч, ваше величество... или даже больше».

Пауль кивает, и оба застывают в задумчивости. Потом Пауль оглядывается. Неподалеку стоит дерево в цвету, стрекочут цикады. Пронзительный стрекот цикад и шелест листьев сливаются с музыкой. Пауль задумывается, но ничего не говорит. На фоне неба появляются слова:

«Наверно, здесь меня и убьют».

Он еще раз оглядывается. Прекрасный день. Пауль оборачивается к капитану. Капитан — само внимание.

«Как приятно стрекочут эти цикады».

Капитан немного удивился, но кивнул головой. Чудесный горный вид совсем не настраивает на мысли о смерти. Решив, что приятнее места для смерти не найдешь, Пауль снова смотрит на приближающуюся колонну.

На экране тропа. Бок о бок едут Михель и принцесса. Камера следует за ними по извилистой горной тропе. Вдали показывается перевал, и на нем маленькая фигурка Пауля.

Принцесса останавливает лошадь и показывает на нее рукой. Михель тоже останавливается. Она шепчет что-то. Взглянув вперед, офицер шепотом говорит что-то своему подчиненному. Шепот распространяется по колонне. Над ней как бы витает слово «король».

Колонна уже недалеко от Пауля. Крупным планом показываются лица принцессы и Михеля. Принцесса не сводит глаз с фигуры в белом мундире, стоящей наверху. Михель следит за ней. Она оборачивается и показывает на Пауля плетью.

«Может быть, он приехал, чтобы возглавить нас?»

Михель угрюмо возражает ей. Он растерян, встревожен, обескуражен неожиданным появлением Пауля.

Теперь принцесса и Михель совсем близко к Паулю. Она снова показывает на него плетью.

«Вы сказали, что он прячется от войны в Клавополисе, как затравленная крыса».

В ее тоне звучит нотка торжества. Но Михель возражает ей:

«Даже крыса огрызается, если ее загнать в угол».

Но она не сводит с Пауля глаз.

Мы видим, как михелисты подъезжают к отряду короля. Пауль, словно конная статуя, высится над ними. Михель отдает приказания офицерам. Принцесса перебивает его:

«Но вы не должны прибегать к насилию: ведь он король».

Михель подозрительно смотрит на принцессу. Неужели она собирается предать его?

Мы видим, как колонна подходит теперь почти вплотную к отряду Пауля. Михель с принцессой сворачивают влево. Пауль вытягивает руку, приказывая остановиться. Все останавливаются. Пауль и капитан в мундирах, ослепительно белеющих на солнце. Позади них (по грудь) — гвардейцы. Ниже и ближе к камере, темным полукругом стоят мятежники. На нижнем крае экрана видны головы, спины и оружие кавалеристов, смотрящих на Пауля.

Принцесса переводит взгляд с Пауля на Михеля, потом обратно. У Михеля неприятное чувство, что перед ним самое трудное препятствие в его жизни. Он стоит вполоборота к Паулю, не выпуская из поля зрения своих сторонников. Он говорит:

«Клаверия и Сэвия призывают вас объявить Агравии войну!»

Пауль, который смотрит на него спокойно, почти презрительно, отвечает:

«Я стою за мир».

Михель по-прежнему к нему вполоборота.

«В таком случае, король, вы изменник. Нам не о чем с вами разговаривать».

Он обнажает саблю и указывает на Пауля солдатам, стоящим внизу. *«Арестовать его»,*— говорит он, и эти слова долго остаются на экране. Два человека, двинувшиеся было к Паулю, останавливаются. Что-то в неподвижных фигурах короля и капитана пригвоздило их к месту. Наступает минута напряженной тишины. Потом неторопливо и спокойно Пауль вытаскивает из кобуры револьвер. Он поднимает оружие, но не может выстрелить человеку в спину.

«Михель!»

Михель оборачивается и видит, что Пауль целится в него из револьвера. Он поднимает руки, но, поняв, что это не спасет его, вытягивает их вперед (вместе с обнаженной саблей), как бы защищаясь. Он опускает голову. У Пауля решительное выражение лица, как у человека, который тщательно прицеливается в мишень и не намерен промахнуться. Пауль стреляет. Пораженный пулей, Михель валится назад. Он свисает с седла и падает кулем на землю. Пауль медленно опускает револьвер. Секунду он смотрит на Михеля, лежащего у его ног.

Убив Михеля, Пауль уничтожил душу мятежной партии, стремившейся развязать войну. Все ошеломлены. Пауль обращается к полковнику, командующему мятежной кавалерией:

«Ну, полковник, за кем вы пойдете теперь?»

Солдаты переглядываются. Принцесса, которая до сих пор молча наблюдала за происходящим, вдруг тронула коня и подъехала к Паулю. Что она задумала? Она поворачивается к солдатам и поднимает плеть.

«Это ваш король!»

Полковник и солдаты, обнажив сабли, приветствуют короля. *«Возьмите труп»,*— говорит Пауль, поворачивая коня. Солдаты спешиваются, подбирают труп Михеля и перекидывают его через седло. Пауль показывает рукой в ту сторону, откуда приехал. *«В Клавополис»,*— говорит он. Капитан и его гвардейцы выстраиваются позади короля. В их четких движениях чувствуется неотвра-

тимость Пауль и гвардейцы скрываются из виду, за ними следует лошадь с телом Михеля, потом через перевал проходит кавалерия.

Солдаты, поднимая пыль, едут по извилистой тропе и минуют перевал; изображение тускнеет и исчезает.

Мы видим Пауля, спускающегося с перевала. Его надо показать в профиль. Темная фигурка короля движется вниз по крутому склону на фоне красивых далеких гор. Пауль едет спокойно. Позади него с застывшим, как маска, лицом едет принцесса Елена. Но на мгновение сквозь эту маску мелькает интерес: «А что сейчас думает и чувствует Пауль?» Она вспоминает недавнюю бурную сцену, оборачивается и глядит назад, на перевал. Так она и исчезает за рамкой кадра.

Следом за ними едет полковник в сопровождении нескольких кавалеристов.

Потом появляется тело Михеля, перекинутое через седло. Дальше следуют солдаты. Экран постепенно тускнеет. Лошади осторожно шагают вниз по тропе.

4

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ

На экране снова площадь перед собором святого Иосифа. Площадь почти пуста. Видны лишь несколько прохожих да на одном углу военный отряд с двумя пулеметами.

От солдат отделяется офицер и смотрит на крепость. Оживившись, он зовет другого офицера. Флаг михелистов опускается. Вновь поднимается знамя Пауля.

Это видят и другие. Группки людей собираются на площади. Все смотрят на крепость.

Движение на площади. Народ прибывает. Люди уже смотрят не на крепость, а в сторону улицы, выходящей на площадь. По ней кто-то приближается. Показывается голова колонны, прибывшей с перевала. Во главе ее Пауль и принцесса Елена. Колонна пересекает площадь.

Толпа все растет. Люди с изумлением смотрят на тело Михеля. Лица крупным планом.

На экране снова лоджия. Пауль и капитан все еще в сапогах со шпорами. Они подходят к парапету, глядят на город и крепость. Потом отворачиваются. Стража вводит троих газетчиков.

Пауль весело встречает их, жмет руки. Он отпускает стражу.

«Прошу прощения за беспокойство, которое вам причинили. Мне надо многое сказать вам... Я хочу, чтобы у меня была хорошая пресса».

Не приходится сомневаться, что хорошая пресса у него будет. Он начинает говорить. Сэвет достает блокнот и делает заметки.

Сумерки. На улицах горят фонари. На здании редакции «Сынов Клаверии» висит огромный плакат:

ПОПЫТКА МЯТЕЖА ПРОТИВ КОРОЛЯ
ПРИНЦ МИХЕЛЬ РАССТРЕЛЯН
МИР ОБЕСПЕЧЕН

У нижней кромки экрана — темная настороженная толпа, собравшаяся у здания редакции. Волнение толпы усиливается, когда вывешивают еще один плакат:

ПРАВДА О НЕДАВНЕЙ ИЗМЕНЕ
НОВЫЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ЛИГА ЗАМЕШАНА
В ПРЕСТУПЛЕНИИ

Выносят газеты, и белые листы трепещут на фоне темной толпы.

Какая-то уличка. Две испуганные женщины останавливают продавца газет. Они находят столбец с последними новостями. Одна читает. Другая заглядывает ей через плечо.

На экране первая полоса «Сынов Клаверии». Заголовок большой статьи:

СЭВИЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ СВОЕГО УЛЬТИМАТУМА
МИР ОБЕСПЕЧЕН

Женщины радуются. К ним присоединяются другие прохожие.

В музыку оркестра неожиданно врывается трезвон колоколов. Вскоре уже звонят все колокола Клавополиса. Люди вдруг избавились от страха перед новой мировой войной. Народ, заполнивший улицы, понимает это. Какие-то девушка и юноша начинают танцевать. По улице бежит старик, звоня в колокольчик.

На несколько секунд на экране снова появляется площадь перед собором. Видна большая веселая и шумная толпа. На фоне темного вечернего неба то здесь, то там появляются яркие, словно светлячки, буквы, из которых складывается слово «МИР».

Далее мы видим лоджию уже утром следующего дня. Пауль стоя ждет принцессу.

Она входит. Принцесса в прелестном платье, так непохожем на военный костюм, который был на ней в горах. Король и принцесса смотрят друг на друга. Пауль говорит:

«Вы спасли мне жизнь.

Я думал, что вы хотите убить меня».

Она никогда не хотела убивать его, но не уверена, что именно она его спасла. Не будь ее там, клаверийские солдаты, наверно, все равно перешли бы на его сторону после того, как был убит Михель. Они всегда колебались. Но он не позволяет ей преуменьшать ее роль в этой победе. Нет, он считает, что это она спасла ему жизнь. Она снова возражает.

Оба чувствуют себя неловко. Король и принцесса теперь обыкновенные молодой человек и девушка, которые любят друг друга и потому смущены. Им так много надо сказать друг другу, и они чувствуют, что не находят слов. Она первая преодолевает робость.

«А теперь, король Пауль, мы объединим Сэвию и Клаверию?»

Они улыбаются друг другу. Их сближает теплое чувство. Пауль делает несколько шагов к зрителям, потом возвращается к принцессе.

«Дорогая принцесса!

Милая принцесса!

Ведь я по-прежнему предаю все то, что вы так любите и чтите.

Я по-прежнему полон решимости создать Новый Мир в этой древней стране».

Она стоит, потупившись. Потом начинает говорить. Она готова к этому. Но Пауль хочет сказать ей правду до конца.

«Я хочу принести в жертву Соединенным Штатам Мира наши флаги, наши армии, наши тарифы и границы. К этому идет человечество. Клаверия, Сэвия и Агравия дадут урок мирного единства, которому последуют более крупные государства.

Наши короны, наши привилегии, наши государства отомрут. Клаверия, Сэвия и Агравия станут простыми штатами, входящими в одну большую федерацию».

Она кивает. Теперь она понимает.

«Клаверия и Сэвия были недоступными цитаделями. Я постараюсь открыть их для всего человечества. Можете ли вы принять это?»

Она поворачивается к нему.

«Пауль, я люблю вас. Неужели вы не понимаете?

Ваша судьба станет моей судьбой».

Обоих охватывает трепет. Ему неловко, что он заставил ее подчиниться. Он подходит к ней и хочет обнять; но им владеет та робость, которая бывает при зарождении любви. *«Любимая»,*— шепчет он. Оба они слишком нерешительны и влюблены друг в друга, чтобы предаться бурным объятиям. Он обнимает ее за талию, а она кладет руку ему на плечо. Взяв его за другую руку, она смотрит ему в лицо. Это трепетное мгновение перед первым поцелуем.

Входит канцлер Хаген. Они отстраняются, но не отходят друг от друга. Хаген достаточно тактичен, он остается в лоджии и держится как ни в чем не бывало. Он докладывает, что все идет хорошо.

Пауль смотрит через его плечо на город уже с меньшим волнением, но по-прежнему с интересом.

«Ну, что говорят в городе?»

Хаген пожимает плечами.

«То же, что написано в газетах: «Долой михелистов! Да здравствуют король Пауль, мир и процветание!».

Пауль кивает, затем медленно поворачивает голову к принцессе, а она, веселая и счастливая, не сводит с него глаз. Улыбающийся Хаген почтительно ждет разрешения уйти.

Экран постепенно тускнеет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

(Шестая часть фильма)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД КАЛЬКОМИТОМ

1

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АНГЛИЧАН

На экране снова одна из комнат английского министерства иностранных дел. За столом сидит министр и держит в руке бумагу. Его невысокий секретарь стоит рядом. Читая бумагу, министр хмурится. Он кладет бумагу на стол и, хлопнув по ней ладонью, оборачивается к секретарю.

«И вы говорите, что этот драгоценный документ составлен совместными усилиями короля Клаверии, принцессы Сэвии и президента Агравии?»

Личный секретарь подтверждает, что именно это он и хотел сказать, или, если говорить точнее, документ составлен королем Паулем и подписан его союзниками. Министр иностранных дел произносит: *«Великий боже!»* Он еще раз просматривает документ, и его негодование растет.

«Этот человек, этот король какой-то ничтожной Руритании собирается учить Британскую империю, как ей распоряжаться своим калькомитом!»

Секретарь соглашается, что создавшуюся ситуацию можно рассматривать и в таком свете.

Входит премьер-министр. Министр иностранных дел показывает ему документ. *«Вы только посмотрите! Только посмотрите!»* — говорит он, и надпись мерцает, передавая его негодование.

Премьер-министр берет документ. Кивает. Он уже читал копию. Премьер-министр переворачивает страницы, собираясь с мыслями, прежде чем сказать то, ради чего он пришел сюда.

«Если бы наши борцы за высокие тарифы дали нам возможность мирно договориться о калькомите с американцами, французами, немцами, русскими и всеми остальными, мы не получили бы урока от этого господина».

Секретарь бросает на него одобрительный взгляд. Он тоже так думает.

По лицу министра иностранных дел видно, что он про себя чертыхается. Он снова начинает возмущаться документом.

«Эта бумага составлена в оскорбительных выражениях».

Да, премьер-министр согласен, что король Пауль выражается очень откровенно.

Министр иностранных дел продолжает:

«Это нельзя считать дипломатическим документом. Это предназначено для публикации. Это — обращение через наши головы ко всему миру».

Премьер-министр пожимает плечами. Как крупный партийный лидер и организатор, он все оценивает по-другому.

Он говорит:

«Независимо от того, нравится это нам или нет, мы будем вынуждены признать идею международного контроля».

Министр иностранных дел вспыхивает от негодования.

«По указке этого... этого опереточного короля!»

Секретарь совершает поступок, требующий большого мужества. Он знает об этом деле больше, чем оба министра. И он говорит:

«По указке здравого смысла, сэр».

Министр иностранных дел, почти забывший о его присутствии, с удивлением оборачивается и пристально смотрит на него. Рушатся самые основы. Кадровые чиновники предаются мечтам, а секретарей посещают видения! Министр иностранных дел в отчаянии. Он оборачивается к стене, на которой висят королевский герб и английский национальный флаг.

«А как же это? Какой теперь во всем этом смысл?»

Он становится спиной к зрителям, потом поворачивается и, подняв дрожащую руку, с горечью говорит:

«Если так будет продолжаться, в один прекрасный день сама Британская империя окажется под контролем...»

Роковые слова одно за другим появляются на экране. Буквы каждого из них постепенно растут, а четыре последних слова мерцают:

«...янки,
голландцев,
иностранных политиканов,
итальяшек,
китайцев,
индийцев,
большевиков».

Он застывает с вытянутой рукой, надеясь устрашить премьер-министра этой ужасной перспективой. Но премьер-министр не теряет спокойствия. *«Пусть так,*— появляется над его головой,— *если они настоящие люди».*

Он заметно веселеет. Сказывается врожденный оптимизм. Подняв указательный палец, премьер-министр шутливо говорит:

«Вот увидите — мы будем следовать их советам!»

Но у министра иностранных дел не хватает чувства юмора. Он снова берет декларацию Пауля. *«В юности меня учили, что дипломатия — профессия джентльменов! А эта штука... предвыборная листовка!»*

Но премьер-министра не так-то легко пронять. Министр иностранных дел почти швыряет документ своему коллеге. Он тупо смотрит с экрана. Это человек из прошлого. Лицо его вытягивается. С помощью специальной съемки его можно сделать очень длинным и худым. Королевский герб и флаг вытягиваются тоже. Министр иностранных дел постепенно исчезает.

На экране премьер-министр. Он что-то обдумывает. Потом становится в позу оратора, говорящего с трибуны. И вот он уже обращается с трибуны к смутно виднеющимся слушателям.

«Господа! Говорят, что международный контроль над калькомитом может повлечь за собой еще более серьезные уступки духу мирового единства».

Риторическая пауза. Премьер-министр стоит, подбоченившись. Позади него сторонники (они немного не

в фокусе) с тревогой ловят каждое его слово. На экране надпись:

«Ну, и что же тогда?»

Сторонники премьер-министра все еще беспокоятся. Жестикулируя, он убедительно говорит:

«Повсюду: в промышленности, в торговле, финансовом мире — мы сегодня слышим одно магическое слово».

И вслед за этим на экране крупными буквами вспыхивает:

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Видно, как премьер-министр старается убедить своих слушателей.

«В деловой жизни объединение означает конец губительной конкуренции.

В политике оно может положить конец войнам».

Произнося речь, он уже как бы обращается к зрителям.

«Как быть, если миру приходится выбирать между объединением и войной?»

Он произносит горячую речь против войны, и над ним появляются слова *«политическое объединение»*. Ему удается достичь цели: слушатели, до сих пор колебавшиеся, кивают и аплодируют, а на экране появляется вид Нью-Йорка и комната для совещаний, которую мы уже видели в первой части.

2

КАК ЭТО ВОСПРИНЯЛИ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Итак, на экране снова комната для совещаний в Нью-Йорке. Сначала — вид из окна, потом — сама комната.

Поставив ногу на стул, высокий Д. держит в руке какой-то документ и разговаривает с Г. и А. Больше в комнате никого нет.

«Вот декларация Клаверии, Сэвии и Агравии. Здесь прямо сказано, что ни мы, ни англичане не должны монополизировать эксплуатацию калькомита. Нам приказывают... слышите, господа, приказывают...»

Он жестом подчеркивает свои слова.

«Нам приказывают организовать международный контроль над калькомитом и прекратить спекуляцию на патриотических чувствах».

А. говорит:

«И приказывает новоиспеченный монарх Пауль Зелинка».

Вмешивается Г. Нет, А. не прав. Он поправляет:

«Приказывает здравый смысл».

Все трое глядят друг на друга. Высокий Д., подперев подбородок рукой, задумывается.

«Неужели наши действия расходятся со здравым смыслом?»

На экране вьется, а потом исчезает американский флаг.

«Неужели все понятия, связанные с существованием флагов, границ и соперничества между странами, устаревают?»

Хлопнув рукой по документу, Г. говорит:

«Эта декларация повсюду доходит до народов через головы правительств и политических деятелей.

И сотни тысяч людей согласны с королем Паулем».

Высокий человек спрашивает:

«Быть может, мы ближе к всемирному государству, чем осмеливались мечтать?»

Его коллеги смотрят на него во все глаза, а он невозмутимо продолжает:

«Не знаю, как вы, господа, но, если это осуществимо, я за такое государство».

Он улыбается своим ошеломленным собеседникам.

«Да, господа,

английский премьер-министр вчера призывал к

ОБЪЕДИНЕНИЮ.

А почему бы и нет?»

Еще два бизнесмена входят и прислушиваются к разговору. Следом входит Человек-разрушитель, который слушает с удивлением и отвращением. Высокий человек продолжает:

«Если мы хотим соблюдать интересы всего мира, нам придется согласиться на международный контроль. Так велит здравый смысл».

Он поясняет свою мысль. *«Не только над калькомитом»*,— появляется на экране.

Один из вошедших возражает ему. Он отвечает на возражение:

«Нет, сэр. Мы не отказываемся от нашей национальной свободы; напротив, мы расширяем ее. Помните: если другие получат возможность контролировать нашу металлургию, то мы тоже будем контролировать их промышленность».

Разрушитель пытается что-то сказать, но Е. не обращает на него внимания.

«К чему нам держаться за своих правителей? Проклятый национализм. Мы хотим забыть об этом. Нам нужны способные люди, независимо от того, где они родились».

Г. осеняет важная мысль. Чтобы привлечь внимание Д., он хватает его за руку.

«Например, король Пауль!»

По лицу Д. видно, что он согласен.

«Нам не нужны руководящие органы из людей различных национальностей; мы не намерены продолжать борьбу между государствами; нам нужны руководители мирового масштаба».

Все его коллеги, кроме Разрушителя, соглашаются. Экран тускнеет.

3

ПАУЛЬ СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

Мы видим короля и королеву Клаверии, которые в ясный полдень стоят с канцлером Хагеном в знакомом парке Клавополисского дворца. Неподалеку виден секретарь. Дворецкий только что объявил о приезде президента Агравии, и все ждут его появления. Теперь никто не носит военной формы, но дворцовые слуги по-прежнему одеты в клаверийские национальные костюмы. Входит Химбескет, вид у него самый красноречивый.

Он кланяется, целует руку королеве и после секундного замешательства (он не знаток дворцового этикета)

обменивается с Паулем рукопожатием. Потом произносит маленькую речь:

«Для меня это великое событие... так же как и для всего мира. Вся Европа будет радоваться, ваше величество, тому, что вы учредили контроль над калькомитом».

Паулю немного неловко выслушивать эти комплименты, но принцесса, получившая дворцовое воспитание, держится непринужденно. Химбескет продолжает:

«Просто замечательно, что вы пригласили меня, чтобы познакомить с этим великим человеком, доктором Хартингом».

Он, как обычно, становится в позу народного трибуна и обращается к воображаемым слушателям:

«Достоин ли кто-нибудь Нобелевской премии мира более, чем доктор Хартинг? Я спрашиваю вас. Нет!»

Он подбоченивается и, помолчав, говорит со значительным видом:

«Это великий момент в истории человечества».

Он выходит, так сказать, на авансцену и продолжает развивать свою мысль:

«Если можно осуществить общий контроль над металлургической промышленностью мира,
то можно установить контроль и над транспортом,
и над продуктами питания,
и над всеми видами сырья,
и над миграцией населения».

Он перечисляет эти затверженные истины так, словно сам открыл их. Слуги внимают его красноречию.

Входит молодой гвардейский офицер и, отдав честь, о чем-то докладывает. Входят еще два офицера. Химбескет отодвигается вправо, и все внимание сосредоточивается на левой стороне экрана, где должен появиться доктор Хартинг с дочерью.

Они входят. У доктора Хартинга очень усталый вид, дочь поддерживает его. Но при виде Пауля он оживляется и протягивает к нему обе руки. Маргарет и Елена многое уже знают друг о друге, и они обмениваются взглядами. Маргарет нравится Елене, и королева, повинуясь порыву, протягивает к ней руки. Они целуются.



«КОРОЛЬ ПО ПРАВУ»



«КОРОЛЬ ПО ПРАВУ»

Доктор Хартинг, стоящий на переднем плане рядом с Паулем, говорит:

«Не прошло и года с тех пор, как я прочел лекцию о калькомитной опасности. И вот вы ликвидировали ее».

Пауль вновь становится способным молодым человеком из американского промышленного города. Он говорит:

«Сэр, вы научили меня здравому смыслу».

Химбескет выступает вперед. Он считает своим долгом сделать некоторые уточнения.

«Для этого нужен был не только здравый смысл, ваше величество, но и мужество.

Для меня это великое событие».

Он делает размашистый жест.

«Здесь, ваше величество, в этом маленьком городе, вы, ваше величество, заложили основы мира на земле».

Он повторяет эту фразу, и она постепенно появляется на экране.

«Если можно осуществить контроль над мировой металлургической промышленностью,

то можно установить контроль и над транспортом,

и над продуктами питания,

и над всеми видами сырья,

и над миграцией населения».

Лицо пожилого человека проясняется, и он движением своего тонкого пальца привлекает к себе внимание Химбескета.

«Если только вы сможете установить контроль над деятельностью патриотических партий».

Он говорит очень убедительно.

«Если только вы отведете флагам и эмблемам должное им место».

Он машет рукой. Появляется большое, пышное знамя с клаверийским леопардом, заполняя почти весь экран, а когда старый профессор машет на него рукой, леопард начинает съеживаться, пока не становится просто забавной подставкой маленькой электрической лампы в углу лоджии.

Лампа показывается крупным планом, потом позади нее появляются обои с узором из леопардов, потом смешная детская игрушка, жестяной леопард на колеси-

ках, который катится за рамку кадра. Все эти мелочи исчезают, и на экране снова дворцовая лоджия, из которой видны улицы Клавополиса.

В лоджии четверо. Химбескет ушел. Пауль по-мальчишески сидит на парапете лоджии, а старый Хартинг стоит рядом, он немного ниже его и ближе к зрителям. Они в правой части экрана. Слева — две женщины. Королева Елена стоит, прислонившись спиной к парапету, и смотрит исподлобья серьезным и дружелюбным взглядом на Пауля. Маргарет в тени, она стоит спиной к зрителям, перегнувшись через парапет, и почти все время смотрит на город, но иногда задумчиво поглядывает то на Пауля, то на Елену.

Посмотрев немного на город и горы, Пауль оборачивается и говорит Хартингу:

«И вы думаете, сэр, что наш контроль над калькомитом может перерасти в мировую экономическую систему?»

Старый Хартинг отвечает:

«Да, если контроль удастся осуществить.

Нельзя контролировать мировую металлургическую промышленность и не контролировать потребление топлива.

Нельзя контролировать потребление топлива и не контролировать транспорт.

Нельзя контролировать транспорт и не контролировать распределение продуктов питания.

Нельзя контролировать распределение продуктов питания и не контролировать рост населения».

Пауль согласен. Он задумчиво смотрит вдаль. Он высказывает мысль, которая не покидает его.

«Нам это не под силу!»

Старик говорит:

«Неужели вы обманете наши ожидания?»

Пауль не отвечает. Он продолжает развивать свою мысль серьезно, но все же тоном способного студента, говорящего с профессором.

«Мы ничего не могли бы поделать, если бы за нами не стояла крепнущая вера всех людей мира».

Под ним появляется гигантская фигура его прототипа, Человека-созидателя,— это он сам, увеличенный во много раз.

Пауль продолжает:

«Мы только частицы, с которых начался процесс кристаллизации».

Старик улыбается и с любовью похлопывает Пауля по руке.

«Вы очень хорошая и здоровая частица»,— говорит он, а фигура Человека-созидателя на время исчезает. По лицам Елены и Маргарет видно, что они согласны со стариком.

Пауль опять смотрит на горы и небо. Вновь появляется громадный Человек-созидатель, теперь он сидит в той же позе, что и Пауль, и на фоне лоджии выглядит очень внушительно. Внимание зрителей сосредоточивается на нем, а Пауль и остальные трое остаются несколько в стороне.

«Победа над войной — это только начало.

Мир на земле не значит ничего, если он не подразумевает созидания,

если он не даст свободу науке, творчеству, возможностям, заложенным в людях».

Человек, похожий на Пауля, стоит у какого-то большого электрического аппарата. Он надевает темные очки и начинает что-то сильно накаливать. Какое-то вещество оплавляется и капает. Другой человек ловит эти капли.

Подошедшая группа студентов наблюдает за процессом. Среди них юноша, сын той крестьянки, которую мы видели в третьей части фильма. Он задает вопросы, ему отвечают.

Преподаватель обращается к студентам:

«Из этого нового сплава мы сможем построить бесшумные самолеты. Они будут тех же размеров, что и современные ревущие и тряские машины, но в десять раз мощнее».

На экране опытное пшеничное поле.

Человек, похожий на Созидателя, показывает поле двум студентам. Один из них — сын все той же крестьянки.

«Здесь,— говорит Человек-созидатель,— *на половине акра мы выращиваем больше хлеба, чем прежде на квадратной миле, затрачивая в пятьдесят раз меньше*

труда. Мы можем превратить всю остальную землю в сады и парки».

На экране биологическая лаборатория, в которой работает человек, похожий на Созидателя. На нем белый халат и резиновые перчатки. Рядом с ним видны другие ученые. Он подносит пробирку к свету, потом подготавливает каплю жидкости для исследования под микроскопом. Изображение тускнеет, и на экране появляется старая крестьянка возле своего дома, который мы видели в третьей части фильма. Ее искалеченный и слепой сын греется на солнце. Подходит младший сын и сообщает радостную новость. Он говорит:

«Мама, я получил диплом электрика. Теперь тебе незачем надрываться на работе».

Старуха не верит своим ушам

Юноша говорит:

«Мы проведем сюда электричество, и оно облегчит твой труд. Оно будет работать за тебя, будет давать тепло и свет. Отдыхай, когда устанешь Ешь, когда захочешь».

Старуха оборачивается к своему старшему сыну и с беспредельной жалостью качает головой.

«Слишком поздно,— говорит она.— *Слишком поздно».*

Но надежда не угасает.

«Даже для него не все потеряно: теперь, когда на земле царит мир, люди могут задуматься над важнейшими жизненными проблемами».

Мы видим серьезного ученого, похожего на Созидателя, который с помощью какого-то инструмента осматривает глаза ее старшего сына. Тут же стоит повеселевшая старуха в чистом городском платье. Обернувшись, врач бросает на нее ободряющий взгляд. Она сжимает руки и повторяет вслед за ним:

«Есть надежда, что он будет видеть, есть надежда, что разум вернется к нему!»

На экране появляются лица Пауля и доктора Хартинга. Оба глядят вдаль.

«Жизнь будет чистой, полной счастья и надежды, прекрасной, как никогда».

На экране снова лоджия, потом крупным планом Маргарет, наблюдающая за Еленой и Паулем. И снова

в центре внимания Пауль. Уже ночь, и Пауль протягивает руку к звездам.

Зрители видят большую астрономическую обсерваторию. Затем на экране появляется изображение звездного неба, как на звездных картах. Покачиваясь, летит самолет. Звезды тускнеют. Сначала смутно, потом отчетливее разворачивается внизу панорама большого города, подобного Лондону или Парижу. Теснятся здания, вьется река.

Зрители видят пилота и пассажирку самолета. Пилот — Пауль, а пассажирка — Елена. Он сидит, а она стоит позади него и смотрит вперед. Они летят в сторону зрителей. Это Созидатель и Женщина Хранительница и Помощница. Оглушительно гремит музыка.

4

ФИНАЛ

На экране большая, красивая и широкая лестница, ведущая из дворца на улицу или во двор. (Для финала очень важно, чтобы место действия завершающей сцены было новым и красивым.) У лестницы ждет автомобиль; наверху появляется Елена с Маргарет и Хартингом. Елена одной рукой обнимает Маргарет. Она вышла проводить Маргарет и доктора Хартинга.

Сначала мы видим весь дворец, а потом верхнюю площадку лестницы.

Старый Хартинг хотел было спуститься сам, но останавливается. Он привык опираться на дочь. Он оглядывается на Маргарет, но та никак не может расстаться с Еленой. Посмотрев друг другу в глаза, они горячо обнимаются. Они одновременно и ревнивы и великодушны.

Старый Хартинг, стоящий ниже, говорит:

«Какая крутая лестница!» — Он боится спускаться один.

Маргарет высвобождается из объятий Елены и приходит к нему на помощь. Елена стоит на площадке и смотрит вниз. Ее вдруг охватывает чувство любви к Маргарет.

Маргарет сводит отца с лестницы. Как только она оказывается рядом, весь его страх исчезает. Спускаясь, он говорит со старческой дрожью в голосе:

«Флаги исчезают. Патриотизм исчезает.

Но миру по-прежнему нужны короли».

Елена сверху ласково смотрит на Маргарет.

Старик и Маргарет подходят к автомобилю. Старик твердит:

«Короли без корон.

Короля узнают не по короне».

Маргарет его не слушает. Она во все глаза смотрит на Елену. Мы видим Елену на экране почти во весь рост. Она разводит руки, словно открывая Маргарет свое сердце, а потом безвольно их роняет.

И наконец мы видим всю лестницу. Елена в той же позе стоит наверху, а Маргарет, поддерживая старика, смотрит на нее снизу. Через мгновение экран меркнет.

Затихает музыка.

Составленное из тех же простых букв, что и название фильма, появляется слово

Конец

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ТРУДНОСТИ, НЕИЗБЕЖНЫЕ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ФИЛЬМА

Теперь пора автору и постановщикам пожать лавры, если они их заслуживают. Появляются их имена: «Сценарий такого-то», «Постановка такого-то», «Музыка такого-то». При необходимости здесь же должно быть указано, что Английское цензурное управление разрешило показ фильма. Сеанс окончен. В зале зажигается свет, и, если мы в Англии, оркестр играет несколько тактов благочестивой и патриотической мелодии. Зрители начинают расходиться...

Вот вам мое слово в дискуссии о кино — мое мнение, каким может быть фильм для народа.

Я смею утверждать, что дал постановщику и композитору материал для прекрасного, но, возможно, трудного для постановки фильма и что я сделал все от меня зависящее, чтобы показать, как трудная, очень сложная проблема может быть показана в фильме более ясно и ярко, чем любым другим способом. Иным способом невозможно так ясно показать, что мир на земле может быть сохранен только путем международного контроля над всем, что жизненно важно для всего человечества, и что покончить с войной можно только путем открытой борьбы с шовинистическими идеями и лозунгами, питающими националистический дух. Я считаю, что такой фильм может заинтересовать зрителей во всех странах мира, и после сеанса они будут расходиться по домам, ожесточенно споря и приходя к новым, более прогрессивным убеждениям.

Но я допускаю, что найдется немало людей, которым не понравится моя идея и которые сочтут создание и показ такого фильма нежелательным.

К сожалению, эта вероятная недоброжелательность влияет на будущих постановщиков фильма. Они боятся, что мое неуважение к флагам могут счесть оскорбительным, а в сцене, где Михеля убивают, как бешеного пса, я захожу слишком далеко и могу побудить кого-нибудь к нежелательным действиям (хотя я не понимаю, почему бы взявшим меч и не погибнуть от меча, раз это самый прямой и удобный способ расправиться с ними). Считать, что нельзя применять силу и убивать ради предотвращения войны,— это лицемерие. Мы применяем силу, чтобы предотвратить одиночное убийство; тем более мы должны применить ее, чтобы остановить убийство массовое.

Более того, несколько моих несговорчивых сотрудников, видимо, хотят, чтобы изображение войны у меня было больше похоже на сражение, а не на бойню и чтобы зрители могли принять чью-либо сторону и кричать «ура!», но дело именно в том, что почти всегда современная война и есть бойня, деморализующая народ, а об этом очень важно рассказать всем. Утверждение, что война — это все еще спортивная борьба, в которой по-

беждает достойнейший, является совершеннейшей ложью, поддерживаемой для того, чтобы заставить нас попрежнему нести опасное и отвратительное бремя расходов на содержание армии и флота. В действительности армии и флоты теперь уже не орудия ведения боевых действий; это орудия безжалостного истребления. Встречаясь с более мощными средствами, они либо гибнут, либо обращаются в бегство. В последней мировой войне было удивительно мало «великолепных сражений». В большинстве боев проявлялось не больше честности и благородства, чем в поджоге или ограблении.

Против постановки фильма приводится еще один довод: сознание людей, мол, еще не подготовлено к восприятию идеи всемирного государства. Но именно поэтому был задуман и написан этот сценарий. В истории человеческой мысли есть периоды, когда человечество, по-видимому, намеренно не замечает самых очевидных вещей, и сейчас у нас именно такой период. Создать вместо путаницы, которую вносят независимые суверенные правительства в управление делами человечества, систему международного контроля вполне в человеческих возможностях. Такой образ правления просто необходим. Нет сомнения, что осуществить этот контроль сложно и трудно, но не сложнее, чем разгадать загадки физики микромира и биологии, к чему современная научная мысль подходит уверенно и постепенно. Задача эта великая, но она не идет ни в какое сравнение с величием рода человеческого, которому предстоит справиться с ней.

Шумихой и суетой тут делу не поможешь; это можно осуществить, только все тщательно продумав и подготовившись. Усилий может потребоваться не больше, чем их затрачивают великие державы на нашей планете, сколачивая блоки и приближаясь к пропасти новой мировой войны. В результате этих усилий должно быть создано всемирное целое вместо ряда крупных, но разрозненных частей. Но на стороне войны всеобъемлющая косность, которая маскируется под уважение к традициям, трезвый консерватизм, добродушное приятие порядка вещей таковым, каков он есть, и недоверие к «диким» революционным идеям. Очень многие люди более или

менее уверены, что, какие бы катастрофы ни угрожали им, нынешней общественной системы, единственной системы, к которой они считают себя приспособленными, на их век хватит. Это стало рефлексом. Им кажется, что они не смогут начать сначала. Они будут кричать «ура» при виде своего клаверийского леопарда, завывать, едва заслышав национальный гимн, и надеяться, что уцелеют, когда будут свирепствовать газ и огонь. Мир без войны кажется им слишком странным, возвышенным, чистым, и там они со своими привычками, понятиями и манерами окажутся в невыгодном положении. А так они держатся за старину и надеются на лучшее, но на самом деле лучшего что-то не видно, будущее не сулит ничего доброго, а опасность растет.

Я говорю не о массе, чьи мысли и желания часто диктуются со стороны, а о тех людях, которые обладают способностью мыслить самостоятельно и могут активно способствовать творческим усилиям общества, направленным на его освобождение. Правда о войне известна этим людям до конца или почти до конца, и если они возьмутся за дело, выход будет найден. Однако сегодня они стараются сдержать пропаганду таких идей или даже помешать ей всеми силами. Эти идеи давно уже волнуют их самих, и они боятся сделать их достоянием большинства. Поэтому писатель, всерьез изображающий нынешнюю обстановку, попадает в печальное и вместе с тем смешное положение. Когда он излагает свои взгляды на будущее, современники считают его безумным мечтателем, выдвигающим сумасбродные идеи. Так его называют даже многие из тех, кто в душе соглашается с ним. А когда его взгляды оказываются оправданными и он торжествует, все, что он может сказать, уже будет банальным. Всякий будет знать то, что он открыл, и немногие поймут, что это когда-то было открытием.

Среди множества посетителей красивого замка-музея на Луаре сегодня найдется мало людей, способных понять, как это такая веселая и приятная с внешней стороны жизнь могла сочетаться с существованием темниц, пыточных камер и как могли люди прятать еще не остывшие трупы в какой-нибудь сотне шагов от зала, где шел пир горой. Жизнь пятнадцатого столетия уже не укла-

дывается в сознании людей. Придет день (и день этот очень недалек), когда наш воинственный мир тоже будет казаться непостижимым. Тогда в поступках Пауля Зелинки люди не найдут ничего героического: он станет просто примитивным человеком, жестоко поправшим собрание живописных и милых древностей.

Но в настоящее время, когда эти самые древности определяют нашу жизнь, я сомневаюсь, что мой фильм о Пауле Зелинке будет поставлен, а если это и удастся сделать, то вряд ли его охотно станут показывать массовому зрителю. Возможно, цензура даже будет колебаться, а нет ли в фильме чего-то такого, что может подорвать «политические устои». На издание сценария в виде книги, слава богу, смотрят иначе, во всяком случае, сейчас. К сожалению, даже один из тысячи людей, которые охотно посмотрели бы фильм, вряд ли когда-нибудь прочтет этот сценарий.

1929

Самовластье мистера Парэма

Его удивительные приключения в нашем переменчивом мире

КНИГА ПЕРВАЯ

МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ДРУЖБА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗНАКОМИТ С МИСТЕРОМ ПАРЭМОМ И СЭРОМ БАССИ ВУДКОКОМ

Когда сэр Басси Вудкок пригласил мистера Парэма сопровождать его на спиритический сеанс, тот поначалу несколько растерялся.

Мистер Парэм не желал иметь ничего общего с этими сеансами. Но не отказываться же от случая провести вечер в обществе сэра Басси Вудкока!

Сэр Басси Вудкок был одним из тех неотесанных плутократов, с которыми по нынешним временам приходится поддерживать знакомство человеку мыслящему, если у него есть хоть малейшее желание быть не просто зрителем в театре жизни. В наши дни эти богатые авантюристы оказываются необходимым связующим звеном между высокой мыслью и низменной действительностью. Весьма прискорбно, что нельзя избежать этого тягостного и унизительного посредничества, но в нашем непостижимом мире без этого, видно, не обойтись. Человек мысли и человек действия необходимы друг другу, во всяком случае, человеку мысли это сотрудничество необходимо. Платону, Конфуцию, Макиавелли — всем им пришлось искать своего государя. В наши дни, когда обходятся без государей, мыслителям надо всячески добиваться поддержки богачей.

Богачей, пригодных для этой цели, найти не так-то просто, да к тому же с ними зачастую очень нелегко иметь дело. В сэре Басси, например, много такого, чего не вынес бы человек высокого интеллекта, не умей он в совершенстве владеть собой. Сэр Басси — румяный, веснушчатый коротышка, нос у него вылеплен небрежно и резко, в манере современных скульпторов, рот прорезан кое-как; он коренаст, что уже само по себе раздражает его высокого, стройного собеседника; двигается сэр Басси быстро и порывисто, что нередко отпугивает людей и всегда свидетельствует о полном отсутствии сдержанности, без чего невозможно представить себе культурного человека. По всем его повадкам сразу видно, что он — как бы это сказать — прожорлив. В разговоре он не терпит ни минуты молчания, ни за что не даст вам выдержать внушительную паузу, а мистер Парэм, издавна привыкший беседовать с бессловесными студентами, чем-чем, а уж искусством паузы владел мастерски. И речи мистера Парэма очень сильно проигрывали, если его лишали возможности многозначительно помолчать. Но сэр Басси ничего в этом не смыслил. Стоило многозначительно замолчать, как он тут же переспрашивал: «Как вы сказали?» — и все пропадало. Любимое его присловье было «поди ты». Он то и дело повторял его на все лады, ни к кому в отдельности не обращаясь. Присловье это ровно ничего не значило, а впрочем — и это куда неприятнее,— могло означать все что угодно.

Происхождения он был самого скромного. Отец его — лондонский извозчик, мать — сиделка в туберкулезной больнице в Хэмпстеде (имя «Басси» она позаимствовала у одного из самых дорогих ее сердцу больных), а сын, уже в четырнадцать лет одержимый честолюбивыми замыслами, решил не тратить силы на популярные лекции в университете и нанялся к болтливому рекламному агенту, ибо, как он выразился, «от этой чепухи нет никакого проку». «Чепуха» — это, с вашего позволения, были Вордсворт, Реформация, Морфология растений и Экономическая история в изложении мрачно-насмешливых молодых джентльменов с изощренным умом, питомцев старейших университетов.

Мистер Парэм, человек терпимый, свободомыслящий, неизменно стремящийся шагать в ногу с временем, все-

гда старался смотреть на недостатки сэра Басси сквозь пальцы. В сущности, он никогда не забывал о них, но, бывая в обществе сэра Басси, изо всех сил старался забыть. Путь сэра Басси из грязи в князи — одна из многих эпопей, какими изобилует наш век, век бизнеса. Мистер Парэм взял себе за правило держаться от всего этого в стороне.

Таков был сэр Басси. Немногим меньше чем за четверть века, пока мистер Парэм был занят главным образом непреходящими ценностями — и ставил за сочинения о них баллы,— сэр Басси стал хозяином изрядного числа преходящих, но осязаемых благ: тут были бюро рекламы, немало бакалейных и гастрономических лавок, несколько отелей, плантации в тропиках, кинотеатры и многое другое, о чем мистер Парэм скорее догадывался, нежели знал. Этими бренными делами сэр Басси занимался в те часы, когда удалялся от света, а случалось, даже во время светских развлечений его вызывали к телефону или деликатно отводили в сторонку невесть откуда взявшиеся таинственные молодые люди. Деятельность эта, мистеру Парэму не очень понятная, позволяла сэру Басси наслаждаться всеми благами неописуемой роскоши в атмосфере всеобщей покорности и раболепия, прикрытого позой благородства, что могло бы повергнуть в трепет человека, наделенного умом не столь ясным и тонким, каким наделен был мистер Парэм. Стоило сэру Басси показаться в дверях среди ночи — и из тьмы тут же выскакивали сказочно разодетые шоферы; стоило ему сказать свое «поди ты» — и величественные дворецкие мигом сникали. В ином, более просвещенном мире все, наверно, шло бы по-другому, а тут шоферы сэра Басси относились к мистеру Парэму с явным пренебрежением, точно к какому-то странному пакету, который сэру Басси нравилось посылать то туда, то сюда, и хотя в Бантинкоме, Карфексхаусе, Мармион-хаусе и в Хэнгере слуги обходились с мистером Парэмом как с джентльменом, они делали это скорее потому, что их прекрасно вышколили, нежели из уважения к нему. Мистер Парэм не уставал дивиться сэру Басси. Этого человека окружали послушные его воле толпы, но на что они ему, он явно не имел понятия. Он просто-напросто командовал ими. «Будь у меня такая

власть, я бы творил чудеса»,—не раз думал мистер Парэм.

Сэр Басси, к примеру, мог бы творить историю.

Всю свою жизнь мистер Парэм изучал и толковал историю и философию. Его перу принадлежит несколько исследований, главным образом о Ришелье и его времени, и он постиг этого государственного деятеля с редкостной глубиной; кроме того, он читал специальные курсы по различным проблемам истории; подготовил томик своих эссе; был главным редактором популярной фосдайковской серии «Философия истории», время от времени писал рецензии на выдающиеся научные работы, и эти рецензии (подчас безобразно сокращенные и изуродованные) появлялись в «Империи», «Философском еженедельнике» и «Георгианском обозрении». Мистер Парэм, как никто, умел подать публике новую идею, рожденную кем-то в муках, и тут же искусно, с изящной небрежностью отмахнуться от нее. Человеку, столь любящему историю и философию, было мучительно сознавать, что нынешний хаос никак не вяжется ни с подлинной историей, ни с подлинной философией. Вот мировая война — это история, правда, чрезвычайно жестокая и непристойная, которая никак не укладывается ни в какие рамки; и Версальская конференция — тоже история, только еще больше клонящаяся к упадку. Эту конференцию еще можно рассматривать как столкновение держав, можно говорить о борьбе за «главенство» в мире, тонко и логично разъяснять «политику» того или иного государственного деятеля, того или иного министерства иностранных дел.

Но примерно с 1919 года все пошло вкривь и вкось. Нет уже былой значительности ни в людях, ни в событиях. Разноголосица, смешение ценностей предоставили все воле случая. Взять, к примеру, Ллойд Джорджа. Как прикажете его понимать? После такого взлета, как Версальская конференция, естественно было бы предоставить дальнейшее историкам, как и сделал Вудро Вильсон, а до него Линкольн, и Сулла, и Цезарь, и Александр Македонский. Они достигли апогея славы и удалились от дел. Мало-помалу все неблаговидные подробности их правления забылись, и чем дальше, тем увереннее о них можно было судить с точки зрения истории.

Подлинная сущность происходящего выступила на поверхность явлений, и стала ясна логика событий.

А теперь о чьей мощи может идти речь и каковы движущие силы событий? Перед лицом нынешней неразберихи сей многоопытный историк чувствовал себя точно мастер разделывать дичь, которого попросили разрезать суп. Где костяк... хоть какой-нибудь костяк? Человек, подобный сэру Басси, должен был бы принимать участие в великой битве между нуворишами и старой олигархией; он должен бы стать всадником, которого выставляют против патрициев. Он должен бы положить конец избирательной демократии. Он должен бы олицетворять собой новую фазу британской политики — новую империю. А он что делает? Стоит ли он хоть за что-нибудь? Порою мистер Парэм чувствовал, что, если он не добьется, чтобы сэр Басси стал на чью-либо сторону, на сторону чего-либо значительного по существу, по форме и с точки зрения истории, он, Парэм, попросту сойдет с ума.

Конечно, и сейчас все еще продолжаются древние, освященные веками исторические процессы,— конечно, продолжаются. Как же иначе? В солидных еженедельных и ежемесячных журналах мистер Парэм и его единомышленники авторитетно рассуждали о безопасности и господстве — в Европе, в Азии, в мире финансов. Во всех странах по-прежнему существуют правительства и министерства иностранных дел и, строго придерживаясь правил и заведенного порядка, благопристойно ведут борьбу за мировое главенство. Любые мало-мальски серьезные переговоры между государствами держатся теперь в величайшем секрете. Никогда еще шпионаж не проникал до такой степени во все области жизни, никогда еще эта профессия не представлялась столь почтенной и уважаемой: двойная игра христианской дипломатии решала теперь судьбы всего мира — от Вашингтона до Токио. Великобритания и Франция, Америка, Германия, Москва создавали флоты и армии и с величайшим чувством собственного достоинства продолжали дипломатические переговоры и заключали тайные соглашения друг с другом и друг против друга, словно никогда не бывало дурацкой болтовни о «войне, которая положит конец всем войнам». Большевистская Мо-

сква после встревоживших весь мир первых шагов пошла по стопам царского министерства иностранных дел. Мистер Парэм был совершенно уверен, что если бы ему выпала честь быть вхожим к государственным мужам, таким, как сэр Остин Чемберлен, мистер Уинстон Черчилль или мосье Пуанкаре, и если бы ему довелось пообедать с кем-нибудь из них, то после обеда, когда занавеси задернуты и по сверкающему в свете ламп столу раздумчиво и неторопливо, точно шахматы, передвигают портвейн и сигары, установилась бы такая атмосфера, были бы сказаны такие слова, что на душе у него сразу стало бы тепло и спокойно и он бы вновь обрел былую веру в ту историю, которую он изучал и которой учил других.

Но, несмотря на его живые, несущие знания книги и толковые, а подчас даже значительные статьи, такой случай ему почему-то ни разу не представился.

Он терял почву под ногами, и постепенно в уме его родилась и окрепла странная мысль: будто непрерывность исторического процесса в наши дни лишь видимость, а на самом деле происходит нечто совсем иное, небывалое, не то чтобы грозное, но разрушающее самые основы этой преемственности. Определить, что же именно происходит, чрезвычайно трудно. В сущности, это не что иное, как широко распространившаяся и все растущая беспечность. Вот так теперь и живут, словно все, что было важного в жизни, стало неважно. А важно стало что-то совсем другое. Для мистера Парэма, в частности, в последние годы всего важнее стал сэр Басси.

Однажды ночью мистер Парэм задал себе вопрос, проникавший в самое сердце его сомнений. Позже он не мог взять в толк, то ли он размечтался, то ли это был ночной кошмар, то ли он в самом деле об этом думал, то ли ему приснилось, что он думал. Допустим — так встал перед ним этот вопрос,— что государственные деятели, дипломаты, правители, профессора экономических наук, военные и военно-морские эксперты и все прочие нынешние наследники истории, вольно или невольно, привели мир к столь запутанному, сложному, опасному положению, когда ноты, ответные ноты, протесты и даже ультиматумы могли не сегодня-завтра кончиться объявлением войны из-за того или иного «вопроса». И допустим —

о, ужас! — допустим, люди, все люди, в частности сэр Басси, поглядят на все это, скажут: «Поди ты» или «Как вы сказали?» — и тут же забудут об этом. Забудут и вновь займутся своими делами, какими-то пустяками, недостойными называться историей. Что стали бы в этом случае делать наследники истории? Посмели бы солдаты поднять оружие на сэра Басси, посмели бы государственные мужи столкнуть его с дороги? Допустим, он не пожелает, чтобы его столкнули, и воспротивится каким-нибудь своим хитроумным способом. Допустим, он скажет:

— А ну, прекратите все это... живо.

И допустим, что им ничего не останется, как повиноваться!

Что станется тогда с нашим историческим наследием? Что станется с империей, с великими державами, с нашими национальными традициями и политикой? Эта мысль, мысль, будто историческая традиция пошла прахом, была глубоко чужда мистеру Парэму, столь чужда, что при трезвом свете дня никогда не пришла бы ему в голову. Там ей явно не на что было опереться, не было идей, к которым она могла бы примкнуть, и, однако, найдя туда дорогу, она продолжала смущать его покой, словно глупая песенка, от которой никак не отвяжешься. «Они не послушаются... когда пробьет час, они не послушаются»,— таков был припев этой песенки. Генералы скажут: «Иди»,— а народ ответит: «Поди ты!..» И это «поди ты...» победит! Во всяком случае, в ночном кошмаре оно победило. Попробуй после этого разберись в жизни. Хаос!

Но сэр Басси, пожалуй, уцелеет в этом хаосе, думал мистер Парэм, преобразится, быть может, но уцелеет. Отвратительный. Торжествующий.

Тут мистер Парэм очнулся и уже до рассвета не смыкал глаз.

Пытаясь подвигнуть сэра Басси на его роль — важную, хоть и подчиненную роль в нескончаемой драме бытия,— муза Истории может сколько угодно повествовать о возвышении династий, о господстве той или иной державы, об усилении национализма в Македонии, о закате и падении Римской империи, о вековой борьбе ислама и христианского мира, о римском и греческом христиан-

стве, разворачивать волшебный свиток головокружительных деяний Александра, Цезаря и Наполеона, а сэр Басси будет сонно слушать ее рассказ, до которого ему, видно, нет никакого дела, и думать о чем-то своем, недоступном и непостижимом для мистера Парэма, и только и скажет свое «поди ты».

Поди ты!

Нервы у мистера Парэма стали пошаливать...

А тут, вдобавок ко всем его заботам, еще эта нелепая затея со спиритическими сеансами — изволь принимать всерьез этих медиумов и их отвратительные, постыдные и раздражающе необъяснимые действа.

На заре мистер Парэм уже всерьез подумывал о том, чтобы расстаться с сэром Басси. Однако мысль эта не впервые посещала его, а конец был всегда одинаков. Он все-таки пошел на спиритический сеанс, он побывал с сэром Басси на многих сеансах, о чем мы и поведаем на этих страницах в должный срок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ СЭР БАССИ И МИСТЕР ПАРЭМ

Когда лет пять-шесть назад мистер Парэм впервые встретился с сэром Басси, великий финансист как будто проявлял умеренный, но все же определенный интерес к духовным ценностям.

На обеде без дам, который давал в ресторане Риальто Себрайт Смит, мистер Парэм говорил о Микеланджело и Боттичелли. Обед этот был одной из тех поразительных смесей, как их называл мистер Парэм, которые так удавались Себрайту Смиту, сам же хозяин в узком кругу называл их «побоищем».

Себрайт Смит был вечно перед кем-нибудь в долгу за оказанное ему гостеприимство и относился к своим светским обязанностям весьма легкомысленно; когда же их накапливалось так много, что они начинали его тяготить, он, дабы отделаться, безжалостно обрушивал на друзей и знакомых обеды и завтраки, следовавшие один за другим со скоростью пулеметной очереди. Вот почему

он втайне так величал эти сборища. Его ничуть не заботило, если общество оказывалось разношерстное, он верил, что в шампанском можно утопить все споры, а мистер Парэм с его современным либеральным и притом весьма просвещенным умом находил эти пиры восхитительно всеобъемлющими.

Нет лучших слушателей, чем те, которым почему-либо не по себе, и мистер Парэм — бездонный кладезь знаний — дал себе волю. Он так интересно говорил о Боттичелли, что не столь бескорыстный человек сделал бы на его месте из этого книжку и заработал бы фунтов сорок — пятьдесят. Сэр Басси слушал с таким видом, который всякому, кто его не знал, показался бы злобным. На самом же деле, когда он был чем-нибудь заинтересован или поглощен какой-нибудь новой затеей, у него просто опускался левый уголок рта.

Когда дошла очередь до сигар и негритянские певцы запели негритянские духовные гимны, сэр Басси, пользуясь случаем, уселся на один из освободившихся около мистера Парэма стульев.

— Вы разбираетесь в этих вещах? — спросил он, не обращая внимания на исполняемый с большим чувством гимн «Отпусти мой народ».

Мистер Парэм вопросительно поглядел на него.

— В старых мастерах, в искусстве и прочем?

— Меня это интересует,— дружелюбно ответил мистер Парэм с приятной улыбкой, ибо он еще не знал ни имени, ни положения своего собеседника.

— Это могло заинтересовать *меня*, но я занялся другим. Вы когда-нибудь завтракаете в Сити?

— Не часто.

— Если надумаете... ну, скажем, на следующей неделе, позвоните мне в Мармион-хаус.

Название это ничего не сказало мистеру Парэму.

— С удовольствием,— учтиво ответил он.

Сэр Басси, по всей видимости, собрался уходить.

— Насколько я понимаю,— сказал он, задержавшись еще на минутку,— искусство — штука стоящая. Непременно приходите. Я с интересом вас послушал.

Он улыбнулся, искорка обаяния осветила его лицо, но свет тут же погас, и, пока хозяин и певцы шумно договаривались, что исполнять дальше, он исчез.

— Кто этот краснощекий крепыш с волосами щеткой, который так рано ушел? — осведомился позже мистер Парэм у Себрайта Смита.

— Думаете, я знаю всех гостей?

— Но он сидел рядом с вами!

— Ах, *этот!* Это один из наших за-завоевателей,— ответил подвыпивший Себрайт Смит.

— А имя у него есть?

— Еще бы,— сказал Себрайт Смит.— Сэр-Бес-Босс-Басси Куплю-весь-свет-Вудкок. Он из тех, кто скупает что попало. Магазины, дома, фабрики Имения и кабаки. Каменоломни. Целые отрасли торговли. Он что угодно перекупит. Обстряпает дельце, а уж потом товар и к вам попадет. Теперь в Лондоне и ломтика сыра не съешь, пока он не купит и не перепродаст его. Железные дороги покупает, отели, кинематографы, предместья, мужчин и женщин, душу и тело. Смотрите, как бы и вас не купил.

— Я не продаюсь.

— Полюбовное соглашение, надо полагать,— сказал Себрайт Смит и, по испуганному и недоумевающему лицу мистера Парэма поняв, что допустил бестактность, постарался ее загладить.— Еще шампанского?

В эту минуту мистер Парэм поймал взгляд одного из своих старых друзей и оставил последние слова хозяина без ответа. По правде сказать, он не видел в этих словах смысла, к тому же Себрайт Смит явно был пьян. Мистер Парэм поднял руку, помахал ею, словно подзывая извозчика, и стал пробираться к приятелю сквозь толпу гостей.

После этого обеда мистер Парэм несколько дней осторожно наводил справки о сэре Басси, заглянул в биографический справочник, где прочел весьма откровенные и при этом довольно стыдливые полстолбца, и решил непременно принять приглашение в Мармион-хаус. Раз сэр Басси желает, чтобы его наставляли по части искусства, надо его наставлять. Не лорд ли Розбери сказал: «Мы должны просвещать наших хозяев»?

Это будет дружеская беседа с глазу на глаз двух свободомыслящих людей, мистер Парэм откроет хозяину дома прекрасный мир искусства и как бы между прочим заговорит о своей мечте, которую лелеет уже долгие

годы и которую сэру Басси почти ничего не стоит претворить в великолепную, восхитительную быль.

Мечта, которой суждено было долгие-долгие годы держать мистера Парэма в унизительном для него подчинении у сэра Басси и осуществление которой все откладывалось и откладывалось, был изысканный и авторитетный еженедельник на двух колонках, с солидным заголовком и с ним самим в качестве главного редактора. Это должно быть одно из тех изданий, тираж которых не столь велик, чтобы сделаться достоянием толпы, но которое влияет на общественное мнение и на самый ход истории во всем цивилизованном мире. Журнал этот сравняется со «Зрителем», «Субботним обозрением», «Нацией» и «Новым государственным деятелем» и даже превзойдет их. Печататься в нем будут главным образом мистер Парэм и молодые люди, открытые им и находящиеся под его влиянием. Он будет судить театр жизни, все события, «проблемы», науку, искусство, литературу. Читатель найдет в нем понимание, совет, но при этом без всякой навязчивости. Порою он будет дерзок, порою суров, порою откровенен, но отнюдь не криклив и не вульгарен. Редактор сродни господу богу; он и есть бог, вот только владелец журнала несколько портит дело. Но если хорошо разыграть партию, при известных условиях и в самом деле становишься господом богом. И при этом не приходится, подобно господу богу, отвечать за грехи и пороки мира, которые видишь. Можешь улыбаться и посмеиваться, что ему не дано, и тебя ни в чем не заподозрят, ведь не ты сотворил мир таким, как он есть.

Писать «Еженедельное обозрение» едва ли не самое большое удовольствие, какое жизнь дарит умному, просвещенному человеку. Ободряешь одни государства, коришь другие. Указываешь на заблуждения России, отмечаешь, что на позапрошлой неделе Германия поняла тебя с полуслова. Разбираешь шаги государственных деятелей, предостерегаешь банкиров и королей бизнеса. Судишь судей. Снисходительно похваливаешь или слегка бранишь бестолковую толпу писак. Отпускаешь комплименты художникам, иногда весьма сомнительные. Скандалисты-репортеры увиваются вокруг тебя, строчат сварливые опровержения и нет-нет да удостаиваются твоего шлепка. Каждую неделю ты создаешь одни репутации и

губишь другие. Ты судишь всех, а тебя никто. Ты вещаешь с небес, могущественный, непогрешимый и незримый. Мало кто достоин такого доверия, но мистер Парэм уже давно причислил себя к этим избранникам. С великим трудом он хранил тайну, жил в ожидании своего журнала, как некогда заточенная в монастырь дева — в ожидании возлюбленного. И вот наконец явился сэр Басси, сэр Басси, которому ничего не стоило вознести мистера Парэма на небеса.

Ему бы только сказать: «Делайте». А уж мистер Парэм знал бы, что делать и как. Сэру Басси представлялась редкостная возможность. Он мог вызвать к жизни бога. У него не было ни знаний, ни способностей, чтобы самому стать богом, но он мог содействовать явлению бога.

Чего только не покупал сэр Басси на своем веку, но, как видно, никогда еще не был одержим мыслью о собственном журнале. И вот час пробил. Пробил час вкусить могущество, силу влияния и осведомленности, бьющие прямо из источника. Из его собственного источника.

Обуреваемый этими мыслями, мистер Парэм впервые отправился завтракать в Мармион-хаус.

Мармион-хаус оказался весьма оживленным местом. Выстроил его сэр Басси. Здесь размещались конторы тридцати восьми компаний, и когда мистер Парэм вошел с Виктория-стрит в просторный подъезд, его совсем затолкали быстроногие конторщики и стенографистки, спешившие перекусить. Переполненный лифт выплескивал пассажиров на каждом этаже, и под конец мистер Парэм остался наедине с мальчиком-лифтером.

Мистеру Парэму предстояла вовсе не та приятная беседа с глазу на глаз, которой он ожидал, когда звонил утром сэру Басси. Он застал сэра Басси в большой столовой, где за длинным столом сидело множество народу, и мистер Парэм сразу распознал в этой публике прихлебателей и подхалимов худшего разбора. Позднее он понял, что среди них были и люди в известной мере почтенные, связанные с той или иной из тридцати восьми компаний, которыми заправлял сэр Басси,— но с первого взгляда об этом никак нельзя было догадаться. По левую руку от сэра Басси сидела бдительная и суровая стенографистка, которая показалась мистеру Парэму чересчур

величественной для стенографистки, чересчур элегантной и чинной; были тут и две молоденькие особы, которые держались слишком фамильярно, называли сэра Басси душкой и так уставились на мистера Парэма, словно он был какой-нибудь иностранец. При дальнейшем знакомстве мистеру Парэму предстояло узнать, что то были нежно любимые сэром Басси племянницы его жены — своих детей у него не было,— но в тот день мистер Парэм принял их бог знает за кого. Ко всему они были еще и сильно подмалеваны. За столом сидел также круглый, как шар, жизнерадостный человек в светлом фланелевом костюме и с вкрадчивым голосом, который вдруг спросил мистера Парэма, не пора ли наконец что-то сделать с Уэстернхэнгером, и тут же начал перекидываться какими-то непонятными шуточками с одной из племянниц, предоставив мистеру Парэму гадать, что это за штука Уэстернхэнгер. Был здесь еще маленький озабоченный человечек, у которого голова формой до того походила на цилиндр, что даже удивительно, почему он ее не снял, садясь за стол. Как выяснилось, это был сэр Тайтус Ноулз с Харли-стрит. Серьезной беседы за завтраком не вели, только перебрасывались короткими замечаниями. Некий степенный господин, сидевший между сэром Басси и мистером Парэмом, вдруг спросил, не находит ли мистер Парэм, что архитектура города отвратительна.

— Сравните с Нью-Йорком.

Мистер Парэм ответил не сразу.

— Нью-Йорк — другое дело.

Поразмыслив немного, степенный господин сказал, что это, конечно, верно, однако...

Сэр Басси встретил мистера Парэма самой обаятельной своей улыбкой и предложил «садиться, где ему будет угодно». Несколько минут он еще поддразнивал одну из хорошеньких подмалеванных девиц, которая надеялась в Лондоне поиграть в «настоящий» теннис, а потом погрузился в свои мысли. Один раз у него ни с того ни с сего вырвалось: «Поди ты!»

Завтрак этот ничем не походил на спокойную упорядоченность завтраков в Вест-Энде. Прислуживали трое или четверо молодых лакеев, проворных, но отнюдь не величественных, в белых полотняных куртках. Подавали пудинг с мясом и почками, ростбиф, и перед

каждым прибором — на американский манер — стояла тарелочка с сельдереем, а буфет был заставлен холодным мясом во всех видах, фруктовыми тортами, а также всевозможными напитками. На столе стояли сосуды с вином, похожие на чаши. Мистер Парэм рассудил, что скромному ученому и джентльмену пристало пренебречь винами плутократа, и взял кружку пива. Когда с едой покончили, половина гостей разошлась, скрылась и элегантная секретарша, которая уже стала казаться мистеру Парэму заслуживающей внимания, а остальные перешли вместе с сэром Басси в просторную гостиную с низким потолком, где их ждали сигары, кофе и ликеры.

— Мы поедем с лордом Тримейном играть в теннис,— хором объявили хорошенькие племянницы.

«Неужели это лорд Тримейн!» — подумал мистер Парэм и, заинтересовавшись, снова поглядел на толстяка. Как-никак бывший член Центрального суда по уголовным делам.

— Если после такого завтрака он станет играть в теннис тяжелыми мячами и тяжелой ракеткой, его хватит удар,— сказал сэр Басси.

— Вы не знаете, сколько пищи я способен поглотить,— ответствовал шарообразный джентльмен.

— Выпейте коньяку, Тримейн, выпейте основательно,— предложил сэр Басси.

— Коньяк,— сказал Тримейн проходящему мимо слуге,— двойную порцию коньяка.

— Откройте для его светлости бутылку повыдержаннее,— распорядился сэр Басси.

Итак, это и в самом деле лорд Тримейн! Но как его разнесло! Мистер Парэм уже преподавал в университете, когда впервые увидал лорда Тримейна, на редкость стройного юношу. Он появился в университете, а потом был отчислен. Но то недолгое время, что лорд пробыл в его стенах, он вызывал всеобщее восхищение.

Племянницы с Тримейном отбыли, и сэр Басси подошел к мистеру Парэму.

— Вы заняты сегодня днем? — спросил он.

У мистера Парэма не было никаких неотложных дел.

— Поедемте поглядим картины,— предложил сэр Басси.— Есть у меня такое желание. Не возражаете? Вы как будто знаете в них толк.

— Картин такое множество,— с любезно-снисходительной улыбкой ответил мистер Парэм.

— Мы поедем в Национальную галерею. И к Тейту, пожалуй. Академия[1] тоже еще открыта. А если понадобится, и к торговцам заглянем. В общем, осмотрим все, что успеем до вечера. Я хочу получить общее представление. И послушать, что вы обо всем этом скажете.

Пока «роллс-ройс» стремительно и плавно мчал их на запад по оживленным улицам Лондона, сэр Басси пояснил, чего, собственно, он хочет.

— Хочу поглядеть на эту самую живопись,— сказал он, подчеркнув слово «поглядеть».— Про что она? И для чего? Откуда она пошла? И какой в ней толк?

Уголок рта у него опустился, и он вперил в лицо собеседника странный взгляд—враждебный и вместе с тем просительный.

Мистер Парэм предпочел бы заранее подготовиться к этой беседе. Он не повернул головы, предоставив сэру Басси созерцать свой профиль.

— Что есть искусство? — произнес он, стараясь выиграть время.— Сложный вопрос.

— Не искусство, просто картины,—поправил сэр Басси.

— Это и есть искусство,— возразил мистер Парэм.— Искусство по самой природе своей. Единое и неделимое.

— Поди ты,— негромко вымолвил сэр Басси и весь обратился в слух.

— Это своего рода квинтэссенция, я полагаю,— пустил пробный шар мистер Парэм. Он неопределенно повел рукой — за эту привычку студенты в свое время дали ему пренеприятное и несправедливое прозвище «Пятерня». Ибо на самом деле руки у него были на редкость хороши.— Художник как бы делает выжимку красоты и прелести из жизненного опыта человека.

— Вот это мы и посмотрим,— перебил его сэр Басси.

— И запечатлевает это. Сохраняет для вечности.

Поразмыслив, сэр Басси снова заговорил. Говорил он так, словно поверял мысли, которые давно уже его мучили.

---

[1] Имеется в виду ежегодная выставка Лондонской Академии художеств.

— А эти художники нам малость не втирают очки? Я подумал... на днях... вот когда вы говорили... Просто пришло в голову...

Мистер Парэм покосился на него.

— Нет,— сказал он неторопливо и рассудительно,— не думаю, чтобы они *втирали нам очки.*— Последние слова он слегка подчеркнул, чуть-чуть, так что сэр Басси и не заметил.

— Ладно, поглядим.

Так странно начался этот странный день — день в обществе варвара. Но бесспорно, как выразился Себрайт Смит, этот варвар был «одним из наших завоевателей». От этого варвара нельзя просто отмахнуться. У него хватка бульдога. Мистер Парэм был застигнут врасплох. Чем дальше, тем больше он жалел, что не имел возможности заблаговременно подготовиться к навязанной ему беседе. Тогда он заранее подобрал бы картины и показал их в надлежащем порядке. А теперь пришлось действовать наудачу, и вместо того, чтобы вести бой за искусство, за его волшебство и величие, мистер Парэм оказался в положении полководца. вынужденного сражаться с врагом, который уже ворвался в его лагерь. Где уж тут излагать свои мысли стройно и последовательно.

Насколько мог понять мистер Парэм по отрывочным и безграмотным речам сэра Басси, он был настроен пытливо и недоверчиво. Он оказался человеком крайне неразвитым, но обладал при этом недюжинным природным умом. Как видно, на него произвело впечатление, что все умные люди, люди со вкусом глубоко чтят имена великих живописцев, и он не понимал, почему их вознесли так высоко. И хотел, чтобы ему это объяснили. Его явно одолевало любопытство. Сегодня его занимали Микеланджело и Тициан. А завтра, быть может, он станет расспрашивать о Бетховене или Шекспире. Авторитеты не внушали ему никакого почтения, он их не признавал. О величии искусства с ним приходилось говорить так, словно оно не заслужило признания и восторгов многих поколений.

Сэр Басси так уверенно и стремительно поднялся по лестнице Национальной галереи, что мистеру Парэму подумалось, уж не побывал ли он здесь раньше. Первым делом он направился к итальянцам.

— Ну, вот и картины,— сказал он, проносясь по залам, и немного замедлил шаг лишь в самом большом.— Очень даже интересные и занятные. Почти все. Многие очень ярки. Могли бы быть и поярче, но глаз, по-моему, ни одна не режет. Эти ребята, видно, малевали в свое удовольствие. Все это так. Я бы не прочь понавешать их в Карфекс-хаусе, да и сам бы не отказался немного помахать кистью. Но когда меня начинают уверять, будто тут кроется что-то еще, и эдак молитвенно понижают голос, словно эти самые художники знают что-то особенное о царствии небесном и теперь открывают нам секрет, тут я вас не понимаю. Хоть убей, не понимаю.

— Но посмотрите хотя бы на эту картину Франчески,— сказал мистер Парэм.— Какое очарование, какая нежность... она поистине божественна.

— Очарование, нежность! Божественно! Да возьмите вы весенний день в Англии, или перышки на груди фазана, или краски на закате, или кувшин с цветами на окошке в утреннем свете. Уж, конечно, все это в сто раз очаровательней и нежней и все такое прочее, чем этот — этот маринованный хлам.

— Маринованный! — Мистер Парэм был сбит с ног.

— Ну, маринованная прелесть,— вызывающе сказал сэр Басси.— Маринованная красота, если угодно... А очень многое и не так уж красиво и не так уж расчудесно замариновано. А все эти Мадонны,— продолжал пинать поверженного мистера Парэма сэр Басси,— они по доброй воле их рисовали или их заставляли? Да кому это понравится женщина, когда она вот этак восседает на троне?

— Маринованные! — Мистер Парэм был вне себя.— О нет!

Тут сэр Басси весь обратился в слух, опустил уголок рта и повернул голову, чтобы лучше слышать мистера Парэма.

Мистер Парэм пошарил рукой в воздухе и наконец поймал нужное слово.

— Избранные.

Он секунду помолчал.

— Избранные и запечатленные,— уточнил он. — Художники всматривались в мир, всматривались всем

своим существом. Всем талантом. Они рождены, чтобы видеть. И они старались... и, я думаю, с успехом... закрепить самые сильные свои впечатления ради нас с вами. Для них Мадонна часто была... обычно была... лишь предлогом...

Рот сэра Басси принял свое более привычное положение, и он с известным уважением снова поглядел на картины. Нельзя не поглядеть на них еще раз, услыхав такой довод. Он смотрел испытующе, но недолго.

— Вот эта штука...— начал он, возвращаясь к картине, с которой начался разговор.

— «Крещение» Франчески,— благоговейно прошептал мистер Парэм.

— По-моему, не такое уж это все избранное, просто собрано с бору по сосенке. Взял да нарисовал все, что ему нравилось. Фон приятный, но это только потому, что напоминает разные знакомые вещи. Нет, я не собираюсь падать перед этой картиной на колени и молиться на нее. Да почти все...— он, кажется, имел в виду всю Национальную галерею,— картины как картины.

— Не могу с вами согласиться,— возразил мистер Парэм.— Никак не могу.

Он заговорил о полутонах Филиппо Липпи, об окрыленности, изяществе, классической красоте Боттичелли; говорил о богатстве красок Леонардо, о его совершенном знании человеческого тела, о виртуозном мастерстве и в заключение — о бесконечной величавости его Мадонны в гроте.

— Как таинственно это тишайшее, осененное тенью женское лицо, сколько кроткой мудрости в сосредоточенном взоре ангела! — воскликнул мистер Парэм.— Картины как картины! Да ведь это откровение!

— Поди ты,— сказал сэр Басси, склонив голову набок.

Мистер Парэм вел его от картины к картине, точно упрямого ребенка.

— Я не говорю, что это плохо,— повторял сэр Басси,— и не говорю, что это скучно, но я никак не пойму, почему это надо так превозносить. Это напоминает разные вещи, но вещи-то принадлежат нам. Вообще говоря,— и он снова окинул взглядом зал,— я не спорю,

это ловко, тонко сработано, но, хоть убейте, не вижу, что тут божественного.

Потом сделал довольно неуклюжую уступку культуре.

— Конечно, глаза постепенно привыкают,— сказал он.— Вроде как в темноте в кино.

Однако было бы утомительно пересказывать все его дикарские замечания о прекрасных полотнах, ставших самым драгоценным нашим наследием. Он сказал, что Рафаэль «уж больно жеманный», Эль Греко его возмутил.

— Византийская пышность,— повторил он слова мистера Парэма.— Да это все равно что отражение в кривом зеркале.

Но при виде тинтореттовского «Начала Млечного Пути» он чуть не захлопал в ладоши.

— Поди ты,— обрадовался он.— Вот это да! Неприлично, зато здорово.

И снова повернулся к картине.

Напрасно мистер Парэм старался провести его мимо Венеры.

— Это кто рисовал? — спросил он, словно подозревал, что это дело рук мистера Парэма.

— Веласкес.

— Ну, вот скажите мне: взять эту штуку и хорошую большую раскрашенную фотографию голой бабы в соблазнительной позе,— не все ли равно?

Мистер Парэм стеснялся обсуждать столь нескромный предмет в общественном месте, во всеуслышание! Но сэр Басси, может быть, того и не сознавая, смотрел, как всегда, угрожающе и требовательно, и не ответить ему было немыслимо.

— Это совсем разные вещи. Фотография конкретна, на ней запечатлен факт, отдельный человек, какая-то определенная женщина. Здесь же красота, удлиненные восхитительные линии стройного тела — лишь повод для художника в совершенной форме выразить свой идеал. Это уже не тело, а идея тела. Нечто отвлеченное, очищенное от недостатков и изъянов реально существующей женщины.

— Чушь! Эта девочка очень даже реальна... никто мимо не пройдет.

— Я с вами не согласен. Совершенно не согласен.

— Поди ты! Да я не против этой картины, я только не пойму, при чем тут всякие ваши идеи и отвлеченности. Мне она нравится, не меньше, чем этому Тинторетто. Так ведь молодая, хорошенькая женщина, да еще нагишом, хороша всегда и везде, особенно если вы в настроении. С какой же стати сажать за решетку несчастного уличного торговца непристойными открытками — ведь он продает то же самое, что здесь может видеть каждый, и фотографии с этих картин тоже продаются при входе. Я не против искусства, только уж больно оно задается. Как будто его пригласили отобедать в Букингемском дворце, и оно после этого перестало кланяться своим бедным родственникам, а они ничем его не хуже.

Мистер Парэм двинулся дальше, и лицо у него было такое, словно их спор кончился пренеприятнейшим образом.

— Интересно, успеем ли мы заехать к Тейту,— заметил он.— Там вы посмотрите Британскую школу и малоизвестную буйную молодежь.— Он не удержался от тонкой, едва уловимой насмешки.— Их картины новее. Вам они, наверно, покажутся ярче, а потому больше понравятся.

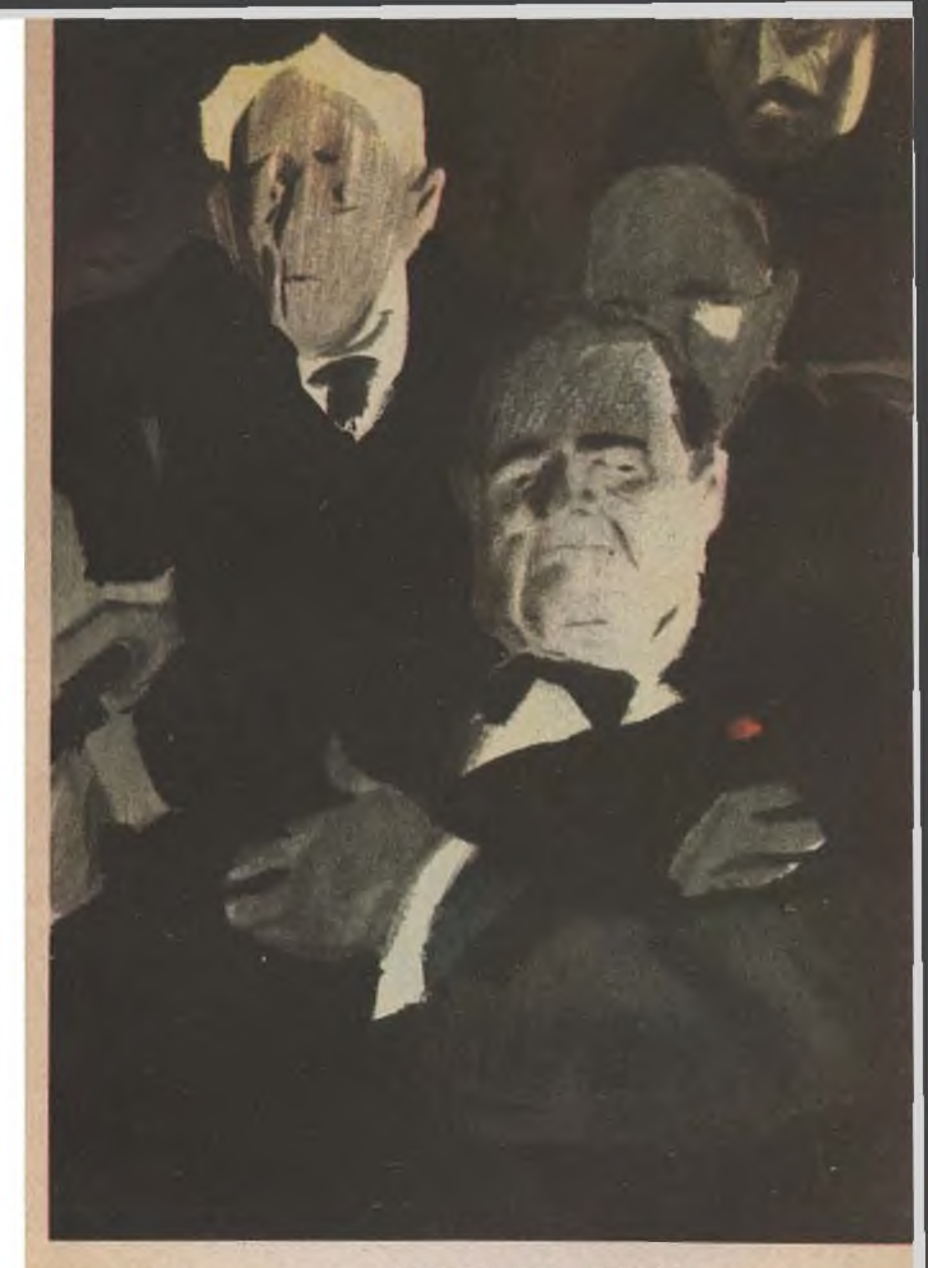
И они поехали в галерею Тейта. Но сэр Басси не сказал там ничего нового ни против искусства, ни за него. Он лишь заявил, что мистер Джон Огэстес [1] «большой нахал». Когда они выходили, он, казалось, что-то обдумывал и наконец высказался,— это, видимо, был созревший ответ на вопрос, который он задумал разрешить сегодня днем:

— Не вижу я, чтобы эта самая живопись к чему-нибудь вела. Нет, не вижу. Никакое она не открытие и не спасение. Говорят, она вроде как выход из нашего проклятого мира. Так что ж, верно это?

— Искусство придало смысл и радость существованию тысяч... несметному множеству людей, живущих тихой, созерцательной жизнью.

---

[1] Огэстес, Джон (р. 1878) — английский художник. Наиболее известен как портретист. Многие его работы представлены в галерее Тейта.



«САМОВЛАСТЬЕ МИСТЕРА ПАРЭМА»



«САМОВЛАСТЬЕ МИСТЕРА ПАРЭМА»

— На то есть крикет,— возразил сэр Басси.

Мистер Парэм не нашелся, что ответить. Минутами ему казалось, что день пропал зря. Он делал все, что мог, но он столкнулся с умом неразвитым, упрямым и неподатливым и чувствовал, что бессилен внушить ему правильное понятие об искусстве. Они молча стали рядом, озаренные лучами заходящего солнца, и ожидали, пока шофер сэра Басси заметит их и подаст машину. «Этому плутократу меня не понять,— думал мистер Парэм,— не понять ему целей истинной цивилизации, и не станет он финансировать мой журнал. Надо быть любезным и улыбаться, как подобает джентльмену, но напрасно я терял время и возлагал на него надежды».

Однако в машине сэр Басси, против всяких ожиданий, стал горячо благодарить его, и мистер Парэм решил, что рано падать духом.

— Что ж,— сказал сэр Басси,— сегодняшний день мне очень много дал. Мы великолепно провели время. Мне было с вами интересно. Я запомню все, что вы мне наговорили про это самое искусство. Мы не зря ходили. Мы смотрели во все глаза. Похоже, что я вас понял. Нет, в самом деле. В тот вечер я сказал себе: «Непременно надо понять этого малого. Он занятный». Надеюсь, это начало, и я еще много раз буду иметь удовольствие видеть вас и понимать... Хорошеньких женщин любите?

— А?

— Хорошеньких женщин, говорю, любите?

— Все мы люди грешные,— сказал мистер Парэм тоном чистосердечного признания.

— Буду рад видеть вас в «Савое». В следующий четверг. Я там даю ужин и все прочее. Приглашены все звезды лондонской сцены. И можно будет с ними потанцевать.

— Я не танцую, представьте.

— Я тоже. Но вам-то надо бы научиться. У вас ноги подходящие — длинные. А то сядем в уголке, и вы мне расскажете что-нибудь про женщин. Вот как про искусство рассказывали. Я человек занятой, но мне всегда хотелось знать побольше. А как заскучаете, ведите кого-нибудь к столу. Желающих поужинать всегда сколько угодно. И водите их снова, и снова, и снова, как сказано в стишках. Еды и питья на всех хватит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИСТЕР ПАРЭМ СРЕДИ ВЕСЕЛЯЩИХСЯ БОГАЧЕЙ

Мистеру Парэму еще не было ясно, станет ли он редактором журнала, но зато ему было совершенно ясно, что он вполне может стать своего рода наставником сэра Басси. Какого именно рода наставником, судить пока было рано. Если представить себе Сократа высоким, с правильными чертами лица, а Алкивиада коротеньким и энергичным и если предположить, что вместо неудачного похода на Сиракузы по мудрому совету было мастерски осуществлено объединение Греции; если, разумеется, оставить от этой параллели едва уловимый, но все же явственный намек, вы получите некоторое представление о тайных надеждах мистера Парэма. Но, пожалуй, еще верней было бы сослаться на Аристотеля и Александра [1]. Одно из бесчисленных преимуществ истинно классического образования — что вы никогда не чувствуете необходимости видеть простую и грубую природу человеческих отношений, да и не можете ее увидеть: вы неизменно приукрашиваете обступающую вас прозу жизни. Вам изменяет чувство времени, в событиях вы воспринимаете лишь то, что напоминает затверженные вами уроки истории.

На вечере в «Савое» мистер Парэм впервые увидел, с каким размахом сэр Басси тратит свои деньги. Они текли рекой, таким широким, могучим, полноводным потоком, что человек заурядный был бы поражен до немоты, и даже мистер Парэм поймал себя на том, что подсчитывает и прикидывает, во что обошелся этот вечер его новому знакомцу. По всему выходило, что на эти деньги можно было бы года три, а то и больше выпускать первоклассный еженедельник.

Мистер Парэм считал своим долгом показываться на людях хорошо одетым, в строгом согласии с правилами приличия. Он не признавал «неподсудность духовенства светскому суду» — эту вечную отговорку эрудитов и ученых, позволяющую им надевать в торжественных случаях низкие, отложные воротнички и являться на

---

[1] Древнегреческий философ Аристотель (384—322 до н. э.) был воспитателем Александра Македонского.

балы в старомодных смокингах. Куда важнее, полагал он, дать людям понять, что, если нужно, философ ни в чем не уступит светскому человеку. Высокий рост позволял ему носить костюмы изысканно свободного покроя, почти в стиле лорда Бальфура[1], и он хорошо знал, что черты лица у него тонкие и правильные и, уж во всяком случае, он далеко не урод. В руках у него был несколько старомодный по нынешним неряшливым временам шапокляк, и это сдерживало его страсть размахивать пресловутой «пятерней», а изящная золотая цепочка явно досталась ему по наследству.

Весь «Савой» в этот вечер принадлежал сэру Басси. Вся прислуга была в его распоряжении. В серых бархатных штанах и желтых жилетах они походили на слуг в родовом поместье. В гардеробной мистер Парэм застал сэра Тайтуса Ноулза, который в эту минуту скинул широченный плащ и, сняв крохотную черную шляпу, открыл непомерно высокий лоб.

— Приветствую! — сказал сэр Тайтус.— И *вы* здесь!

— Как видите,— ответил мистер Парэм, решив не обижаться.

— А-а,— протянул сэр Тайтус.

— Без номерка, сэр Тайтус,— сказал гардеробщик.— Мы вас и так знаем, сэр.

И сэр Тайтус удалился, небрежно улыбнувшись.

А мистер Парэм сдал пальто и получил номерок.

Он медленно прошествовал мимо мужчин, поджидавших своих спутниц, к великолепной толпе гостей,— тут были очаровательные дамы в самых что ни на есть дорогих туалетах, с ослепительными руками, плечами и спинами, и немало джентльменов на все вкусы. Все говорили разом — казалось, порывами налетает ветер и шелестит жестяной листвой. Прием был в полном разгаре. Неожиданно появился сэр Басси.

— Чудесно,— сказал он со смаком.— Нам надо поговорить. Вы знаете Помэндер Пул? Ей до смерти хочется с вами познакомиться.

Тут он исчез, и в этот вечер мистеру Парэму удалось лишь два-три раза перебросить с ним нескольн

---

[1] Лорд Бальфур (1848—1930)—английский государственный деятель и дипломат; славился аристократическими манерами и изяществом.

кими словами, хотя он все время видел его то там, то здесь, иногда хмуро-деловитого, иногда изображающего на лице необыкновенную веселость.

Знакомство с мисс Помэндер Пул началось с того, что она очень серьезно спросила, как его зовут, о чем сэр Басси в спешке или по забывчивости не сказал ей.

— Фамилия человека, с которым вам до смерти хотелось познакомиться,— Парэм,— сказал мистер Парэм и улыбнулся одной из самых ослепительных своих улыбок, выставив на всеобщее обозрение все свои великолепные зубы, за исключением, разумеется, крайних коренных.

— Басси сегодня скачет, прямо как блоха,— сказала мисс Помэндер Пул.— Его надо бы назвать Странствующий рыцарь. Или Крошка Грааль. Уже шесть человек ищут его по всему дому — я сама видела.

Она была темноволосая, красивая, с глазами мученицы и фигурой более пышной, чем полагалось по моде. Голос у нее был глубокий, звучный.

— Чего ради он устраивает эти вечера,— сказала она со вздохом, оглядев зал,— просто ума не приложу,— и замолчала, давая понять, что теперь его очередь поддержать беседу.

Мистер Парэм замешкался. Имя Помэндер Пул было ему хорошо знакомо, но он не мог связать его ни с книгами, ни с газетными статьями, ни с пьесами, ни с картинами, ни со скандалами или светскими сплетнями, ни с музыкальными ревю, а без этого ему трудно было вести легкую, занимательную, непринужденную беседу, развлекать собеседницу, как положено философу, пожелавшему быть сегодня светским человеком. Пришлось начать с полувопроса.

— Я знаком с хозяином дома совсем недавно,— сказал мистер Парэм, явно ожидая каких-нибудь пояснений.

— Он не существует,— ответила Помэндер Пул.

Как видно, мы желаем сверкать остроумием. Что ж, мистер Парэм умел ловить мячи на лету.

— Мы уже встречали нечто подобное,— заверил он.

Но она словно бы и не слыхала.

— Он не существует,— повторила она со вздохом.— Поэтому никто не может его найти, да он и сам себя

никак не найдет. Он то и дело переворачивает постель, все ищет самого себя, но без всякого толку.

Что и говорить, остроумная оказалась дама!

— Зато он находит богатство,— сказал мистер Парэм.

— Природа не терпит пустоты,— устало произнесла она с видом человека, который в тысячный раз повторяет знакомую истину. Мрачными красивыми глазами она оглядывала зал, будто искала кого-нибудь, кто освободил бы ее от мистера Парэма.

— Сегодня пустота заполнена интересными людьми.

— Я почти никого из них не знаю.

— Но я-то недостаточно светский человек, и мне они кажутся интересными.

— А я достаточно знаю свет, чтобы ничего от них не ждать.

Снова наступило неловкое молчание. Мистеру Парэму хотелось, чтобы она провалилась в тартарары, а на ее месте оказался бы кто-нибудь попроще. Но на этот раз положение спасла она.

— Ужинать, пожалуй, еще рано,— сказала она.— Где это у них там стол накрыт? На этих пустопорожних вечерах ощущаешь необычайную пустоту внутри.

— Что ж, тогда займемся поисками,— предложил мистер Парэм, снова изображая на лице улыбку: хочешь — не хочешь, придется позаботиться о даме.

— По-моему, я слушала ваши лекции в Королевском обществе,— начала Помэндер Пул.

— Никогда не читал там,— ответил мистер Парэм.

— Я вас там видела. Даже двоих-троих сразу. Вы ведь ученый.

— Я гуманитарий, сударыня. Занимаюсь чистой наукой и предан кое-каким старым, испытанным идеям, точно любимой трубке, никогда с ними не расстаюсь, ну, и указательный палец у меня всегда в чернилах.

Это у него вышло недурно. Мисс Пул поглядела на него так, словно впервые его увидела. В глазах ее блеснула искра интереса, но тотчас погасла, заслоненная другими мыслями.

Говоря, что мистер Парэм взял на себя заботы о своей даме и отыскал зал, где ужинали, мы несколь-

ко преувеличили. Так хотел бы это изобразить мистер Парэм. На самом же деле, когда они прокладывали дорогу сквозь сверкающие толпы, она неслась как одержимая, опережая его то на два шага, а то и на все шесть. В зале уже с шумом и превеликим усердием принялись за ужин, и мисс Пул, шедшую впереди Парэма, окликнули какие-то ее знакомые, которые не просто ужинали, а, судя по всему, наедались впрок.

— Чем порадуете нас сегодня, Помэндер?—крикнул красивый молодой человек, и, даже не попытавшись представить мистера Парэма, она оказалась в центре этого кружка.

— Подозреваю, что Басси не существует в природе,— ответила мисс Пул,— но жажду вкусить от его щедрот.

— Вы с ним в таких же отношениях, как нынешние христиане с господом богом,— бросил кто-то.

Мистер Парэм стороной обошел этот кружок и приблизился к столу, накрытому сияющей скатертью. Стол ломился от яств, а из вин было, кажется, одно лишь шампанское в стеклянных графинах. Он хотел принести мисс Пул вина, но кто-то его уже опередил, и он выпил сам, притворяясь, будто участвует в разговоре с ее приятелями, чьи спины ему приходилось созерцать, изображал на лице оживление и с самым беззаботным видом съел несколько сандвичей с курятиной. Мисс Пул заметно повеселела. Без всякой видимой причины она сандвичем с паштетом шлепнула по щеке рослого толстяка еврея. Может быть, он ей нравился. Или она просто расшалилась. Она навела разговор на сэра Басси, вновь изобразила, как он переворачивает постель в поисках самого себя, и взрыв буйного восторга был ей наградой. В разгар овации невысокий белобрысый юнец весьма предупредительно обернулся к мистеру Парэму, повторил ему остроумную выдумку и тотчас забыл о его существовании.

Мистер Парэм пытался не замечать, что этот кружок изверг его, как сказал бы любитель физиологических терминов Олдос Хаксли [1], но не чувствовать этого не

---

[1] Хаксли, Олдос (р 1894) — английский писатель, в своих произведениях объяснял психологию и поведение людей биологическими причинами.

мог, и только было решил подбодрить себя вторым бокалом шампанского, как увидел рядом сэра Тайтуса Ноулза, на которого кружок веселой молодежи тоже явно не желал обращать внимание.

— Приветствую вас,— сказал он.— И вы здесь?.. Приятный вечер,— не слишком искренне прибавил он, и тут откуда ни возьмись явилась прелестнейшая молодая блондинка, вся очаровательнейшее нетерпение, и, делая вид, что задыхается от бега, обратилась прямо к великому консультанту.

— Сэр·Тайтус, где мне найти джентльмена по фамилии Парэм?— спросила она торопливо, с хрипотцой.— И дайте что-нибудь перекусить, пожалуйста.

Ее просьба тотчас была исполнена.

— Я спросила Басси, на что похож этот Парэм, он сказал: «Вы его узнаете с первого взгляда». Я должна его отыскать, захватить и заставить танцевать. Мы заключили пари. Парэм! Что ж мне, ходить по залам и выкликать? Тут народу, наверно, целый миллион. Меня выгонят вон за то, что я пристаю к гостям.

Она взглянула на сэра Тайтуса, поймала его взгляд, сразу поняла, в чем дело, и обернулась к мистеру Парэму.

— Конечно! — сказала она с полным ртом.— Так и есть. Меня зовут Гэби Грёз. Вы здесь самый красивый мужчина. Ясно, Басси не станет мне подсовывать второй сорт.

На лице мистера Парэма отразились разом и удовольствие и неприступность.

— Танцевать вы меня не заставите,— сказал он.

Его потеснили, и они вдруг оказались совсем рядом. Какое у нее прелестное лицо, когда видишь его так близко! Глаза дерзкие, синие. Веки безукоризненной формы. И уголок нежного рта чуть опущен.

— Нет, заставлю танцевать. Заставлю делать все, что хочу. А знаете почему?

Она откусила солидный кусок ветчины и, усердно жуя, докончила:

— Потому что вы мне нравитесь.

И кивнула в подтверждение. Мистер Парэм неожиданно для самого себя так и просиял ослепительной улыбкой.

— Я и не думаю вам противиться, ни в коей мере,— сказал он и добавил с видом опасного соблазнителя:— Верьте мне.

Нравится! Да он готов был съесть ее. Это вам не мисс Помэндер Пул с ее заранее заготовленными остротами. Он тут же выкинул из головы эту бесцеремонную особу. Пусть лупит всех подряд по щекам сандвичами и тычет им под ребра шоколадные эклеры, его это не касается.

Мисс Гэби Грёз принялась за дело не спеша, с полным пониманием. Ничто на свете так не сближает, и никогда не чувствуешь себя так уединенно, как в разговоре вдвоем среди толпы, занятой болтовней и поглощением пищи. Мы уже сравнивали шум, царивший на приеме у сэра Басси, с ветром, колышущим в лесу металлическую листву. А теперь оркестр пополнился — вступили тарелки, вилки, ножи. И все эти звуки, сплетаясь, тонкой металлической стенкой отгораживали мистера Парэма и его очаровательную собеседницу от всего мира, укрывали их, точно в беседке. Ему только оставалось протянуть руку из этого тайного убежища и достать еще шампанского, заливных овощей на маленьких тарелочках и фруктов, в том числе таких, для которых был еще не сезон. Он поднес ей свои трофеи. Ее изумительные глаза засветились благодарной улыбкой, и она разделила с ним трапезу. Потом рука об руку они, как веселые заговорщики, отправились искать укромный уголок, где она могла бы без помех преподать ему первые уроки танцев, прежде чем он отважится дебютировать на виду у всех. Они оказались прекрасной парой. Склонившись к ней, он нашептывал легкомысленные пустяки, и ее мягкие, шелковистые волосы нежно касались его лица с античными чертами.

Было в этом что-то, что напомнило мистеру Парэму Горация и кое-какие шалости в поэзии латинян, а все, что напоминало ему Горация или шаловливую поэзию латинян, никак не могло быть совсем уж вульгарно или безнравственно. Если бы не классическое воспитание мистера Парэма, не высокое положение в ученом и литературном мире, не ощущение, что здесь чересчур много потаенных уголков, откуда их могут заметить чужие глаза, и предательских зеркал, и наблюдательной при-

слуги, а также, должны мы добавить, если бы не его внутренняя строгость и устойчивость, должно быть, он поддался бы искушению схватить в свои объятия эту соблазнительную красавицу и показать ей, какие страстные поцелуи умеет дарить эрудит и притом не трус. Он раскраснелся, и это очень ему шло.

— Не забывайте моих советов,— сказала мисс Гэби Грёз, направляясь впереди него к более людным залам,— глядите в оба... главное, следите за ногами... Ну, следующий танец наш. Пойдемте сядем, посмотрим на танцующих, и я выпью лимонаду.

«Что бы сказали мои ученики, увидав меня сейчас?»— с улыбкой подумал мистер Парэм. Он подсел к Гэби Грёз и чуть фамильярно положил руку на спинку ее стула.

— По-моему, сэр Басси — просто чудо,— сказал он проникновенно, не обращая внимания на толпящийся вокруг народ.

— Очень надоедливое чудо,— отозвалась она,— скоро он дождется пощечины.

— Ну что вы!

— Но от этого он все равно не перестанет ухмыляться. Мог бы найти занятие получше, чем дурачить людей... при таких-то деньгах.

— Я новичок в этом водовороте.

Но она, как видно, не поняла его.

— «Водоворот»— один из самых аристократических клубов в Лондоне,— сказала она уважительно.— Итак,— она поднялась, готовая увлечь мистера Парэма в танце, как только на паркете появятся первые пары.

У нее сильные руки, с удивлением подумал мистер Парэм, сильная воля, и объяснила она все очень понятно. И сейчас он был, как никогда в жизни, готов приобщиться к современным танцам.

— А вот Басси,— сказала она и, срезав угол, пошла к нему.

Сэр Басси стоял совсем один подле увлеченных игрой темнокожих музыкантов, словно завороженный прихотливой мелодией. Он глубоко засунул руки в карманы и мечтательно покачивал головой. Мистер Парэм со своей дамой дважды, улыбаясь, протанцевали вокруг него, прежде чем он их заметил.

— Поди ты,— сказал сэр Басси, наконец подняв голову,— и часу не прошло!

— Он? — с торжеством спросила Гэби Грёз.

— Он самый,— ответил сэр Басси.

— Вы проиграли.

— Нет. Но вы выиграли. Я очень доволен. Поздравляю, Парэм, вы настоящий танцор. Я с первого взгляда определил, что вы будете танцевать. Вам не хватало только хорошей учительницы. А ведь известно: век живи — век учись. Как она вам нравится? Старик Веласкес вам такую не покажет. Молодая учительница за пояс заткнет старого мэтра, а?

— Ах так, вы меня оскорбляете, вот пойду и съем все, что у вас есть в доме,— заявила мисс Грёз, во второй раз за этот вечер не поняв услышанного.

И мистеру Парэму, так и не закончив танца, пришлось снова вести ее ужинать. Он предпочел бы танцевать и танцевать с ней без конца, но, как видно, танец уже сослужил ей свою службу.

— Даже когда победишь, Басси все равно не даст насладиться победой,— вдруг сказала она в сердцах.— Я ему покажу, где раки зимуют, очень даже скоро покажу... чего бы мне это ни стоило. Пускай не забивает людям голову.

— Чем? — спросил мистер Парэм.

— Не знаю, сказать ли вам,— проговорила она, словно раздумывая вслух, и посмотрела на мистера Парэма странным оценивающим взглядом.

— Можете сказать мне все,— заявил он.

— Иной раз сказать — это очень много. Нет... во всяком случае, не сейчас. А может, и вовсе не скажу...

— Я буду надеяться,— сказал мистер Парэм, не зная, кроется ли что-нибудь за ее словами.

За ужином он потерял ее из виду. Потерял; пока раздумывал, что бы могли значить ее странные слова. И ему суждено было еще очень долго не знать, что же они означали. Вдруг откуда-то налетела стайка молодых девиц, вроде Гэби, только не таких красивых, захлестнула ее, закружила, завертела, ее обнимали, целовали, осыпали нежными именами: Милочка Гэби! Душенька Гэби! Голубушка Гэби! — как обычно зовут друг друга танцовщицы или молоденькие актрисы. Мис-

тера Парэма отнесло в сторону, и он чуть было опять не угодил в сети мисс Помэндер Пул, но в последнюю минуту заметил опасность.

Некоторое время он одиноко бродил по залам, пытаясь вновь завладеть вниманием Гэби, но безуспешно — она была нарасхват. По какой-то странной случайности его снова и снова прибивало к Помэндер Пул, и по столь же странной случайности ее прибивало к нему. Она и не подозревала, как выдает себя,— при виде мистера Парэма ее всю передергивало, и он ясно понял, что она отнюдь не жаждет возобновить с ним беседу. Похоже было, что она к тому же разговаривает сама с собой, но, к счастью, он ни разу не оказался настолько близко к ней, чтобы расслышать. Потом перед ним как из-под земли вырос веселый, пышущий благодушием лорд Тримейн и с места в карьер бросил:

— Вы так и не сказали мне, какого вы мнения об Уэстернхэнгере.

Мистер Парэм насторожился, но, к его немалому облегчению, Тримейн тотчас добавил:

— Впрочем, уже поздно, обсудим это в другой раз. По-моему, это позор... Вы, наверное, мало кого знаете в этом блестящем, но пустом обществе? Спросите меня о ком угодно. Я их всех знаю, как облупленных.

И тут же представил мистера Парэма двум графиням и своей невестке, леди Джуди Персивал, которые оказались под рукой, и отправился кого-то разыскивать. Знакомство не «принялось», как говорят о прививках, дамы заговорили меж собой, и некоторое время мистер Парэм спокойно и задумчиво обозревал толпу. Он уже не чувствовал того душевного подъема, какой породил в нем успех у Гэбриель Грёз. Немного погодя, быть может, удастся заполонить ее снова и поболтать еще немножко. В отдалении он заметил сэра Тайтуса, на челе которого на сей раз не видно было подобающей серьезности и который откровенно обнимал за талию стройную брюнетку в зеленом. Эта сценка помогла мистеру Парэму вновь обрести чувство собственного достоинства. Он прислонился к стене и стал хладнокровно наблюдать за происходящим.

Как ни странно, но этот прием, устроенный лондонским плутократом в модном отеле, был раз в десять

блистательнее, многолюднее, естественнее, красивее любого празднества при дворе Елизаветы или Якова. Или даже в двадцать раз. Каким жалким и бесцветным показалось бы общество тех дней, если бы можно было провести его по этим сверкающим залам. Парча, широкие кринолины, не слишком свежие и чистые в свете факелов и свечей! Диву даешься, глядя на наше нынешнее изобилие. И, однако, в те незавидные времена появились и Шекспир, и Бэкон, и Сесиль, и Эссекс[1]. Оно все вошло в историю — то общество. Стало неиссякаемым источником для книг, исследований, комментариев, ссылок. Малейшая милость королевы-девственницы привлекает пристальное внимание серьезнейших ученых. Быть может, комнаты и были тесны, зато просторна эпоха.

Ну, а нынешняя сутолока и веселье — куда они ведут? Заслужит ли и это когда-нибудь названия истории? При дворе королевы Елизаветы родилась будущая Америка, созданы основы современной науки, выкован английский язык, который сегодняшние гости со своим новомодным жаргоном и пристрастием к короткой, отрывочной речи стремительно обращают в пыль и прах.

Может быть, тут и найдутся два-три художника да какой-нибудь желторотый поставщик современных комедий. Мистер Парэм готов был допустить, что среди незнакомых ему гостей есть и выдающиеся личности, и, однако, баланс был устрашающий и отнюдь не в пользу сегодняшнего общества.

Откуда-то долетели звуки джаза и принялись безжалостно терзать его нервы. Музыка неистово носилась по залу, словно отыскивала мистера Парэма, и вот, видимо, нашла и обрушилась на него. Она ворвалась в его душу криками бесконечной тоски, словно донесшимися из далеких джунглей, и вдруг обернулась самой заурядной, пошлой мелодийкой и словно старалась внушить, что всегда такой и была. Она стала вкрадчивой, навевала бесстыдные мысли. Барабаны, кастаньеты, флейты. И мистер Парэм понял, что тут надо танцевать до

[1] Сесиль, Уильям, лорд Берли (1520—1598) — первый министр королевы Елизаветы.

Эссекс, Роберт (1566—1601) — английский государственный деятель.

упаду или говорить, говорить, не умолкая, быстро и громко, не то душой твоей завладеет кучка черных музыкантов. Блестящие, ликующие лица, назойливые жесты — какое все это чуждое, словно перед тобой существа другой породы. Как поступили бы королева-девственница и любезный и преданный ей Сесиль с этим бронзоволиким джазистом?

Забавно, но именно она, так сказать, посеяла семена той Виргинии, из которой, наверное, родом этот джазист. Казалось, он сейчас подстрекал эту толпу белых к какому-то непостижимому самоуничижению и самоуничтожению. Словно марионетки, они двигались по его воле...

Эта гимнастика ума, столь наблюдательного, глубокого и разностороннего, была прервана появлением лорда Тримейна, обремененного одной из графинь, которой он уже однажды представил мистера Парэма.

— Его-то нам и надо! — обрадовался лорд Тримейн.— Вы уже знакомы с моей кузиной леди Гласглейд! Вот единственный человек на свете, который может вам все объяснить про Уэстернхэнгера. Он изумительно говорил об этом на днях! Изумительно!

И леди Гласглейд была брошена на мистера Парэма.

Гласглейды владели поместьем в Вустершире и принадлежали к числу людей, с которыми, безусловно, следует поддерживать знакомство. Вот только каким ветром занесло эту даму сюда? Поистине круг знакомых сэра Басси был на удивление широк. Леди Гласглейд, маленькая, улыбающаяся, со слегка выцветшими волосами, обладала неистощимым запасом хладнокровия. Мистер Парэм отвесил изящный поклон.

— Мы слишком близко к оркестру, тут невозможно беседовать,— сказал он.— Не угодно ли пройти в зал, где сервирован ужин?

— Там столько народу. Я ни до чего не могла дотянуться,— ответила она.

Мистер Парэм заверил ее, что этой беде можно помочь.

— Я потому сюда и приехала, что проголодалась.

Какая прелесть! Они сразу нашли общий язык, и он позаботился, чтобы она отведала лучших блюд.

Действовал он спокойно, но решительно. Они поговорили о поместье Гласглейдов в Вустершире и о неповторимом, чисто английском очаровании Оксфордшира, а потом разговор перешел на хозяина дома. Леди Гласглейд полагала, что сэр Басси «просто прелесть». Говорят, у него прирожденное деловое чутье, он сразу схватывает самую суть, пока другие только ходят вокруг да около. Он стоит миллионов восемь, а то и десять.

— И при всем том, мне кажется, он страшно одинок,— сказал мистер Парэм.— Одинокий и ни на кого не похожий.

— Да, он в самом деле ни на кого не похож,— согласилась леди Гласглейд.

— Мы его еще не усвоили,— сказал мистер Парэм с горестной гримасой, которая должна была передать муки тонко устроенного общественного организма, страдающего от несварения.

— Не усвоили,— согласилась леди Гласглейд.

— Я познакомился с ним совсем недавно,— продолжал мистер Парэм.— Он поразительно типичен для нашего времени. Все эти новоявленные богачи такие самоуверенные, дерзкие и начисто лишены того, что называется noblesse oblige [1].

— Да, вы, пожалуй, правы,— опять согласилась леди Гласглейд.

Тут они снова наполнили стаканы шампанским сэра Басси.

— Как подумаешь, какое высокое сознание долга перед обществом было присуще нашей земельной аристократии...

— Вот именно,— печальным эхом отозвалась леди Гласглейд.

Но тут же повеселела.

— А все-таки он забавный.

Мистер Парэм смотрел шире и дальше. Он заглянул в темные коридоры истории, и перед его взором встало грозное будущее.

— Право, не знаю,— сказал он.

Они расстались не скоро. Мистер Парэм невесело шутил над оксфордским проектом «курсов усовершенст-

---

[1] Положение обязывает *(франц.)*.

вования» для нуворишей. Леди Гласглейд эта затея очень позабавила.

— Их будут обучать теннису, хорошим манерам, охоте на куропаток и гольфу.

Тут леди Гласглейд рассмеялась заразительным смехом, который так хорошо знали в свете. И это подстрекнуло мистера Парэма развить тему дальше. Он стал расписывать конкуренцию между Ритц-колледжем, Кларидж-колледжем и Маджестиком. У каждой постели установлен громкоговоритель, по которому передаются лекции из аудиторий.

Время шло, и восприятие мистера Парэма притупилось, сознание уже не отмечало каждую мелочь с такой отчетливостью, как в начале вечера. Он, должно быть, каким-то образом потерял леди Гласглейд: рассуждая о том, что долг дворянства, даже и не родового, руководить массами, он обернулся, желая узнать, согласна ли она с ним, но ее уже не было. В начале вечера он искрился остроумием, но постепенно на смену легкомыслию пришла возвышенная мрачность, солидная и, однако, забавная торжественность. Он заговаривал с незнакомыми людьми о сэре Басси.

— Это одинокая, мятущаяся душа,— говорил мистер Парэм.—А почему? Потому что он лишен традиций.

Ему запомнилось, что он долго и безмолвно с восхищением и жалостью следил за очень красивой, высокой и стройной женщиной с замкнутым лицом: она была одна и, казалось, ждала кого-то, но так и не дождалась. Его тянуло подойти к ней и сказать чуть слышно и внятно:

— Почему вы так печальны?

Она вздрогнет и в удивлении обратит на него взор прекрасных фиалковых глаз, и тогда он ошеломит ее сверкающим водопадом слов. Он сплетет правду с вымыслом. Он сравнит сэра Басси с Тримальхионом. Он кратко, но живо перескажет ей роман Петрония. Потом он рассмешит ее забавными и злыми анекдотами о королеве Елизавете, Клеопатре и иных знаменитостях и совсем очарует ее.

— Скажите мне,— обратился он к проходившему мимо молодому человеку с моноклем и повторил: — Скажите...

Тут он повел рукой, но что-то непонятное и удивительное приключилось с его пальцами, и некоторое время он с изумлением разглядывал их, ничего не замечая вокруг.

Нетерпение на лице молодого человека сменилось сочувственным любопытством.

— Что именно вам сказать? — осведомился он, всматриваясь через монокль в руку мистера Парэма, живущую своей отдельной, самостоятельной жизнью, а затем переведя взгляд на его лицо.

— Кто эта прекрасная дама в черном и с... кажется, это называется стеклярус?

— Это герцогиня Хичестерская, сэр.

— Весьма вам признателен,— сказал мистер Парэм.

Его настроение переменилось. Этот глупый, шумный, бессмысленный, блестящий, многолюдный, затянувшийся далеко за полночь прием утомил его. Чудовищный вечер. Вечер вне истории, непонятно, с чего он начался, и он ни к чему не приведет. Здесь все перемешалось. Герцогини и танцовщицы. Профессора, плутократы и блюдолизы. Надо уходить отсюда. Его задержало только одно: он никак не мог найти свой шапокляк. Он похлопал по карманам, обозрел пол поблизости, но шапокляка не было.

Странно.

Вдалеке он увидел человека с шапокляком в руках, да, без сомнения, это был шапокляк. Не выхватить ли его из рук наглеца, не сказать ли сурово:

— Прошу прощенья...

Но как докажешь, что этот шапокляк принадлежит ему, Парэму?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НОКТЮРН

Мистер Парэм внезапно пробудился. Ему отчетливо припомнилось, как он оставил свой шапокляк на столе в том зале, где был сервирован ужин. Без сомнения, какой-нибудь усердный слуга поспешил его прибрать. Надо будет с утра написать в «Савой».

«Сэр», или «уважаемые господа», или «Мистер Парэм свидетельствует свое почтение». Не чересчур суровый тон. И не чересчур фамильярный... Ти-рим-пам-пам.

Шапокляк он, правда, забыл, зато, кажется, принес домой чуть ли не весь джаз-банд. Теперь джаз-банд играл у него в голове, и неугомонный негр все еще размахивал руками с той же бешеной энергией. Эстрадой служил медный обруч головной боли, туго стянувший мистеру Парэму череп. Эта музыка не давала уснуть, и читать что-то не хотелось, а потому мистер Парэм почел за благо тихо лежать в темноте — вернее, в тусклом предрассветном сумраке,— отдаваясь течению порождаемых музыкой мыслей.

Ну и глупейший был вечер!

Глупейший вечер.

Мистер Парэм вдруг понял, сколько им упущено счастливых возможностей, как безрассудно он гнался за развлечениями, как недоставало ему целеустремленности и самообладания.

Эта самая Гэби Грёз — да она смеялась над ним! Во всяком случае, она вполне могла над ним смеяться. Может быть, и смеялась?

Джаз-банд, не смолкавший в черепе, напомнил ему сэра Басси — вот он стоит одинокий и беззащитный и покачивает головой в такт субтропическому буйству звуков. В ту минуту он словно бы приуныл и казался рассеянным. И, конечно, совсем не трудно было бы поймать его на этом настроении, поймать — и уже не выпускать. Следовало подойти и негромко, но внятно сказать что-нибудь многозначительное.

— Vanitas vanitatum,— мог бы, например, сказать мистер Парэм, и, поскольку никогда не знаешь, где границы первобытному невежеству этих выскочек, надо было бы сразу же тактично перевести: «Суета сует».

А почему суета? Потому что у вас, дорогой сэр, нет прошлого. Потому что вы утратили связь с прошлым. А у кого нет прошлого, у того нет и будущего. И постепенно можно было бы перейти к тому, что человек должен смотреть вперед, в будущее — и к влиятельному еженедельнику.

Но вместо того, чтобы высказать это напрямик, откровенно и ясно, самому сэру Басси, он слонялся из

угла в угол и говорил об этом Гэби Грёз, леди Гласглейд, всяким старичкам и вообще кому попало, без разбору.

— Я не привык действовать,— горько пожаловался мистер Парэм господу богу.— Мне не хватает решительности. Я всякий раз упускаю счастливый случай.

Некоторое время он лежал и размышлял о том, что всем ученым и мыслителям пошло бы на пользу, если бы хоть раз в день они были вынуждены предпринять тот или иной решительный шаг. От этого у них окрепла и закалилась бы воля. Но что потом?.. Вдруг, обучившись действовать, они разучились бы критически мыслить? А если от этого огрубеет, притупится ум?

Немного погодя он уже вновь мысленно спорил с сэром Басси.

— По-вашему, жизнь — удовольствие, — говорил он.— Но это не так. Жизнь — ничто. Меньше, чем ничто. Ржавчина.

Ржавчина. Самое подходящее слово. Наш век — век ржавчины. Если вам нужны параллели, читайте Петрония. Тогда Рим еще держал в кулаке весь мир. Но это тоже был век ржавчины. Куда ни глянь, все спешат от одного беспутного наслаждения к другому. Старинные обычаи заброшены в погоне за новизной. Взять хотя бы эти смехотворные шапчонки, которые пришли на смену солидным шапоклякам. (Если вдуматься, не стоит труда разыскивать забытый шапокляк. Надо будет обзавестись вот такой вечерней мягкой шляпой.) Не признают старшинства. Никакой сдержанности. Герцогини, графини, дипломаты, модные врачи водят компанию с хорошенькими певичками, мелкими искательницами приключений, с художниками, торговцами, актерами, кинозвездами, с темнокожими певцами и разными нынешними Казановами и Калиостро — и такое окружение им даже приятно: ни порядка, ни сознания своего долга перед обществом. Таким, как сэр Басси, надо бы сказать: «По странной прихоти случая вы получили власть. Но бойтесь власти, которая не несет с собою и не развивает традиций. Вспомните выдающихся деятелей прошлого: Цезарь, Карл Великий, Жанна д'Арк, королева Елизавета, Ришелье (вам следовало бы прочесть мою книжицу о нем), Наполеон, Вашингтон, Гарибальди,

Линкольн, Уильям Юэрт Гладстон — короли, жрецы и пророки, государственные мужи и мыслители, созидатели великих держав,— несгибаемая воля, неудержимое стремление вперед! Вспомните могучих ангелов в доспехах, прекрасные лики — воплощение страстной силы, не знающей преград! Судьбы нашей империи! Судьба Франции! Наш славный флот! Боевые знамена! И вот ныне меч власти в ваших руках. Неужели он послужит лишь для того, чтобы нарезать бесчисленные сандвичи для ужина?»

И снова в тишине ночи мистер Парэм заговорил вслух.

— Отнюдь! — произнес он.

Внезапно напомнило о себе выпитое шампанское.

Поистине, ржавчина — самое подходящее слово. Нет, не раж, а ржа, ржавчина. Если бы издавать еженедельник, какими сериями беспощадных статей можно под этим общим названием бичевать разные новомодные тенденции! Люди так и будут говорить: «Читали очередную «Ржавчину» в «Еженедельнике Верховного разума»? Свирепо написано!»

Вот досада, оркестр в разламывающейся от боли голове не понимает, что пора уже покончить с этой музыкой. Все гремит и гремит... А какое там было море шампанского! Ржа и раж...

Ему представилось: чуть ли не как причастие, он вручает сэру Басси свою книжицу.

— Вот книга,— сказал бы он при этом,— которая заставляет задуматься. Я понимаю, нельзя просить вас прочитать ее от начала до конца, хоть она и невелика, но прочтите по крайней мере заглавие: «Неумирающее прошлое». Неужели оно ничего не пробуждает в вашей душе?

Мистер Парэм представил себе, как он стоит в величественной позе, а смущенный сэр Басси пытается проскользнуть мимо.

В конце концов само слово «ржавчина» в том понимании, к какому приучили нас современные химики, подразумевает, что налицо значительное количество металла, еще не тронутого распадом. Искрится пена, не знает удержу легкомыслие, рекой льется шампанское, и завывает джаз, и безрассудно смешиваются самые раз-

ные, несоединимые слои общества, а под всем этим в глубине сокрыта извечная, несокрушимая основа бытия — тяжелый труд, упорство и целеустремленность, иерархия, преданность, власть и подчинение. С виду современный прожигатель жизни может показаться просто Фрагонаром[1] с примесью негритянской крови, но какие-то подспудные грозные силы предначертали ему великую судьбу. Правительства и министерства иностранных дел все еще заняты своим извечным делом; казармы полны солдат, и огромные военные суда без зазрения совести рассекают моря, не обращая внимания на бессильные удары волн. Проповедники наставляют свою паству в духе преданности и повиновения; предприниматели снаряжают торговые суда и шлют их через океаны, на фабриках и заводах глухо тлеют распри между хозяевами и рабочими. Похоже, что этой зимой не миновать серьезных экономических затруднений. «Мрачный призрак нужды». Что и говорить, сэр Басси живет в свое удовольствие, как бы в мире грез. Но грезам рано или поздно приходит конец.

Дух Карлейля, дух древних иудейских пророков снизошел на мистера Парэма. Словно члены некоей тайной суровой секты сходились в глухой часовне. Они являлись поодиночке. Над строгим силуэтом этой глухой часовенки царила в вышине багровая планета Марс. Оркестр головной боли играл все неистовей, все воинственней.

— Поистине,— прошептал он, и еще: — Покайтесь... да-а.

Грозные силы бытия собирались незаметно, но неотвратимо, готовые в урочный час затрубить в трубы, готовые вновь поднять этот будничный мир на подвиг, вдохнуть в него суровую решимость, вновь вскинуть знамя, наполнить восторгом людские души, испытать их и закалить в огне страданий и жертв.

Горестные толпы будут взывать о наставнике и руководителе. Что могут дать этим толпам люди, подобные сэру Басси?

---

[1] Фрагонар, Оноре (1732—1806)—французский живописец и график, в некоторых его картинах воплотился культ наслаждения.

— А все же в этом случае я буду с вами,— скажет тогда мистер Парэм.— Я буду с вами.

На время мозг его словно бы заполнили марширующие войска — армия за армией, корпус за корпусом, полк за полком, рота за ротой. Они шагали под музыку негритянского джаз-банда и, шагая, удалялись. Они исчезали в бесконечной дали, и с ними исчезала музыка.

Лицо мистера Парэма во мраке стало твердым, суровым и спокойным. Непоколебимая решимость захлестнула тревожную пену его размышлений и усмирила их. В последний раз слегка напомнило о себе шампанское.

Вскоре губы его обмякли. Рот приоткрылся.

Низкий, мерный, все усиливающийся храп известил мышонка за плинтусом, что мистер Парэм уснул.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ

Так зародилась дружба мистера Парэма с сэром Басси Вудкоком. Ей суждено было длиться без малого шесть лет. Эти двое испытывали друг к другу отвращение, почти равное их взаимной симпатии,— быть может, поэтому союз их был так прочен. По мысли мистера Парэма, их отношения в общих чертах сводились к борьбе за то, чтобы подчинить невероятно ловкого и удачливого авантюриста Басси, заставить его занять подобающее ему место в мире, вовлечь в политическую деятельность, наставлять и поучать в затруднительных случаях и наконец сделать его вместе с Парэмом крупнейшим светилом в истории Британской империи и всего земного шара. А в частности, эти отношения должны были принести финансовую поддержку мистеру Парэму, а также литераторам и преподавателям университета, которых он объединит вокруг себя, чтобы править миром, ибо мир спокон веков нуждался в правителях. Когда настанет время писать историю следующего полустолетия, люди будут говорить: «Тут чувствуется рука Парэма» или «То был один из питомцев Парэма». Но нелегкая задача — внушить этому финансовому носорогу

(как в глубине души именовал порой мистер Парэм своего друга), что он призван играть более значительную роль, а не только почти автоматически покупать все, что подвернется под руку, и продавать потом с барышом.

Порой этот Басси казался просто повесой, безрассудным мотом, который по чистой случайности загребает больше денег, чем тратит. «Поди ты!—говаривал он.— Желаю позабавиться»,— и надо было либо расстаться с ним, либо тащиться за ним невесть куда.

Подчас мистер Парэм возмущался и негодовал, а подчас ему казалось, что сбудутся его самые радужные надежды. Сэр Басси неожиданно начинал с такой проницательностью, с таким знанием дела рассуждать о политических партиях, что его друг только диву давался. «Занятно было бы их всех обставить»,— говаривал сэр Басси. И раза два с любопытством и чуть ли не с завистью заводил речь о Ротермире, Бивербруке, Барниме, Риделе [1]. Оба раза это случалось поздно вечером, вокруг было много народу, в том числе и подозрительного, и мистер Парэм не решался высказать сэру Басси свою заветную мечту.

А затем точно вихрь налетал, унося все, как осенние листья,— вместительная наемная яхта уходила в Балтийское море, в штат Мэн, к Ньюфаундленду, в реку Св. Лаврентия, и на борту оказывалось совершенно невообразимое сборище. Или вдруг, к своему удивлению, мистер Парэм любовался водами Средиземного моря из окна отеля в Ницце, где сэр Басси на рождество снял целый этаж. Раза два сэр Басси сваливался к своему ментору как снег на голову с такой решимостью во взоре, что мистер Парэм был уверен: час настал. А однажды сэру Басси просто вздумалось отправиться с мистером Парэмом (только вдвоем) в Монте-Карло на «Свадебку» Стравинского, а в другой раз — в Лондоне — он столь же смиренно пригласил Парэма послушать квартет Ленера.

— Приятно,— сказал сэр Басси после концерта.— Приятно было послушать. Очищает и утешает. Даже больше. Это...—Бедный неотшлифованный ум, не имею-

[1] Английские «газетные короли», владельцы наиболее распространенных и влиятельных газет.

щий в запасе классических примеров, не сразу подыскал подходящий образ.— Это все равно как сунуть голову в кроличью нору и услышать голоса из страны чудес. А такой страны и нет вовсе. Но ведь больше-то в этой музыке ничего нет!

— Ох!— вскричал мистер Парэм, точно призывая в свидетели самого господа бога.— Да ведь она позволяет нам заглянуть в царство небесное.

— Поди ты!

— Мы приходим на концерт... мы точно грубая парусина. А музыка обращает нас в шелк.

— Вот как! — возразил сэр Басси.— Это только кажется, будто она нам что-то такое говорит, а верно ли это — еще вопрос. Уж эта музыка! Вдруг ни с того ни с сего она веселится и радуется — как иной раз веселишься и радуешься во сне; или вдруг загрустит и разнежится — тоже без причины. В сказочной стране хоронят жука. Это пробуждает воспоминания. Мысли настраиваются в лад. Но все это зря. Ничего ощутимого музыка не дает. Она не освобождает. В общем, это вроде курения, только потоньше.

Мистер Парэм пожал плечами. Бесполезно давать этому дикарю книги-наставления «Как слушать музыку». Вот, пожалуйста, он слушал, а что толку?

Но одно изречение сэра Басси застряло в мозгу мистера Парэма: музыка, сказал он, *не освобождает.*

Неужто он хотел бы освободиться от нашего милого и прекрасного мира, незыблемо покоящегося на столпах истории, освободиться от почестей, прочно установленной иерархии, великих традиций? Неужели он это хотел сказать?

И мистеру Парэму припомнился другой случай, когда сэр Басси невольно высказал примерно ту же мысль. Они побывали на Ньюфаундленде и вновь пересекали Атлантический океан, намереваясь посетить Азорские острова. Была великолепная ночь — тихая, теплая. Мистер Парэм весь вечер пребойко увивался за очаровательной молодой женщиной, какие всегда во множестве украшали званые обеды и ужины сэра Басси,— а теперь, на сон грядущий, вышел на палубу: ему хотелось немного пройтись, остудить жар в крови и припомнить строки Горация, которые почему-то ускользали

от него и странным образом путались в голове. В какую-то минуту он стал чересчур дерзок — и юная красавица, притворясь испуганной, ушла к себе. Но, в сущности, его забавы были вполне невинны.

У поручней мистер Парэм увидел своего гостеприимного хозяина — крохотную черную фигурку на фоне бескрайнего темно-синего неба.

— Любуетесь фосфоресценцией? — ободряющим тоном спросил мистер Парэм.

Сэр Басси словно и не слыхал. Руки его были засунуты в карманы.

— Поди ты! — сказал он.— Как поглядишь на такую прорву воды, да еще луна эта,— прямо жуть берет!

Иногда он изумлял мистера Парэма до немоты. Можно подумать, что луна только сейчас впервые появилась на свет, что у нее нет прочно установившейся репутации, что она не известна, как Диана, Астарта, Исида, и нет у нее еще тысячи прелестных и звучных имен.

— Любопытно,— продолжал этот странный человечек.— Будто нас на край света занесло. Верно. Мы на горбу мира, Парэм. В ту сторону спустишься — будет Америка, а в эту сторону — старуха Европа и вся ваша затхлая древность — история, искусство...

— Но ведь из «затхлой старухи Европы», как вы выражаетесь, приплыла сюда наша яхта.

— Не бойтесь, она вырвалась на свободу.

— Она не может здесь оставаться. Она должна будет вернуться.

— На этот раз,— помолчав, ответил сэр Басси.

Минуту-другую он словно бы с возрастающим отвращением глядел на луну, махнул рукой, будто давая ей знак отправиться восвояси, потом, явно забыв о мистере Парэме, медленно, задумчиво спустился в каюту.

А мистер Парэм остался на палубе.

Чего не хватает этому нелепому маленькому чудовищу в нашем превосходном мире? И стоит ли ломать голову из-за человека, который не умеет быть благодарным прелестному светилу, льющему на землю свои нежные, ласковые лучи? Оно одевает мир в прозрачные серебряные одежды, достойные гаремов Индии. Оно ла-

скает воды океана, и они сверкают и блещут в ответ. Оно пробуждает в душе бесконечную нежность. Оно зовет к изысканным и чувственным приключениям.

Мистер Парэм лихо сдвинул на затылок морскую фуражку, сунул руки в карманы безупречных белых брюк и стал расхаживать взад и вперед по палубе, смутно надеясь услышать шелест шелкового платья или легкий смешок — признание, что недавнее бегство было лишь притворством. Но его красавица и впрямь отправилась спать, и лишь когда мистер Парэм последовал ее примеру, мысли его вернулись к сэру Басси и океану — «прорва воды, да еще луна эта,— прямо жуть берет!»...

Однако уместно напомнить самим себе и читателю, что наша задача — поведать об одном спиритическом сеансе и его грандиозных последствиях, и наш интерес к двум столь несхожим личностям не должен обратить повествование в простую хронику путешествий и прогулок сэра Басси и мистера Парэма. Однажды они побывали на многолюдном празднестве в Хенли, дважды вместе ездили в Оксфорд, чтобы приобщиться к его духу. А как собратья мистера Парэма, оксфордские ученые мужи наперебой старались завязать дружбу с сэром Басси, и с каким презрением смотрел на них мистер Парэм! Но то обстоятельство, что именно он привез сюда сэра Басси, совершенно изменило его положение в Оксфорде. Одно время сэр Басси начал было поигрывать на скачках. Он собирал большое и весьма разношерстное общество в Хэнгере, в Бантинкомбе и Карфексхаусе, и мистер Парэм все снова и снова поражался: откуда у этого человека столько самых разных и самых странных знакомств, и чего ради он тратит столько времени и сил, принимая и развлекая всю эту публику, и так терпеливо сносит подчас самые неожиданные их выходки? Чего только они не выдумывали — а он давал им полную волю. Казалось, он больше всего хочет понять: что за удовольствие находят эти люди в своих нелепых выходках? Несколько раз мистер Парэм говорил с ним об этом.

— Нет такой лошади,— сказал сэр Басси,— которая бежала бы по дорожке прямо, как по нитке.

— Но, безусловно...

— Конечно, все здесь люди почтенные. Они соблюдают правила, потому что иначе пропадет все удовольствие. Просто-напросто все развалится, а этого никто не хочет. Но неужели, по-вашему, каждый раз, как они гонят лошадку, они надеются выиграть? Никто о таком и не мечтает.

— Вы хотите сказать, что каждую лошадь придерживают?

— Нет, нет. Конечно, нет. Но ей не дают с самого начала скакать во весь дух, как вздумается. Это — совсем другое дело.

На лице мистера Парэма выразилось глубочайшее понимание. Жалка натура человеческая!

— Но почему вас это тревожит?

— Мой отец был кучером, он говаривал, что всегда ездит на скаковых лошадях, которые сошли с круга, и всегда ставит на фаворита. Это помешало моему образованию. Мне тоже всегда хотелось выиграть. А от матери я унаследовал замечательную способность поддаваться человеческим слабостям.

— Но ведь это дорого обходится?

— Ничего подобного,— со вздохом ответил сэр Басси.— Как-то так получается, что я всегда сразу вижу, куда ветер дует. Еще они сами не поймут, что к чему, а мне уже все ясно. На скачках я выигрываю. *Всегда* выигрываю.

Лицо у него стало такое, словно он бросал обвинение всему миру, и мистер Парэм сочувственно хмыкнул.

Отправляясь с сэром Басси в Ньюмаркет или на скачки, мистер Парэм одевался с величайшей тщательностью. В Аскот он ездил в шелковой серой визитке, в белых гетрах и в сером цилиндре с черной лентой — настоящим франтом; а отправляясь в Хенли, надевал безукоризненные фланелевые брюки и куртку — не новую, а слегка выцветшую, поношенную и самую малость запачканную смолой. На яхте он был истым яхтсменом, а в Каннах неизменно имел такой вид, будто лишь сию минуту отложил теннисную ракетку,— как и полагается выглядеть в Каннах. Он принадлежал к числу тех немногих, кто способен с достоинством носить брюки гольф. Он заботливо выбирал свитеры, ибо да-

же хамелеону надлежит следить за своей окраской. Появляясь в обществе, он никогда не вносил диссонанса: напротив, нередко он сближал гостей, и вся компания обретала некий единый облик и дух.

Выдержать роль морского волка было труднее всего, так как мистер Парэм был крайне подвержен морской болезни. Этим он отличался от сэра Басси, который тем больше наслаждался, чем беспокойнее было море и меньше судно.

— Тут уж ничего не поделаешь,— говорил сэр Басси,— такая у меня натура. Что проглотил, то мое.

Впрочем, мистер Парэм отдавал дань волнам хоть и быстро, но весело. Оправясь от приступа, он говорил:

— Нельсон всякий раз, выходя в море, дня два, а то и три страдал морской болезнью. Это меня утешает. Поистине дух силен, да плоть немощна.

Сэр Басси это, по-видимому, оценил.

Применяясь, таким образом, к обстановке, решительно отказываясь в чем-либо походить на неуклюжих и неопрятных университетских монстров, которые всегда нелепо выглядят в светском обществе, мистер Парэм сумел избежать в своих отношениях с сэром Басси сходства с прихлебателем и не утратил ни капли самоуважения. Он был здесь «вполне свой», а отнюдь не навязчивый чужак. Прежде он никогда не имел возможности хорошо одеваться, хоть был бы и не прочь пофрантить, и теперь заботы о гардеробе нанесли чувствительный урон его довольно тощему кошельку, но он твердо знал, к чему стремится. Кто хочет издавать еженедельник, назначение которого — потрясти мир, тот, безусловно, должен выглядеть светским человеком. А в его отношениях с сэром Басси настала полоса, когда ему приходилось играть роль светского человека в полную меру сил и умения.

Надо сказать правду, хотя по некоторым причинам приятней было бы о ней умолчать. Но необходимо пролить свет на кое-какие особенности этого странного союза: тут были и враждебность и борьба, два человека неотступно следили друг за другом, и каждый втайне, ничем этого не выдавая, судил другого без малейшей снисходительности.

Быть может, если читатель молод...

Но и юный читатель, возможно, желает знать правду.

Скажем прямо: следующая глава нашей книги, хотя и дающая полезные сведения, не так уж обязательна для понимания всего дальнейшего. Не то чтобы речь шла о вещах грубых, непристойных, но, признаемся откровенно, следующие страницы коснутся некоторых сторон нравственности мистера Парэма... назовем это, пожалуй, «духом восемнадцатого века». Если это и не очень существенно для нашего повествования, то, во всяком случае, прибавляет черточки, без которых портрет мистера Парэма был бы неполон.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

НЕСКРОМНОСТЬ

По счастью, нам незачем вдаваться в подробности. Методы и приемы, пущенные в ход в данном случае, не столь важны. Мы можем опустить занавес в ту самую минуту, как ключ от роскошной квартиры мисс Гэби Грёз щелкнул, поворачиваясь в замке,—и нам незачем поднимать его до тех пор, пока мистер Парэм не выйдет из дверей этой квартиры с самым добропорядочным видом — ни дать ни взять провинциальный казнокрад, шествующий в церковь. С самым добропорядочным видом? Да, если не считать некоего сияния. Восторга. Чувства, которое недоступно обыкновенному вору, опустошающему чужие карманы.

Засим следуют отрывки из разговора,— обстоятельства, при которых он происходил, уточнять нежелательно.

— Ты мне сразу понравился, с первой встречи,— сказала Гэби.

— Она была как бы обещание...

— Как ты быстро понял! Ты все схватываешь на лету! Я видела, как ты наблюдал за людьми и оценивал их...

— Ты такой умный — просто чудо,— продолжала Гэби.— Ты столько всего знаешь. Рядом с тобой я чувствую себя просто... дурочкой!

— Что тебе до кормила правления в Афинах?— воскликнул мистер Парэм.

— Ну, женщине тоже иной раз приятно держать в своих руках кормило правления,— сказала Гэби, по обыкновению не уловив всей глубины сказанного, и на несколько минут помрачнела.

Потом она сказала, что мистер Парэм прекрасно сложен. В ответ он так просиял, что вся комната посветлела. Притом он такой сильный! Наверное, он много занимается спортом? Играет в теннис? Она и сама играла бы в теннис, да боится, как бы слишком развитые мускулы не повредили ее внешности. Заниматься спортом, сказала она, куда лучше, чем просто делать гимнастику, но только опасно развить не те мускулы. А гимнастику делать, конечно, приходится. Всякие упражнения, чтобы сохранить фигуру, и гибкость, и хорошую осанку. Мистер Парэм никогда не видел такой гимнастики? Ну, вот...

Прелестная была гимнастика.

Потом Гэби потрепала его по щеке и сказала:

— Ты ужасно милый!

Она повторила это несколько раз. И прибавила:

— Ты, я бы сказала, простая душа.— И, заметив недоумение на его лице, пояснила:— Ты тонкий человек, но не сложный.

Взгляд у нее стал задумчивый и рассеянный. Она вытянула руку, полюбовалась шелковистым блеском кожи, потом сказала еще:

— И когда стараешься быть с тобой поласковей, ты уж, во всяком случае, не скажешь: «Поди ты!»

Она крепко сжала губы и мотнула головой.

— Поди ты! — повторила она.— Как будто он поймал тебя на чем-то таком, чего у тебя и в мыслях не было. И тогда чувствуешь себя... просто какой-то букашкой.

Она залилась слезами и вдруг снова бросилась в объятия мистера Парэма.

Бедняжка, ах бедняжка — такая чувствительная, пылкая, великодушная и такая непонятная!..

Когда мистер Парэм после этого приключения опять увиделся с ничего не подозревающим сэром Басси, он был преисполнен гордости и восторга. И чуточку напо-

минала о себе совесть, но это было даже приятно. Пришлось сдерживаться больше обычного, чтобы не быть снисходительным. Но потом он заметил, что сэр Басси поглядывает на него с любопытством, и к его торжеству примешалась какая-то смутная тревога.

Когда мистер Парэм снова встретился с Гэби Грёз,— а стоит отметить, что увидеть ее стало очень трудно, разве что мельком,— торжествующая радость его разгорелась пламенем такой страсти, что ему понадобилось все его самообладание. Однако порядочный человек всегда уважает врожденную женскую скромность и стремление сохранить тайну. Даже розы на ее груди не должны ничего заподозрить. Она была неуловима — и хотела оставаться неуловимой. С тонкой проницательностью мистер Парэм постепенно пришел к заключению, что ему и его соучастнице лучше вести себя так, словно этого сладостного взрыва страсти вовсе и не бывало.

И, однако, так уж оно вышло: он взял верх над сэром Басси.

КНИГА ВТОРАЯ

КАК В МИР ВОШЕЛ ВЛАДЫКА ДУХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НАТЯНУТОСТЬ И СПОРЫ НА ОБЕДЕ У СЭРА БАССИ

Сэр Басси и мистер Парэм не могли встречаться слишком часто — этому мешали долг мистера Парэма перед *университетом и перед молодым поколением*, а с другой стороны, и сэр Басси не всегда испытывал потребность в его обществе. Время шло, они стали лучше понимать друг друга — и пришлось признать, что очень на многое они смотрят по-разному. Постепенно сэр Басси перестал ограничиваться междометиями в ответ на речи мистера Парэма о положении вещей в нашем мире и о жизни человеческой и начал делать весьма скептические замечания. А мистер Парэм, остро сознавая необходимость взять верх над сэром Басси и подчинить эту первобытно невежественную натуру целям разума, порою начинал доказывать свою точку зрения, быть может, немножко слишком безапелляционно и тоном чуточку излишне повелительным. И тогда сэр Басси на время как будто утрачивал симпатию к нему и, буркнув «Поди ты!», исчезал.

В этих случаях недели три, а то и месяц мистер Парэм вел жизнь самую скромную, не предавался неслыханным светским удовольствиям, а потом вдруг ни с того ни с сего сэру Басси вновь приходила охота получше узнать мнение мистера Парэма — и прогулки и путешествия возобновлялись.

Мистер Парэм возлагал на эту дружбу огромные надежды, но никогда не было в ней полного согласия.

Он считал, что сэр Басси заводит знакомства неудачные, а порою достойные величайшего сожаления. У сэра Басси мистеру Парэму приходилось встречаться с людьми, которые возмущали и раздражали его безмерно. Он вступал с ними в споры и подчас бывал весьма язвителен. Тут можно было высказать сэру Басси много такого, что, пожалуй, нежелательно было бы говорить ему прямо.

Временами казалось, что сэр Басси нарочно приглашает людей, неприятных мистеру Парэму,— невоспитанных спорщиков, которые малограмотным языком отстаивали нелепейшие взгляды. Поистине, сэр Басси приглашал кого попало, без разбору. Гостями его бывали какие-то несуразные американцы, высказывавшие не то чтобы идеи, а просто мыслишки о валюте и продаже в рассрочку,— темы поистине хуже всякой непристойности; американцы дурного сорта, придирчивые и напористые; или какие-то скандинавские философы, или люди, только что глубоко разочаровавшиеся в России или глубоко ею восхищенные, и даже настоящие большевики — мистер Бернард Шоу — и хуже того, писатели-самоучки, неприятнейшая порода — сумасбродные болтуны вроде Дж. Б. С. Холдейна [1], несущие самый невероятный вздор. Однажды здесь был один китаец, который, выслушав подробно и ясно изложенную мистером Парэмом британскую концепцию самоуправления и его взгляд на роль интеллигенции в обществе и государстве, сказал: «Я вижу, Англия, во всяком случае, еще тешится звуками мандолин»,— одному господу богу ведомо, что он хотел этим сказать. Блеснув золотыми очками, он слегка кивнул мистеру Парэму,— стало быть, самому-то ему казалось, что в словах этих есть какой-то смысл. Сэр Басси очень ловко и незаметно сеял в подобном разношерстном сборище семена раздора и потом сидел, распустив губы, явно получая высокое умственное наслаждение, и слушал, как мистер Парэм порою хладнокровно, порою с жаром разбивал в пух и прах высказанные противниками вольные и невольные заблуждения, грубые ошибки и нелепости. «Поди ты!» — шептал он про себя.

---

[1] Холдейн, Джон Бердон Сандерсон (р. 1892) — английский ученый-биолог.

Ни поддержки, ни верности последователя, ни послушного внимания ученика — одно это ничего не выражающее «поди ты!». Даже после самых блестящих речей. Не мудрено было пасть духом. И ни намека на то, что этому бьющему ключом роднику здравых убеждений и могучей мысли дано будет выразиться в форме периодического издания, как он по праву того заслуживает.

В конечном счете эти диспуты неблагоприятно сказывались на мистере Парэме. Ему всегда удавалось выходить из стычек победителем, ведь он набил руку на шести поколениях студентов; он доподлинно знал, в какую минуту на помощь логическим доводам призвать власть и отослать непокорного противника к учебникам,— это было ударом по самолюбию и действовало наверняка; но в глубине, в самой основе своей, мыслящее «я» мистера Парэма было чрезвычайно утонченно и нежно,— и от непрерывных столкновений с недоверчивыми слушателями, которые засыпали его все новыми вопросами, а то и прямо с ним спорили, на этой легко уязвимой ткани оставались болезненные рубцы и шрамы. Не то чтобы от этого хоть в малой мере пошатнулись его убеждения — попрежнему для него превыше всего были империя и ее предназначение — главенствовать в делах мира, исторический долг и судьба англичан, роль порядка и закона в мире, верность институтам и установлениям,— но бесконечные споры и возражения рождали в нем тревогу, он чувствовал, что этим выношенным, незыблемым истинам грозит нарастающее, всеобщее противодействие. Поведение американцев, особенно после войны, казалось, самым таинственным и неожиданным образом перестало соответствовать нашим привычным понятиям о мире. За столом сэра Басси они молчаливо, но с отвратительной недвусмысленностью давали понять, что эти его истины ныне смешны и старомодны.

Отступники! Во имя всего святого, есть ли у них что-нибудь вернее и лучше? Во имя королевы Елизаветы, Шекспира и Уолтера Рейли[1], во имя «Мэйфлауэра»[2],

---

[1] Рейли, Уолтер (1552—1618) — известный английский мореплаватель, государственный деятель и писатель.

[2] Корабль, на котором в 1620 году отплыли из Англии в Америку первые колонисты.

Теннисона, адмирала Нельсона и королевы Виктории — есть ли у них что-нибудь лучшее? А сейчас среди них, видимо, как зараза, распространяется заблуждение, будто они сами по себе, у них свой особый путь, своя новая, особая цель.

Итак, американцы — а их сто двадцать миллионов, и они владеют большей частью мировых запасов золота — совсем отбились от рук. Нет, той испытанной, хорошо разработанной системе, которую утверждал мистер Парэм, они не могли противопоставить никаких стоящих идей. Будь у них какая-то определенная программа, он бы уж знал, как с ней справиться. Некий сумасброд из числа гостей сэра Басси вымолвил однажды:

— Всемирное государство.

Мистер Парэм улыбнулся и легонько махнул рукой.

— Дорогой мой,— промолвил мистер Парэм с бархатными переливами в голосе. И этого было достаточно.

— Лига наций,— произнес другой сумасброд.

— Разваливающийся памятник бедняге Вильсону,— сказал мистер Парэм.

И все время, хоть мистер Парэм держался так мужественно, душу его грызли сомнения. Уже не было прочной уверенности, что его идеи, как они ни справедливы, получат надлежащее понимание и поддержку на родине и за границей в час нового испытания. Они уже подверглись испытанию в 1914 году — быть может, сила их иссякла? Незаметно мистером Парэмом овладела та тревожная неуверенность, которую мы пытались описать в начале нашего рассказа. Сохранила ли история былую хватку? Возможно ли продолжать в том же духе? Мир переживает полосу нравственного и умственного распада; ослабли связи, очертания стали зыбки и неясны. Допустим, к примеру, в Европе разразится политический кризис, и в Вестминстере появится сильный человек, который выхватит меч Британии из ножен. Не порвутся ли узы, связующие империю воедино? Что, если доминионы телеграфируют: «Это не наша война. Объясните, в чем дело?» Они уже повели себя подобным образом, когда турки вернулись в Константинополь. В следующий раз они могут и совсем отступиться. Допустим, Свободное Ирландское государство у нас в тылу сочтет наш отважный поступок удобным случаем для недруже-

любной выходки. Допустим, из Америки донесутся не братские приветствия и голоса завистливого сочувствия, как в 1914 году, а нечто вроде лязга ножей, оттачиваемых живодерами на бойне. Допустим, в нашей стране, где все еще не введена воинская повинность, выпущено будет королевское воззвание о наборе добровольцев,— и в ответ не последует прекрасная манифестация патриотических чувств, как в 1914 году (а как блистательно это было!),— на сей раз люди предпочтут задавать вопросы. Допустим, они спросят: «А нельзя ли это прекратить?» — или: «Стоит ли овчинка выделки?»

Левое крыло лейбористской партии всегда развивало коварную деятельность, подрывая силы нации, расшатывая доверие, разрушая в людях гордость мундиром защитника родины, готовность послужить ей, исполнить свой долг и умереть. Удивительно, как мы все это терпели! Допустим также, что дельцы будут вести себя еще хуже, чем в 1914 году.

Ибо мистер Парэм знал: тогда они вели себя дурно; они заключили сделку. Они вовсе не были такими патриотами, какими казались.

Один разговор после обеда в Карфекс-хаусе укрепил эти смутные поначалу опасения. В то время сэр Басси уже увлекся психическими опытами, которые позже совершенно преобразили его отношения с мистером Парэмом. Но этот обед был всего лишь интерлюдией. Разговор вертелся вокруг будущей войны, возвращаясь к этой теме снова и снова. Обед был без дам, самым разговорчивым среди гостей оказался некий деятель из Женевы — сэр Уолтер Эттербери, видная фигура в секретариате Лиги наций, человек с виду скромный, но на деле весьма упрямый и самоуверенный. Кроме того, тут присутствовал некий американский банкир мистер Хэмп — пожилой, серолицый, в очках, с важным видом изрекавший самые странные вещи; был тут и Остин Кемелфорд, представитель химической промышленности, который участвовал вместе с сэром Басси во множестве разнообразнейших деловых предприятий и вместе с ним связан был с крупными операциями акционерного общества «Роумер, Стейнхарт, Крест и К°». Именно при виде этого человека мистеру Парэму вспомнилось циничное поведение промышленников в 1914 году. Кемелфорд был

высок, тощ и в совершенстве владел современной манерой изрекать самый несусветный вздор таким тоном, словно это — несомненные и общепризнанные факты. Был тут также молодой американец, питомец одного из новомодных западных университетов, где наравне с всемирной историей обучают торговле. По молодости лет он говорил немного, но слова его звучали внушительно.

Поначалу говорил почти один Эттербери, а остальные слушали его с явным одобрением. Затем вмешался мистер Парэм, нельзя же было не разъяснить, что оратор кое в чем заблуждается,— а он, несомненно, заблуждался. Разговор сделался более или менее общим, и из некоторых высказываний Кемелфорда и Хэмпа мистер Парэм со всей очевидностью понял, что промышленность и финансы становятся все более чужды основным принципам истории. А потом сэр Басси несколькими отрывочными и крайне враждебными замечаниями в адрес мистера Парэма окончательно загубил для него этот и без того неудачный вечер.

Сэр Уолтер, все еще витавший в женевских облаках идеализма, ничуть не сомневался, что все присутствующие жаждут навсегда изгнать войну из жизни человечества. Он, как видно, просто не представлял себе, что в столь просвещенном обществе кто-либо может придерживаться иных взглядов. И, однако, странное дело, он понимал, что с каждым годом вероятность новых войн все больше возрастает. Он был полон тревоги и недоумения, да это и естественно: с отчаянием он обнаружил, что дорогая его сердцу Лига наций бессильна разогнать собирающиеся грозовые тучи. Он жаловался на английское правительство и на правительство французское, на школы и колледжи, на литературу, на вооружение и военных экспертов, на всеобщее, всемирное равнодушие к нарастающему напряжению, которое может повлечь за собой войну. Особенно его тревожило англо-американское столкновение по вопросу о свободе морей. «Это очень скверно, такого давно не бывало». Он был точен и опирался на факты, как свойственно людям этого склада. Еще четыре-пять лет назад от женевских деятелей никто не услышал бы подобных признаний в собственной несостоятельности, подобных горестных опасений.

Мистер Парэм внимательно слушал. Он всегда предпочитал получать сведения из надежных источников и совсем не хотел помешать откровенности сэра Уолтера — напротив, пусть выговорится всласть. Если бы еженедельник уже выходил, можно было бы попросить сэра Уолтера написать для него статейку-другую. За обычный гонорар. А потом в коротенькой заметке от редакции высмеять эту пацифистскую чушь.

На этом обеде мистер Парэм прибег к сходной тактике. Некоторое время он вел себя как ученик, вопросы задавал чуть ли не почтительно, но потом переменил тон. Скромная пытливость уступила место насмешливому здравому смыслу. Теперь он не скрывал, что признания сэра Уолтера в бессилии Лиги наций доставляют ему, Парэму, истинное наслаждение. Он повторил две-три фразы сэра Уолтера и снисходительно засмеялся, склонив голову набок.

— А чего же вы ждали? — сказал он.— Чего вы, собственно, ждали?

И в конце-то концов, вопросил мистер Парэм, разве это так уж плохо? Очевидно, сумасбродные надежды на какой-то всеобщий вечный мир, на какую-то вселенскую Утопию, распространившиеся подобно эпидемии в 1918 году, были, как мы теперь понимаем, просто следствием усталости, за ними не стояла сильная воля. Французы, итальянцы — народы наиболее трезвые и практические — никогда этим мечтам не предавались. Мир в наше время, как и во все времена, покоится на вооруженном равновесии сил.

Сэр Уолтер пытался заспорить. А канадская граница?

— Не это главное,— сказал мистер Парэм с уверенностью, не допускавшей ни возражений, ни расспросов о том, а что же, в сущности, означают его слова.

— Ваше вооруженное равновесие медленно, но верно пожирает до последней капли богатства, которые приносит нам развитие промышленности,— сказал сэр Уолтер.— Военная мощь Франции в настоящее время огромна. В бюджете любой европейской страны расходы на вооружение растут год от году, и деятели вроде Муссолини, даже подписывая пакт Келлога, в грош его не ставят. Американцы и те вполне недвусмысленно ого-

вариваются, что этот пакт, в сущности, не имеет значения. Они не станут за него драться. Не допустят, чтобы он подорвал доктрину Монро. Они подписывают этот пакт, но оговаривают для себя свободу действий и даже не думают прекращать гонку вооружений. Мир все больше приближается к позициям тринадцатого года.

— И что хуже всего,— продолжал сэр Уолтер,— труднее и труднее становится как-то этому противодействовать. Меня берет отчаяние при мысли, как упорно и непрерывно мы катимся к войне. Ведь огромные военные приготовления не только мешают накоплению национальных богатств, не дают хоть немного поднять жизненный уровень,— они замедляют и умственный и нравственный прогресс. Патриотизм убивает свободу мысли. Франция перестала мыслить с девятнадцатого года, Италия связана по рукам и ногам, и во рту у нее кляп. Задолго до того, как начнется новая война, свободу слова во всех странах Европы задушит патриотическая цензура. Что нам с этим делать? И что тут можно сделать?

— Полагаю, что делать тут нечего,— сказал мистер Парэм.— И я ничуть об этом не сокрушаюсь. Вы разрешите мне говорить вполне откровенно, по-мужски, как может говорить человек, который трезво смотрит на окружающий мир, на мир живых людей,— таких, каковы они есть? Скажу вам прямо, нам вовсе не нужен этот ваш пацифизм. Это пустые мечты. Сам ход мироздания против этого. Человек с оружием в руках остается хозяином в своем доме, пока не придет другой, сильнейший. Таков ход истории, милостивый государь. Так повелось испокон веков. Что такое ваша свобода слова? Просто возможность нести всякий вредный вздор и сеять смуту! Что до меня, я ни секунды не колебался бы в выборе между безответственной болтовней и интересами нации. Неужели вы можете всерьез сожалеть о возрождении порядка и дисциплины в странах, которые были на пути к полнейшей анархии?

И он припомнил один из тех поразительных фактов, которые способны самым закоренелым упрямцам открыть глаза на истинное положение вещей:

— В девятнадцатом году, когда моя племянница решила провести медовый месяц в Италии, у нее в поез-

де украли два саквояжа, а на обратном пути чемодан ее мужа, сданный в багаж, потерялся, и его так и не разыскали. Вот как там обстояло дело, пока Италию не взял в руки сильный человек.

— Нет,— продолжал мистер Парэм звучным и властным голосом, рассчитанным на то, чтобы удержать внимание слушателей теперь, когда он возвращается к основной и главной теме.— Факты я вижу так же хорошо, как и вы. Но отношусь к ним иначе. Мы вступаем в период вооружений еще более мощных, чем было перед мировой войной. Это бесспорно. Но определяются и основные направления грядущей битвы, определяются вполне логично и разумно. Они вытекают из природы вещей. Иных путей нет.

В лице и тоне мистера Парэма появилось что-то почти доверительное. Он понизил голос и обеими руками чертил по скатерти линии границ. Сэр Уолтер смотрел на него во все глаза и страдальчески морщил лоб.

— Вот здесь,— сказал мистер Парэм,— в самом сердце Старого Света безмерно огромная, сильная, потенциально более могущественная, чем почти все страны мира, вместе взятые,— он на мгновение умолк, точно опасаясь, что его подслушают, и докончил: — лежит *Россия*. И не важно, кто правит в ней — царь или большевики. Россия — вот главная опасность, самый грозный враг. Она должна расти. У нее огромные пространства. Неисчерпаемые ресурсы. Она угрожает нам, как всегда, через Турцию, как всегда, через Афганистан, а теперь еще и через Китай. Это делается непроизвольно, иного пути у нее нет. Я ее не осуждаю. Но нам необходимо себя обезопасить. Как поступит Германия? Примкнет к Востоку? Примкнет к Западу? Кто может предсказать? Нация школяров, народ, привыкший подчиняться, спорные земли. Мы привлечем ее на свою сторону, если удастся, но положиться на нее я не могу. Совершенно ясно, что для всех прочих остается только одна политика. *Мы должны опередить Россию;* мы должны взять в кольцо опасность, зреющую на этих бескрайних равнинах, прежде чем она обрушится на нас. Как мы взяли в кольцо менее грозную опасность — Гогенцоллернов. Не упустить время. Здесь, на западе, мы обойдем ее с флангов при помощи нашей союзницы Франции и

ее питомицы Польши; на востоке— при помощи союзной нам Японии. Мы доберемся до нее через Индию. Мы нацеливаем на нее клинок Афганистана. Из-за нее мы удерживаем Гибралтар; из-за нее не спускаем глаз с Константинополя. Америка втянута в эту борьбу вместе с нами, она неизбежно, волей-неволей — наш союзник, ибо не может допустить, чтобы Россия через Китай нанесла ей удар на Тихом океане. Вот какова обстановка в мире, если смотреть широко и бесстрашно. Она чревата огромной опасностью? Да, это так. Трагична? Да, пожалуй. Но чревата также беспредельными возможностями для тех, кто исполнен преданности и отваги.

Мистер Парэм умолк. Когда стало ясно, что он умолк окончательно, сэр Басси пробормотал свое обычное: «Поди ты!» Сэр Уолтер раздавил щипцами орех и взял стакан портвейна.

— Вот до чего мы дошли,— сказал он со вздохом.— Если мистер?..

— Парэм, сэр.

— Если мистер Парэм повторит эту речь в любой столице от Парижа до Токио, к ней везде отнесутся весьма серьезно. Весьма серьезно. Вот до чего мы дошли через десять лет после перемирия.

Кемелфорд, который до сих пор слушал молча, теперь тоже решил высказаться.

— Вы совершенно правы,— сказал он.— Все эти наши правительства — как машины. С самого начала они были созданы для соперничества, для борьбы — и, как видно, не способны действовать ни в каком ином направлении. Они уготованы для войны и готовят войну. Это как охотничий инстинкт у балованной кошки. Сколько ее ни корми, она все равно ловит птиц. Уж так она устроена. И правительства так устроены. Пока вы их не уничтожите или не выведете из игры, они непременно будут воевать. Позвольте задать вам вопрос, сэр Уолтер: когда вы уезжали в Женеву, вы, вероятно, думали, что они будут держаться приличнее, чем оказалось? Много приличнее?

— Да,— согласился сэр Уолтер.— Признаться, я пережил немало разочарований, особенно за последние три-четыре года.

— Мы живем в нелепом мире, полном противоречий,— продолжал Кемелфорд.— Он как яйцо с небьющейся скорлупой или как свихнувшаяся гусеница, которая наполовину превратилась в крылатую бабочку, а наполовину осталась ползучим насекомым. Мы не можем избавиться от своих правительств. Мы растем только местами и не в ту сторону. Некоторые формы деятельности становятся международными, космополитическими. Например, банки,— он обернулся к Хэмпу.

— Финансы после войны сделали огромные шаги в этом направлении, сэр,— отозвался Хэмп.— Огромные шаги, скажу, не преувеличивая. Да. Мы научились работать совместно. А до войны это нам и в голову не приходило. Однако не думайте, что мы, банкиры, воображаем, будто в наших силах остановить войну. Мы не так наивны. Не ждите этого от нас. Не слишком надейтесь на нас. Мы не в силах бороться с требованиями общества, и мы не можем бороться со злонамеренными политиками, которые подстрекают людей. А главное, мы не в силах бороться с печатью, с газетами. Пока ваши суверенные правительства могут превращать бумагу в деньги, им ничего не стоит сбросить нас со счетов. Не думайте, что мы — некая таинственная, незримая сила, тот денежный мешок, о котором болтают ваши салонные большевики. Мы, банкиры, таковы, какими сделали нас существующие условия, и ограничены этими условиями.

— Кто оказался в самом фантастическом положении, так это мы,— сказал Кемелфорд.— Мы — то есть мировая химическая промышленность, мои коллеги у нас и за границей. Счастлив заметить, что к их числу принадлежит теперь и сэр Басси.

На лице сэра Басси ничего не отразилось.

— Почему я называю наше положение фантастическим? — продолжал Кемелфорд.— Поясню на одном примере. Мы, различные отрасли нашей промышленности,— единственные, кто может производить ядовитый газ в количестве, потребном для современной войны. Практически в наши дни химические предприятия во всем мире настолько связаны между собой, что я по праву говорю «мы». Ну-с, мы в той или иной мере осуществляем производство доброй сотни различных материалов, необходимых для ведения современной войны, и важ-

нейший среди них — газ. Если суверенные государства, все еще самым нелепым образом разделяющие мир на части, затеют новую войну, они наверняка пожелают пустить в ход ядовитый газ, каких бы там соглашений на этот счет они прежде ни заключили. А мы, вся огромная сеть предприятий, заботимся о том, чтобы у них было вдоволь газа — хорошего, надежного газа по сходной цене, в любом количестве, сколько понадобится и даже с избытком. Мы снабжаем их сейчас, и, вероятно, если начнется война, мы по-прежнему будем их снабжать — и ту и другую сторону. Пожалуй, пока идет война, мы несколько ослабим наши международные связи, но это будет лишь временная, вынужденная мера. Пока что мы не имеем возможности поступать иначе, нежели поступаем. Точно так же, как и вы, банкиры, мы таковы, какими нас сделали обстоятельства. Уж мы-то отнюдь не суверенны. Мы ведь не правительства, облеченные властью объявлять войну или заключать мир. На правительства и военные министерства мы можем влиять лишь косвенным образом и в небольшой мере. Мы — просто торговцы, и не более того. Мы продаем газ точно так же, как другие продают армии мясо или капусту.

Но посмотрите, что получается. Я только на днях подсчитывал. Очень грубо, разумеется. Допустим, в следующей большой войне убито будет примерно пять миллионов человек, из них отравлено газом миллиона три,— это, по-моему, очень скромный расчет, но я убежден, что следующая война будет война химическая, так вот, каждый отравленный газом уплатит нам в среднем (смотря по тому, к какой из стран — участниц войны — он принадлежит) от четырех до тринадцати пенсов за производство, хранение и доставку газа, который придется на его долю. Разумеется, это подсчет лишь приблизительный. Если потери будут больше, каждому человеку, понятно, газ обойдется дешевле. Но каждый из этих будущих газованных (если позволено употребить такое слово) год за годом платит нам сумму, близкую к этой, в виде налогов, а международная химическая промышленность заботится о том, чтобы продукции хватило и на его долю. У нас своего рода газовый клуб. Вроде клуба фантазеров. Разыгрывается лотерея — будущая ми-

ровая война. На ваш билет выпала мучительная смерть, на ваш — продырявленное легкое и нищета, а вы, счастливчик, вытащили пустышку! По ней не получишь ничего хорошего, но и никаких мучений. По-моему, это — чистейшее безумие, но все остальные полагают, что это в порядке вещей: так кто же мы такие, чтобы бросать вызов инстинктам и установлениям человечества?

Мистер Парэм промолчал, поигрывая щипцами для орехов. Что за мерзкий циник этот Кемелфорд! Даже смерть на поле брани он готов осквернить своим недостойным языком. «Газованные»!

— Клуб газованных — это лишь ничтожная капля в море наших нынешних несообразностей,— продолжал Кемелфорд.— В любой стране у любого из этих проклятых военных министерств есть своя военная тайна. Ох уж эти тайны! Сколько суматохи! Сколько предосторожностей! Наша английская публика — я имею в виду публику из военного министерства — обладает газом, великолепным газом на букву «Л». Это любимое детище генерала Джерсона. Его единственное детище. Гнуснейшая мерзость. Сперва измучит вас, а потом прикончит. Генерал от него в восторге. Для производства этого вещества нужны кое-какие редкие земли и минералы, которые добываются у нас в Кэйме, графство Корнуол. Вы слыхали о наших новых тамошних заводах? Великолепные заводы, ничего не скажешь. Кое-кто из наших молодых химиков делает чудеса. Мы получили целую серию соединений, которые можно использовать в самых прекрасных целях. И в какой-то мере они уже используются. Но, на беду, из определенной части нашей продукции вы можете получить также и удушливый газ. Или *они* могут получить — и нам приходится делать вид, будто мы не понимаем, зачем им нужна эта самая продукция. Это, видите ли, засекречено. Весьма важная военная тайна. Промышленность и наука хранят подобные секреты для полдюжины правительств... Какое ребячество! Какое безумие!

Мистер Парэм тихонько покачал головой, как человек, которому лучше известна истина.

— Правильно ли я вас понял? — осторожно заговорил Хэмп.— Стало быть, вам известно, что у англичан есть новый газ?.. До меня доходили слухи...

Он умолк, ожидая ответа.

— Кое-что мы не можем не знать. Мы должны выжидать и делать вид, будто мы ничего не знаем и не замечаем, а между тем ваши шпионы и эксперты — и наши тоже — шныряют вокруг и во все суют свой нос, стараясь превратить чистую науку в чистое жульничество... Игра в шпионов и игра в химию... Так продолжаться не может. И все же это продолжается. Таково положение дел. Вот до чего мы дошли, а все потому, что все государства во всем мире во что бы то ни стало хотят оставаться суверенными и независимыми. Что мы тут можем поделать? Вы говорите: ничего поделать нельзя. Я в этом не уверен. Мы можем прекратить поставки этого знаменитого британского газа; мы можем прекратить продажу кое-каких мощных взрывчатых веществ и других материалов, которыми и вы и немцы дорожите как величайшей военной тайной. Придется выдержать небольшую стычку кое с кем из наших же коллег. Но, я думаю, мы сейчас можем на это пойти... Допустим, мы сделаем такую попытку. Многое ли от этого изменится? Допустим, у них хватит дерзости посадить нас за решетку. Рядовой болван будет против нас.

— Рядовой болван! — возмутился мистер Парэм.— Вы хотите сказать, сэр, что против вас будет весь накопленный человечеством опыт. Чем можно заменить правительства, на которые вы так нападаете? Ведь что защищают правительства? Жизнь рядового человека и человеческую мысль. А вы — простите, если я ставлю вас в неловкое положение,— что защищаете вы? Что вам угодно — уничтожить правительство? Учредить какое-нибудь необычайное сверхправительство, тайное общество, вроде масонов из банкиров и ученых, которое будет править миром?

— Вот именно, и ученых! Банкиров и ученых! Мы тоже по-своему стараемся быть учеными! — заявил Хэмп и, широко улыбаясь в поисках сочувствия, поглядел сквозь очки на сэра Басси.

— Я бы поискал нового способа управлять жизнью людей,— ответил Парэму Кемелфорд.— Мне думается, рано или поздно нам придется испробовать что-нибудь в этом роде. Мне думается, всем должна руководить наука.

— Иначе говоря, измена и новый Интернационал,— вспыхнул мистер Парэм.— Даже зависть пролетариата не будет вам поддержкой!

— А почему бы и нет? — пробормотал сэр Басси.

— А что же вы, избранные, будете делать с «рядовым болваном», который, в сущности, и есть человечество?

— Его можно воспитать, с тем чтобы он вас поддерживал,— заметил Эттербери.— Он всегда очень послушен, если взять его в руки смолоду.

— Надо начать все сначала,— сказал Кемелфорд.— Устроить мир по-новому. Это не так уж невероятно. Современная политическая наука еще не вышла из пеленок. Она примерно на столетие моложе химии или, скажем, биологии. Я думаю, прежде всего нам нужна новая система воспитания, совсем в ином духе, чем теперешняя. Выкиньте на свалку хотя бы эту вашу ядовитую историю, особую для каждой нации, и во имя очистки умов объясните людям, как прекрасно может жить человечество в нашем мире.

Сэр Басси одобрительно кивнул. Мистера Парэма этот кивок несколько рассердил, но он не дал себе воли.

— К несчастью,— сказал он,— начинать сначала поздновато. Дни сотворения мира давно миновали, и теперь у нас самые обыкновенные будни.

Он был доволен собой. Недурно сказано, в самую точку.

— А у вас очень убедительно получилось насчет клуба газованных,— в наступившем молчании обратился сэр Уолтер к Кемелфорду.— Я мог бы использовать этот образ в своей лекции, которую читал неделю тому назад.

Молодой американец, до сих пор не принимавший участия в беседе, наконец решился вставить слово:

— Мне кажется, вы, европейцы, склонны, если можно так выразиться, недооценивать общественные настроения, которыми продиктован пакт Келлога. Может быть, он и кажется бесплодным, сейчас трудно судить,— но, поверьте, от него есть толк. Это совершенно очевидно, хотя пока и не доказано. Да и кроме пакта Келлога, Америка вам еще многое предложит в этом роде.

Он покраснел во время своей речи, но ясно было, что это не пустые слова.

— Я с вами согласен,— сказал сэр Уолтер.— В Америке все еще очень сильно стремление к всеобщему миру, а в менее определенной форме оно существует в любой стране. Но оно не находит организованного выражения и не дает конкретных результатов. Оно остается в области чувств. Оно не переходит в прямое действие. И это тревожит меня все сильней. Необходима грандиозная перестройка идей, только после этого мы сможем придать стремлению к миру подлинную действенность.

Пощипывая кисть винограда, мистер Парэм равнодушно кивнул в знак согласия.

А затем, показалось ему, все заговорили, намеренно позабыв то, что было сказано им, Парэмом. Вернее, намеренно не обращая внимания на бесспорную справедливость того, что было им сказано. Выглядело это не так, словно он и не говорил ничего, но и не так, словно сказанное требовало ответа, а так, будто на стол был положен некий образчик, который при желании можно осмотреть.

В конце обильных и разнообразных обедов у сэра Басси мистер Парэм нередко испытывал резкие перемены настроения. Только что он был тверд, уверен в себе и смело и отчетливо высказывал свои мысли, а через минуту лицо его заливала краска и сознание захлестывали волны подозрений и гнева. Вот и теперь, пока он прислушивался к беседе — а некоторое время он только молча слушал,— в душе его вдруг всколыхнулось ощущение, которое в последнее время мучило его все чаще: что наш мир с какой-то ленивой злобой отворачивается от всего, что было в жизни разумного, прекрасного и долговечного. Проще говоря, эти люди открыто, нимало не стесняясь, вступали в заговор против подчинения и патриотизма, против верности, дисциплины и всех с великим трудом построенных основ управления государством,— и все это во имя какого-то фантастического международного сообщества, какой-то выдуманной космополитической организации финансистов и промышленников. Они говорили вещи ничуть не менее возмутительные, чем те, за которые мы с треском выставляем чересчур словоохотливых большевиков обратно в их любимую Россию. И они не опомнились даже после того,

как он ясно и понятно разъяснил политическую обстановку. Так стоит ли еще с ними разговаривать?

Но не может же он допустить, чтобы эта вредная болтовня продолжалась, не встречая отпора! Ведь тут сидит сэр Басси и упивается каждым словом!

А они говорили, говорили...

— Когда я впервые отправился в Женеву,— сказал сэр Уолтер,— я не представлял себе, как мало там можно повлиять на основы современного мышления. Я не знал, как решительно сопротивляется ныне существующий патриотизм росткам интернационального сознания. Мне казалось, эти чувства могут постепенно уступить место соревнованию в великодушии: кто лучше послужит человечеству? Но пока мы в Женеве пытаемся установить вечный мир на земле, каждый учитель и каждый кадетский корпус в Англии, каждая школа во Франции воспитывают новое поколение так, что сводят на нет наши усилия; они делают все возможное, чтобы вернуть юные и великодушные умы назад, к разбитым вдребезги заблуждениям патриотизма военного времени... И, как видно, во всем мире происходит то же самое.

Молодой американец, робея в присутствии старших, только и осмелился промычать что-то в знак протеста, словно спящий, которого потревожили, но не разбудили. Этим он давал понять, что к его родине сказанное не относится.

— Итак,— произнес мистер Парэм, изображая на лице улыбку, но против воли его левая ноздря ехидно подергивалась,— ради этой вашей новой, грядущей цивилизации вы для начала закрыли бы наши школы?

— Он хочет *изменить* их,— поправил сэр Басси.

— Стало быть, надо выбросить на свалку школы, колледжи, церкви, университеты, армию и флот, национальные флаги и честь и начать строить золотой век на пустом месте,— съязвил мистер Парэм.

— А почему бы и нет? — спросил сэр Басси, и в голосе его вдруг прозвучала угроза.

— Вот именно,— сказал Хэмп с таким многозначительным видом, словно его пустяковое замечание открывает собою новую эру (секретом этой многозначительности владеют одни лишь американцы).— *А почему бы и нет?* Очень многие из нас не решаются сказать это

вслух. Сэр Басси, этими словами вы определили самую суть дела. А почему бы и нет?

И оратор обвел присутствующих пристальным взглядом серых глаз, казавшихся огромными за стеклами очков; на его щеках проступил румянец.

— Выбросили же мы на свалку лошадей и кареты, выбрасываем сейчас угольные камины и газовые рожки, мы покончили с последними деревянными кораблями, мы научились видеть и слышать то, что происходит на другом полушарии, научились делать тысячи вещей — тысячи чудес, сказал бы я,— которые сто лет назад были немыслимы. А что, если и государственные границы тоже устарели? Что, если рамки национальной культуры и национального государства стали тесны? Почему мы должны сохранять школы и университеты, которые служили целям наших прадедов, и систему управления, которая была последним словом государственного устройства полтораста лет тому назад?

— Потому, я полагаю,— произнес мистер Парэм, обращаясь к вазе с цветами, стоящей перед ним на столе, так как больше никто его не слушал,— потому, я полагаю, что отношения между людьми не имеют ничего общего с механическими операциями.

— Не вижу причины, почему бы в области психологии не могло быть изобретений точно так же, как в области химии и физики,— заметил Кемелфорд.

— Ваш всеобщий мир, если разобраться,— это вызов самым незыблемым установлениям человечества,— сказал мистер Парэм.— Установлениям древним, выдержавшим испытание временем. Установлениям, которые сделали человека тем, что он есть. Вот вам и причина.

— Установления человечества,— со спокойной уверенностью возразил Кемелфорд,— ровным счетом так же незыблемы, как пара штанов, и не более того. Если мир вырастает из этих штанов и они становятся неудобны, нужно добыть другие — и ничто существенное в человеке от этого не исчезнет. Смею вас уверить, что сейчас именно к этому идет. Человек все больше освобождается от представления, будто его штаны — это и есть он сам. Если наши правители и учителя не попытаются выбросить старое тряпье, тем хуже для них. В конечном счете будет хуже. Хотя в ближайшее время, как, по-видимому,

думает сэр Уолтер, туго придется нам. Но в конечном счете мы должны будем обзавестись новой системой управления и новыми учителями для наших сыновей, как бы это ни было трудно и хлопотно, какою бы длительной и кровавой ни была эпоха перемен.

— Нешуточное дело,— сказал мистер Хэмп.

— Тем привлекательней оно должно быть для гражданина страны, занятой нешуточными делами,— сказал Кемелфорд.

— И кой черт нам так уж бояться выкидывать старье на свалку? — вмешался сэр Басси.— Если школы приносят вред и внушают детям устарелые понятия, которые порождают войну, почему бы от этих школ не избавиться? Выкинуть на свалку наших отживших учителей. И мы заведем совсем новую школу, да еще какую!

— А университеты? — немного повысив тон, иронически спросил мистер Парэм.

Сэр Басси повернулся и хмуро поглядел на него.

— Парэм,— медленно произнес он,— вы ужасно довольны тем, как сейчас обстоят дела в мире. А я не доволен. Вы боитесь, как бы что-нибудь не изменилось. Вам очень хочется, чтоб мир оставался таким, как он есть. Иначе вам пришлось бы чему-нибудь научиться и бросить все эти старые фокусы. Да, да, знаю я вас. Больше у вас ничего нет за душой. Вы боитесь, что настанет время, когда за все нынешние великие ценности никто гроша ломаного не даст. Вашему Наполеону мерещилось, что у него особая судьба, а старик Ришелье воображал, будто ведет неслыханно мудрую и передовую внешнюю политику, а придет время, и для разумного человека это будет все равно что (он шарил в уме, подыскивая подходящий образ, и наконец нашел)... все равно что рассуждения какого-нибудь кролика, который жил при королеве Елизавете.

Это была такая неприкрытая атака, таким рассчитанным оскорблением прозвучал намек на ученые труды мистера Парэма, посвященные кардиналу Ришелье, что почтенный джентльмен растерялся и не мог вымолвить ни слова.

— Поди ты! — продолжал сэр Басси.— Да когда я слышу такие разговоры, мне одно приходит на ум: что эта самая традиция — просто-напросто вежливое наиме-

нование всякого гнилья. В природе все правильно устроено: одно умирает, другое рождается. А с человеческими установлениями без этого уж вовсе нельзя. Как жить, если не выкидывать и не уничтожать старье? Как наведешь в городе чистоту, если не сжигать мусор? Что, в сущности, такое эта ваша история? Попросту всякие остатки от вчерашнего дня. Яичная скорлупа и пустые жестянки.

— Вот это мысль! — сказал Хэмп и с уважением посмотрел через роговые очки на сэра Басси.— Господа,— продолжал он, и голос его дрогнул,— величайший из реформаторов повелел миру родиться заново. И это, как я понимаю, относится ко всем и вся.

— На сей раз нам требуются грандиозные роды,— вставил Кемелфорд.

— Дай бог, чтобы не случилось выкидыша,— сказал сэр Уолтер. И улыбнулся собственной выдумке.— Если мы устроим родильную палату на складе оружия, в самый неподходящий момент может начаться пальба из пушек.

Мистер Парэм, чопорный и молчаливый, затянулся превосходной сигарой. Недрогнувшей рукой он стряхнул пепел в пепельницу. Обида, вызванная оскорблением, которое нанес ему сэр Басси, не отразилась на его лице. На нем только и можно было прочитать чувство собственного достоинства. Но за этой недвижной маской бушевал вихрь мыслей. Может быть, сейчас же встать и уйти? Молча? С молчаливым презрением? Или произнести краткую, но язвительную речь? «Хватит с меня на сегодня глупостей, господа. Быть может, вы не отдаете себе отчета в том, какой непоправимый вред наносят подобные разговоры. Что касается меня, я не могу шутить, когда речь идет о международной политике и нашем прискорбном настоящем».

Он поднял глаза и встретил взгляд сэра Басси, задумчивый, но ничуть не враждебный.

Прошла минута— странная минута,— и что-то угасло в душе мистера Парэма.

— Выпейте-ка еще глоток доброго старого коньяку,— с обычной настойчивостью предложил сэр Басси.

Мистер Парэм чуть поколебался, с важностью кивнул, как бы в знак прощения, потом, словно просыпа-

ясь, неопределенно улыбнулся и выпил еще глоток доброго старого коньяку.

Но воспоминанию об этом разговоре суждено было еще долго бередить душу мистера Парэма и терзать его воображение, как терзает и бередит рану зазубренный, отравленный наконечник стрелы, которую невозможно извлечь. Он ловил себя на том, что, расхаживая по Оксфорду, снова и снова вслух осуждает взгляды своих противников; этот разговор усилил его привычку разговаривать с самим собой, не давал ему покоя по ночам и даже снился. Крепнущая ненависть к господству современной науки, которую он до сих пор таил в глубине сознания, теперь, несмотря на его инстинктивное сопротивление, прорывалась на поверхность. С финансистами можно договориться, лишь бы не вмешивались ученые. Банкир и торговец стары как мир, они существуют со времен Древнего Рима и Вавилона. С сэром Басси вполне можно было бы договориться, не будь коварного влияния таких людей, как этот Кемелфорд, с их широкими материалистическими планами. Это нечто новое. Сэр Басси поставляет силы и средства, но идеи вынашивают они. Он может брюзжать и противиться, а они могут переделать мир.

А эти разговоры о необыкновенном британском газе!..

Кемелфорд взирал на это с такой высоты, точно сам себя произвел в боги. Предлагает прекратить поставки! То есть, в сущности, остаться в стороне от войны и сделать игру невозможной. Да это саботаж, это измена, заговор людей науки и новомодных промышленников. Неужели они могут на это пойти? Вот она, самая тревожная из всех загадок современности. А пока мистер Парэм скорбел над признаками упадка и разложения англосаксов, Муссолини в канун всеобщих выборов 1929 года выступил перед итальянским народом с грандиозной речью. Всему миру объявил он цели фашизма, провозгласил, что верность государству, дисциплина и энергия превыше всего, и в этом утверждении было столько ясности, благородства, столько мощи и отваги... Право же, на английском языке никогда не было сказано ничего подобного. Мистер Парэм читал и перечитывал эту речь. Он перевел ее на латынь, и она стала еще великолеп-

нее. Затем он попытался передать ее английской прозой, но это оказалось куда труднее.

— Се человек! — сказал мистер Парэм.— Неужели другого такого нет на свете?

И однажды поздно вечером в своей спальне на улице Понтингейл он очутился перед зеркалом, ибо в спальне у мистера Парэма было трюмо. Он уже совсем приготовился ко сну. Он надел халат, высвободив, однако, красивую руку и плечо, чтобы удобней было жестикулировать. И, сопровождая слова подобающими движениями, он повторил блистательную речь великого диктатора.

— Ваши превосходительства! — говорил он.— Соратники! Господа! Не подумайте, будто я грешу нескромностью, говоря, что труды, о которых я сообщил вам лишь вкратце и в общих чертах,— плод только моей мысли. Законодательство, претворение планов в жизнь, руководство государством и создание новых общественных установлений — всем этим не исчерпывается моя деятельность. Есть и другая ее сторона, менее известная, но о ней дадут вам представление следующие цифры, которые, вероятно, вас заинтересуют: я дал более шестидесяти тысяч аудиенций; разрешил дела и прошения миллиона восьмисот восьмидесяти семи тысяч ста двенадцати граждан, принятых непосредственно моим личным секретарем...

Для того чтобы выдержать такое напряжение, я тренировал свое тело; я установил строгое расписание своих дневных трудов; я свел к минимуму напрасную трату времени и сил и усвоил следующее правило, придерживаться которого советую всем итальянцам. Повседневные дела надлежит систематически и неукоснительно завершать в течение дня. Ничего никогда не оставлять на завтра. Обычная работа должна производиться с правильностью почти механической. Мои сотрудники, которых я вспоминаю с удовольствием и хочу поблагодарить публично, подражали мне. Тяжкий труд казался мне легким, в частности, потому, что он был разнообразен, и я не поддавался усталости, потому что вера поддерживала мою волю. Я взял на себя, как диктовал мне мой долг, ответственность за все — малое и великое.

Мистер Парэм умолк. Расширенными глазами он смотрел на не лишенное изящества отражение в зеркале.

— Неужели у Британии нет такого Человека?

ГЛАВА ВТОРАЯ

КАК СЭР БАССИ ОБРАТИЛСЯ К МЕТАФИЗИКЕ

Однако же главная задача этой книги — поведать о Владыке Духа. Наш рассказ требовал какого-то вступления, но теперь, когда оно позади, можно позволить себе сказать, что это было всего лишь вступление. И вот при первой же возможности мы приступаем к самому рассказу. И теперь до конца книги мы уже не отвлечемся от этого рассказа.

Знакомство мистера Парэма с метафизикой началось еще до того разговора, о котором повествует предыдущая глава. Оно произошло, или по крайней мере семена его были посеяны, еще в поезде, который вез сэра Басси и его приятелей из Оксфорда в Лондон,—поездку эту затеял мистер Парэм, чтобы приобщить своего денежного друга к атмосфере достоинства и зрелости духа, присущих этой древней обители мысли. То был день, когда лорд Флафингдон произнес свою знаменитую речь о душе Британской империи. Они видели там, как одаривали почетными званиями какую-то принцессу крови, индийского раджу, секретаря некоего американского миллионера и одного из самых знаменитых и преуспевших собирателей всяческих степеней и отличий, трех занимающих видные посты, но ничем другим не примечательных консерваторов и шотландского комедиографа. День выдался прекрасный, сияло солнце, и все было выдержано в стиле поздней готики: и парк, и мантии, и улыбки, и со вкусом расточаемые любезности. Общество было самое что ни на есть избранное, по такому торжественному случаю все разоделись в пух и прах, и лорд Флафингдон превзошел все ожидания. В купе с сэром Басси и мистером Парэмом были также Хируорд Джексон, недавно увлекшийся психическими исследованиями, сэр Тайтус Ноулз и спокойный, честный и порядочный

сэр Оливер Лодж, чей трезвый ум, широта, терпимость и непредубежденность направляли беседу.

Хируорд Джексон завел разговор о необыкновенных психических явлениях. Сэр Тайтус яростно и грубо выражал свое недоверие и, не отличаясь сдержанностью, сразу раскипятился. Сэр Басси помалкивал.

Мистер Парэм и сэр Тайтус изредка встречались вот уже шесть лет, но не питали друг к другу ни малейшей симпатии. Мистер Парэм видел в сэре Тайтусе воплощение всего, что устрашает в служителе медицины, который в любую минуту может велеть вам раздеться донага и начнет простукивать и прощупывать вас где попало,— всего самого отвратительного, что есть в людях науки. Они редко беседовали, а уж если им случалось заговорить друг с другом, между ними тотчас вспыхивал спор.

— Ваши медиумы, как правило, мошенники и негодяи,— провозгласил сэр Тайтус.— Это всем известно.

— Вот оно что! — вмешался мистер Парэм.— Это в вас говорит позитивизм и самоуверенность старомодной науки, да простится мне подобное определение.

— Таких, которых не уличали, можно по пальцам пересчитать,— парировал сэр Тайтус, обернувшись к своему новому противнику, атаковавшему его с фланга.

— Некоторых уличали, но не всех,— возразил мистер Парэм.— Логика не должна изменять нам в самом жарком споре.

В любом другом случае он был бы сдержанно-высокомерен и улыбался бы скептически. Но уж слишком ему были ненавистны топорные рассуждения сэра Тайтуса, и он ринулся в бой. И, еще не успев опомниться, занял позицию, близкую к пытливой непредубежденности сэра Оливера и куда более близкую к всеядной вере Джексона, нежели к сомнению и отрицанию. Некоторое время сэр Тайтус был точно затравленный зверь.

— Взгляните на факты! — огрызался он.— Взгляните в лицо фактам.

— Я как раз это и делаю,— отвечал Хируорд Джексон.

Мистер Парэм и не подозревал, что ввязался не просто в случайный, хоть и жаркий, спор, но тут из своего

угла заговорил сэр Басси, обращаясь прежде всего к мистеру Парэму.

— А я и не знал, что наш Парэм так широко смотрит на вещи,— сказал он. И прибавил: — Вы когда-нибудь видели, как они там колдуют, Парэм? Раз такое ваше мнение, надо нам пойти поглядеть.

Будь мистер Парэм начеку, он тотчас пресек бы эту затею в корне, но в тот день он не был начеку. Он едва ли понял, что сэр Басси поймал его на удочку.

Отсюда все и началось.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МЕТАФИЗИКА НА БАГГИНЗ-СТРИТ

С месяц мистер Парэм противился сэру Басси, который настойчиво уговаривал его заняться психическими изысканиями, и всячески от этого уклонялся. В наши дни это явно неподходящее занятие, возражал мистер Парэм. Это уже опошлили. Их имена станут склонять все, кому не лень, и они могут оказаться в самой неподходящей компании. К тому же в глубине души мистер Парэм не верил, что эти невразумительные действа приоткрывают завесу неведомого нам мира.

Но никогда еще у него не было такого случая оценить по достоинству упорство и силу воли сэра Басси. Долгими ночами он лежал без сна, пытаясь понять, почему его собственная воля так мало способна противиться этому нажиму. Возможно ли, спрашивал он себя, что превосходное образование и все душевные богатства и утонченность, какими оделяют лишь классические авторы, классическая философия и история, не способны устоять против сильного напора? Оксфорд учит вращаться в свете, но учит ли он стоять у кормила правления?

И, однако, он всегда предполагал, что готовит своих питомцев к высоким постам, к власти. Впервые — и это было весьма неприятно — он усомнился, есть ли у него воля и достаточно ли она сильна. Казалось, верь он в чудодейственную силу молитв, он прежде всего и горя-

чей всего молился бы о том, чтобы в нем забили родники могучей воли и смыли бы упрямство сэра Басси, как смывает все на своем пути бурный поток. Чтобы не приходилось день за днем выдерживать натиск этого упрямца или ускользать от него. И в конце концов, как он уже понял, неминуемо уступить.

И все его тайные сомнения в эту пору противодействия и проволочек пронизывал возникавший все снова и не неразрешенный за шесть лет их знакомства недоуменный вопрос. Зачем сэр Басси этого добивается? Неужели он в самом деле верит, что существует некая щель или завеса, через которую можно проникнуть из нашего разумного мира в мир неведомого чуда, и что сквозь нее это неведомое чудо может не сегодня-завтра ворваться в наши будни? Не в этом ли он видит выход? Или этим, как, кажется, и многими другими своими странными затеями, он просто хотел позлить, озадачить мистера Парэма, сэра Тайтуса и прочих своих приятелей и поглядеть, что они сгоряча натворят? Или же в этом неотшлифованном уме смешались и те и другие побуждения?

Каковы бы ни были намерения сэра Басси, он своего добился. Однажды октябрьским вечером, после роскошного обеда в Мармион-хаусе, мистер Парэм оказался вместе с сэром Тайтусом, Хируордом Джексоном и сэром Басси в огромной машине сэра Басси, которая скользила по самым темным улицам Уэндсворта в поисках дома девяносто семь по Баггинз-стрит, причем мистер Хируорд Джексон давал шоферу судорожные, бестолковые, а в самых темных закоулках и опасные советы. Предстояло изучить и оценить своеобразный дар некоего мистера Карнака Уильямса.

Этого медиума рекомендовали люди, заслуживающие всяческого доверия, и Хируорд Джексон уже побывал здесь. Хозяйка дома, старая миссис Маунтен, оставалась непоколебимым столпом спиритизма равно в дни упадка и процветания, и можно было надеяться, что эта первая попытка откроет им некоторые наиболее характерные явления: они услышат голоса, вести из иного мира, быть может, станут свидетелями материализации — никаких особых чудес, но для начала неплохо.

Наконец отыскали номер девяносто семь по Баггинз-стрит — тускло освещенный дом с полукруглым окном над входной дверью и невысоким крыльцом.

Маленькая бестолковая служанка впустила гостей, и тотчас появилась старая миссис Маунтен. Она оказалась уютной, расплывшейся старушкой в черном платье с пышными кружевными манжетками, в кружевном фартуке и кружевном чепце, какие носили во времена королевы Виктории. Она встретила их приветливо, с какой-то суетливой любезностью. С Хируордом Джексоном она поздоровалась как со старым знакомым.

— А это ваши друзья? — воскликнула она.— Мистер Смит? Хорошо. Мистер Джонс и мистер Браун. Имена меня не интересуют. Добро пожаловать, господа! Вчера вечером он был изумителен, и-зу-мителен.

— Под чужими фамилиями удобнее,— кинул через плечо Хируорд Джексон.

Она ввела их в комнату, обставленную, как принято было в далекие дни ее молодости. Тут стояло небольшое фортепьяно, накрытое шерстяной дорожкой, на нем — горшочек с декоративным папоротником и пачка нот; были здесь и каминная полка с большим зеркалом, и множество безделушек, и стол посреди комнаты, покрытый красной скатертью, а на нем несколько книг, и диванчик, и газовая люстра, на стенах — книжные полочки, большие олеографии в золоченых рамах — сплошь пейзажи, в камине ярко горел огонь, от всего веяло уютом. Подушечки, коврики, вышитые салфеточки на спинках кресел и целая коллекция чучел коноплянок и канареек под стеклом. В такой комнате только и делать, что уплетать сдобные булочки. У камина уже собрались четыре человека, казалось, они заняли оборонительную позицию в ожидании вновь пришедших. Мужчина лет сорока, похожий на долговязого подростка, с гордо вскинутой головой и крупными чертами белого лица, выражавшего напускное безразличие, был представлен как «мой сын мистер Маунтен». Невысокая блондинка оказалась мисс... фамилии никто не расслышал; высокая женщина в трауре с горящим взором и впалыми щеками, окрашенными лихорадочным румянцем, была «наш друг, который часто у нас бывает», четвертым был мистер Карнак Уильямс — сам медиум.

— Мистер Смит, мистер Джонс, мистер Браун,— в свою очередь, представила их миссис Маунтен,— а с этим джентльменом вы уже знакомы.

Маленькая блондинка улыбнулась Хируорду Джексону как старому приятелю, а мистер Маунтен, поколебавшись, вяло пожал руку сэру Басси.

На первый взгляд медиум решительно не понравился мистеру Парэму. Он был явно беден, и темные глазки-щелочки на его бледном лице так и бегали, ни с кем не встречаясь взглядом. Руки он держал так, словно готов был в любую минуту что-то стиснуть в жадной ладони, и он поздоровался с сэром Басси чуть более почтительно, чем следовало бы при том, что предполагалось, будто посетители этого дома ничего не знают друг о друге.

— Я ни за что не отвечаю,— громко, без всякого выражения заявил мистер Уильямс,— я всего лишь орудие.

— Вчера вечером вы были поразительным орудием,— сказала миссис Маунтен.

— Я ничего не сознавал,— сказал мистер Уильямс.

— Я была поражена до глубины души,— мягким, певучим голосом сказала высокая дама; казалось, волнение помешало ей продолжать.

На минуту воцарилась тишина.

— У нас заведено так,— слегка шепелявя, нарушил молчание мистер Маунтен.— Все поднимаются наверх. Там уже приготовлена комната... Вы сами сможете убедиться, что тут нет никакого обмана. На днях нам посчастливилось, мы были свидетелями настоящей материализации... к нам явился гость из иного мира. У нас создалась благоприятная атмосфера... Если ничто ее не разрушит... Но, может быть, пройдем наверх?

После уютной тесноты внизу комната наверху казалась голой. Из нее убрали почти всю мебель и безделушки. Остался большой стол, окруженный стульями. Среди них одно кресло, предназначенное для миссис Маунтен, и около него столик с граммофоном; у стульев выпуклые мягкие сиденья.

На третьем столе стояли поникшие цветы в вазе, лежали бубен и большая грифельная доска, покрытая,

как вскоре выяснилось, фосфоресцирующей краской. Один угол комнаты был завешен.

— Это наша кладовая,— пояснила миссис Маунтен.— Пожалуйста, можете проверить.

В «кладовой» на маленьком столике лежали веревки, свеча, сургуч и еще что-то.

— Мы пришли не проверять,— сказал сэр Басси.— Мы новички и почти во всем готовы верить вам на слово. Мы хотим понять, чем вы тут занимаетесь. А уж потом начнем мучить вас вопросами.

— Очень справедливо и разумно. Так и надо начинать знакомство с духами,— сказал Уильямс.— Я чувствую, у нас сегодня будет подходящая атмосфера.

Мистер Парэм смотрел подчеркнуто равнодушно и ни во что не вмешивался.

— Но если мы должны все принимать на веру...— запротестовал было сэр Тайтус.

— Сегодня мы просто посмотрим,— перебил сэр Басси.— Проверять будете потом.

— Мы не против проверки,— вмешался Уильямс.— В спиритизме много такого, что я и сам не прочь бы основательно проверить. Я ведь понимаю в этом не больше вашего. Я просто инструмент.

— Да-а,— протянул сэр Тайтус.

Мистер Маунтен продолжал объяснения. Вместе с несколькими друзьями он пытается вызывать духов. В последнее время они завели такой обычай: просят самого недоверчивого из присутствующих крепко-накрепко привязать Уильямса к стулу. Потом обычным порядком соединяют руки. А потом, в полной темноте, если не считать мерцания фосфоресцирующей доски, ждут. Миссис Маунтен заводит граммофон, когда он замолкает, она переставляет иглу — для этого у нее есть слабенький фонарик. Сидящий рядом с ней может проследить за ее действиями. Они убедились на опыте, что музыка весьма благоприятствует спиритическим явлениям. Не обязательно ждать молча, иногда это создает напряженную атмосферу. Пока ничего не происходит, можно даже вести легкую, но не фривольную беседу или перебрасываться замечаниями.

— Во всем этом нет ничего таинственного, никакого колдовства,— закончил мистер Маунтен.

— Привязывать будете вы,— сказал Хируорд Джексон сэру Тайтусу.

— Узлы вязать я умею,— зловеще предупредил сэр Тайтус,— но прежде мы его разденем?

— О-о! — с упреком произнес мистер Маунтен, указав глазами в сторону дам. Вопрос о раздевании и каком бы то ни было обыске, кроме самого поверхностного, отпал.

Пока шли все эти приготовления, мистер Парэм, непритворно скучая, разглядывал довольно красивое лицо дамы в трауре. «Очень милая женщина»,— подумал он. Другая уж чересчур цветущая и слишком поглощена медиумом и Хируордом Джексоном. Прочие странные личности пришлись ему не по вкусу, хотя с миссис Маунтен он был изысканно любезен. Но до чего дурацкая затея!

После нескончаемой суеты медиума привязали, узлы скрепили печатями и все уселись вокруг стола. Мистер Парэм расположился рядом с дамой в черном, с с другой стороны его касалась вялая рука Маунтена. Сэр Басси по некоему естественному старшинству получил место между медиумом и хозяйкой дома. Сэр Тайтус, не спускавший глаз с медиума, припас для себя местечко слева от него. Свет погасили. Время тянулось томительно долго, и ничего не происходило, лишь они сами перебрасывались словечком-другим да изредка беспокойно ворочался медиум. Потом он застонал.

— Засыпает! — промолвила миссис Маунтен.

У дамы в трауре дрогнул палец, и мистер Парэм поспешил ответить на ее движение, но на том все и кончилось, и мистер Парэм вновь заскучал.

Сэр Басси заговорил с Хируордом Джексоном о шансах Уайлдкэта на скачках в Эпсоме.

— Мамочка, милая,— донесся откуда-то из-за спин сидящих тоненький голосок.

— Что такое? — рявкнул сэр Тайтус.

Сэр Басси сердито шикнул.

Соседка мистера Парэма шевельнулась, и рука ее тесней прижалась к его руке. Ему почудилось, что она хочет заговорить, но она только всхлипнула.

— Дорогая моя! — шепнул мистер Парэм, глубоко тронутый.

— Нà цветик, мамочка. Сегодня я не могу остаться. Другие хотят прийти.

Что-то легко и мягко шлепнулось на стол; потом это оказалось хризантемой. Все замерло, и мистер Парэм понял, что его соседка беззвучно плачет.

— Милли... деточка,— прошептала она.— Покойной ночи, дорогая. Покойной ночи.

Мистер Парэм ничего подобного не ожидал. Он растерялся. Его утонченная натура отнюдь не чужда была человеческих чувств. Он даже не сразу услышал странный звук, который становился все громче, не то хлюпанье, не то шлепанье, идущее неизвестно откуда.

— Эманация,— сказала миссис Маунтен.— Начинается.

Мысли мистера Парэма, который был поглощен тем, что пытался с помощью своего мизинца передать соседке глубочайшее сочувствие, на какое только способен сильный молчаливый мужчина, вернулись к сеансу.

Миссис Маунтен вновь завела граммофон, и они в четвертый или в пятый раз услышали песнь одинокой трубы, когда Тристан ждет Изольду.

В тусклом кружке света была видна ее рука, переставляющая иглу. Потом что-то щелкнуло, свет погас, и снова зазвучал Вагнер.

Мистер Маунтен объяснял старой деве, какой дорогой ей лучше всего возвращаться в Баттерси.

Начиналось непонятное.

— Черт возьми! — воскликнул сэр Тайтус.

— Спокойно! — сказал сэр Басси.— Не разрывайте круг.

— Меня стукнуло жестянкой,— сказал мистер Тайтус,— во всяком случае, чем-то твердым.

— Могли бы потерпеть,— без малейшего сочувствия сказал сэр Басси.

— Стукнуло по затылку,— прибавил сэр Тайтус.

— Наверно, бубном,— сказал мистер Маунтен.

Сэр Тайтус зашипел на них, как паровоз.

— Цветок! — раздался голос медиума, и что-то холодное, мягкое и влажное ударило мистера Парэма по лицу и упало ему на руку.

— Пожалуйста, не разрывайте круг,— попросила миссис Маунтен.

Оказывается, это и в самом деле увлекательно, хоть и странно, и утомительно, и не слишком приятно. И в перерывах приходится долго и напряженно ждать.

— Приближается наш друг,— раздался голос медиума.— Наш дорогой гость.

Высоко над столом, легонько позвякивая, проплыл бубен. Он направлялся к сэру Тайтусу.

— Только посмей! — пригрозил сэр Тайтус, и бубен, словно одумавшись, вернулся на свой столик.

Легкая рука на мгновение коснулась плеча мистера Парэма. Рука женщины? Он осторожно обернулся и обомлел: возле что-то светилось слабым голубоватым светом. Грифельная доска.

— Смотрите! — воскликнул Хируорд Джексон.

Сэр Тайтус что-то проворчал сквозь зубы.

Какая-то фигура бесшумно и плавно скользила за кругом. Она держала светящуюся доску и то поднимала ее, то опускала, и тогда видно было, что это женщина в широком одеянии и как будто в монашеском клобуке.

— Она явилась,— едва слышно прошептала миссис Маунтен.

Кажется, прошла вечность, прежде чем гостья заговорила.

— Де-еточки,— протянул тонкий, визгливый голос.— Де-еточки.

— Кто эта дама? — спросил сэр Басси.

Фигура исчезла.

Чуть погодя медиум ответил со своего места:

— Святая Екатерина.

При этом имени взыграла эрудиция мистера Парэма.

— Которая святая Екатерина?

— Просто святая Екатерина.

— Но святых Екатерин две... или даже больше,— возразил мистер Парэм.— Во всяком случае, две были невесты Христовы. Святая Екатерина Александрийская, ее эмблема — колесо, покровительница всех старых дев, особенно парижских, и святая Екатерина Сиенская. Есть картина Мемлинга прелести необыкновенной. Да, конечно, есть и третья—святая Екатерина Норвежская,

если только мне память не изменяет. А быть может, есть и другие. Она не скажет нам которая? Мне бы так хотелось узнать.

И снова воцарилось молчание.

— Она никогда не говорила нам ничего подобного,— сказала наконец миссис Маунтен.

— По-моему, это Екатерина Сиенская,— сказала старая дева.

— Во всяком случае, она весьма приятная дама,— сказал Хируорд Джексон.

— Может быть, нам все-таки скажут?— спросил сэр Басси.

— Она предпочитает не обсуждать подобные вопросы,— тихонько ответил медиум.— Для нас она желает быть просто другом. Ею движет милосердие.

— Не торопите ее,— сказал сэр Басси.

После томительного ожидания святая Екатерина опять стала слабо видна. Она легко коснулась губами высокого лба сэра Тайтуса и, оставив его явно непримиренным, плавно заскользила дальше и остановилась слева от мистера Парэма.

— Я пришла сказать тебе, что малютка счастлива... очень счастлива,— промолвила она.— Она играет с цветиками, ты таких красивых цветиков никогда не видела. Асфодели. И всякие другие. Она со мной. Я о ней забочусь. Поэтому она и являлась тебе...

Неясная фигура растворилась во тьме.

— Прощайте, дорогие мои.

— Поди ты! — сказал хорошо знакомый голос.

Со скрипом остановился граммофон. Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь громким сердитым сопением сэра Тайтуса Ноулза.

— Лезут с мокрыми поцелуями,— проворчал он

Тьма была непроглядная. Потом миссис Маунтен начала шарить около граммофона, слабо засветился фонарик, тьма вокруг стала еще гуще; что-то заскрипело, зашуршало, тяжело вздохнул медиум.

— Устал,— пожаловался он,— ужасно устал.

Потом послышались хлюпающие звуки, должно быть, он втягивал эманацию.

— Было очень интересно,— неожиданно сказал сэр Басси.— А все-таки...— он чуть помедлил,— мне не того

надо. Святая Екатерина, все равно которая, очень добра, что оставила райские кущи и навестила нас. И мне нравится, что она поцеловала сэра Тайтуса. У нее добрый нрав, сразу видно. Он ведь не из тех, кого целовать одно удовольствие. Но... не знаю, видел ли кто из вас такую огромную, толстую книгу барона Шренк-Нотцинга. Такая, знаете, ученая книга. Я ее читал. У него все получалось по-другому...— Он недоуменно замолчал.

— Можно зажечь свет? — спросил мистер Маунтен.

— Подождите минуту, мне это еще не под силу,— слабым, слинявшим голосом сказал Уильямс.— Еще одну минуту.

— Вот тогда мы поглядим,— пообещал сэр Тайтус.

— По-моему, уже можно разорвать круг,— сказала миссис Маунтен и, зашуршав юбками, поднялась. Рука, касавшаяся мистера Парэма, скользнула прочь.

В первое мгновение свет ослепил их; комната показалась особенно унылой, неуютной, вид у всех был ужасный. Медиум сидел свинцово-бледный, откинувшись на спинку стула, к которому все еще был привязан, голова его моталась из стороны в сторону, словно он сломал шею. Сэр Тайтус кинулся проверять узлы. «Так осматривают пострадавшего в уличной катастрофе»,—подумалось мистеру Парэму. Сэр Басси внимательно следил за сэром Тайтусом. Мистер Маунтен и Хируорд Джексон встали и перегнулись через стол.

— Сургуч цел,— объявил сэр Тайтус.—Узлы в порядке, веревка прикручена к столу, все как я оставил. Ага!

— Что-нибудь нашли?—спросил Хируорд Джексон.

— Да. Нитка, которой воротничок был привязан к спинке стула, порвана.

— Она всегда почему-то рвется,— с научным беспристрастием сообщил мистер Маунтен.

— Но почему же? — спросил сэр Тайтус.

— Нам незачем сейчас этим заниматься,— сказал сэр Басси, и медиум стал откашливаться и несколько раз подряд открыл и закрыл глаза.

— Дадим ему напиться? — спросила старая дева.

Принесли воду.

Сэр Басси уперся кулаками в стол и хмуро задумался.

— Мне этого мало,— сказал он и обратился к медиуму.— Видите ли, мистер Уильямс, то, что вы тут показали, совсем недурно, но мне не того надо, эти вещи, как и все на свете, бывают разного сорта и качества.

Уильямс все еще, казалось, не пришел в себя.

— Были явления?— спросил он.

— Изумительно,— отозвалась миссис Маунтен, успокаивающе кивая ему.

— Прекрасно. Опять являлась святая Екатерина,— подхватила старая дева.

Дама в трауре была так взволнована, что не могла говорить.

Сэр Басси покосился на Уильямса, оттопырив нижнюю губу, что всегда придавало его лицу не слишком приятное выражение.

— В других условиях у вас вышло бы получше,— сказал он с напускным дружелюбием.

— Когда все проверено,— вставил сэр Тайтус.

— Тут, конечно, дружеская атмосфера,— сказал медиум и посмотрел на сэра Басси вызывающе и опасливо. Он очень быстро оправился и теперь был начеку. Вода явно ему помогла.

— Понимаю,— ответил сэр Басси.

— Более суровая атмосфера может оказаться не столь благоприятной.

— Это я тоже понимаю.

— Я бы желал принять участие в исследовании,— сказал Уильямс деловым тоном.

— После всего, что я сегодня видел, слышал и чувствовал,— сказал сэр Тайтус,— смею вам предсказать, что у всех этих исследований будет только один результат — разоблачение.

— Как вы можете говорить такие вещи? — вскричала старая дева и обернулась к Хируорду Джексону.— Скажите ему, что он ошибается.

Хируорд Джексон в этот вечер намеренно держался в стороне.

— Несомненно, он ошибается,— ответил Хируорд Джексон.— Будем смотреть на все без предубеждения. Я думаю, мистеру Уильямсу нет нужды уклоняться от исследований и проверки.

— Проверки без придирок,— добавил Уильямс.

— Я присмотрю, чтобы все было без придирок,— заверил Хируорд Джексон.

Он задумался.

— Бывают действия, способствующие явлению духа,— размышлял он вслух.

— Примите во внимание,— сказал Уильямс,— что бы ни происходило, я всегда только орудие неведомых сил.

— Но разве этот вечер не удовлетворил вас, сэр?— с укором обратился Маунтен к сэру Басси.

— Нет, все было хорошо,— ответил сэр Басси,— но могло быть куда лучше.

— Совершенно верно,— поддержал его сэр Тайтус.

— Вы хотите сказать, что тут было что-то подстроено? — с вызовом спросил Маунтен.

— А этот милый голос! — воскликнула миссис Маунтен.

— Такой прекрасный!— подхватила старая дева.

— Раз уж вы заставили меня высказаться,— заявил сэр Тайтус,— я обвиняю этого человека в наглом мошенничестве.

— Ну, это уж слишком,— сказал Хируорд Джексон,— это уж слишком. Вы чересчур непреклонны в своих убеждениях.

Мистер Парэм отчужденно прислушивался к разгоравшемуся спору. Все это было гадко и мучительно. В явление духа он не верил, но неверие сэра Тайтуса было ему ненавистно. Он глубоко сочувствовал этому маленькому кружку, который так мирно и счастливо шел от откровения к откровению, а теперь сюда вторглись шумные ниспровергатели с шумными обвинениями и грозят шумным разоблачением. Особенно сочувствовал он даме в трауре. Она обернулась к нему, словно взывая о помощи, в глазах ее блестели непролитые слезы. Рыцарские чувства и жалость переполнили его сердце.

— Я согласен,— сказал он.— Я согласен с мистером Хируордом Джексоном. Возможно, что медиум, сознательно ли, нет ли, способствовал явлению духа. Но вести были подлинные.

Ее лицо осветилось благодарностью и сразу стало красивым. А он даже не знал ее имени!

— И дух моей крошки в самом деле посетил нас? —с мольбой спросила она.

Мистер Парэм встретился взглядом с сэром Тайтусом, и в глазах его была непреклонная решимость.

— Что-то явилось нам из иного мира,— сказал он,— весть, намек, вздох чьей-то души — называйте как хотите.

И, сказав так, он заронил в душу свою зерно веры. Ибо никогда еще ему не приходилось сомневаться в истинности собственных слов.

— И вам интересно? Вы хотите знать больше? — настаивала миссис Маунтен.

Мистер Парэм сделал еще один шаг: он согласился. В самом деле сэр Басси сказал: «Поди ты»,— или просто это назойливое присловье уже постоянно чудится ему?

— Ну, пора внести во все это какую-то ясность,— сказал Уильямс, в упор глядя на сэра Басси.— Я не ответствен за то, что происходит на сеансах. Я засыпаю. Я, так сказать, не присутствую здесь. Я просто орудие. Обо всем происходящем вы знаете больше моего.

Он мельком взглянул на миссис Маунтен и снова перевел взгляд на сэра Басси. Вид у него был испуганный и в то же время дерзкий, и мистеру Парэму пришел на ум негодяй лакей, который еще служит у старого и доброго хозяина, но замышляет променять его на другого. Ясно как день, что он знает, кто такой сэр Басси, и встречу с ним рассматривает как счастливый случай, который никак нельзя упустить, хотя бы ради этого и пришлось пойти на небольшое предательство. По тому, как он держался, можно было заключить, что тут сегодня не обошлось без жульничества. Хируорд Джексон, конечно, думает так же.

И, однако, мистер Парэм, казалось, верил, и Хируорд Джексон тоже, казалось, верил, что одним лишь обманом не объяснишь все, чему они были сегодня свидетелями. Незаметно для себя мистер Парэм стал на сторону тех, кто считал, что в «этом что-то есть». И с успехом отстаивал эту точку зрения в споре с сэром Тайтусом.

Уильямс долго ходил вокруг да около и наконец выложил то, что было у него на уме.

— Господа, если вы четверо решили заняться этим всерьез и если медиум может надеяться, что с ним будут обходиться не хуже, чем с этими балованными иностранцами, вроде Евы Эс, Юсапии Палладинос и прочими, так он им не уступит, а пожалуй, еще даст несколько очков вперед. Я только орудие потусторонних сил, но ведь у меня никогда не было случая показать в полной мере, на что я способен.

— Поди ты,— сказал сэр Басси.— Ладно, будет у вас такой случай.

Видно было, что такая удача и обрадовала Уильямса и испугала. Он тотчас подумал, что не мешало бы обеспечить себе путь к отступлению. И повернулся к хозяйке дома.

— Меня разденут донага и напудрят мне ступни. При вспышках магния будут снимать меня, когда я стану испускать эманацию. Меня могут и убить. Это не то, что тихие вечера в вашем славном доме. Но когда они проделают все это, им придется меня оправдать, вот увидите. Придется оправдать и меня и вашу веру в меня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СЕАНСЫ В КАРФЕКС-ХАУСЕ

Однажды пустившись вместе со своими друзьями на метафизические опыты, сэр Басси продолжал эти исследования с обычным своим азартным упрямством. Карнак Уильямс был лишь одним из объектов исследования. В литературе о жизни души давно уже установлена та азбучная истина, что чем больше сил медиум отдает материализации и выделению эманации, тем меньше он (или она) способен к ясновидению и передаче посланий духов. Карнак Уильямс должен был совершенствоваться в первом направлении. А тем временем сэр Басси советовался с понимающими людьми и позаботился о том, чтобы к нему почаще являлись наиболее интересные из лондонских ясновидцев.

Карфекс-хаус был очень просторен, и у сэра Басси не было недостатка в секретарях и слугах. Одни комнаты предназначались для опытов по материализации, другие — для приема вестей из потустороннего мира. Проворные и услужливые помощники наизусть выучили имена и занятия советников и препровождали каждого в его апартаменты. Помещения для материализации умело и тщательно подготовил сэр Тайтус Ноулз. Он решил сделать их совершенно духонепроницаемыми, чтобы всякая эманация, которая будет выделена в их стенах, чувствовала себя возможно неуютнее и неприкаянней.

Они с Уильямсом без конца пререкались из-за драпировок, освещения, законности использования магния для моментальной фотографии и прочего. Сэр Тайтус даже восстал, весьма неблагоразумно, против затянутой черным бархатом «кладовой» и лишь очень неохотно дал согласие на то, чтобы Уильямс приличия ради облачился в черное трико.

— Ведь женщин у нас тут не будет,—сказал сэр Тайтус.

Уильямс обнаружил необыкновенно пылкий нрав, а сэр Тайтус — поистине ослиное упрямство; сэр Басси, Хируорд Джексон и мистер Парэм играли роль верховного суда, и ни одна из сторон не была довольна их решениями. Хируорд Джексон постоянно выступал в поддержку Уильямса.

В целом Уильямс добился от них большего, чем сэр Тайтус, главным образом потому, что уж очень недоброжелательно относился к идеям сэра Тайтуса мистер Парэм. А решающее слово постоянно оставалось за мистером Парэмом. С тайным удовольствием он слышал (а несколько раз и сам видел), что эманация выделяется все в большем количестве, каковое явление сэр Тайтус был бессилен объяснить. Установленные правила проведения опытов и опасение, что такой поступок может повлечь за собою смерть его противника, не позволяли сэру Тайтусу просто подскочить и сграбастать эту непонятную штуку. Она, пузырясь, ползла из углов рта Уильямса — отвратительная густая белая масса,— стекала по груди, собиралась на коленях; потом с каким-то ленивым проворством втягивалась обратно. Во время девятого сеанса эта прежде бесформенная масса вдруг ста-

ла напоминать человеческое лицо и кисти рук, и это удалось сфотографировать.

Ясновидящих проверяли и следили за ними не так сурово, как это делалось во время опытов, которые контролировал непосредственно сэр Тайтус, сама природа транса не допускала этого,— и эти исследования давали куда больше, чем все, что мог продемонстрировать Уильямс.

Общение с потусторонним миром не всегда бывало одинаково интересно и содержательно. Один медиум объявил, что с ним беседует краснокожий индеец, и передал кое-какие вести от некоего господина, жившего в Сузах «давным-давно, еще до Авраама». Было очень трудно определить, когда именно дух индейца исчез, уступив место древнему обитателю Суз. Более того, сообщения жителя Суз стали перебивать «враждебные духи», и давно покойные приятели Хируорда Джексона известили присутствующих, что на том свете «великолепно», и что они там чувствуют себя «превосходно», и просили передать это всем и каждому, но, когда им попробовали задать дополнительные вопросы, они исчезли, к великой досаде слушателей. Сэр Басси довольно быстро решил, что «с него хватит этого балагана», и медиуму заплатили и отпустили его на все четыре стороны. Бывали и еще неудачи. Разница была в частностях, но главное — всем опытам попросту недоставало правдоподобия. Сеансы с двумя медиумами-женщинами происходили в первом этаже, а наверху, в особо оборудованном помещении, Уильямс неделю за неделей изливал на холодное и непоколебимое недоверие сэра Тайтуса все более бурные потоки эманации.

Одна из женщин — обитательниц первого этажа, немолодая американка, нимало не интересовала мистера Парэма; вторая была много интересней и привлекательней. Молодая, темнокожая, с необыкновенно красивым овалом смуглого лица, она называла себя вдовой англичанина-коммерсанта с острова Св. Маврикия. Звали ее Нанет Пеншо. Она была более образованна, чем большинство объектов психических опытов, и могла похвастать прекрасными рекомендациями от крупнейших исследователей Парижа и Берлина. Она очень мило, хотя и несколько отрывисто, говорила по-английски. До сих

пор все медиумы, с которыми сталкивались исследователи из Карфекс-хауса, уверяли, что устами каждого из них говорит какой-нибудь определенный дух, миссис Беншо и пожилая американка оказались первыми, кто ничего подобного не утверждал. Американкой транс овладевал, словно какой-то бурный припадок, и ее швыряло поперек кресла в самых неизящных позах. Миссис Пеншо, впадая в транс, сидела, как замечтавшаяся кошечка: голова слегка наклонена, руки деликатно сложены на коленях. Прежде эти женщины никогда не слыхали друг о друге. Одна жила с родными в Хайбэри, другая снимала номер в Кенсингтон-отеле. Но откровения, которые услышали от них сэр Басси и его друзья, были очень схожи. И та и другая утверждали, что ощущают влияние огромной силы из какого-то неведомого источника, сметающее на своем пути все обычные преграды. В иные минуты мистеру Парэму вспоминались древние иудейские пророки, говорившие: «Устами моими вещает господь». Но голос, вещавший устами этих двух медиумов, отнюдь не походил на глас господень.

Вести, которые передавала миссис Пеншо, были полнее, законченней. Американка скорее живописала, чем утверждала что-то определенное. «Где я? — говорила она.— Мне страшно. Вокруг темно. Аркада. Нет, не аркада — коридор. Высоченный, длиннейший коридор. По обе стороны — колонны и лица, на колоннах высечены лица, очень страшные лица. Лики Судьбы! Темно и холодно, и дует ветер. Тусклый свет. Не знаю, откуда он идет. Очень тусклый. По коридору надвигается Дух, он Воля и Могущество, он точно вихрь, он ищет дорогу. Какой огромный и пустынный этот коридор! Я такая маленькая, мне так холодно и так страшно. Я становлюсь еще меньше. Точно сухой осенний лист, меня гонит ветром — дыханием великого Духа. Зачем меня бросили в этом ужасном месте? Выпустите меня! *Ох, выпустите меня!!*»

Ясно было, что она в отчаянии. Она корчилась в кресле, и надо было приводить ее в чувство.

Поразительное совпадение: миссис Пеншо тоже говорила о какой-то огромной галерее, по которой близилось нечто неведомое. Но она не чувствовала, что и сама находится в этой галерее, и не испытывала страха.

— Вижу коридор,— говорила она.— Веяние надежды струится по нему, не знаю откуда. И приближается Могущество. Я словно слышу, как все ближе раздаются тяжкие шаги.

Хируорд Джексон не слыхал этих пророчеств. Тем примечательней, что он привез из Портсмута следующую весть:

— Новый Дух скоро снизойдет на землю. Это предсказывает один человек из Портси. Он медиум, и неожиданно он перестал говорить о чем-либо другом и теперь упорно твердит, что наступают новые времена. К нам *явится* не дух какого-нибудь покойника — нет, это Дух Извне, жаждущий войти в наш мир.

Мистер Парэм нашел, что эти совпадающие предсказания производят внушительное впечатление. С самого начала он внимательно наблюдал за миссис Пеншо и считал ее совершенно неспособной на какой-либо обман, двойную игру или мистификацию. Обычно она была доброжелательна и чистосердечна — и такою же оставалась в трансе. У него были случаи присмотреться к ней не в обстановке спиритического сеанса: дважды он приглашал ее выпить чаю у Рамплмейера, а однажды уговорил сэра Басси прихватить ее в Хэнгер на субботу и воскресенье. Итак, он мог послушать, как она легко и непринужденно болтает об искусстве, о поездках за границу, рассуждает на философские и даже на общественные темы. Она и в самом деле была женщина образованная. Обладала тонким, пытливым и ясным умом. И широким кругозором. И явно наслаждалась беседою с мистером Парэмом. А он говорил с нею, как не часто разговаривал с женщинами, ведь обычно он держался с представительницами слабого пола легкомысленно-игриво либо снисходительно-покровительственно. А тут оказалось, что собеседница способна даже понять его тревогу о судьбах мира, вместе с ним опасается угрозы анархизма и распада самой ткани общества, разделяет его уверенность, что нашей периодической печати необходимо куда более сильное и трезвое руководство. Иногда эта женщина даже предугадывала мысль, которую только еще готовился высказать мистер Парэм. Но когда он стал спрашивать ее о Духе, готовом снизойти на нашу

землю, оказалось, что она понятия об этом не имеет. Во время сеансов она жила совсем иной жизнью, чем в обычное время. Он подарил ей свои книги о Ришелье с дружеской надписью, а также несколько своих более серьезных статей и речей. Она сказала, что его статьи выдающиеся, необыкновенные.

С самого начала она дала понять, что прекрасно сознает, насколько ее новое окружение не похоже на сборище легковерных и любопытных невежд, с которыми обычно приходится иметь дело медиуму.

— Вот жалуются, что духи сообщают все какие-то глупости,— сказала она на первом же сеансе.— А подумал ли кто-нибудь, как вульгарны слушатели, которым приходится передавать эти сообщения?

Но здесь — она это чувствует — собрались совсем другие люди. Она сказала, что ей особенно приятно присутствие сэра Тайтуса: его явное и непримиримое недоверие она ощущает как твердую, надежную почву под ногами. Сэр Тайтус наклонил голову в знак признательности, и, как ни странно, это была не просто ирония. Великие люди вроде сэра Басси, сочувственно настроенные умы вроде Хируорда Джексона, ученость и могучая мысль способны привлечь таких духов и такие силы потустороннего мира, у которых сбивчивые вопросы любопытствующих провинциалов могут вызвать одно лишь презрение.

— И вы в самом деле верите, что вести, которые передаются через вас, — это вести от умерших? — спросил мистер Парэм.

— Ничего подобного,— ответила миссис Пеншо со свойственной ей решительностью.— Я никогда не верила в такую чепуху. Мертвецы ничего не могут. Если эти веяния исходят от людей, переселившихся в иной мир, значит, эти люди еще живут. Но что это за сила, заставляющая меня говорить, я не знаю. У меня нет никаких доказательств, что все или хотя бы большая часть вестей, которые мы получаем, исходят от привидений, если позволительно на сей раз употребить такое старинное слово. Хотя в отношении некоторых вестей это бесспорно.

— Но это не бесплотные духи? — спросил Хируорд Джексон.

— Иногда мне кажется, что тут должно быть нечто большее, нечто иное и гораздо более значительное. Даже когда упоминаются имена покойных друзей. Откуда мне знать? Я — единственная среди вас — никогда не слышала вестей, которые сама же передаю. Может быть, все это обман чувств? Очень возможно. Мы, люди, наделенные сверхчуткой психикой, странный народ. Мы только передаем. А что передаем — мы и сами не знаем. Но вот вы, люди с более устойчивой душевной организацией, должны бы объяснить то, что становится вам известно через нас. Мы связаны тем, чего ждут от нас другие. Если они ждут только вульгарных привидений и разговоров о своих глупых делишках,— что же другое мы можем передать? Как мы можем передавать вещи, в которых они ровным счетом ничего не смыслят?

— Справедливо,— сказал мистер Парэм,— вполне справедливо.

— Если вам внимают более высокие умы, сообщения бывают значительней.

Это тоже звучало убедительно.

— Но есть в этом нечто поразительное, чего наука не умеет объяснить.

— О да, тут я с вами согласен,— сказал мистер Парэм.

На первых сеансах с миссис Піеншо ее устами заговорил некий неэнаемый вестник.

— Я посланник грядущего!— объявил он.

— Отлетевший дух? — спросил Джексон.

— Почему же отлетевший, когда я здесь?

— Но тогда существуют ли ангелы? — спросил мистер Парэм.

(— Поди ты!)

— Посланники. «Ангел» значит «посланник». Да, я посланник.

— Посланный кем-то — или чем-то,— какой-то силой, готовой явиться? — спросил мистер Парэм, и голос его зазвучал ободряюще.

— Посланный тем, кто стремится войти в жизнь, в ком таится великое могущество и кто стремится побороть весь мир.

— Пусть попробует этажом выше,— ехидно заметил сэр Тайтус.

— Здесь, где уже налицо и воля и понимание, он обретет помощников.

— Но кто же это грядущее существо? Жило ли оно прежде на земле?

— Победительный дух, он все еще бодрствует над миром, для сотворения которого он сделал так много.

— Кто же он?

— Кто он был?

— Коридор очень длинный, а он еще далеко. Я устал. И медиум устал. Мне трудно говорить с вами, ибо среди вас есть некто, упорствующий в сомнении. Но я не напрасно трачу силы. И это — только начало. Продолжайте свои искания. Через несколько мгновений мне придется вас покинуть, но я еще вернусь.

— Но для чего он грядет? Что хочет он совершить?

Ответа не было. Медиум — миссис Пеншо — некоторое время оставалась без чувств. Но, и придя в себя, она была еще очень слаба и не сразу покинула Карфекс-хаус, а попросила разрешения прилечь.

Это был первый сеанс с участием миссис Пеншо, и он сильно подействовал на воображение мистера Парэма, запомнился ему. В каком порядке даны были ответы — это он, быть может, помнил не так ясно, но смысл их врезался в память.

Поистине было бы великое чудо, если бы некая новая Сила вмешалась в дела человечества! Ведь так много нужно изменить! Да, чудо просто необходимо. Мистер Парэм все еще несколько скептически относился к мысли, что на землю и вправду готов снизойти некий дух, но так приятно было потешить себя мыслью, будто в загадочных словах медиума скрывается нечто — предвестие грядущих событий.

Подробный отчет обо всех сеансах, и даже только о наиболее успешных, оказался бы слишком длинным и скучным для читателей, не занятых специальным изучением предмета, и бесполезно было бы приводить его здесь. Добрые чувства мистера Парэма к миссис Пеншо очень укрепили то ощущение «наверно, тут что-то есть», которое зародилось у него еще во время сеанса с Уильямсом на Баггинз-стрит. Теперь, когда никто уже не говорил о привидениях и не навязывал ему каких-то незначительных покойников с их малоинтересными при-

хотями, само по себе явление транса стало казаться мистеру Парэму более разумным и правдоподобным. Стало быть, существуют вне нашего мира неведомые силы, они ищут каких-то путей, чтобы вмешаться в людские дела и управлять ими, а для этого им нужен человек, близкий по духу, с сильным характером и чутким умом,— эта мысль глубоко волновала мистера Парэма. Ему представлялись существа, подобные могучим духам, каких вызывают и живописуют Блейк и Дж. Ф. Уотс; в мечтах он по крайней мере рисовал себе величественные образы.

Кто тот великан, что смутно чудится его отзывчивому воображению на сеансах в Карфекс-хаусе? Быть может, это Наполеон? — спросил мистер Парэм, и ответ был: да и нет. Не Наполеон, но больше, чем Наполеон. Быть может, это Александр Македонский? — спросил Хируорд Джексон— и получил в точности такой же ответ. Бродя по улицам или лежа ночью без сна, мистер Парэм ловил себя на том, что мысленно ведет беседы с этим таинственным и грозным духом. И когда мистер Парэм находил в утренней или вечерней газете новые свидетельства бесхребетности в мировой политике и неуклонного нравственного падения народа, ему казалось, что дух этот склоняется над ним и разделяет его мысли.

Он был так поглощен этими двумя ясновидящими, что стал до некоторой степени пренебрегать своей ролью в наблюдениях сэра Тайтуса над Карнаком Уильямсом. Чем дальше, тем ненавистней ему был грубый и ограниченный материализм этого ученого мужа. Ему хотелось думать и знать об этих опытах как можно меньше. Самые обычные замечания сэра Тайтуса по адресу медиумов-ясновидящих вообще и особенно по адресу миссис Пеншо и пожилой американки возмущали его до крайности. Сэр Тайтус был не джентльмен; порой он изрекал почти невыносимые грубости, и несколько раз мистер Парэм готов был сурово его покарать. Он едва удерживался от слов, которые разили бы, как удары. Эти сеансы по материализации были нестерпимо скучны и нудны. На то, чтобы получить ничтожное количество эманации, уходили часы, которые казались веками. И смотреть, в какое замешательство эта эманация приводит сэра Тайтуса, было уже не так приятно, как рань-

ше. По меньшей мере три раза мистер Парэм, не выдержав скуки, засыпал в кресле и потом некоторое время не являлся на сеансы.

Интерес к Карнаку Уильямсу вновь пробудился в мистере Парэме после девятого сеанса, когда в эманации стали ясно различимы лицо и руки. Он был в это время в Оксфорде, но, возвратясь в Лондон, услышал от Хируорда Джексона поразительный рассказ о десятом явлении.

— Сначала, когда появилось лицо, можно было подумать, что это — ваше изображение, только смятое и уменьшенное,— сказал Хируорд Джексон.— А потом оно стало увеличиваться и постепенно приобретало все большее сходство с Наполеоном.

Мгновенно все это соединилось с представлением мистера Парэма о Великом Духе, чье грозное присутствие ощущала миссис Пеншо во время опытов в Карфекс-хаусе. И то, что вначале таинственное лицо имело сходство с ним самим, тоже странно взволновало мистера Парэма.

— Мне надо это видеть,— сказал он.— Да, я непременно пойду и опять посмотрю эту самую материализацию. Не годится мне так долго оставаться в стороне, это нехорошо по отношению к сэру Тайтусу.

Он обсудил все это с миссис Пеншо. Судя по всему, она понятия не имела о том, что происходит этажом выше,— и она сочла весьма примечательным совпадением, что три разных медиума упоминают о Наполеоне. Ведь и американка в своих беспорядочных, но волнующих сообщениях говорила о Бонапарте, Саргоне и Чингис-хане.

Казалось, со всех сторон затрубили трубы, возвещая Неведомое.

И опять мистер Парэм стал свидетелем долгих часов безмолвия, скуки и беззвучных напряженных сражений сэра Тайтуса с Уильямсом. Это было под вечер, и он знал наверняка, что в ближайшие два-три часа, уж во всяком случае, ничего не произойдет. Хируорд Джексон, видимо, был настроен радужнее и спокойно предвкушал события. Сэр Басси с нетерпением, возраставшим от сеанса к сеансу, пытался сократить или хотя бы ускорить обычную процедуру раздевания, обыскивания, на-

ложения меток и печатей. Но все его усилия ни к чему не вели.

— Раз уж вы втянули меня в это дело,— скрипучим голосом заявил сэр Тайтус, — я ни на волос не отступлю от своих предосторожностей, пока не докажу вам на деле раз и навсегда, что все эти мрачные истории с привидениями — просто дурь и жульничество. Мне не жаль заплатить любую цену за полное и окончательное разоблачение. Если кому-нибудь надоело и он хочет уйти, пусть уходит. Лишь бы какие-то свидетели остались. Но теперь, когда мы уже зашли так далеко, я ни за что не стану делать дело спустя рукава.

— А поди ты! — сказал сэр Басси, и мистер Парэм почувствовал, что все эти исследования в любую минуту могут кончиться скандалом.

Коренастый сэр Басси уселся поудобнее в кресле, рассеянно подергал нижнюю губу и потом, казалось, погрузился в глубокое раздумье.

Наконец все хлопоты остались позади и началось бдение. Наступила тишина — и длилась, и разливалась все шире, и окутывала мистера Парэма все плотнее и плотнее. Смутно виднелось на бархатно-черном фоне ниши лицо Уильямса. Теперь он долго будет лежать с раскрытым ртом, и негромко стонать, и храпеть, и ворочаться с боку на бок. И всякий раз мистер Парэм слышал порывистое движение: сэр Тайтус был начеку.

Немного спустя мистер Парэм почувствовал, что глаза его слипаются. Но — странное дело,— хотя веки его сомкнулись, он все еще видел бледный лоб и скулы Уильямса.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

Некоторое время спустя мистер Парэм перестал дивиться тому, что умственный взор может проникать и сквозь сомкнутые веки, и стал следить за редкостным потоком эманации, которую испускал медиум. Началось

все, как обычно,— слегка светящаяся эманация едва сочилась из уголков рта, но теперь она текла значительно быстрее, стекала с шеи, плеч, рук, со всего смутно очерченного во тьме тела. Она фосфоресцировала сперва зеленоватым светом, потом желтовато-зеленым. Эманация стекала так быстро, что по контрасту казалось, будто Уильямс съеживается и усыхает, а может быть, это и в самом деле так было.

Трудно сказать, но это истечение материи было поразительно. На это явно стоило поглядеть, думалось мистеру Парэму. Хорошо, что он пришел. Теперь эманации вполне хватит, чтобы заткнуть глотку сэру Тайтусу. Недаром сэр Басси, затерявшийся где-то тут, рядом, во тьме, шепчет свое «поди ты». Эманация уже не была прежней мертвой материей. Она не просто выделяется, течет и ниспадает, точно безжизненная жирообразная масса. Она стала иной. Обрела жизненные силы. Она уже не слизистая, а скорее стекловидная. Ее края приподнимаются и тянутся к зрителям, точно разбухшие псевдоподии, точно слепая амеба, точно ищущие кого-то пальцы, точно окутанные пеленой призраки.

— Ого! — сказал сэр Тайтус.— Этого я уже не понимаю.

Хируорд Джексон что-то бормотал и вздрагивал.

Странное это было зрелище. Тупые выступы дотрагивались друг до друга и сливались. Они дрожали, приостанавливались, вновь двигались вперед. И росли с поразительной быстротой. Тоненькие усики в мгновение ока становились длинными пальцами, а еще через секунду толстыми обрубками. Они были прозрачны или по крайней мере полупрозрачны, и внутри виднелись токи беловатой и слабоокрашенной материи — так в микроскоп видны движения протоплазмы в амебе. Они все росли, все больше сливались друг с другом.

Еще несколько секунд или несколько минут назад — трудно сказать, сколько именно ушло времени на эти превращения,— выступы были похожи на щупальца, на губчатые, тупые отростки. Теперь они срастались, соединялись, утолщались, сливались все теснее, становились все больше и больше похожи на неуклюжее, в муках

рождающееся единое целое. Токи, стремящиеся взад и вперед внутри него, становились все быстрее, все больше переплетались. Ярче становились краски. Теперь уже можно было различить красные и лиловатые прожилки, тончайшие сверкающие белые линии и бледно-кремовые полосы. И во всех этих движениях появился какой-то порядок.

Да ведь это кости, нервы и кровеносные сосуды выбираются из водоворота и устремляются по своим местам, внутренне ахнув, подумал мистер Парэм. Возможно ли? Почему он всем существом чувствует, что перед ним живая ткань? Потому что в ней колоссальная сила убеждения. Пока он всматривался и изумлялся, внутреннее движение эманации стало видно смутно. Словно какая-то пленка затягивала ее. Отчего тускнеют эти водовороты эманации? Да ведь эту бурлящую массу затягивает непрозрачная кожа. Масса становится все менее и менее прозрачной и наконец превращается в непрозрачное тело. Мистер Парэм был так захвачен происходящим, его собственные нервы и сосуды так дрожали от напряжения, словно это его самого творили у него на глазах.

Масса стала приобретать более определенные очертания, знакомые формы. Сперва стало вырисовываться смутное подобие головы и плеч. Почти тотчас определилось лицо, все еще чуть просвечивающая маска, потом волосы, уши — и вот уже вся голова и плечи как бы восстали из груди изнемогшего медиума; то была верхняя половина странного существа, нижние конечности которого еще оставались жидкими и смутно видимыми. Холодное, красивое лицо с твердым ртом и слегка презрительным взглядом смотрело на присутствующих.

И, однако, странное дело, лицо это было очень знакомо мистеру Парэму.

— Нет, это выше моего понимания,— произнес сэр Тайтус.

— Ничего подобного я не ожидал,— сказал Хируорд Джексон.

Мистер Парэм был всецело поглощен видением, так необычайно похожим на него самого. Сэр Басси на сей раз был даже не в силах вымолвить свое «поди ты».

Еще минута, а может быть, еще полчаса, и пришелец был сотворен. Он был одного роста с медиумом, тоньше и выше Наполеона, но отмечен печатью той же байронической красоты. На нем была белая шелковая рубашка с открытым воротом, штаны до колен, светлосерые носки и туфли. От него, казалось, исходило сияние. Он сделал шаг вперед, а Уильямс, словно пустой мешок, свалился со стула и лежал всеми забытый.

— Зажгите свет,— произнес твердый, ясный, мелодичный и ровный голос и умолк, выжидая, пока его приказание будет исполнено.

И тут стало ясно, что сэр Тайтус заранее приготовил сюрприз. Он наклонился со стула, тронул кнопку на полу, и в комнате ярко вспыхнули десятка два электрических лампочек. Когда тьма сменилась светом, все увидели его согнутую фигуру, и сразу же он снова распрямился и сел. На его мертвенно-бледном лице был написан ужас; высокий лоб сморщился, собрался в тысячи складок. Никогда еще скептик не был так посрамлен, никогда еще неверующий не был так внезапно обращен. Высокий гость улыбнулся его смятению и кивнул. Подле сэра Тайтуса застыл Хируорд Джексон, пораженный изумлением и восторгом. Сэр Басси тоже вскочил. Всегдашней отчужденности как не бывало. Никогда еще мистер Парэм не замечал в нем такого живого интереса.

— Несколько лет искал я путь в этот мир,— сказал гость.— Ибо я нужен ему.

В тишине несмело прозвучал голос Хируорда Джексона:

— Ты явился из иного мира?

— С Марса.

Все растерянно молчали.

— Я к вам явился с алой планеты, с планеты крови и мужества,— сказал гость, и минуту в комнате царило напряженное ожидание. Потом он вновь заговорил.

— Я Владыка Дух, я испытую и очищаю людские души. Я дух человечества, дух власти и порядка. Вот почему я пришел к вам с подвластной мне суровой планеты. Мир ваш погружается во тьму и хаос, его разъедают сомнения, он предается ложным исканиям, духовному разврату, он вял и бессилен, он уклоняется от борь-

бы, он развращен изобилием, доставшимся без труда, безопасностью, не требующей бдительности. Ему не хватает сильной руки. Те же, кто мог бы взять его в руки, не сумели возвысить голос. Туманные и бессмысленные мечты о всеобщем мире искушают сердца людей и ослабляют их волю. Жизнь есть борьба. Жизнь есть напряжение всех сил. Я пришел пробудить в людях забытое ими сознание долга. Я принес не мир, но меч. Не впервые пересекаю я межпланетную бездну. Я несу духовное обновление, исцеляю души людские. Я огненный стяг. Мною жива история. Я вселялся в Саргона, в Александра, в Чингис-хана, в Наполеона. И вот я среди вас, отныне вы мое орудие, мои слуги. На сей раз избранный мною народ — англичане. Настал их час. Ибо, хоть они и не умеют выразить себя, они все еще великий народ, достойный удивления. Я пришел в Англию, которая трепещет на грани падения, пришел возвысить ее, и спасти, и вернуть ее на путь силы, и славы, и господства.

— Ты пришел в наш мир, чтобы остаться здесь? — В голосе Хируорда Джексона была глубокая почтительность, но и глубокая растерянность.— Владыка! Ты не плод нашего воображения? Ты из земной материи? Из плоти и крови?

— Я еще не воплотился до конца. Но это мы скоро исправим. Мой честный Вудкок позаботится, чтобы внизу меня накормили, и предоставит свой дом в мое распоряжение. Мне нужно мяса, отличного мяса, и побольше. Пока я все еще частично завишу от мерзкой эманации этого ничтожества. Я еще наполовину призрак.

Он без всякой благодарности взглянул на Карнака Уильямса, который сделал свое дело и теперь, точно пустой мешок, валялся в тени, возле кладовки. Никто не пришел ему на помощь.

Хируорд Джексон наклонился, всматриваясь.

— Он умер? — спросил он.

— Фу! Вот какими средствами приходится пользоваться! — сказал Владыка Дух с нескрываемым отвращением.— О нем не тревожьтесь. Оставьте в покое этот хлам. Но вы мне нужны. Вы будете мои первые сотрудники. Вудкок, мой Красс, будет интендантом.

— Еда внизу,— медленно и неохотно отозвался сэр Басси, но ослушаться он все же был не в силах.— Кто-нибудь из слуг, наверно, еще не спит. Мясо для вас найдется.

— Идемте вниз. Вино есть? Красное вино. А пока я буду есть, и пить, и превращать свое тело, еще почти невесомое, в грубую плоть, мы побеседуем. У нас вся ночь впереди — будем беседовать и обдумывать свои дальнейшие действия. Вы трое и я. Вы пробудили меня, вызвали, и вот я перед вами. Нечего теперь хмуриться и сомневаться, сэр Тайтус, прошли те дни, когда вы могли громогласно все отрицать. Скоро я дам вам пощупать мой пульс. Какая дверь ведет вниз? А это буфет, да?

Хируорд Джексон подошел к двери, ведущей в коридор, и распахнул ее. Мистеру Парэму коридор показался и больше и светлее, чем прежде. Да и все теперь казалось крупнее. И в свете этом сияла яркая и радостная надежда. Двое других вышли из комнаты вслед за Владыкой Духом. Они были ошеломлены. Они были поражены и послушны.

Но кого-то не хватало! На мгновение это озадачило мистера Парэма. Он пересчитал: сэр Басси — раз, сэр Тайтус — два и Хируорд Джексон — три. Но был ведь еще кто-то. Да, конечно!.. Он сам! Где же он?

У него голова пошла кругом. Почва уходила у него из-под ног. Да полно, здесь ли он в самом деле?

И тут он постиг, что, незаметно для него самого, каким-то непостижимым образом в него вселился Владыка Дух. Он ощутил, что им завладела некая могучая воля, что небывалые силы влились в него, что он — это он и в то же время некто несравнимо более могущественный, что никогда еще его мысль не была столь ясной, сильной, уверенной. Остальные безмолвно приняли это поразительное и, однако, незаметное слияние.

— Нам надо поговорить! — прозвучал его голос, но голос этот обрел новую звучность, и красивая белая рука взметнулась вверх и легким движением повелела спутникам ускорить шаг.

И они повиновались! Быть может, удивленно и неохотно, но повиновались.

КНИГА ТРЕТЬЯ

НАКОНЕЦ-ТО СИЛЬНАЯ РУКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРИЗЫВ

Евангелие Верховного лорда Английского было кратким и ясным.

Воплотившись в хрупкую оболочку мистера Парэма, старшего преподавателя колледжа Сен-Симона, публициста и историка, поддержанный с первых шагов богатством непривычно покорного сэра Басси, которым он распоряжался без малейшего стеснения, опекаемый благоговейно преданным Хируордом Джексоном и усмиренным и убежденным сэром Тайтусом Ноулзом, взявшим на себя все заботы о его драгоценном здравии, Владыка Дух не спеша, но и не медля завладел воображением страны. Не медля, но и без лишней спешки он принялся за дело, ради которого явился на землю в образе человеческом.

Он безошибочно избрал и привлек к себе приверженцев и развил деятельность, которая у человека менее значительного выглядела бы пошлой саморекламой. Всякому, кто становится во главе масс, без этой начальной стадии не обойтись. Ведь прежде всего надо снискать известность. Пошлая слава — вот путь к владычеству. Именно этим путем должны идти к власти люди возвышенного ума — если им вообще суждено прийти к власти. Цезарь и Наполеон начинали свою карьеру без-

застенчивой саморекламой, которая велась всеми существовавшими в их время средствами. Да иначе и быть не могло.

Англия устала от парламентского правления, устала от консерваторов, которые не желали свести к минимуму налоги на собственность и на предприятия, и от либералов, которые и не думали по-настоящему заботиться о росте вооружений при малых расходах, устала от бестолковой свары либералов с лейбористами, устала от призрака растущей безработицы, устала от народного образования, религиозных споров и неустойчивости в делах, разочаровалась в мирной жизни и измучилась ожиданием войны, стала неврастеничной, болезненно чувствительной и глубоко несчастной. Газеты, которые она читала, нападали на правительство, но не поддерживали и оппозицию. Политика не могла обойтись без выпадов против личностей, но все эти личности были либо явно недостойные, либо добросовестно тупые. Все обливали друг друга грязью. Торговля шла через пень-колоду, новое изобретение — говорящее кино — оказалось ужасным разочарованием, излюбленное развлечение на лоне природы — крикет становился день ото дня скучнее, и всех сводил с ума страх перед испанкой. Только примешься за какое-нибудь дело, а она уж тут как тут. Критика и литература поощряли любое несогласие со старыми взглядами и не поддерживали никаких надежд на перемену к лучшему. Превыше всего ставился бесцельный скептицизм. Никто, казалось, не знал, к чему стремиться и что делать. Падала рождаемость, и смертность тоже падала,— и то и другое свидетельствовало о всеобщей нерешительности. Погода стояла унылая, ненадежная. Всеобщие выборы никого не удовлетворили. Власть перешла из рук пусть вялого, но преданного консервативного большинства, верного славным традициям расширения империи, в руки приверженцев туманного и сентиментального идеализма, в который никто не верил[1]. Страна созрела для великих перемен.

Верховный лорд все еще в хрупкой оболочке исчезнувшего мистера Парэма взошел благодетельной звездой

[1] В результате парламентских выборов 1929 года консерваторы потерпели поражение и было сформировано второе лейбористское правительство во главе с Макдональдом.

на британском небосклоне: это было на общем собрании Объединенных Патриотических обществ, созванном в Альберт-холле без особой надежды на успех, чтобы выразить протест членам парламента, которые, попусту проводя время в его стенах, склонны потакать своим собратьям безработным, попусту проводящим время вне его стен. Когда он поднялся на трибуну, его не знал никто, кроме нескольких избранников. Когда среди неистовой бури восторга он наконец вернулся на свое место, он был уже признанный вождь национального возрождения. Об оставшихся вопросах повестки дня никто и не вспомнил, они были смыты неистовой бурей восторга, захлестнувшей трибуну.

И, однако, этот дебют не потребовал от него почти никаких ухищрений. Его ясный, проникающий в душу голос был слышен в самых дальних рядах огромного зала; бледное, красивое лицо, вновь и вновь озаряемое ослепительной, чарующей улыбкой, приковывало все взоры. Он держался просто и ненавязчиво, и, однако, все его существо излучало какое-то удивительное обаяние. Жесты его были скупы, но выразительны, чаще всего он выбрасывал вперед свою прекрасной формы руку.

— Кто этот человек? — шептали тысячи уст.— Почему мы не знали его до сих пор?

Его речь была начисто лишена каких бы то ни было риторических приемов. Вернее всего сказать, что речь его была потрясающе проста. В давно знакомые, приевшиеся понятия он вдохнул новую жизнь. Он преподносил слушателям одну банальность за другой, как войска несут освященные веками стяги, и одно знакомое слово следовало за другим, точно изгнанные вожди, которые вернулись к своему народу освеженными и обновленными. Точно и кратко он изложил самую суть речей предыдущих ораторов. Иные ораторы были, быть может, излишне ворчливы, другие тонули в мелочах, третьи страдали многословием, и просто непостижимо, как он выхватил из этого искреннего, но жалобного потока слов самую жгучую суть, точно пылающее сердце, и выставил его всем напоказ — трепетное, потрясенное гневом. Это правда, признал он, что под ядовитым влиянием иностранных агитаторов наш рабочий

класс вырождается на глазах; это правда, что искусство и литература стали разносчиками загадочного недуга; правда, что наука вредна и источает скверну, и даже духовных пастырей и проповедников точит червь сомнения. Это правда, что, испив отравленный кубок наслаждения, наша молодежь забыла о скромности и что растущие толпы безработных, как видно, и не хотят найти себе какое-либо занятие. И, однако...

Долгую минуту он держал огромный зал в напряженном ожидании — что же кроется за этой многообещающей паузой? А потом голосом негромким, ясным и звучным он заговорил о том, чем была Англия для человечества и чем она еще может стать, чем может стать этот островок, этот бриллиант на челе мира, драгоценный бриллиант в короне империи, оправленный в серебро вспененных бурных морей. Ибо в конце концов наши рабочие — если их оберегать от дурных влияний — все еще лучшие в мире, а сыновья и дочери их — наследники величайших традиций, высеченных в тигле времени. (Поправляться некогда; пусть так. Смысл все равно ясен.) С первого взгляда может показаться, что наша отчизна поддалась усталости. Тем безотлагательнее должны мы отбросить все личины, все ложные представления и в годину тяжких испытаний вновь явиться миру могучим племенем, племенем отважных искателей и вождей, каким мы были во все времена. Но...

И снова пауза, на сей раз короткая; и на всех лицах напряженное ожидание.

Неужели мы отбросим нашу гордость, простимся с нашими надеждами ради того, чтобы содействовать интригам горстки болтливых политиканов, их приспешников и одураченных ими простофиль? Неужели Британию вечно будет вводить в заблуждение ее страсть к выборным руководителям и подлинный голос нашей великой нации вечно будет подменять скука и бесчестность давным-давно изжившей себя парламентской системы? За годы мучительного нетерпения дух страстного отрицания поселился в наших возмущенных сердцах. Позаимствуем формулу из неожиданного источника. Несчастные бунтари, самое крайнее крыло социалистической партии, крыло, существование которого социалистическая партия рада бы отрицать, большевики, комму-

нисты, Кук, Макстон[1] и иже с ними, пользовались формулой, которая им не по плечу. Формула эта — прямое действие. Таким, как они, не дано провести в жизнь столь грандиозный лозунг. Ибо прямое действие может быть великим и славным. Оно может быть карающим мечом справедливости. Может быть подобно громам небесным. Для всех честных мужчин и преданных женщин, для всего, что есть подлинного и жизнеспособного в нашем народе, настало время, пробил час подумать о прямом действии, приготовиться к прямому действию, закалить для него свои души, чтобы оно не застигло их врасплох, чтобы, уверенно начав, не отступать, разить и не давать пощады.

Несколько мгновений Владыка Дух был подобен умелому пловцу в бурном море рукоплесканий. А когда буря вновь сменилась благоговейной тишиной, он коротко набросал план действий и в заключение сказал так:

— Я зову вас вернуться к истинным непреложным основам жизни. Я стою за вещи простые и ясные: за короля и отечество, за религию и собственность, за порядок и дисциплину, за пахаря на земле, за всех, кто делает свое дело и исполняет свой долг, за правоту правых, за святость святынь — за извечные устои человеческого общества.

Он остался на трибуне. Голос его замер. Несколько секунд стояла глубокая тишина, потом долгий вздох разом вырвался из всех грудей и сменился несмолкаемым громом оваций. Говорят, английскую аудиторию трудно взволновать, но сейчас она воспламенилась восторгом. Все повскакали с мест. Все размахивали руками, стараясь дать выход чувствам. Казалось, весь огромный зал неудержимо стремится к своему владыке и повелителю. Всюду блестящие глаза, протянутые руки.

— Укажи, что нам делать! — кричали сотни людей.— Направь нас. Поведи!

Новые толпы, казалось, вливаются в зал, а те, что были здесь с самого начала, теснились в проходах. Как откликнулись они на его призыв! Бесспорно, из всех та-

[1] Кук, Артур Джеймс (1884—1931) — один из руководителей английских горняков, лейборист. Макстон, Джеймс (1885—1946) — лидер лейбористов, член парламента.

лантов, которыми господь наделяет человека, скорее всех вознаграждается красноречие! Верховный лорд взирал на эту покоренную толпу и про себя, вновь обретя былую веру, возблагодарил господа.

Надо было дать какой-то выход их чувствам; надо было немедленно что-то предпринять.

— Что же мы им предложим? — настойчиво спрашивал председатель.

— Создадим лигу,— просто ответил Владыка.

Подняв руки, председатель потребовал тишины. Тонким голосом он снова и снова повторял слова Владыки.

— Да-да, создадим лигу! — загремел зал. — Как ее назвать?

— Лига долга,— предложил Хируорд Джексон, которого толпа прижала к Владыке.

— Лига верховного долга,— бросил Владыка. Голос его, точно меч, рассек гул толпы.

Толпа всколыхнулась. Последовали короткие речи, их слушали жадно, но нетерпеливо. Кто-то предложил назвать лигу «Фашисты Британии». Послышались крики: «Британские фашисты» и «Английский дуче» (чужеземное слово это произносили всяк по-своему). Молодые англичане, еще недавно вялые и ко всему равнодушные, вытянулись и отсалютовали на манер итальянских фашистов, и при этом во всем облике их появилось нечто от сурового достоинства римских camerieri [1].

— Кто он? — пронзительно крикнули из зала.— Как его зовут? Он наш вождь. Наш душка! Пусть ведет нас.

— Дуча! — поправили его.

Крики, сумятица, и, наконец, поднялось, окрепло, зазвучало на весь зал:

— Лига верховного долга! Верховный Владыка! Верховный лорд!

— Кто за верность? — крикнул во все горло высокий разгоряченный человек рядом с Владыкой Духом, и тотчас вырос лес рук. Поразительное это было сборище: юноши и старцы, красивые женщины, стройные девушки, точно языки пламени, и возбужденные пожилые люди, рослые и маленькие, полные и худые — все слились в едином порыве неслыханного энтузиазма, многие разма-

---

[1] Лакеев *(итал.)*.

хивали тростями и зонтиками. Никакая самая пылкая вера не рождала столь бурного взрыва чувств. И все взоры в этой огромной волнующей толпе были прикованы к спокойному, решительному лицу Владыки Духа.

Слепящие бледно-лиловые вспышки свидетельствовали о том, что многочисленные представители прессы пустили в ход свои фотоаппараты.

— Пусть здесь будет наша штаб-квартира. Внесите всех в списки,— распорядился Владыка Дух.

Тут его тихонько дернули за рукав. Это была первая из многих несмелых попыток одернуть его, с которыми ему суждено было столкнуться даже на первых ступенях своего триумфального восхождения.

— Этот зал в нашем распоряжении только до полуночи,— сказал какой-то невзрачный навязчивый человечек, совершенно неуместный здесь.

— Это неважно,— сказал Владыка Дух, собираясь покинуть зал.

— Но нас выгонят,— настаивал человечек.

— Нас выгонят? Никогда!— возразил Владыка Дух, мановением руки указывая на толпы своих приверженцев, на грозные силы, которые он вызвал к жизни, и ожег маловера горящим взором.

Но человечек не унимался.

— Они выключат свет.

— Охраняйте рубильники! И пусть органист не играет Национальный гимн, пока ему не скажут. А пока идет запись в Лигу, пусть играет что-нибудь мажорное.

Робкий человечек исчез, другие, более решительные, исполнили веления Владыки. «Нас выгонят». Ну, нет! После недолгих переговоров органист пообещал не оставлять поста, пока ему не найдут достойную замену, и заиграл «Господь опора наша от века и до века» с вариациями, порой сбиваясь на «Вперед, Христово воинство» и «Правь, Британия», и под эту величественную музыку родилась Лига верховного долга.

Запись продолжалась до рассвета. Записались тысячи. Бесконечным потоком они текли мимо столиков. Глаза горели, носы напоминали о первом герцоге Веллингтонском, подбородки все больше выдавались вперед. Поразительно, сколько целеустремленных, энергичных людей вместил Альберт-холл...

На сегодня Владыка закончил свои труды. Он выиграл первый бой на пути к власти. Когда он спускался по ступеням, покрытым блеклым сукном, его со всех сторон поддерживали почтительные руки. Он оказался в небольшой приемной, и Хируорд Джексон подал ему стакан воды. Окруженный самыми пылкими приверженцами Владыки, тут же стоял председатель собрания. В этот избранный кружок ухитрилась проникнуть и миссис Пеншо, она не произносила ни слова, но на смуглом лице ее было написано безграничное восхищение. Глаза ее светились сочувствием.

— Для утренних газет уже поздно,— сказал председатель.— Но мы позаботимся, чтобы в вечерних газетах был полный и точный отчет. Великолепная речь, сэр! Вы позволите фотографам из иллюстрированных газет сделать несколько снимков?

— Пусть их,— ответил Владыка Дух. Он чуть подумал и продолжал: — Меня можно видеть в Карфекс-хаусе. Там будет моя штаб-квартира. Пусть приходят туда.

Он одарил председателя своей ослепительной улыбкой, точно солнечным лучом, коснулся ею миссис Пеншо и удалился.

— Не устали, сэр? — с тревогой спросил в автомобиле Хируорд Джексон.

— Усталость не мой удел,— ответил Владыка Дух.

— У меня есть превосходное тонизирующее средство. Могу дать вам в Карфекс-хаусе,— предложил сэр Тайтус.

— Что мне лекарства, когда мною движет долг,— сказал Владыка Дух, привычно взмахнув рукой.

Однако он ощущал усталость, и, как ни странно, на самый короткий миг в нем шевельнулась тревога. Было одно пятнышко, омрачавшее блеск его триумфа. Эти двое, без сомнения, преданны ему, и Джексон глубоко взволнован сегодняшней победой, но... в автомобиле не хватает третьего.

— Кстати,— сказал Владыка Дух, покойно откинувшись в комфортабельном «роллс-ройсе» и с видом полнейшего безразличия закрывая глаза,— где сэр Басси Вудкок?

Джексон задумался.

— Он ушел. Давно ушел. Вдруг встал и вышел.

— Он что-нибудь сказал?

— Д-да... свое обычное «поди ты».

Владыка Дух открыл глаза.

— Надо за ним послать... если его нет в Карфекс-хаусе. Он мне понадобится.

Но в Карфекс-хаусе сэра Басси не было. Он не возвращался к себе. Однако дом был в полном распоряжении Владыки Духа и его свиты. У прислуги все было наготове, и мажордом предложил позвонить сэру Басси в Мармион-хаус. Но если оттуда и ответили, ответ этот не достиг ушей Владыки Духа, и на следующее утро сэра Басси все еще не было. Он явился лишь к концу дня и в своем собственном доме, уже успевшем превратиться в улей, заселенный деловитыми и воинственными личностями, оказался сторонним наблюдателем. В отсутствие законного хозяина дома полным ходом шло создание штаба Владыки Духа и распределение комнат между секретарями, которых он успел нанять. Среди секретарей самой энергичной и умелой его помощницей была маленькая миссис Пеншо, медиум. Остальных набрали из оксфордского кружка «Питомцев Парэма».

На следующее утро после встречи с фотографами Владыка Дух отправился на машине в Хэрроускую военную школу, где быстро организовали его выступление перед воспитанниками. Речь его мало отличалась от той, что он произнес в Альберт-холле, и восторженный прием, оказанный ему великодушной молодежью, чьими наставниками были люди военные, вдохновил его и обрадовал. Пока он завтракал с начальником школы, эти славные ребята, не думая о еде, помчались облачаться в парадную форму; они устроили для него на прощание нечто вроде парада и проводили его криками: «Лига верховного долга!» и «Мы готовы!»

В этот день в Хэрроу больше уже никто не думал о занятиях.

В репортерах недостатка не было, и назавтра все утренние газеты поместили полный отчет о происшедшем и множество фотографий. Таким образом, призыв Верховного лорда дошел до самых широких кругов и не оставил их равнодушными

К концу следующего дня триумф повторился на футбольном поле в Итоне.

Ему пора было явиться, его давно ждали. Через две-три недели вся империя знала о Лиге верховного долга и о пришествии Верховного Владыки (официальный титул Верховный лорд был ему присвоен позднее), призванного вернуть Англию на путь, с которого она сбилась. Влиятельнейшие газеты поддержали его с самого начала; лорд Ботерми стал его преданным знаменосцем, и все доступные прессе средства были поставлены ему на службу. В передовых статьях, которые показались бы грубо льстивыми, будь они обращены к вождю из простых смертных, его торопили бесстрашно осуществить свою миссию, руководить и подавлять. Он мгновенно и безраздельно завладел сердцами армии, флота, авиации, в особенности сердцами самых юных и старейших офицеров. Литература сбросила путы мелкотравчатости и скептицизма и вырвалась в первые ряды его сторонников. Мистер Бладред Хиплинг, имперский лауреат, сочинил в его честь свою лебединую песнь, а мистер Бернардин Шо, восхищенный падением гнусного племени политиканов, наводнил газеты открытыми письмами, в которых ставил его выше Муссолини. На Фондовой бирже его добрых двадцать минут приветствовали восторженными криками. Избирателей прекрасного пола он покорил en masse[1] своим байроническим профилем, изящными жестами и неотразимой улыбкой.

Англия упала ему прямо в руки, точно созревший плод. Ему оставалось только взять на себя исполнительную и законодательную власть.

ГЛАВА ВТОРАЯ

COUP D'ETAT[2]

Владыка Дух не знал сомнений. В мундирах кромвелевского покроя, выбранных после того, как было тщательно изучено, в каком именно костюме приличествует

[1] Всех разом *(франц.)*.

[2] Государственный переворот *(франц.)*.

свергать законодательную власть, сшитых замечательно быстро по особому заказу, главари Лиги верховного долга в сопровождении телохранителей, вооруженных револьверами и мечами, и предводительствуемые самим Владыкой Духом, направились в Вестминстер, а следом двинулась многотысячная манифестация. Парламент был окружен. Полиция почти не сопротивлялась, ибо полицейский комиссар столицы и сам был человек властный и хорошо понимал, что происходит в мире. Была сделана чисто формальная попытка заставить этот исторический марш на Вестминстер свернуть в сторону, к Челси, словно речь шла просто об уличном движении; когда это не удалось, полиция, в соответствии с заранее разработанным планом, покинула здание, построилась по всем правилам на Парламентской площади и гуськом зашагала прочь, оставив парламент в руках Лиги. В одном из коридоров победители наткнулись на отчаянное сопротивление мисс Эллен Уилкерсон, но через несколько минут подошли подкрепления, и она уступила превосходящим силам противника. «Говорильня» пала.

В палате общин шло заседание, и, видно, никто не знал, как положить ему конец. Владыка Дух со всем своим штабом — кроме сэра Басси, который опять куда-то исчез,— вошел через дверь для публики и центральным проходом направился к спикеру. У многозначительной коричневой полосы, пересекающей зеленый ковер, он резко остановился.

Когда эта высокая, стройная и, однако, исполненная важности фигура в сопровождении преданных, завороженных офицеров остановилась перед спикером и его двумя приспешниками в париках, напряжение в зале достигло предела. Кто-то включил звонки, призывающие голосовать, и зал теперь был битком набит, лейбористы сгрудились слева от своего главы — возвышавшегося над всеми грузного Бенуорти. Почти не слышно было ни разговоров, ни шума. Огромное большинство членов палаты попросту разинуло рты. Иные были возмущены, но большинство правых встретили Владыку Духа с явным сочувствием. Наверху служители без особого успеха пытались очистить галереи для публики и для почетных гостей. Репортеры смотрели во все глаза или судорожно строчили, а переполненная галерея для дам

сверкала всеми красками. В буфете и курительных комнатах телеграфные ленты, как всегда, с педантичной точностью сообщили: «Диктатор во главе вооруженного отряда входит в палату. Заседание прервано»,— и на этом прекратили свою высокополезную деятельность. За креслом спикера выросло несколько десятков телохранителей с обнаженными шпагами, они выстроились в ряд слева и справа и застыли, отдавая честь.

Лишь человек, начисто лишенный воображения, мог не думать о глубоком историческом значении происходящего, а Владыка Дух наделен был самым живым воображением. Его суровую решимость смягчило, но не поколебало невольное благоговение перед грандиозностью свершенного им. В эту палату, если не в этот самый зал, вступил Карл Первый в поисках своей трагической судьбы, и роковой путь этот закончился для него в Уайтхолле, а после него — Кромвель, великий предтеча сегодняшнего дня. Здесь, в бесчисленных бурях и спорах, строилось и перестраивалось здание величайшей в мире империи. На этой арене вступали в бой могучие правители — Уолпол и Пелхем, Питт и Борк, Пиль и Пальмерстон, Гладстон и Дизраэли. А ныне это некогда столь могущественное собрание стало пошлым, дряхлым, лейбористским, болтливым, бездеятельным, и вот наступает день обновления, возрождения Феникса. Серьезный, чуть печальный взор Владыки Духа, словно в поисках совета, обратился на лепной потолок, а потом в задумчивости упал на «эту игрушку» — брошенный на столе жезл[1]. Казалось, прежде чем заговорить с облаченным в парик и мантию главою этого почтенного собрания, он задумался на минуту о великой задаче, которую взял на себя.

— Мистер спикер,— сказал он,— я вынужден просить вас покинуть председательское место.— Он полуобернулся к правительственным скамьям:— Джентльмены, министры короны, я бы посоветовал вам без возражений передать ваши портфели моим секретарям. Ради блага королевства его величества, ради нашей могущественной империи я вынужден на время отнять их у вас.

---

[1] Разогнав парламент, Кромвель назвал жезл спикера игрушкой.

Когда Англия вновь обретет себя, когда восстановится ее душевное здоровье, ей будут возвращены и исконные свободы слова и собраний.

На несколько долгих минут все застыли в напряженном молчании, словно то были не люди, а восковые куклы. Все это походило на какую-нибудь знаменитую историческую сцену в музее мадам Тюссо. Казалось, это уже история, и в эти долгие минуты Верховный лорд был словно не вершителем ее, а всего лишь очевидцем. Весь этот красочный, но безжизненно застывший зал был точно картинка в детской исторической книжке...

И вот все снова ожило, началом послужила исполненная значения мелочь. Два телохранителя выступили вперед и стали по обе стороны спикера.

— Именем народа Англии протестую,— сказал спикер и встал, придерживая мантию, готовый удалиться.

— Ваш протест принят к сведению,— сказал Владыка Дух и, неторопливо повернувшись к телохранителям, приказал им очистить палату.

Без спешки и без насилия они исполнили свой долг.

Слева тесно сгрудились члены нового лейбористского правительства, этого сообщества путаников-идеалистов, искателей приключений от социализма, и их приверженцы. Мистер Рамзей Макдогальд стоял у стола, как всегда, чуть в стороне от своих коллег — воплощенная растерянность. Мистеру Парэму случалось видеть его раза два, и теперь, когда он смотрел глазами Верховного лорда, этот человек еще больше напоминал оголенное ветрами дерево на богом проклятом пустыре, казался тощим и угловатым, как никогда, еще более изможденным и нелепым в своей мнимой значительности. Он явно искал хоть какой-нибудь поддержки. Он переводил отчаянный взгляд с галереи прессы на скамьи оппозиции, оттуда на галерею для дам, потом на потолок, который, видно, скрывал от него господа бога, и снова на кучки своих последователей. Несмотря на гул, стоявший в зале, можно было понять, что он произносит речь. И это походило то ли на лай коровы, то ли на мычание собаки. Верховный лорд расслышал, как его величают «воплощенной неправедностью». За сим последовал призыв вести честную игру и, наконец, нечто вроде угрозы «водрузить огненный крест». Когда по знаку Верховно-

го лорда к Макдогальду приблизились два стража Лиги, он еще энергичнее стал размахивать руками, напоминая, что все мы смертны. Минуту он стоял, возвышаясь над всеми, подняв руку, устремив указующий перст в небеса, потом сгорбился и пошел прочь.

Позади него сэр Осберт Моусес, казалось, тщетно молил оробевших приверженцев правительства выразить хоть какой-то протест. Мистер Куп, экстремист, явно ратовал за сопротивление действием, но его никто не поддержал. Большинство лейбористов, по обыкновению, было озабочено одним: понять, чего же от них хотят, и поскорее поступить как требуется. Служители не спешили им на помощь, зато воины Лиги гнали их, как стадо баранов. Но мистер Филипп Сноуфилд, очень бледный и злой, не двигался с места — должно быть, он изрыгал проклятия, но их невозможно было расслышать. Воины Верховного лорда приблизились к нему, и тогда он начал отступать к выходу, то и дело оборачиваясь, чтобы выругаться и стукнуть тростью об пол.

— Помяните мое слово,— осипшим голосом силился он перекричать шум,— вы еще об этом пожалеете!

Огромный Бенуорти следовал за ним как телохранитель. Один лишь головорез из левых, Уокстон, ринулся в драку, но воины Верховного лорда расправились с ним при помощи джиу-джитсу. Его выволокли из зала за руки и за ноги лицом вниз, и волосы его подметали пол.

Все прочие, занимавшие правительственные скамьи, не пожелали разделить его судьбу, и сами, без посторонней помощи, медленно двинулись к выходу. Большинство старалось соблюсти достойный вид — парламентарии отступали боком, скрестив руки, сохраняя на лице презрительную мину. Они то и дело сталкивались с либералами, которые отступали тем же порядком, но под несколько иным углом. Мистер Сент-Джордж вышел решительным шагом, заложив руки за спину, с видом небрежным и незаинтересованным. Можно было подумать, что его вызвали по личному делу и он попросту не заметил случившегося. Его дочь, также член парламента, поспешила за ним. Сэр Саймон Джон и мистер Хэролд Сэмюель шептались и делали какие-то заметки до тех пор, пока над ними не нависла тень изгнания. Каждым своим движением они давали понять, что действия Вер-

ховного лорда беззаконны и что при случае они с удовольствием ему это припомнят.

Многие консерваторы смотрели на Верховного лорда с откровенной симпатией. Мистер Болдмин отсутствовал, но сэр Остин Чемберленд стоял с леди Аспер, говорил ей что-то и с улыбкой поглядывал по сторонам, а она, увидев, как расправились с Уокстоном, восторженно захлопала в ладоши. Она, видно, рада была бы, чтобы и другие лейбористы ввязались в драку и тоже получили по заслугам, и была очень разочарована, когда этого не случилось. Мистер Эмери, славный защитник империализма, взобрался на скамью, чтобы лучше видеть, и, улыбаясь до ушей, то и дело поднимал руку, точно благословлял происходящее. Он уже знал, что внесен в список советников Верховного лорда. Верховный лорд, весьма чувствительный к подобным деталям, вдруг заметил, что оппозиция приветствует его. Он выпрямился во весь рост и с важностью поклонился.

— Не пора ли по домам? — крикнул кто-то, и крик прокатился по коридорам. Сей освященный веками клич возвестил о роспуске парламента, как возвещал о конце последнего акта этого представления уже пятьсот раз.

Верховный лорд оказался в живописной галерее, ведущей из палаты общин в палату лордов. Кто-то съежился здесь на стуле и тихо всхлипывал. Он поднял голову, и Владыка Дух узнал лорда Кейто, в недавнем прошлом сэра Уилфрида Джеймсона Джикса.

— Это должен был сделать я,— шептал сэр Уилфрид,— я давно уже должен был это сделать.

Потом врожденное великодушие взяло верх, и, смахнув слезу, он поднялся и искренне, по-братски протянул руку Верховному лорду.

— Теперь вы должны помочь мне ради блага Англии,— сказал Верховный лорд.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КАК ЛОНДОН ПРИНЯЛ НОВОСТИ

В этот памятный майский вечер весь Лондон разинул рот от удивления. Когда сгустились сумерки и световые рекламы засияли ярче, поздние вечерние выпуски

газет сообщили первые подробности государственного переворота, и началось паломничество к Вестминстеру. Толпы народа, мирно настроенные и не чинившие никаких беспорядков, все прибывали, и наряды полиции, которая вне дворца действовала еще по всем правилам, были усилены. Кое-кто из Пимлико и Челси раскипятился было, но им не дали воли. В Веллингтонских казармах гвардия стояла в боевой готовности, была усилена охрана Букингемского дворца, но монархии ничто не угрожало, и вооруженного вмешательства не потребовалось. Никто из власть имущих не пытался использовать войска против Верховного Владыки, а если бы и попытались, весьма сомнительно, чтобы офицеры, особенно младшие офицеры, подчинились такому приказу. Со времен Карафского мятежа власть политиков над армией уже не была неограниченной.

Изгнанные парламентарии выходили на улицу из многочисленных дверей, и каждому оказывали прием в меру его известности и популярности. Большинству весело сочувствовали. Когда кого-нибудь узнавали, кричали вдогонку: а вот и старина такой-то. Женщин ласково окликали просто по имени, если знали таковое.

Многие члены парламента ушли незамеченными. В Англии и думать забыли, что парламентарии — слуги и представители народа. Они были просто людьми, которые прежде «вошли в парламент», а теперь их оттуда выставили. Когда немного погодя на улицу вышли сам Верховный лорд и главари Лиги верховного долга, их встретили не то чтобы с восторгом, но с молчаливым вниманием. Все заметили, сколь величествен Владыка Дух. Сотрудники новых правителей отправились на Даунинг-стрит, чтобы поскорее очистить помещения бывших министерств и подготовить резиденцию для нового временного правительства.

До поздней ночи восторженные толпы осаждали Букингемский дворец, желая, как они выражались, «поглядеть, как-то там наш король». Время от времени члены королевской семьи показывались на балконе, чтобы успокоить толпу, их приветствовали громогласными изъявлениями верности и наиболее популярными строфами национального гимна. Никто не требовал речей, не было никакого обмена мнениями. Вновь установилось

столь глубокое взаимопонимание, что слова были излишни.

Назавтра поразительные сообщения утренних газет привлекли в Лондон толпы любопытствующих из пригородов и соседних городков. Они приехали посмотреть собственными глазами, что происходит, до вечера бродили по столице, потом разъехались по домам. Весь день огромные толпы стояли у парламента. Множество уличных торговцев с немалым барышом распродало в этот день свой запас сдобных булочек, апельсинов и прочей снеди. Попытки произносить речи тут же пресекались полицией и у парламента и на Трафальгарсквер.

Итак, в стране утвердился новый режим. Король, как и подобает конституционному монарху, принял эту перемену без комментариев и не выразил никакого неодобрения. В Букингемском дворце был устроен специальный прием и чаепитие в саду в честь Лиги верховного долга, и Верховный лорд, высокий и прямой, с видом неколебимой, но почтительной решимости стоящий по правую руку короля, был сфотографирован, чтобы стать отныне известным всему миру. На нем было одеяние члена Совета Министров, орден Подвязки, один из кавалеров которого как раз отбыл в лучший мир, и орден «За заслуги». Его бледное, точеное лицо было торжественно спокойно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЗАСЕДАНИЕ БОЛЬШОГО СОВЕТА

С тактом и прозорливостью, не уступавшими его мужеству, Верховный лорд подобрал советников, которые были, в сущности, его министрами. Он советовался с ними и руководил ими, но это не было коллективное правление; назначение Совета сводилось к тому, чтобы общими усилиями осуществлять намеченные Владыкой планы. Случалось, во время заседания один из членов Совета что-либо предлагал; Верховный лорд выслушивал его со вниманием, обдумывал его слова и выносил свое суждение. Изредка он давал ход их предложениям и не

возражал, чтобы они влияли на политику государства. Вообще же он предпочитал, чтобы порядок заседаний Совета не нарушался, а каждый делился с ним своими предложениями с глазу на глаз.

В Совет входило все, что было лучшего среди ведущих деятелей Англии. Тут были могущественнейшие магнаты прессы и сам лорд Ботерми. Были представлены крупнейшие эксперты армии, флота и военно-воздушных сил. Немало королей угля и стали, особенно тех, которые наиболее тесно связаны с фирмами, производящими оружие, и две-три личности себе на уме вроде сэра Басси Вудкока, которые появлялись от случая к случаю. Сэр Басси иногда присутствовал на заседаниях, иногда нет, он по-прежнему был неуловим. Он то неожиданно появлялся, то пропадал, и его отсутствие сразу чувствовалось. Как ему и полагалось по должности, присутствовал директор английского государственного банка,— по мнению Верховного лорда, он слишком много улыбался и слишком мало говорил; были здесь и ведущие представители Большой Пятерки, которые сидели с отсутствующим видом и не раскрывали рта. Труд, по приглашению Верховного лорда, был представлен мистером Дж. Х. Хамбусом, женщины — графиней Крам и Крейторп. Лорд Кейто тоже, разумеется, был членом Совета, и почему-то (Верховный лорд так и не мог уяснить себе почему) посреди заседаний мистер Бринстон Берчиль то приходил, то уходил, то чересчур громким шепотом переговаривался с кем-нибудь. Никто его не приглашал, он приходил сам. И трудно было выбрать подходящую минуту, чтобы что-то сказать по этому поводу. Похоже было, он не прочь, и даже очень не прочь, взять на себя попечение об армии, флоте, авиации, военном снабжении, финансах или занять любой другой ответственный пост, который ему доверят. Кроме этих выдающихся деятелей, в работе Совета молчаливо, но энергично участвовало еще немало деловитых личностей, прежде не известных английской общественности,— они были выбраны либо из числа питомцев мистера Парэма, из отпрысков знатных семейств, либо из числа военных — членов Лиги верховного долга. Среди них выделялись Альфред Мамби, полковник Фиц Мартин, Рональд Карбери, сэр Горацио Рекс и молодой герцог Норемский. По пра-

вую руку Верховного лорда на низеньком стульчике сидела миссис Пеншо и стенографировала все происходящее в блокноте с золотым обрезом. Хируорд Джексон, верный ученик и последователь Верховного лорда, тоже всегда был поблизости, готовый к услугам.

Порядок заседаний был очень простой, всегда один и тот же. Совет созывался или собирался по инициативе отдельных членов. Верховный лорд входил весьма непринужденно и, кивая и раскланиваясь направо и налево, направлялся к председательскому месту. Там он останавливался. Хируорд Джексон шикал, призывая к тишине, и все, кто стоял, сидел или подпирал стену, переставали болтать между собой и обращались в слух. Верховный лорд ясно и просто излагал им свои мысли. Это очень напоминало лекцию в колледже, когда преподаватель читает группе неглупых, исполненных желания как можно лучше понять его учеников. Он разъяснял свою политику, говорил, почему необходим тот или иной шаг, и определял, кому именно надлежит выполнить очередную, стоящую перед ними задачу. Так проходил час, а то и больше. Потом он опускался в кресло, и тогда слушатели просили более подробных объяснений, делали кое-какие замечания, изредка вносили какое-нибудь предложение; и с благосклонной улыбкой Верховный лорд отпускал их, заседание кончалось, члены Совета принимались за дела — каждый точно знал свои обязанности. Так просто стало управлять государством, что партийные заблуждения, самонадеянность и интриги парламентариев, неразбериха и мошенничества, неизбежные при демократии,— все это отошло в прошлое.

Самым важным оказалось третье заседание Совета, ибо именно на нем Верховный лорд провозгласил основы своей политики.

— Прежде всего,— сказал он,— рассмотрим положение дорогой нашему сердцу Англии и всей империи, которой мы безраздельно преданы, рассмотрим грозящие ей опасности и ее дальнейшую судьбу.— Он просил членов Совета рассматривать мир в целом, отрешившись от узко местной ограниченности, широко и здраво заглядывая далеко вперед. Тогда они поймут, что в мире идет великая битва, которая определяется географическим положением и ходом истории и заложена в самой природе

вещей. Направления этой борьбы складываются сами собой, разумно, логично и неизбежно. Все в мире должно быть подчинено этой борьбе.

Верховный лорд заговорил доверительно, почти таинственно, и Совет насторожился и замер. Плавными движениями обеих рук он чертил на зеленом сукне стола границы государств, о которых шла речь, и голос его упал чуть не до шепота.

— Вот здесь,— сказал Верховный лорд,— в самом сердце Старого Света, безмерно огромная, сильная, потенциально более могущественная, чем почти все страны мира, вместе взятые...— он театрально замолчал на мгновение,— лежит *Россия.* И не важно, кто правит в ней — царь или большевики. Россия — вот главная опасность, самый грозный враг. Она должна расти. У нее огромные пространства. Неисчерпаемые ресурсы. Она угрожает нам, как всегда, через Турцию, как всегда, через Афганистан, а теперь еще и через Китай. Это делается инстинктивно, иного пути у нее нет. Я ее не осуждаю. Но нам необходимо себя обезопасить. Как поступит Германия? Примкнет к Востоку? Примкнет к Западу? Кто может предсказать? Нация школяров, народ, привыкший подчиняться, спорные земли. Мы привлечем ее на свою сторону, если удастся, но положиться на нее я не могу. Совершенно ясно, что для всех прочих остается только одна политика. Мы должны опередить Россию. Мы должны взять в кольцо опасность, зреющую на этих бескрайних равнинах, прежде чем она обрушится на нас. Как мы взяли в кольцо менее грозную опасность — Гогенцоллернов. Не упустить время. Здесь, на западе, мы обойдем ее с флангов при помощи нашей союзницы Франции и ее питомицы Польши; на востоке — при помощи союзной нам Японии. Мы доберемся до нее через Индию. Мы нацеливаем на нее клинок Афганистана. Ради нее мы удерживаем Гибралтар, ради нее не спускаем глаз с Константинополя. Америка втянута в эту борьбу вместе с нами, она неизбежно, волей-неволей, наш союзник, ибо не может допустить, чтобы Россия через Китай нанесла ей удар на Тихом океане. Вот какова обстановка в мире, если смотреть широко и бесстрашно. Она чревата огромной опасностью? Да, это так. Трагична? Да, пожалуй. Но она чревата также беспредельны-

ми возможностями для тех, кто исполнен преданности и отваги.

Верховный лорд умолк, и по рядам прошел ропот восхищения. Мистер Бристон Берчиль в знак одобрения кивал головой, точно китайский болванчик. Положение обрисовано так ясно, смело и сжато. И, однако, это была слово в слово та же самая речь, с которой всего какой-нибудь месяц назад на обеде у сэра Басси мистер Парэм обратился к самому хозяину, мистеру Хэмпу, Кемелфорду и молодому американцу! Теперь, когда ее произнес Верховный лорд перед исполненными сочувствия и понимания слушателями, ей был оказан совсем иной прием! Ни придирчивой критики, ни попыток выказать равнодушие или пренебрежение, никто не выдвигал в противовес нелепых теорий всемирного объединения и тому подобных глупостей, на это и намека не было. Если сэр Басси и шепнул свое обычное «поди ты», то так тихо, что его никто и не услышал.

— Как же пристало поступать великой нации в этой обстановке? — продолжал Верховный лорд.— Без страха, с открытыми глазами, принять на себя предназначенную ей судьбою ведущую роль или ждать, растрачивая силы в никчемных спорах, когда всякие незначительные соображения мешают видеть главное, ждать до тех пор, пока неизбежный противник окрепнет и осознает свою силу, добьется порядка и изобилия на своих огромных просторах, сделает все, чтобы Китай уподобился ему, а Индия сочувственно глядела на него и бунтовала против своих законных правителей, нанесет удар по скипетру в беспечных руках, а может быть, даже выбьет скипетр из этих беспечных рук? Надо ли задавать этот вопрос в британском Совете? И, не сомневаясь в вашем ответе, я говорю вам: настал час долга и действия. Я призываю вас обдумать вместе со мной все приготовления и ту стратегию, которая отныне будет положена в основу нашей национальной политики. Настал час сплотить государства Западной Европы. Настал час воззвать к Америке, чтобы она приняла участие в этой грандиозной борьбе.

На сей раз человечка, сидящего у стола, услышали все. Его «поди ты» прозвучало громко и внятно.

— Сэр Басси! — резко кинул ему Верховный лорд.—

Шесть долгих лет я выслушивал от вас это «поди ты» и терпел. Больше я не желаю этого слышать.

И, не дожидаясь ответа, он продолжал излагать Совету свои решения.

— Как только наши внутренние дела придут в порядок, я намерен совершить неофициальную поездку по Европе. Здесь, в этих четырех стенах, я могу свободно говорить о событии, которое все мы принимаем близко к сердцу: о доблестных усилиях принца Отто фон Бархейма свергнуть чуждый духу Германии республиканский режим, который уродует, представляет в ложном свете и унижает верный и храбрый германский народ. Этот ублюдочный режим, смесь патриотизма с радикализмом и большевизмом, чужд Германии, и она должна от него избавиться. Скажу строго между нами, у меня есть сведения из весьма надежного источника, что это событие не за горами. Подобно мне, принц Отто глубоко постиг философию истории, и, подобно мне, он призывает великую нацию возвратиться на путь, предначертанный ей судьбою. Быть может, в скором времени славный меч Германии по первому нашему знаку будет готов покинуть ножны.

Да, я знаю, о чем вы сейчас думаете, но, поверьте, Франция даст согласие. Никогда больше Британия не станет действовать без Франции. Мы непременно посоветуемся с мсье Парéмом, я об этом позабочусь. Если бы у нас сохранился парламентский режим, мы оказались бы в весьма затруднительном положении. К счастью, никакие запросы в парламенте уже не могут помешать нашим переговорам. Сноуфилду заткнули рот, и Бенуорти заставили замолчать. Положитесь на Францию. Она прекрасно понимает, что теперь только мы одни стоим между нею и Германо-Итальянским союзом. Мы все уладим. Французы — реалисты и патриоты, они умеют здраво рассуждать. Прочим европейским нациям могут понадобиться диктаторы, во Франции Республика — тот же диктатор. Армия и народ едины, и, если обеспечить Франции безопасность и удовлетворить ее интересы в Африке и в Малой Азии, она с готовностью займет подобающее ей место в защите Запада от главной опасности. Вековой распре из-за рейнских земель скоро придет конец. В Европе установится мир, как

во времена Карла Великого. Даже речи мсье Парёма звучат уже не столь воинственно. Такие пустяки, как вопрос о том, на каком языке говорить населению Эльзаса, вопрос о всевозможных возмещениях и гарантиях, естественно и закономерно отойдут на задний план. Мы слишком погрязли в мелочных расчетах. Под нажимом Востока и Запада Европа сплачивается в единое целое. Все это я намерен обсудить во время встреч с руководителями европейских государств. Итак, вот распорядок действий: во-первых, мы обновляем и укрепляем блокаду России силами всей Европы, союзом решительных правителей Европы; во-вторых, предпринимаем мощное объединенное нападение на Китай, чтобы вновь утвердить там господство европейских идей и европейского капитала; в-третьих, бросаем вызов русской пропаганде в Индии и Иране, пропаганде по сути своей политической, хотя они и делают вид, что она социальная и экономическая. Если мы хотим взять в кольцо эту страшную силу, угрожающую всему, что нам дорого, это надо сделать сейчас же, не откладывая. И когда пробьет час, мы столкнемся лицом к лицу не с нападающим славянином, но со славянином, которого мы успели опередить и загнать в тупик.

Верховный лорд умолк, всячески стараясь не замечать единственного тёмного пятна в этом блестящем зале. Сэр Басси, казавшийся еще меньше и еще зловреднее, чем всегда, легонько барабаня по столу короткими, толстыми пальцами, сказал, словно бы в пространство:

— А как, по-вашему, отнесется ко всей этой чуши Америка?

— Она будет с нами заодно.

— У нее может оказаться другая точка зрения.

— И все-таки ей придется действовать с нами заодно,— возвысил голос Верховный лорд, и из угла, где стоял лорд Кейто, донесся шепот одобрения. Лорд Кейто разрумянился, маленькие глазки стали совсем круглыми и блестящими. Казалось, он так и рвется в драку, точно балованный мальчишка, которому не приходилось отведать ремня. Он всегда считал, что Америка чересчур задирает нос и ее надо хорошенько осадить, а если потребуется, и проучить. Он просто поверить не мог, что столь молодая нация состоит из взрослых людей.

— Американцы ведь не изучают истории в английских школах,— заметил сэр Басси, ни к кому в отдельности не обращаясь.

Никто даже не посмотрел в его сторону.

— Я начал с того, что в общих чертах обрисовал нашу внутреннюю жизнь,— вновь заговорил Верховный лорд,— ибо мелкие внутриполитические затруднения, а по сравнению со всем остальным они поистине мелки, сразу перестанут казаться нам важными, едва мы поймем до конца, что мы народ воинственный и наша империя — могучий военный лагерь, где мы готовимся исполнить свою миссию — взять на себя руководство миром. Вся наша история есть лишь прелюдия к этой великой битве. Когда мне говорят, что у нас в стране миллион безработных, я радуюсь,— значит, в любую минуту мы можем бросить эти силы в бой за великое дело. До четырнадцатого года у нашей промышленности был резерв, необходимый резерв — от пяти до девяти процентов безработных. Теперь этот резерв возрос до одиннадцати или двенадцати процентов. Я не гонюсь за точными цифрами. Бо́льшую часть безработных дает угольная промышленность, которая вопреки ожиданиям обанкротилась после войны. Но количество нашей продукции в целом не уменьшилось. Заметьте это! Мы с вами свидетели процесса, охватившего весь мир: промышленность производит не меньше, чем прежде, а то и больше, но производительность так возросла, что рабочих рук требуется меньше. Отсюда ясно, что эта так называемая безработица на самом деле есть высвобождение энергии. Этих людей, по большей части молодежь, надо взять в руки и готовить для иных целей. Женщины могут пойти на военные заводы. Уже одна безработица, не говоря ни о чем ином, заставляет нашу великую империю действовать бесстрашно и решительно. Накопленное надо тратить. Мы не должны зарывать наш талант в землю, не должны допустить, чтобы он остался втуне из-за лености неработающих. Я не индивидуалист, я не социалист; эти понятия достались нам от девятнадцатого века, и в них осталось очень мало смысла. Но я говорю: кто не работает для отечества, не должен есть его хлеб, и кто не работает добровольно, того надо заставить трудиться в поте лица, и я говорю, богатство,

которое не служит целям империи, должно быть любой ценой поставлено ей на службу. Расточительство в увеселительных заведениях, щедрые приемы в роскошных отелях, бешеные расходы на джаз — все это надо прекратить. Налог на шампанское... Да, на шампанское. Оно отравляет душу и тело. Закрыть ночные клубы в Лондоне. Цензура на развращающие пьесы и книги. Критика отныне — дело честных чиновников, людей достойных, здравомыслящих. Гольф — только в гигиенических целях. Скачки — без всякой предварительной тренировки. Даже стрельба и охота должны быть ограничены. Служение! Во всем служение. Долг превыше всего. Равно для людей всякого звания. Все это уже сказано в одном уголке земли — в Италии; теперь настал час нам сказать это во весь голос, чтобы слова наши прогремели по всему земному шару.

Казалось, он кончил. И в благоговейной тишине стало слышно, как бормочет что-то сквозь густые усы какой-то беззубый старик. Он стоял позади слушателей, столпившихся справа от Верховного лорда, а теперь, взволнованный, полный решимости, пробрался вперед и, ухватившись правой рукой за спинку стула сэра Басси, скрестил ноги и с опасностью для жизни перегнулся вперед, а левой рукой жестикулировал, точно заправский оратор. Бормотание его становилось то громче, то тише. Слова сливались, и лишь иногда по кашлю можно было судить, где кончилось одно и начинается другое слово. Это было истинное словоизвержение. Очень похоже на эманацию. Эманация?.. Эманация?..

На мгновение сознание Верховного лорда помутилось.

Почтенный оратор оказался лордом Мозговитским. Время от времени на поверхность всплывали отдельные слова и фразы: «тариф»... «соответствующее ограждение»... «предосторожность»... «демпинг»... «неразумная иностранная конкуренция»... «таможенные льготы в колониях»... «империя довлеет себе»... «способное, сэр, найти применение каждому, кто хочет работать».

Минуты три-четыре Верховный лорд молча, с достоинством терпел это вторжение в его речь, потом поднял руку в знак того, что услыхал уже вполне достаточно, чтобы ответить.

— Государство — это воинствующий организм, и, если он здоров и совершенен, он должен быть насквозь воинствующим, во всех своих проявлениях,— начал он с той все проясняющей прямотой, которая сделала его вождем и владыкой собравшихся здесь людей.— Тарифы, лорд Мозговитский,— это тот естественный, повседневный способ борьбы государств за существование, который и есть самая сущность истории, и он находит свое высшее, благороднейшее выражение в войне. При помощи тарифов, лорд Мозговитский, мы ограждаем нашу экономику от экономики других государств, мы сохраняем в неприкосновенности наши запасы на черный день, мы поддерживаем наших союзников и подрываем общественное равновесие и благополучие наших врагов и соперников. Здесь, на этом Совете, где все свои, мы можем не делать вид, что тарифы предназначены для обогащения граждан, или защиты их благосостояния, или хоть в какой-то мере способствуют уменьшению безработицы. Простите меня, лорд Мозговитский, если вам покажется, что, соглашаясь с вашими выводами, я спорю с вашими доводами. Тарифы не обогащают страну. Они этого не могут и никогда не могли. Это ложь, и, я думаю, вредная ложь, ее по горькой нужде навязывает политическим деятелям та выборная система, которую мы, к счастью, низвергли. От этой лжи мы можем здесь отказаться. Тарифы, как и все прочие формы борьбы, влекут за собой жертвы и требуют их. Если они способствуют занятости рабочих в одной отрасли хозяйства, преграждая доступ определенному иностранному товару или мешая его поступлению, значит, они не могут не породить безработицу в другой отрасли, которая доныне экспортировала другие товары в уплату прямо или косвенно за эти иностранные товары, а теперь, из-за новых, ответных тарифных ограничений, не сможет их экспортировать. Тарифы — это способ обмена неподходящей продукции на подходящую, с тем чтобы создать еще бо̀льшие затруднения в какой-нибудь иной области. В основе тарифной политики лежат соображения более глубокие и более благородные, нежели соображения материальной выгоды или невыгоды. Тарифы нам необходимы, и приходится за них платить. Так же, как нам необходимы армия и флот, которые тоже нам дорого обходятся. По-

чему же? Да потому, что тарифы постоянно напоминают о нашей национальной неприкосновенности. Бомбы и пушки сокрушают лишь во время войны, а тарифы постоянно поддерживают разногласия и угрожают; они вредят, даже когда мы спим. И повторяю, ибо это и есть самая сущность нашей веры, основной догмат Лиги верховного долга — суверенное государство, которое гордится своей историей и высоко держит свое знамя, должно либо оставаться насквозь воинственным государством и всеми возможными способами подавлять своих врагов, равно в дни мира и в дни войны, либо оно выродится в бесполезную нелепость, которой место лишь на всемирной свалке.

Его звучный голос умолк. Лорд Мозговитский, который во время речи Верховного лорда вновь выпрямился, что-то пробормотал — то ли одобрительное, то ли неодобрительное, то ли в дополнение, то ли в осуждение; затем был поднят и быстро разрешен с десяток мелких вопросов, и, наконец, Совет занялся распределением между отдельными членами важнейших задач. Выступавшие один за другим вкратце излагали план согласованных действий, и Верховный лорд чаще всего говорил только: «Так и делайте», «Подождите», «Напомните мне об этом через неделю» или «Нет, не так». Многие члены Совета, в которых, как видно, пока не было надобности, выходили в приемную поболтать, а заодно выпить чаю, хересу или лимонаду. Самые нетерпеливые ушли совсем. Среди них был и сэр Басси Вудкок.

Верховный лорд мысленно отправился за ним, желая проследить и в то же время зная, что он будет делать.

Без сомнения, сейчас он стоит в задумчивости на пороге дома номер десять по Даунинг-стрит, на том самом пороге, который вот уже несколько веков переступали все знаменитые политические деятели Англии, и, скривив рот, смотрит на густую, безмолвную толпу, загородившую проход на улицу Уайтхолл. Все оцеплено полицией, и на улице только и остались, что шоферы автомобилей, которые ждут своих хозяев, кучка репортеров и фотографов и явные шпики. Но за цепочкой полицейских застыла загадочная толпа англичан, точно бессловесное стадо, и, если даже толпа эта испытывала какие-либо чувства по отношению к новой доблестной власти,

освободившей англичан от долго владевших ими иллюзий, будто они сами собой управляют, она никак этого не проявляла. Все молчали, только во все горло выкликали свой товар продавцы фотографий Верховного лорда. День был теплый, в небе неподвижно стояли серые облака, словно, как и все вокруг, ожидали приказаний. Полицейские и те словно чего-то выжидали, никто не обнаруживал ни восторга, ни возмущения по случаю прихода Верховного лорда к власти. Сэр Басси с минуту стоял не шевелясь. «Поди ты»,— прошептал он наконец и медленно двинулся направо, к калитке, которая вела к конно-гвардейскому плацу.

С обычной своей предусмотрительностью он заранее послал автомобиль именно сюда, где было меньше всего народу.

Едва он вошел в калитку, как полицейский в штатском с рассеянным видом, который не обманул бы и грудного младенца, отделился от своих собратьев и зашагал следом. *Таков был приказ!*

Еще через двадцать минут заседание окончилось, и члены Совета стали деловито расходиться.

Отъезжающие автомобили прокладывали себе дорогу в толпе. Тем, кто оказался ближе всех, посчастливилось издали увидеть, как Верховный лорд собственной персоной в сопровождении миниатюрной смуглой секретарши и высокого, худощавого человека с огромным портфелем, глядящего на лорда по-собачьи преданными глазами, поспешно перешел улицу и исчез под аркой министерства иностранных дел.

Около семи вечера Верховный лорд снова появился в дверях, сел в большой новый «роллс-ройс», купленный за счет государства, и отправился в военное министерство, которое покинул уже далеко за полночь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВЕРХОВНЫЙ ЛОРД ИЗУЧАЕТ СВОЕ ОРУЖИЕ

Даже в самом начале этой эпопеи бывали минуты, когда Верховный лорд с трудом верил, что он существует, но чувство долга перед теми, кого он пробудил от

десятилетней послевоенной летаргии, заставляло его скрывать эти мгновения слабости — а это были всего лишь мгновения — даже от верной и преданной миссис Пеншо и неутомимого Хируорда Джексона. Теперь он почти все время ликовал и восхищался собственным могуществом, величием своих дел и устремлений. Он знал, что ведет страну к войне, к войне грандиозной, всеохватывающей, с какою не сравнится ни одна из тех, что украшали доныне страницы истории. Это могло бы испугать душу слабую. Но он видел себя преемником Наполеона, Цезаря, Александра и Саргона, которому вполне по плечу эта задача. И он знал, чего история требует от великих наций. Он призван творить историю, творить ее с таким размахом, поднимая столь глубинные пласты бытия, что весь мир будет поражен.

Он творил ее и сам же мысленно ее писал. Он видел свои собственные мемуары, историю своей войны, возвышающуюся в конце неисчислимого ряда автобиографических историй войн от Фукидида до полковника Лоуренса и Уинстона Черчилля. Парэм, De Bello Asiatico[1]. Этим он займется в золотые дни отдохновения, после победы. Среди напряжения этих дней приятно было предвкушать как награду часы, отданные литературе. Он уже видел, как набрасывает собственный портрет и в классическом мемуарном стиле, в третьем лице, рассказывает о своих деяниях и раздумьях.

Временами было даже странно, с какой радостью он предвкушал те дни, когда сможет посвятить себя мемуарам. Бывали периоды и отдельные мгновения, когда он не столько действовал, сколько мысленно повествовал о своих действиях.

Прежде всего необходимо было как можно быстрее, со всей точностью и полнотой, представить себе, какими вооруженными силами располагает империя и каковы ее возможности в этом смысле. Теперь он должен возглавить все это, стать верховным командующим. Когда наступит день битвы, вся ответственность падет на него. Все прочие могут подавать ему советы, но не кто иной, как он, будет распоряжаться всем, а как же это возможно, если не имеешь ясного представления о соотно-

---

[1] «Об Азиатской войне» (*лат.*).

шении сил. К счастью, мысль его была быстра как молния, и он орлиным взором схватывал картину во всей ее полноте и сложности, пока менее развитые умы увязали в подробностях.

Среди бывших военных министров, повелителей морей и высшего чиновничества различных военных департаментов он подбирал себе советников и экспертов. Знать всех этих людей, знать цену каждому было весьма важно. И они должны знать его, должны испытать на себе его личное обаяние, уметь мгновенно его понимать и с радостью повиноваться. Поначалу ему было нелегко найти с ними верный тон. Армия, флот и авиация издавна не доверяют политикам, всегда охотно надувают и оставляют в дураках сующих нос не в свое дело штатских, и эта традиционная отчужденность была настолько сильна, что военные круги далеко не сразу поддались чарам Верховного лорда и его энергии.

К тому же в каждом роде войск существовали свои особые законы и ограничения, и преодолевать их было совсем не просто. В большинстве эти люди не только ставили свой род оружия превыше всего, но с истинно профессиональной узостью взирали свысока на все прочее. Воздушные эксперты насмехались над военно-морскими силами; моряки в грош не ставили авиацию; отравляющие вещества почти всем казались весьма сомнительным новшеством; по мнению артиллеристов, все прочие только для того и существуют, чтобы способствовать меткому огню артиллерии, а танкисты, кажется, равно презирали флот, авиацию, артиллерию и химические подразделения. «Мы не знаем преград»,— твердили они. Находились даже такие, которые считали, что главное оружие — пропаганда, а все прочее должно быть направлено к тому, чтобы создать у вражеского правительства и народа определенное умонастроение (весьма по-разному понимаемое и описанное). В сущности, империя в какой-то мере готова была ко всем мыслимым видам войны со всеми мыслимыми и многими немыслимыми противниками, но, если не считать общего презрения к «этим проклятым дуракам» пацифистам и к мечтателям и негодяям-космополитам, среди защитников империи решительно ни в чем не было согласия, что, разумеется,

не будет способствовать единству действий в час, когда начнется схватка.

Вот к чему привели развитие нашей чересчур плодовитой технической мысли и наша чересчур разрушительная критика основных политических устоев. Вот к чему привели парламентская система с вечными прениями по любому поводу и отсутствие единой господствующей воли. Флот экспериментировал с подводными лодками, большими и малыми, с подводными лодками, которые несут на борту аэропланы, и с подводными лодками, которые могут выходить на сушу и даже взбираться на отвесные скалы, с авианосцами и дымовыми завесами и с новыми типами крейсеров; артиллеристы экспериментировали; армия упивалась танками, маленькими и большими, отвратительными и смехотворными, устрашающими и грандиозными,— танками, которые в случае нужды превращались в морские транспорты, и такими, которые вдруг распускали крылья и перемахивали по воздуху через препятствия, и танками, которые превращались в полевые кухни и ванны; авиация с неистощимым терпением хоронила каждую неделю двоих молодых людей, а то и больше, погибавших при исполнении замысловатых фигур высшего пилотажа; химическая служба тоже экспериментировала; каждый род войск шел своей дорогой, нисколько не считаясь со всеми прочими, и каждый всячески старался поддеть других. Верховный лорд разъезжал повсюду, осматривал новые изобретения, каждое из которых их сторонники провозглашали чудом из чудес, и встречался с множеством старообразных юнцов и моложавых старцев, злобных, отравленных бродящими в них нелепыми идеями.

Сэр Басси, нехотя сопровождавший его в поездках, отозвался об этой публике с таким пренебрежением, что некоторое время слова его смущали покой Верховного лорда.

— Как шкодливые мальчишки,— сказал сэр Басси,— залезли на чердак, из пугачей палят, серу жгут, треску и вони не оберешься. И каждый сам по себе, все вразброд. Денег у них в карманах хоть отбавляй. Чего они добиваются? Для чего все это, вся эта военизация, по их мнению? Они сами не знают. Давным-давно утратили

все связи с действительностью. Возьмут да и подпалят собственный дом. Чего от них еще ждать?

Верховный лорд не ответил, но его быстрый ум ухватил самое главное. Он умел учиться даже у врага.

«Утратили все связи» — вот ключ ко всему.

Разобщенность — вот самое верное слово. А все потому, что не было такого человека и такой великой идеи, которая подчинила бы всех и объединила бы все усилия. То были разрозненные части гигантской военной машины, которая после 1918 года незаметно распадалась, и каждая часть следовала своим особым традициям и склонностям, а его долг—вновь собрать их в единое целое. После слов сэра Басси он точно знал, что сказать этим забытым, лишившимся почета и уважения специалистам. Он знал, что им необходимы превыше всего связь и единство. И каждому он говорил, какая предстоит война и какова будет в ней его роль.

Это было как прикосновение волшебной палочки, которого все ждали. Поразительно, как преображались от слов Верховного лорда люди, которыми так долго пренебрегали. Он указал им цель — Россию; он направил умы авиаторов на дальние полеты над горами Центральной Азии и неизведанными просторами Восточной Европы; он заставил вспыхнуть глаза подводников словами «безжалостная блокада»; он осведомился у моторизованной пехоты, как она намеревается одолевать русские степи, и мимоходом намекнул на то многозначительное обстоятельство, что впервые мысль о танках возникла в России. Перед моряками он тоже поставил свою особую задачу.

— Пока мы делаем свое дело в Старом Свете, вы надежным щитом прикрываете нас от безумств Нового Света.

Да, он имел в виду Америку, но слово «Америка» ни разу не было произнесено. От Америки всего можно ждать, она даже способна удариться в современность и порвать с историей — даже со своей собственной краткой и ограниченной историей. Чем раньше наступит перелом, чем меньше у нее останется времени на размышления, тем лучше для традиций нашего Старого Света.

У многих храбрых и искусных в своем деле людей, к которым обращался Верховный лорд, кошки скребли на

сердце оттого, что осуществление их надежд без конца откладывалось. Год за годом они придумывали, изобретали, организовывали, а на земле все еще был мир. Иногда поднимался свежий ветерок, но тут же спадал. Безвестные труженики, они читали в газетах пацифистские статьи, им все уши прожужжали разговорами о Лиге наций, призванной обесценить милые их сердцу смертоносные изобретения, которым они отдали свои лучшие годы. Им угрожали требования экономии, черная неблагодарность во образе урезанных смет и ассигнований. Верховный лорд вдохнул новую жизнь, вдохнул надежду в их омраченные души.

Из толпы всевозможных экспертов и высших чиновников постепенно выдвинулся на первый план некий генерал Джерсон. Он просто не мог не выдвинуться. Видимо, он был осведомлен лучше других и обладал чуть ли не исчерпывающими познаниями. У него был великий дар составлять всеобъемлющие военные планы. Он казался совершенным воплощением солдата, словно в нем объединилось все, что когда-либо читал, видел, думал и представлял себе о солдатах мистер Парэм. Спору нет, это была сильная личность. И все естественнее становилось обращаться к этому человеку с любыми сомнениями. Очень скоро он почти официально стал правой рукой Верховного лорда в военных вопросах. Не то чтобы Верховный лорд выбрал его, он сам выплыл на поверхность. Он стал олицетворением практической стороны власти. Он был мечом — или, пожалуй, гранатой — в руках Верховного лорда, который воплощал в себе руководящую мысль и волю. Он был необходимым дополнением Владыки Духа. Величественные видения он переводил на практические рельсы.

Генерал Джерсон был не из тех, кто располагает к себе с первого взгляда. Его бесспорные достоинства не сразу можно было разглядеть за непривлекательной внешностью. Крепко сбитый, невысокий, коренастый, с неправдоподобно длинными волосатыми ручищами. Голова маленькая, заостренная, как бомба, обросшая жесткой щетиной. Нос короткий, но не лишенный значительности, серьезный, волевой нос. Рот большой — когда открыт, кажется, вот-вот извергнет ругательства, но чаще решительно сжат. Генерал не отличается разговорчиво-

стью. Усы щеткой он отпустил, должно быть, не для украшения, но следуя армейской традиции, а желтая кожа вся в синих точках — память о неудачных испытаниях какого-то нового взрывчатого вещества. В результате того же несчастного случая один глаз у генерала стеклянный; в нем застыло выражение неумолимой воли, а его карий двойник, яркий и настороженный, ничего не упускал из виду. Брови казались свирепыми маленькими братьями усов. Он предпочитал ходить в мундире, ибо презирал «шпаков», но не меньше презирал и парадную форму во всем ее блеске. Ему доставляло удовольствие носить мундир не первой свежести. Он любил простую, не слишком чисто приготовленную пищу, любил есть стоя, прямо руками, и охотно проделывал грубые, требующие силы физические упражнения, чтобы сохранить выносливость.

Он был поразительно, неистово вынослив. «В этом мире,— говаривал он,— выживают самые выносливые». И презирал пресные игры хилого племени горожан. В деревне при всяком удобном случае он неистово и со злостью рубил деревья или гонялся за ошалевшими от изумления кроткими и жирными коровами и, точно ковбой, валил их наземь. В городе он бегал вверх и вниз по черным лестницам высоких домов, боксировал, работал электрической дрелью, перекапывал или заново мостил задние дворы. Электрическая дрель бесила соседей и создавала враждебное окружение, что шло генералу на пользу, ибо не позволяло ему размякнуть. В этих случаях он одевался легко и выставлял напоказ и проветривал широченную волосатую грудь.

Чем дальше, тем больше логика всей деятельности Верховного лорда побуждала его уважать своего героического соратника и полагаться на него, но ни за какие блага мира не согласился бы он стать на него похожим.

С самого начала генерал Джерсон не просто советовал, но чуть ли не приказывал.

— Вам надо бы сделать то-то и то-то,— говорил он обычно и коротко добавлял: — От вас этого ждут.

И Верховный лорд всякий раз убеждался в его правоте.

Так, например, именно поведение и тон генерала Джерсона помогли ему понять, что следует бесстрашно

принимать различные новые остроумные и грозные изобретения, которые накапливаются ради того, чтобы обеспечить безопасность империи. Верховный лорд был не робкого десятка. Но, если бы не Джерсон, он, пожалуй, не стал бы тратить на все это свое время и нервы. Джерсон был неумолим. И тот, кто правит подобными Джерсонами, тоже должен быть неумолим. Без неумолимости нет величия. Хорошо, когда тебе не дают об этом забывать. Временами Верховный лорд ловил себя на том, что поддерживает собственную решимость, разговаривая сам с собой на старый, парэмовский лад: «Это мой долг перед самим собой и перед всем миром».

Итак, вцепившись в ручки кресла, сохраняя на лице полнейшее спокойствие, он делал мертвую петлю над Лондоном. Он надевал странные, уродливые противогазы и входил в наполненные отвратительными газами камеры, где булавочный прокол в маске повлек бы за собою мгновенную смерть. Обидно, что никто не мог видеть его бесстрашного лица, слабым душам было бы весьма полезно убедиться в его невозмутимости. Ему приходилось волей-неволей смотреть, как мучаются и гибнут кошки, овцы, собаки, отравленные газом, таинственным сокровищем джерсонского департамента, тем самым газом Л, о котором говорил Кемелфорд и от которого пока не существовало противоядия. Газ убивал в каких-нибудь две-три минуты, но успевал, видимо, причинить жесточайшие страдания. Смерть эта, очевидно, была нестерпимой пыткой,— если только считать, что поведение животных выражает то, что они чувствуют. «Это мой долг»,— повторял он, ибо не чужд был сострадания.

— Этот газ мы пустим в ход лишь в случае самой крайней необходимости.

— Война и есть крайняя необходимость,— отозвался Джерсон и удовлетворенно вздохнул, глядя, как перестала корчиться и замерла последняя жертва.

Верховный лорд не ответил, его отчаянно мутило. Как видно, он унаследовал желудок мистера Парэма и очень часто, проявляя чудеса храбрости, чувствовал, что его мутит. Несколько часов он обливался холодным потом в глубине Солента и со скоростью двадцать миль в час мчался в тряском, подпрыгивающем танке по холмам

и оврагам Лисс Форест, и в обоих случаях это было тяжким испытанием. Он надевал защитные очки и, нажимая кнопку, стрелял из огромных, оглушительно грохочущих пушек, он промок насквозь, несясь со скоростью сорока миль в час по Ла-Маншу навстречу жестокому зюйд-весту на новом корабле, который представлял собою, в сущности, гигантскую торпеду, и в этот раз его просто вывернуло наизнанку.

— Нельсону выпала та же участь,— сказал он, сходя на берег, торжествующий, но позеленевший и совершенно опустошенный.— Хоть желудок и изменял ему, зато сердце было на месте...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЛОГИКА ВОЙНЫ

Не раз Верховный лорд обсуждал с Джерсоном проблему газа. Он не желал, чтобы газ пускали в ход, но в то же время логика войны требовала от него уверенности, что он владеет достаточными запасами. Угроза Кемелфорда прекратить поставки сырья не давала ему покоя ни днем, ни ночью. А Джерсон был знаток отравляющих веществ.

Верховный лорд полагал, что война должна быть величественной. Войны — это заглавные литеры, которыми украшены страницы истории. Твердая поступь пехоты, воодушевляющий цокот и топот кавалерии, все покрывающий гром орудий — вот музыка, под которую шагает история с тех самых пор, как она достойна называться историей, и Верховный лорд хотел, чтобы она попрежнему маршировала под ту же старую музыку. Он почувствовал, что иные из новых машин и новых методов ведения войны отличаются жестокостью и нетерпимостью научного тезиса; они лишают ее одухотворенности; делают неразборчивой; ради пытливости и упорства, этих добродетелей науки, они сводят на нет героизм. В решающий час люди устремятся вперед не в порыве отваги, а увлекаемые поневоле гигантским военным механизмом. Верховный лорд с радостью подписался бы под любым соглашением, запрещающим аэропланы, подвод-

ные лодки и ядовитые газы, как были уже запрещены бактерии и разрывные пули. Но Джерсон и слышать не хотел ни о каких ограничениях.

— Война есть война,— говорил он,— и надо пользоваться тем, что верней всего убьет и сломит дух врага.

— Но бомбардировать города! Отравлять гражданское население! Газ ведь убивает всех подряд.

— А какое у них право оставаться гражданским населением? — возразил Джерсон.— Скорее всего, уклоняются от мобилизации или что-нибудь в этом роде. В будущей войне не должно быть никакого гражданского населения. К газу несправедливы, все против него. А если хотите знать, он совершенствует войну. Люди уже не надеются, что где-то там, в тылу, можно отсидеться. Как это поют черномазые?

Бомбы рвутся со всех сторон,
И желтый газ настигает беднягу Джо...

Отступать будет некуда, так поневоле полезут в драку.

— В сущности... в Женеве мы обязались не прибегать к ядовитым газам.

— Что значит «в сущности»? Если уж на то пошло, пактом Келлога и тому подобным вздором мы обязались не прибегать к войне. Но это ничуть не мешает всем европейским государствам, да и Вашингтону, пополнять запасы газа, и фабрики у всех работают день и ночь. Нет уж. Ради пропаганды вы можете начать войну, как джентльмен, по всем правилам хорошего тона, но дайте только ей разгореться! Тут уж вам будет не до благородства. Тут вы начнете царапаться и кусаться. Дойдет дело и до химии, вот помяните мое слово.

— Да,— согласился Верховный лорд.— Да, вы правы. Чтобы поставить на своем, приходится быть неумолимым.

На несколько минут лицо его стало маской неумолимой суровости.

И в глазу генерала Джерсона явственно отразилось невольное уважение.

— А теперь поговорим о предстоящих нам кампаниях,— начал Верховный лорд и придвинул карты, лежавшие перед ним на столе.— Прежде всего — Россия.

— Очень возможно, что начнется с нее,— согласился Джерсон.

Некоторое время они обсуждали последствия столкновения с Москвой.

— В этом случае,— сказал Джерсон,— если в Западной Европе все будет спокойно, нам придется вести этакую второстепенную войну. Как было в Палестине, когда мы воевали там под предводительством Алленби. Во всяком случае, первое время. Новые изобретения хороши для стран густонаселенных. А в Россию мы не можем без счету засылать ультрасовременную технику. Аэропланы, снаряженные пулеметами в достаточном количестве, разумеется, должны будут подавить любой мятеж, который может вспыхнуть против нас в Индии или Центральной Азии. Центральная Азия до сих пор всегда возвращалась к старым, испытанным способам, к конным набегам — кочевники, парфяне, гунны, монголы и все такое прочее. Но теперь, когда у нас аэропланы и пулеметы, им крышка. Куда коню против крыльев! Начинается новая глава истории. И афганскому обычаю укрываться в камнях и стрелять из засады — тоже конец. Наша птичка найдет стрелка и там. Все, я бы сказал, варварские, первобытные способы ведения войны кончены, устарели на двадцать лет. Теперь все дикари у нас в руках. Воевать с Россией в Азии будет сравнительно нетрудно. Но мы не можем рассчитывать, что война ограничится пределами Азии.

— Я на это надеюсь.

— Надеяться можно, но я сказал «рассчитывать». И потом есть еще Петербург — они его называют Ленинград,— оттуда можно будет, как с базы, совершить небольшой налет на Москву, чтобы навести порядок. Нас, возможно, к этому вынудят. Мы можем добрых десять лет воевать в Центральной Азии и ничего не добиться... Как знать?.. Если у нас начнутся затруднения, наши друзья в Берлине... Или даже ближе... Заранее ничего нельзя знать.

Он испытующе посмотрел на Верховного лорда. Потом пояснил:

— Воевать с Россией, перепрыгнув через Европу,— дело рискованное.

— Не думаю, что так случится,— сказал Верховный лорд.

— И я не думаю, но это не исключено.

Эти слова отравили сомнением душу Верховного лорда.

— Мне все равно, какие вы там подписываете соглашения,— тем-то не пользоваться, то-то не пускать в ход,— продолжал Джерсон.— Государство, которое соблюдает такие обязательства, по-настоящему и не воюет вовсе. Пока придерживаются правил, это не война, а забава. Война начинается тогда, когда закону приходит конец. Пока можно заключать и соблюдать какие бы то ни было соглашения, война не нужна. Все эти обязательства не пускать в ход газы — это, знаете ли, тоже вроде газа, ни черта не весит.— Джерсон улыбнулся собственному остроумию, обнажив черные зубы.— В наше время решающим фактором во всякой хорошей войне непременно будет химическая бомбардировка с воздуха. Поразмыслите-ка над этим, это же ясно как день. Другого пути нет. Отныне всякая настоящая война будет борьбой за то, чтобы сбросить как можно больше отравляющих веществ на самые населенные и уязвимые центры врага. Тогда, и только тогда, противник вынужден будет сдаться. Не может не сдаться. Его будут травить газами, пока он не запросит пощады... Да и какой еще может быть современная война?

Все это не слишком приятно слушать, и, однако, Джерсон прав. Задумчивое лицо Верховного лорда стало решительным.

— Да, в этом есть логика.— Белая рука сжалась в кулак.

— У немцев, я считаю, самые мощные взрывчатые вещества,— сказал Джерсон.— Если мы ничего не предпримем, они нас обставят. Они, подлецы, изобретательные, всегда такими были. Республика ничему тут не помешала, а теперь с нею, слава богу, покончено. Берегитесь немецких химиков, вот что я вам скажу! А все-таки сейчас, уж не знаю, надолго ли, мы впереди всех по части ядовитого газа. Впереди всех. Так уж вышло.

— Знаю,— сказал Верховный лорд.— Газ Л.

С тайным удовольствием он смотрел на изумленное лицо Джерсона.

— Но... но кто вам сказал?

Белой рукой Верховный лорд небрежно отмахнулся от этого вопроса.

— Знаю, мой милый Джерсон,— улыбнулся он.— Так уж вышло. Заводы в Кэйме, а?

— Вот именно! Если бы сейчас в Европе началась война, мы привели бы в изумление весь мир... Вам известно *все* о газе Л?

— Нет,— сказал Верховный лорд.— Расскажите.

— Ну ладно... ладно.— И, упершись кулаками в стол, Джерсон подался вперед, точно кошка, припавшая к земле перед прыжком. Голову он склонил набок.

Он рассказывал нехотя, беспорядочно. Он не привык ни с кем делиться информацией. Он вообще ничем не привык делиться. Но мало-помалу Верховному лорду стали ясны особые качества газа Л.

Это был тот самый газ, о котором говорил Кемелфорд на памятном обеде у сэра Басси, на обеде, воспоминание о котором все еще преследовало Верховного лорда. Это был новый, неизвестный газ, и для его производства требовались редкие земли и иные вещества, которые, по-видимому, можно добыть лишь в Кэйме на Корнуэллском полуострове. Даже тогда этот газ задел воображение мистера Парэма и навел его на размышления.

— Неужели ученые, настоящие ученые, не знают о нем? — спросил Верховный лорд.— Беда всех этих научных способов ведения войны в том, что наука не умеет хранить секреты, и всегда кто-нибудь в другой стране идет по тому же следу. Вспомните, как быстро мы раскусили немецкий газ на западном фронте. Всего в какую-нибудь неделю.

— Да, это верно,— сказал Джерсон,— потому я и не хочу откладывать производство газа Л в долгий ящик. Пока о нем еще не начали болтать. Пока еще не засадили за это дело ученых. Вполне вероятно, что сырье для него и вправду можно добывать только в Кэйме, и тогда мы, конечно, монополисты. Ну, а если нет?

Верховный лорд кивнул. Но ему нужны были подробности.

— Газ Л сам по себе еще не яд, он становится ядовитым, лишь растворяясь в воздухе,— одна часть газа

на сто частей воздуха. Он хорошо поддается сжатию. Вы приоткрываете баллон. Газ с шипением вырывается, обволакивает все вокруг и начинает распространяться в воздухе.

— Он действует наверняка,— продолжал Джерсон.— Помните тех кошек в камере? Он держится неделями, не распадаясь. Он стелется по местности и даже в ничтожных количествах опасен для жизни. Чтобы отравить весь Лондон, достаточно двух десятков тонн. И его ничем не уничтожить. От всех других газов найдены противоядия; от газа Л противоядия нет. Для защиты от него нужна непроницаемая, плотно прилегающая маска, а сбоку фильтр с поглотителем из двуокиси углерода и с веществом, освобождающим из воздуха кислород. Придется напялить на людей что-то вроде водолазных шлемов, а с ними без особой выучки не справишься.

— Подумайте, как это подействует на умы,— говорил Джерсон.— Париж или Берлин — мертвый город, все мертвы, и люди и крысы, никто не смеет войти в город и убрать трупы. Поглядев на такое, все страны взвоют и запросят мира любой ценой.

На секунду перед мысленным взором Верховного лорда встало видение. Безжизненная площадь Согласия. В Париже мертвая тишина. Окоченевшие тела, скрюченные последней мукой и застывшие навсегда...

Он с трудом вспомнил о Джерсоне.

— Совершенно очевидно, что Кэйм — ключ к нашей безопасности.— Мысленно он оценивал положение.— Почему бы нам немедленно не национализировать его?

— Почему? — повторил Джерсон и сморщился, точно лимон жевал. Он не сразу прожевал свои малоприятные мысли.— А вот почему,—сказал он.— Как производить газ Л, мы знаем. Это мы знаем. Но мы не знаем, как получать особые вещества, без которых нельзя его изготовить. И не знаем, как выделить необходимые редкие земли. Это знают только в Кэйме; у них там свои секреты производства. Тут несколько связанных друг с другом процессов. И, наверно, ни одна живая душа не знает их все — в целом и в последовательности. Разве что Кемелфорд. (Опять Кемелфорд!) Если мы приберем к рукам Кэйм, если из-за него поднимется шум, мы пер-

вым делом привлечем к нему внимание специалистов за границей. Ясно?

Владыка Дух и вояка-генерал понимающе взглянули друг на друга.

— Что это, в сущности, такое, Кэйм?

— Кэйм — в Лайонессе,— начал Джерсон.

— В Лайонессе?—тихо переспросил Верховный лорд. Мысль его перенеслась в прошлое, к годам юности, юность его была пылкой, поэтической и, однако, благопристойной, овеянной классическими традициями; в те годы еще вызывал восхищение Теннисон и исчезнувшая страна короля Артура все еще озаряла романтическим ореолом Корнуэллское побережье. На какое-то мгновение он готов был подумать, что грезит наяву: такой колдовской властью обладало имя той легендарной страны. Но вот далекий Лайонесс и дремлющий в лучах заката Авалон[1] рассеялись, и перед ним вновь возникло свирепое, все в синих точках лицо Джерсона.

— Это новые предприятия исследовательского концерна «Звезда и Ракета». Своего рода объединение «Ромер-Стейнхарт и К°» с Кемелфордом. Кое-какой американский капитал. Но деловой стороной заправляет Вудкок. Он стал эдаким вторым «Я» Кемелфорда. Тот забрал его в руки и не выпускает. Вудкок—большой ловкач по части закупок и биржевых операций. Они затеяли что-то крупное. Черт их знает, чем они там заняты! Только не газом Л. У них на уме что-то совсем другое. Переворот в производстве то ли красителей, то ли кинопленки, то ли еще какой-то химической дряни. Вот для чего им нужно это сырье. Дешевые фильмы для школьников или еще какая-нибудь глупость в этом роде. Подумать только! Растрачивать наш газ ради каких-то сопливых детишек! Они отпускают нам сырье птичьими порциями, как им вздумается. Дерут с нас, сколько им заблагорассудится. Да еще с таким видом, будто одолжение делают.

Мысль Верховного лорда вернулась к тому, что поразило его несколько минут назад.

— Лайонесс? Но почему все-таки Лайонесс?

---

[1] Лайонесс — по легенде, страна, расположенная западнее полуострова Корнуэлл, ныне затопленная морем. Авалон — чудесный остров, обитель бессмертия, земной рай, куда попадают после смерти король Артур и другие герои.

— А вы не знаете? Правда, они действовали втихомолку. Они вовсе не желают никакой рекламы. Площадь в две-три квадратных мили, поднятая из моря, возле деревушки Кэйм, в сторону Ленде Энда. Там и добывают наше сырье. Предполагается, что заводы находятся в Кэйме, а на самом деле они на земле, которая была под водой. Про эти места есть какая-то древняя поэма, или легенда, или что-то в этом роде...

— Так это и в самом деле Лайонесс!

— Так называют это место.

— И они построили завод на дне морском?

— Да нет! Они сперва подняли морское дно, построили что-то среднее между газовым заводом и линейным кораблем.

— Но как же это?.. Как они подняли дно моря?

— Кто их знает, как. Подняли, да и все. Со всеми там залежами и минералами. И пока война не началась, мы не можем устроить на них набег, все обшарить, обыскать и захватить. До них не доберешься. Это единственный недостаток нашей подготовки к войне. Самое слабое место — наш отечественный коммерсант. Я всегда говорил, что так оно и будет. Говорят, с рабочими хлопот не оберешься. С рабочими, черт их дери, никаких хлопот, пока их не подстрекают. Право же, они патриоты не хуже меня. Люди как люди. Пока им не свихнут мозги на сторону, они терпеть не могут иностранцев. Бейте подстрекателей и тогда можете муштровать рабочих в свое удовольствие, скажу я вам. Но военные и дельцы не терпят и не уважают друг друга. Во всяком случае, крупные дельцы. Те, которые торгуют со всем миром. У нас, понятно, есть так называемая патриотическая автомобильная промышленность и прочие патриотические фирмы, но даже те, кто малюет национальный флаг на автомобилях или на консервных банках, при случае начнут совать нам палки в колеса. Но этих на худой конец можно купить. Можно сказать, что армия обута, одета и вооружена одними только британскими промышленниками. Что она побеждает, вскормленная хлебом империи. Но я не про эту шатию говорю. Я говорю про тех, кто держит в руках основную продукцию. Про новомодных дельцов. Про новомодных штатских воротил. Которые сперва думают о про-

мышленности, а уж потом о национальной гордости. И разводят всякие возмутительные теории. С чем-то в этом роде они вылезали разок-другой во время мировой войны: они, видите ли, не желали пускать богатства на ветер. Но теперь этого стало куда больше. Теперь это подрывает самые основы. Их спекуляции ставят под удар победу. Вот до чего дошло! Рисковать победой! Им нет дела до империи! Меня не обманешь. Если в предстоящей войне империя хочет победить, ей придется платить за это, а иной раз мне кажется, ей не видать победы, если даже она и заплатит. Ведь они могут ей все равно помешать.

Верховный лорд напряженно думал. Ровными красивыми зубами он покусывал свои изящные пальцы. У него созрел план. Но краем сознания он следил и за мыслью Джерсона.

— Было время,— продолжал Джерсон,— когда ученый знал свое место. Он не покидал этого места, как механик на корабле не покидает своего. Нужно было только следить в оба за финансами. Ими заправляли по большей части евреи, а в евреях силен интернациональный дух, но их женщины любят титулы и всяческую пышность, и мужья у них в руках точно воск. И в глубине души еврей всегда боится солдата. Но ученому вы смело могли доверять. Прежде могли. Нужно было только напялить на него мундир, дать ему на время войны чин, и он становился таким ярым патриотом, что для вашего удовольствия готов был убить хоть родную мать. И с деловыми людьми было то же самое. Они просто обожали портупею и шпагу. Ради орденской ленты они готовы были ползать на брюхе. Это были дельцы старой закваски, из тех, что в четырнадцать лет шли в услужение в лавку или на фабрику. Прирожденные патриоты. Готовы отдать армии все, что ни потребуется. Так было прежде. Теперь не то. Все изменилось. Это проклятое образование, эти новые идеи проникают всюду. Отравляют мозги не хуже ядовитого газа. Подрывают дисциплину. Молодые ученые, те, что поумней, становятся большевиками, а то и похуже. Даже поверить трудно. На них нельзя положиться. Удивительное дело! А дельцы и банкиры все насквозь прониклись гнилым пацифизмом. Они впитывают его из воздуха. Они заражаются им от Америки.

Черт знает, откуда они его нахватались! «Разве война выгодна?»—спрашивают они. Разве война выгодна? Каков вопросец, а? Мы еще держимся только потому, что богачи боятся коммунистов, а коммунисты не желают знаться с богачами. Неимущий пацифист держит в страхе пацифиста-богача, а нам это на руку. Но надолго ли это? Если они перестанут грызться между собой и оглядятся по сторонам, они вам мигом устроят Соединенные Штаты всего света, и флоты и армии попадут на свалку, а солдаты кончат свои дни в богадельне. Взять хоть наше положение. С этим самым газом. У нас в руках всем газам газ. Кажется, чего лучше. Другого такого случая у Англии не будет. Начни мы сейчас — и победа наша. А мы никого не можем взять за горло, мы сперва должны задуматься: а будут ли у нас вовремя пушки? А хватит ли у нас сильных взрывчатых веществ? А главное — соизволят ли мистер Кемелфорд и сэр Басси Вудкок любезно предоставить нам наш кровный газ? Брр! Тошнит, как подумаю!

Даже величайшим военным советникам нельзя давать воли, не то их речам конца не будет. Верховный лорд вздохнул и выпрямился с таким видом, который ясно давал понять, что совещание окончено. Он побарабанил пальцами по столу и кивнул.

— Когда пробьет час, mon général[1], у вас будет столько газа, сколько понадобится,— заверил он.

(И опять на миг его кольнуло сомнение.)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СЭР БАССИ УПОРСТВУЕТ

Как только Верховный лорд возвратился в Лондон, к нему был вызван сэр Басси.

Странная это была встреча. С незабываемого вечера пришествия, когда в мистера Парэма вселился Владыка Дух, этим двоим ни разу не привелось поговорить с глазу

[1] Мой генерал *(франц.)*.

на глаз. Но в глубине сознания Верховного лорда все время со странной настойчивостью маячила коренастая фигурка сэра Басси.

Во властном спокойствии, с каким разговаривал теперь Верховный лорд, едва ли оставалось что-либо от деликатного мистера Парэма, и сэр Басси, утратив мрачноватую хозяйскую уверенность былых дней, походил теперь на струхнувшего, разобиженного мальчишку, которого отчитывает учитель.

Верховный лорд сидел за своим столом, величественный и невозмутимый. Это был снова Парэм во весь свой рост. По сравнению с сэром Басси он казался великаном.

— Я хочу поговорить с вами, Вудкок,— сказал он.

Совершенно новый тон.

Сэр Басси что-то проворчал себе под нос. Для него не приготовили стула. Оценив положение, он притащил себе стул с другого конца комнаты и уселся. Какой же он коротышка!

— Ну? — спросил он не слишком любезно.

— Я намерен возложить на вас ответственность за военные поставки Британской империи и в особенности — за цветные металлы, за взрывчатые и отравляющие вещества.

Никаких обиняков. Сэр Басси, застигнутый врасплох, не знал, что ответить. Вот бессловесное создание! Белый указующий перст устремился на него; ясный взор созерцал его.

— Вы хотели что-то возразить?

— Нелегкую задачу задаете,— сказал сэр Басси.

Но не стал отказываться.

— Это большая ответственность,— прозвучал голос Владыки Духа.

— Вне всякого сомнения.

— Я сказал: ответственность.

— Я как будто не глухой.

Он верен себе, этот сэр Басси.

— Слово «ответственность» означает, что, если в день, когда это понадобится, нужные материалы не будут представлены в неограниченном количестве, отвечать будете вы.

— А на что вам отравляющие вещества и газы? — вдруг резко спросил сэр Басси.

— В высшей степени необходимы.

Острый ум Верховного лорда мгновенно отметил то многозначительное обстоятельство, что сэр Басси сразу же подумал о газе.

— Так ведь газ — штука не историческая,— сказал сэр Басси.— Традиции его не предусматривают.

— Что же из того?

— Да разве вся эта ерунда не в духе истории?

— Какая ерунда?

— Военизация страны, государственное и национальное первенство, флаги, армии, границы, любовь к Британской империи, преданность, самопожертвование и затея крепко ударить по России.

— Разумеется.

— Ну, как же иначе,— в раздумье промолвил сэр Басси.— Да, так на чем мы остановились?

Видно было, что он собирается высказать взгляды выношенные и продуманные.

— Почему бы вам не вести вашу традиционную игру традиционными средствами? — начал он с заранее приготовленного аргумента.— Зачем впутывать в это дело современную науку? Для исторических событий пускайте в ход историческую армию и флот, а газы, танки и подводные лодки не трогайте. Если уж вам непременно надо тешиться национальными флагами и государственными границами, возвращайтесь к кремневым ружьям, пешим переходам и пушкам с десятифунтовыми ядрами, а современное оружие оставьте в покое. Химия — не вашей эпохи. Она не для вас. Это штука новая. Вы до нее не доросли.

На минуту Верховный лорд растерялся. Никогда не знаешь, чего ждать от этого сэра Басси. Потом на выручку ему, точно лучезарный ангел, явилось прекрасное слово.

— Преемственность,— произнес он как заклинание и откинулся на спинку кресла, чтобы лучше насладиться эффектом.

Внезапно обнаружились некоторые особенности мышления, издавна присущие Парэму. На время оставив ма-

неру выражаться прямо и сжато, Верховный лорд стал пространно доказывать свою точку зрения.

— Вы умственно недоразвиты, Вудкок,— продолжал он, а продолжать не следовало.— Вы славный малый, но совершенно необразованный. Во всем, что касается истории, у вас не больше воображения, чем у пятилетнего ребенка. Вы начисто лишены чувства преемственности событий. Все на свете развивается постепенно — эволюционирует, если уж надо употребить такое слово. А вы этого не понимаете. Старомодны именно вы с вашими понятиями о революциях и невиданных, новых начинаниях и о прогрессе, который никогда не опирается на прошлое. Ваша голова полна этим вздором, ибо природа не терпит пустоты. Разрешите открыть вам маленький секрет, сэр Басси. Как человек, который кое-что смыслит в истории, могу сказать вам: история человечества никогда не знала революций. Так называемые революции бывали,— иными словами, бывали смутные и бурные периоды, время, когда бил решающий час; но это лишь пена на великом потоке событий. Поток этот ширится от раза к разу. Да, это так. Но возникает ли он заново? Нет. Всем правит прошлое; не что иное, как прошлое, направляет наш путь навстречу неизбежной судьбе.

— И никак нельзя свернуть в сторону? — спросил сэр Басси.

— Нет.

— Эволюция или ничего?

— Таков закон истории.

— И ничего нельзя начать заново?

— Преемственность.

— Стало быть, железнодорожный состав должен был эволюционировать, отбрасывая последние вагоны и распуская в стороны подножки, пока не превратился в аэроплан, а грот-мачта на паруснике стала пустой внутри, как труба, и укоротилась, и камбуз превратился в котельную, кухонный котел — в пароходную топку? Во всем преемственность. Так? Никаких провалов. И никаких новых начинаний. Да ведь, черт подери, пятилетний ребенок и тот знает, что, если бы человек никогда ничего нового не начинал, его давно бы уже не было на свете!

Верховный лорд в упор смотрел на противника; он уже сожалел, что снизошел до спора со столь упрямым и непросвещенным субъектом.

— Вся эта ваша власть и политика безнадежно устарели, и им давно пора на свалку, так и знайте,— продолжал сэр Басси.— Это вам сны снятся. Дурацкие сны. Оно бы и неважно, да только вы бродите во сне, как лунатик, и вас заносит на опасную дорожку. Ядовитый газ и новые взрывчатые вещества не ваше дело. В Олдершоте мозги не растут [1], там почва больно песчаная. Они сохнут на корню. В тот день, когда вы с треском провалитесь, все эти ваши эксперты, эти ваши ублюдки, солдаты, которые лезут в химию и технику, техники и химики, которые путаются в военные дела,— вся эта шатия бросит вас на произвол судьбы... Военная служба — занятие для невежд и бездельников, которые вертятся вокруг разных технических фирм и предприятий второсортных химических синдикатов... Вам не добыть тех материалов, какие вам нужны, а если добудете, ваши эксперты не сумеют ими воспользоваться. Или только натворят бед...

Верховный лорд рассудил, что пора положить конец спору.

— Решать это буду я,— сказал он.— Ваше дело — всеми возможными способами обеспечить поставку материалов.

— А если я не захочу?

— Существуют поступки, которые даже в мирное время означают измену, сэр Басси.

— Измена! — повторил сэр Басси.— Еще что? Будете рубить головы топором? Раскрывайте свои карты. Я хочу знать, чем это пахнет.

Впервые со дня своего триумфального прихода к власти Верховный лорд встретил открытое сопротивление, и это странным образом взволновало его. Каждый нерв в нем затрепетал, и ему пришлось собрать все свое самообладание. Сэр Басси не один, за ним стоит слишком многое. Нельзя уступить первому побуждению и отдать приказ о его аресте. Если уж придется пойти на подобный шаг, надо будет сделать это как можно тише

---

[1] В Олдершоте находятся крупнейшие военные лагеря Англии.

и незаметнее. За сэром Басси стоят люди вроде Кемелфорда — силы, которые трудно учесть.

Верховный лорд обратил взор к окну и минуту-другую созерцал безукоризненные очертания военного музея. До чего же он ненавидел сэра Басси! Все еще не глядя на упрямца, он тронул стоявший на столе колокольчик.

— Я честно предупредил вас,— сказал он.— Можете идти.

Сэр Басси мгновенно исчез, оставив после себя чуть заметное дуновение своего неизменного «поди ты!».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПРОГУЛКА ПО ЕВРОПЕ

После ухода сэра Басси Верховный лорд еще долго стоял у окна своей комнаты в Уайтхолле, охваченный недоумением.

Он был точно человек, который, читая книгу, забыл перевернуть страницу и потерял нить мысли.

Он забылся.

Он унизился до спора.

Он забылся — и этот странный и опасный человечек, сэр Басси, каким-то колдовством пробудил в нем поглощенного и исчезнувшего мистера Парэма. Во всяком случае, нечто от Парэма. На секунду-другую он почти почувствовал себя Парэмом. Вместо того, чтобы простонапросто объявить этому Басси, что он должен делать и что ему грозит в случае неповиновения, он позволил втянуть себя в спор, стал слушать возражения и даже допустил, чтобы доводы сэра Басси хоть на несколько минут, но все-таки произвели на него впечатление. По правде сказать, он и сейчас еще не отделался от этого впечатления.

Верховным лордам так поступать не пристало. Они знают. Они всегда все знают. Они принимают решения мгновенно. Иначе откуда бы у них было право повелевать? И славу людей непогрешимых им надо поддерживать любой ценой. В разговоре с сэром Басси произошло что-то странное, и это не должно повториться. Воспоминание об одном застольном споре с участием покой-

ного мистера Парэма — покойного мистера Парэма, с которым столь таинственным образом связан он сам,— непомерно разрослось в воображении Верховного лорда. Надо вновь обрести душевное равновесие.

Он круто обернулся. В комнату неслышно вошел Хируорд Джексон и деликатно кашлянул.

В Хируорде Джексоне было что-то необыкновенно успокоительное. Он по самой природе своей был человек верующий; он так и излучал веру; его мысль почтительно следовала путями, указанными властителем, его преданность не знала вопросов и сомнений,— все это неизменно прибавляло Верховному лорду бодрости. И неизменно служило примером для окружающих.

— Все готово,— сказал Хируорд Джексон.— Вы сможете позавтракать в воздухе вином и сандвичами, новый берлинский диктатор будет ждать вас к трем часам.

Ибо Верховный лорд решил на скорую руку объехать Европу и договориться с сильными людьми континента о проведении общей политики. Люди эти, бесспорно, были хозяевами каждый у себя дома, но им явно не хватало вождя, который объединил бы их, чтобы сообща они могли подчинить буйные силы, которые делают наш век веком хаоса. Таким вождем намеревался стать Верховный лорд — диктатором среди диктаторов, властелином среди властелинов, предводителем нового крестового похода, который опять объединит весь христианский мир.

Он пустился в путь на легком военном аэроплане. Прежде чем слиться с Верховным лордом, мистер Парэм никогда не летал, если не считать двух или трех путешествий из Лондона в Париж на огромных воздушных омнибусах. Теперь, закутанный до бровей, ощущая, как по щекам, подбородку и кончику носа хлещет свежий ветер, птицей взмывая в небо и вновь устремляясь вниз, он впервые испытал восторг и наслаждение полета. Сопровождаемый аэропланами с целым штатом секретарей и эскадрильями истребителей, которые непрерывно описывали мертвые петли или камнем падали вниз и чудом выравнивались в каких-нибудь пятидесяти футах от земли, входили в штопор, выстраивались то квадратами, то длинными клиньями, гонялись друг за другом, вычерчивая круги и восьмерки, словом, на все лады развлекали Верховного лорда, его аэроплан про-

несся над милым зеленым Кентом, над Ла-Маншем, миновал Дюнкерк, пересек рукав за рукавом, устье за устьем зеленую дельту Рейна и, оставив слева спящие судебные подворья Гааги, повернул над тихими равнинами на восток, к Берлину. Берлин был первой целью поездки, ибо, как и предсказывал Верховный лорд на Имперском Совете, озлобленный, подспудно тлевший германский национализм прорвался наружу — и теперь Германией энергично управлял диктатор фон Бархейм. С ним надо было побеседовать, надо было добиться от него кое-каких гарантий. Затем — в Париж, возродить дух Локарно. Потом — Рим. И затем, еще до исхода этой недели, поворот к побережью; визиты королю Парамитрию, графу Пароли, Параминскому и, наконец, блистательный перелет на большой высоте в Мадрид, к Паримо де Ривера. Ведь Паримо как будто все еще в Мадриде. Все эти люди — братья по духу. Все они патриоты, властители, верные славным традициям человечества, преданные национальному флагу и отечеству, вере и семейному очагу.

В каждой европейской столице, точно стаи скворцов осенью, взмывали в небо аэропланы, приветствуя великого хранителя традиций. Однажды встречный аэроплан оказался в каких-нибудь двадцати футах, но пилот Верховного лорда с поразительной быстротой и ловкостью избежал столкновения. Над Римом один молодой и чересчур пылкий итальянец потерял управление и врезался со своей машиной в толпу на холме Пинчо, да еще произошла небольшая авария на аэродроме в Варшаве, во время которой сгорели два бомбардировщика, но больше никаких несчастных случаев не было.

Огромным удовольствием было кружить то над одной, то над другой великой столицей, над парками, башнями, мостами и неровной щетиной зданий, над окрестными холмами и гроздьями предместий, входить в крутой вираж и потом стремительно скользить вниз. Какому завоевателю древности случалось вот так ястребом кидаться с небес на союзный город? А потом аэроплан, подпрыгивая, катил по аэродрому, и вот гордый бесстрастный мрамор лица озарялся улыбкой, и гость выходил навстречу приветственным кликам, аплодисментам и объективам репортеров.

Могучий дух Верховного лорда, несколько поколебавшийся во время стычки с сэром Басси, вновь воспрянул благодаря этому посещению Европы. Беседа в Берлине окончилась полным его торжеством. На улицах еще шли бои, и, как говорили, юго-восточный район города сильно пострадал от бомб и перестрелки; оттуда еще и сейчас доносились последние выстрелы; но всю Унтер-ден-Линден заполнила восторженная патриотическая толпа, радуясь, что новый режим столь быстро признан величайшим человеком Британии. Всюду уже снова развевались старые флаги Германской империи.

Комната, где происходила встреча двух диктаторов, была обставлена с истинно прусской суровостью: мебель только самая необходимая, очень простая, на редкость внушительная и тяжеловесная. На почетном месте в стеклянной витрине выставлены реликвии, принадлежавшие некогда самому Фридриху Великому. Табакерка могла бы еще выдержать долгий поход, в сапогах поместилось бы немало багажа. Оба диктатора были одеты по-военному. Фон Бархейм рабски подражал все еще высокочтимому в Германии Бисмарку, и сжимавшая его торс кираса отнюдь не способствовала гибкости его ума и манер; на Верховном лорде была простая, но эффектная одежда генерала британской армии. Фуражка с золоченым козырьком, алая перевязь с простыми и богатыми украшениями, отлично сшитый мундир необыкновенно шли высокой фигуре властителя.

Не сразу удалось отвлечь фон Бархейма от рокового вопроса о том, на кого ложится ответственность за минувшую войну. Он заговаривал об этом снова и снова и проявил достойную сожаления недоброжелательность в связи с послевоенной политикой Франции. Без конца он твердил о Рейне. И когда только Европа забудет этот старый спор? Когда она обратит взор в будущее? Да, конечно, Европа должна хранить верность традициям, истории, национальным чувствам и своим правителям, но нельзя же быть верным всему этому без всякой меры и до бесчувствия! Если б можно было заставить Европу смотреть на все происходящее глазами англичан! Верховный лорд понял, что волей-неволей должен взять на себя роль учителя.

— Вы разрешите мне изложить свой взгляд на современное международное положение? — спросил он.

Железный правитель новой Германии хмуро кивнул в знак согласия.

— Вот здесь,— начал Верховный лорд, взмахом руки над столом рисуя знакомые очертания,— в самом сердце Старого Света, безмерно огромная, сильная, потенциально более могущественная, чем почти все страны мира вместе взятые,— он сделал короткую паузу,— лежит Россия. Подумайте о России.

— В четырнадцатом году французы были в союзе с Россией,— вставил фон Бархейм.

— Да, но не теперь.

— Именно поэтому они должны бы вести себя поумнее и не выводить нас из терпения.

— Польша повинуется им беспрекословно.

— Польша!!

Верховный лорд не сказал больше ни слова о Польше. Он опять заговорил о явном могуществе России, которое в ближайшем будущем останется неизменным, и продолжал излагать обычную британскую точку зрения на международную политику в свете этого обстоятельства почти теми же словами, как недавно на заседании Совета, лишь смягчил два-три выражения во внимание к патриотическим чувствам фон Бархейма.

— Какую роль во всем этом будет играть Германия? — вопросил он.— Германия, сердце Европы, народ, живущий в центре мира. Либо она стоит на передовой линии Запада в его борьбе против Азии, либо на передовой линии России против Европы.

— Она может занимать собственные передовые линии,— сказал фон Бархейм, но Верховный лорд пропустил эти слова мимо ушей.

Он чувствовал, что покоряет и просвещает фон Бархейма. Ясный ум мистера Парэма вкупе с обаянием Верховного лорда — это было поистине неотразимое сочетание. Странно вспомнить, как дурно приняли столь простую и ясную оценку положения, когда она была впервые высказана вслух за обедом у сэра Басси среди простых смертных. Медленно, но верно здравый немецкий ум фон Бархейма отвлекся от мрачных мыслей и обратился к раскрывшимся перед ним новым представле-

ниям. Казалось, на фон Бархейма повеяло свежим ветром.

Верховный лорд приступил к главному.

— Если бы я мог отправиться отсюда в Париж с каким-то определенным предложением,— сказал он и положил крепкую белую руку на плечо собеседника,— если бы я мог возродить дружбу и сотрудничество франков с их восточными собратьями, я знал бы, что жил не напрасно.

— Данциг,— коротко отозвался фон Бархейм. Потом прибавил: — И другие пункты, которые я вам уже излагал.

— А почему бы и не Данциг? От границ Польши до Тихого океана хватит земель, чтобы возместить вам утраченное.

— Ну, если речь идет о *таком* предложении...— сказал фон Бархейм, повернулся и посмотрел гостю прямо в глаза.— Я сперва не понял. Если мы опять можем свободно вооружаться... Это важное и достойное начинание.

И они перешли к делу.

Фон Бархейм хлопнул в ладоши на восточный манер, и тотчас появился секретарь.

— Карту мира,— потребовал фон Бархейм.— Принесите большой атлас.

На другое утро — не было еще одиннадцати — Верховный лорд оказался уже в Париже с глазу на глаз с мсье Паре́мом. Мсье Паре́м был во фраке — без фрака французские государственные деятели как без рук,— а Верховный лорд облачился в темную пиджачную пару безукоризненного покроя.

Мсье Парѐм был скептик и трезвый реалист, соображал быстро, выражался кратко. Враждебность чувствовалась не столько в его отношении к делу, сколько в тоне. Ибо для французов всякая сделка — что-то вроде ссоры. Одна сторона должна уступить. А тут заключалась весьма хитроумная сделка. Верховный лорд не торопясь изложил свои обширные планы. Не торопясь и изрядно упираясь, мсье Паре́м понемногу их усвоил. Но все с оговорками, стараясь не прогадать.

— Германия стремится на северо-восток,— говорил он.— Очень хорошо. На землях, лежащих севернее Мо-

сквы, будет где развернуться немецкой энергии, особенно зимой. Впоследствии можно будет вознаградить себя в Южной Америке. Тоже хорошо. Франция не затрагивает интересы Америки. Всего, что ей было нужно в тех краях, она достигла во время мексиканской экспедиции [1]. Мы двинемся на юго-восток, преследуя наши традиционные цели в Сирии и Северной Африке. И это тоже хорошо. Но надо со всей определенностью условиться, что в конечном счете это соглашение никак не отменяет для Франции дальнейшего... возмещения в Центральной Азии или в Северном Китае.

Оставив открытым целый ряд вопросов в этой области, мсье Парéм внезапно обратился к другим возможностям. Допустим, планы Верховного лорда потерпят крах. Такие случаи в истории бывали. Допустим, что в последнюю минуту Германия не выполнит условий сделки, а сообща с Италией нападет на Францию; обязуется ли в этом случае Британия принять сторону своего старого союзника? Мсье Парéм на этом настаивал. Новые переговоры не могут освободить ее от прежних соглашений. С другой стороны, если Италия нападет на Францию, а Германия из-за внутреннего мятежа или по какой-либо иной причине ее не поддержит и Италия окажется в единоборстве с Францией, Франция будет вправе поступить с Италией, с ее государственными границами и африканскими владениями по своему усмотрению, и Великобритания ни в коем случае не станет вмешиваться. Это твердо обусловлено, не так ли? Тут будет иметь место простая дуэль, и Великобритании останется только соблюдать нейтралитет. Если же Франция и Великобритания, выступив совместно, потерпят поражение, то, разумеется, последняя обязуется возместить Франции всю требуемую с нее контрибуцию, независимо от любых экономических затруднений, которые она, Великобритания, будет испытывать, не так ли?

Верховный лорд так твердо верил в победу, что во всех подобных вопросах охотно уступал.

Разговор перешел на Америку и сразу стал менее напряженным.

---

[1] Вооруженная интервенция Англии, Франции и Испании в Мексику (1861—1867).

— Похоже, что наши друзья по ту сторону Атлантического океана, запретившие спиртные напитки, хотят запретить и войну.

— Они не станут вмешиваться,— сказал Верховный лорд тоном человека, которому открыта истина.

— Для меня американский способ мышления просто непостижим, а для вас? — спросил мсье Парéм.— Но если бы они все же вздумали вмешаться,— продолжал он,— так ведь у них колоссальнейший флот, а у Франции весьма растянутая береговая линия. Обязуется ли в этом случае Великобритания держать по меньшей мере две трети своих морских сил в европейских водах, южнее и западнее Ла-Манша, для защиты французских берегов?

Наконец Верховный лорд высказался со всей определенностью: Франция примет участие в деле и получит свою долю выгод. Несмотря на весьма серьезные сомнения мсье Парéма, для неофициального подтверждения был приглашен германский посол. Затем, без излишней торопливости, но и без промедления, Верховный лорд возвратился к своему аэроплану, и британская эскадрилья в сопровождении почетного эскорта из аэропланов, пилотируемых искуснейшими французскими летчиками, взвилась в небо, щеголяя всеми мыслимыми фигурами высшего пилотажа. Все небо сверкало живым, изменчивым узором из аэропланов. Было очень красиво. Зрелище это поражало великолепием новизны, великолепием порядка, давало Верховному лорду ощущение своего полного и безраздельного могущества.

— В Рим,— промолвил он.

Совсем в ином духе проходила его встреча со славным Парамуцци, образцом всех великих полководцев нашей эпохи, гением едва ли не чересчур великим для Италии.

— Вот это человек,— сказал Верховный лорд, когда они встретились.

— Ecce Homo[1],— сказал Парамуцци.

Теперь необходимо было в самой пышной форме предложить Италии четвертое место и четвертую долю добычи от великого похода Западной Европы на Восток.

---

[1] Се человек *(лат.)*.

Притом предстояло несколько разочаровать ее в ее надеждах на Северную Африку. Надо было отвлечь ее внимание в сторону Греции, Балкан и — счастливая мысль внезапно осенила Верховного лорда — в сторону Крыма.

Достигнуто было полное взаимопонимание.

В Риме все совершалось в классическом стиле, или, если позволено будет употребить несколько противоречивый термин, в стиле неоклассическом. Беломраморная колоннада памятника Виктору-Эммануилу послужила достойным фоном для происходящего. Верховный лорд прибыл в придворном костюме, с орденами Подвязки и «За заслуги» и в плаще, покрой которого был создан им самим. Парамуцци для этого случая нарядился в черный бархат с серебром, широкополую шляпу его во множестве украшали страусовые перья невиданных размеров. Два великих человека встретились в фокусе огромного полукруга, образованного фоторепортерами.

— Хайль, Цезарь Британский!

— Хайль, Цезарь Цизальпинский!

Сомкнутые ряды фашистов разразились оглушительными приветствиями. Фашистские отряды заполняли всю Пьяцца Венеция. Нигде и никогда техника приветствия не достигала такой высоты, как в Италии во время правления Парамуцци. Со своими руками, ногами, коленями, грудью, подбородками и носами фашисты поистине творили чудеса. Опуская руку, они так единодушно и одновременно хлопали ладонью по бедру, что казалось — свод небесный разламывается на куски.

— Хайль, Цезарь Британский!

И затем гремит фашистский клич. В Лондоне так не умеют.

Потом два великих человека остались наедине, и наступила минута напряженнейшего духовного общения. Парамуцци приблизил свое лицо с пристальными, широко раскрытыми глазами почти вплотную к байроническим чертам гостя. И еще ближе придвинул крепко сжатый кулак.

— Власть! — сказал он.— Власть!

И второй кулак выразительным движением, казалось, свернул кому-то шею.

— Совершенно верно,— сказал Верховный лорд, слегка отступив по свойственной ему англосаксонской сдержанности, и чопорно поклонился.

Протянув руки, Парамуцци словно обхватил весь земной шар. Глазами он пожирал англичанина.

— Целый мир! — сказал он.— А мы! Мы — мужество! Мы — сила жизни.

— Да,— сказал Верховный лорд.— Да.

— Люблю жизнь,— продолжал Парамуцци.— Безмерно и страстно люблю жизнь. И смерть и опасность— алый сок жизни. Дисциплина — да, это хорошо, но главное — смерть и опасность. Обожаю необъезженных лошадей. Покушения на мою жизнь меня только забавляют.

В голосе его вдруг зазвучала нежность.

— И музыку люблю. Нашего истинно итальянского Скарлатти... И *любовь!* Искреннюю, страстную, безудержную любовь! Любовь учеников и энтузиастов! Не на словах, а на деле.

— Для меня,— кратко отозвался Верховный лорд,— превыше всего мой долг.

Очко в его пользу. Парамуцци подосадовал, что не он сказал эти слова.

Нордический ум Верховного лорда ощущал в этой встрече некоторую экзотичность, и он даже начал тревожиться за исход переговоров; но когда дошло до дела, Парамуцци оказался человеком весьма здравомыслящим. Он не скупился на обещания и заверения и согласился на четвертое место в дележе так, словно оно было не четвертое, а первое. Ясно было, что итальянский народ примет его именно как первое, как свою победу и торжество. Ибо этот Парамуцци был чародей: в руках у него была вся слава Рима; от его речей старая шляпа могла показаться вам великой империей, а безграмотный, живущий в тесноте и без конца плодящийся народ — достаточным обеспечением для неограниченных займов...

После Парамуцци король из Савойской династии показался Верховному лорду личностью тусклой и бледной...

Так Верховный лорд плел сеть соглашений и объединял союзников для своей Азиатской войны, для великого

удара Европы по Азии. Европы против Азии. Он чувствовал себя Геродотом, проповедующим единство эллинов; величайшим Геродотом, проповедующим единство христианского мира; он чувствовал себя царем Филиппом Македонским, подготовляющим походы победоносного Александра. Он чувствовал себя Цезарем, выступающим на юг. Петром Пустынником, Иоанном Крестителем. Он чувствовал себя как... Поистине в нем оживала вся история человечества. Он верил всем обещаниям, которых с такой энергией добивался от правителей Европы. Разумеется, он замечал, что они давали обещания не так уж охотно, с оговорками и умолчаниями, но он все еще упорно шел к своей цели, не обращая внимания на легкий привкус нереальности, который это обстоятельство придавало его великим замыслам. Он был убежден, что надо лишь идти своей дорогой — и его могучая воля увлечет за собой душу и разум Европы.

Его эскадрильи гудели над Европой, а над ним было только синее небо, и над этой синевой только бог всех народов, который, конечно же, правит в подлунном мире, хотя столь многие так называемые просвещенные умы об этом забыли. Охваченный восторженной верой в свои силы, Верховный лорд поднял глаза к небу и приветственно помахал белой рукой.

Бог всех народов снова стал реальностью, ибо Верховный лорд вернул его к жизни. Бог Битвы, успокоенный, возвратился и опять восседает на своем высоком белом троне.

— *Мой* бог,— промолвил Верховный лорд.

Близкие ему по духу диктаторы могли быть поглощены любыми распрями и междоусобицами, умы их могла занимать любая мелкая политика и третьестепенные проблемы, но британская политика, определяемая им, Верховным лордом, разумеется, была всеобъемлющей, глубоко истинной и непогрешимой и охватывала самую суть вещей. В конце концов был же он кое-чем обязан интеллекту бесследно исчезнувшего Парэма. Бедняга Парэм тоже мог кое-чем блеснуть, было бы несправедливо этого не признавать. Парэм, которого давно уже нет на свете. У него не было власти, но зато он отличался проницательностью. Чересчур был скромен,

энергии ни на грош, но проницательности у него не отнимешь. Чем чаще повторяешь его великолепное определение международной обстановки, тем полнее ощущаешь ее ясность и красоту.

— Фронты следующей всемирной битвы определяются сами собой, естественно, логично и неотвратимо,— сказал Верховный лорд диктатору Парамуцци.— Должен ли я разъяснять положение вам, человеку с проницательным умом латинянина? Вот здесь (и он провел рукою по воздуху: теперь он мог уже обходиться без стола), здесь, безмерно огромная, потенциально более могущественная, чем почти все остальные страны, вместе взятые, лежит Россия...

И так далее.

А потом снова на аэроплан, и в оглушительном гуле моторов — над горными хребтами — бог судьбы, человек, которого не забудет история.

Европа обратилась в разостланную под ним гигантскую карту. Словно он сидел в кабинете мистера Парэма в колледже Сен-Симона и размечтался средь бела дня, уронив на колени географический атлас. Сколько раз мистер Парэм именно так и коротал вечера! Ныне, паря над Европой, он почти забыл о своем споре с Кемелфордом и сэром Басси, пожалуй, он мог теперь не обращать внимания на нелепые затруднения с поставками газа и на непонятно откуда взявшиеся, жалящие сомнения, что копошатся где-то в темных закоулках его славы.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВОЙНА С РОССИЕЙ

Миру в любом случае очень скоро стало бы ясно, что Верховный лорд недаром пронесся, подобно метеору, в небесах Европы. Но многочисленные инциденты, разыгравшиеся в Персии, Туркестане, Афганистане и на северо-западной границе Индии, до предела ускорили естественный ход событий.

Верховный лорд был вполне готов к крайнему умственному напряжению, которое от него при этом потре-

бовалось. Он мог по памяти начертить карту Центральной Азии и назвать расстояния между важнейшими стратегическими пунктами. Действительность лишь подкрепляла его планы. Вот уже целое столетие всякому, кто серьезно изучал историю, было ясно, что благосостояние и счастье России, во времена ли царя или при Советах, целиком зависит от того, есть ли у нее выход к морю. Со времен Петра Великого все властители русских умов настаивали на этой бесспорной мысли. Достоевский изобразил это как некий таинственный рок. Нельзя было себе представить, чтобы Россия могла богатеть, процветать и быть счастливой, не владея землями, которые дали бы ей свободный, без помех и чьего-либо соперничества, выход к Тихому и Индийскому океанам и к Средиземному морю. Школа британской мысли, воспитавшая мистера Парэма, именно этого мнения и придерживалась, и целое столетие государственные умы Британии с величайшим усердием и изобретательностью строили планы, вели переговоры и воевали во имя удушения России. Преуспеяние и хорошо поставленное хозяйство на огромных пространствах, принадлежащих России в Европе и в Азии, неминуемо наносит тяжкий ущерб жителям Великобритании. Это неоспоримая истина. И если Россия утвердится на море, Британии будет нанесен ущерб непоправимый. А здравомыслящие люди в России, в свою очередь, не могли себе представить, что вполне можно сбывать продукты и удовлетворять потребности этой огромной страны и без того, чтобы завоевывать, поглощать и угнетать жестоко турок, персов, армян, жителей Белуджистана, индийцев, маньчжур, китайцев и всех прочих, кто стоит на дороге. Это была одна из тех великих проблем господства, которыми определяются пути истории.

В недрах этих двух гигантских политических систем упорно и неотвратимо вызревали логические последствия их непримиримой вражды. Железные дороги в Центральной Азии с самого начала были и остались прежде всего оружием в этой войне. Русские провели свои стратегические железнодорожные линии от Ашхабада, Мерва и Бухары; в ответ англичане построили параллельные дороги. Тегеран и Кабул кишмя кишели русскими шпионами и подстрекателями — разумеется, отъяв-

ленными негодяями,— а также энергичными, исполненными благородства британскими агентами.

С появлением эскадрильи Верховного лорда напряжение достигло крайних пределов. Над Мешхедом и Гератом так и вились русские и английские аэропланы, точно осы, готовые в любую минуту ужалить.

В такой обстановке и должен был действовать Верховный лорд. Он намеревался ускорить решение вопроса, пока новый режим в России еще не окреп и ее можно было в какой-то мере застигнуть врасплох. Хотя антибританская пропаганда русских (они называли ее антиимпериалистической) воздействовала на умы с огромной силой, можно было смело рассчитывать, что воинская дисциплина, боеприпасы и транспорт в Узбекистане и Туркмении еще отнюдь не достигли уровня, на котором они находились в царское время.

Кризис ускорила случайность: один английский летчик весьма кстати рухнул на загоревшейся машине прямо на базар в Кушке и не только погиб сам, но еще и раздавил или изжарил несколько человек. Тотчас вспыхнули антибританские волнения. Большевистская пропаганда приучила здешних жителей к подобным крайностям. Они разыскали и, как полагается, вываляли в грязи британский флаг и стали палить из ружей по двум собратьям погибшего летчика, которые снизились и описывали круги над базарной площадью, стараясь выяснить, какая участь его постигла.

Вести об этом, сильно приукрашенные, были тотчас переданы во все газеты мира, и Верховный лорд продиктовал пылкое послание в Москву, составленное по лучшим образцам лорда Керзона.

Русские ответили весьма невежливо. Они заявили, что британским аэропланам совершенно незачем летать над советской республикой Туркменией. В ноте британское правительство снова обвинялось во всех враждебных и зловредных действиях, имевших место после падения Керенского. Пространно описывались миролюбивые шаги и намерения Советской России и постоянные провокации, направленные против нее. Принести извинения или в какой-либо форме возместить ущерб русские отказались наотрез.

Верховный лорд сообщил этот нелюбезный и дерзкий ответ великим державам и воззвал к их сочувствию. В то же время он объявил, что вследствие столь тяжкого оскорбления Британская империя находится отныне в состоянии войны с Союзом Советских Республик. Нейтральные государства да соблаговолят соблюдать обычную сдержанность в отношении воюющих сторон.

Тотчас в качестве меры предосторожности русские войска заняли Герат, а британские войска — Кандагар, и мощный английский авиадесант, поддерживая атаку дружественных курдов, захватил и разграбил Мешхед. Англичане разбомбили Герат, и одновременно русские бомбили Кандагар, но куда менее успешно. Хотя обе стороны пустили в ход мощные взрывчатые вещества и зажигательные бомбы, население обоих афганских городов, забывая, что это были вынужденные действия, обратило весь свой гнев и возмущение на Британию. Вопиющая несправедливость! Несомненно, то были плоды самой бессовестной пропаганды. Ну, пусть бы афганцы немного повозмущались бомбежкой Герата, но ведь в Кандагаре-то рвались не английские, а советские бомбы!

Верховному лорду удалось совершить то, чего не сумел даже мистер Бринстон Берчиль: он добился войны с Россией, и притом с участием Афганистана.

На другой день после начала войны Англия и Япония, строго соблюдая тайный договор, заранее заключенный благодаря предусмотрительности Верховного лорда, объявили Гоминдан союзником России, в доказательство опубликовали документы, будто бы выкраденные надежными агентами у русских и китайских дипломатов, и начали блокаду Китая. Значительные японские силы высадились в Восточном Китае для охраны стратегически важных железнодорожных пунктов.

Англичане — народ, соображающий туговато,— только на второй день поняли, что началась новая мировая война. Сперва казалось, что военные действия ограничатся Азией и рядовой британский гражданин сможет спокойно любоваться ими издалека. В мюзик-холлах новая война стала предметом шуточек и острот, довольно ехидных, но при этом вполне патриотических, мишенью их были большевики. Тут язвили по поводу миро-

любивых разговоров, которые людям поумнее всегда казались очень скучными. Лорд-протектор счел за благо учредить цензуру, чтобы широкой публике было совершенно ясно, что́ именно следует думать и чувствовать в связи с происходящим. Правда, незаметно было бурного патриотического подъема, каким отличалась Англия в 1914 году на зависть всему миру, но безработных было вдосталь и приток добровольцев вполне достаточен, так что сразу же прибегнуть к мобилизации не пришлось. Антирусскую пропаганду можно было развертывать постепенно и энтузиазм раздувать по мере надобности.

Верховный лорд издал приказ, обращенный ко всем высшим офицерам: «Надлежит поддерживать бодрость и энергию. Все должны действовать быстро и бодро. Пусть развеваются все флаги, пусть играют все оркестры. Это будет веселая и многообещающая война. Война освежающая».

Число безработных сразу резко сократилось, и все газеты возвестили об этом на самом видном месте.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

АМЕРИКА ВОЗРАЖАЕТ

Но теперь, столь уверенно начав, пора было остановиться и поразмыслить. До сих пор Верховный лорд всячески старался не принимать в расчет Америку. Он предвидел, что там его действия вызовут волнение и недовольство. Он знал, что, выступая заодно с Японией, а главное, раскрывая, что он был с Токио в тайном сговоре, он неминуемо должен вызвать возмущение в Америке. Но теперь ему пришлось убедиться в том, как чувствительно общественное мнение Америки не только ко всему, что препятствует американскому судоходству, но и ко всему, что затрагивает американские интересы в Китае и Восточной Сибири. И волей-неволей ему пришлось признать, что американский образ мыслей стал совершенно чужд британскому.

Ему неожиданно нанес весьма неприятный визит новый американский посол. Он явился в час ночи, сразу же после телефонного звонка.

По странному стечению обстоятельств Верховному лорду до сих пор не приходилось встречаться с этим послом. Мистер Руфус Ченсон находился во Франции, где его жена недавно перенесла операцию. Теперь он примчался сломя голову и, получив сообщение из Вашингтона, среди ночи ворвался к Верховному лорду.

Своим видом он сразу напомнил некоего мистера Хэмпа, банкира, с которым мистер Парэм познакомился на памятном обеде у сэра Басси. Тот же серый цвет лица, те же очки; он так же сутулился и говорил так же неторопливо, взвешивая каждое слово. Не будь он Руфусом Ченсоном, он, конечно, был бы мистером Хэмпом.

Его приняли в том кабинете военного министерства, который теперь стал для Верховного лорда домом. Ввел его сюда почти украдкой один из младших секретарей. Миссис Пеншо, в обществе которой Верховный лорд перед тем отдыхал душой, все время, пока длилось это свидание, сидела в уголке, не сводя со своего повелителя темных, полных обожания глаз.

— Что это значит, милорд? — воскликнул мистер Ченсон с ходу, даже не поздоровавшись.— Что все это значит? Я был от всего оторван. И вдруг на пароходе вижу газеты, а в Дувре меня встречает мой секретарь. Я как громом поражен. Что вы наделали? Почему мне прислали вот это? — И он взмахнул листом бумаги.

Верховный лорд был очень удивлен непомерным волнением посетителя, но сохранял полное спокойствие.

— Мистер Ченсон, если не ошибаюсь,— сказал он, пожал ему руку, затем указал на стул.— Что случилось, позвольте узнать?

— Неужели вы намеренно закрыли порт Тяньцзинь для американского судоходства? — взмолился Ченсон.— И это после всего, что было? Неужели вы захватили пять наших торговых судов? Неужели это по вашему приказу был открыт огонь по «Красавице Наранганcета», и она пошла ко дну, и семь человек утонули? Если все это так, то при сложившихся обстоятельствах одному богу известно, на что теперь способен американский народ!

— Объявлена блокада.

Американец воздел руки к небесам.

— Да почему блокада, ради всего святого?!

— Действительно, имел место неприятный инцидент,— признал Верховный лорд.

Он обернулся к миссис Пеншо, перебиравшей какие-то бумаги. И она ясным голоском подтвердила:

— «Красавица Нарангансета» отказалась подчиниться сигналам и была потоплена. Количество утонувших не установлено.

— О господи! — воскликнул Ченсон.— Да неужели вы, англичане, так никогда и не поймете, что американцы — самый вспыльчивый народ на свете? Как вы это допустили? Вы же лезете на рожон.

— Я вас не понимаю,— спокойно произнес Верховный лорд.

— О господи! Он не понимает! Перед ним американцы, самый чувствительный, детски непосредственный, самый умный и решительный народ на свете! А он оскорбляет их в лучших чувствах, нарушает свободу морей, он пускает ко дну их корабль и семерых их сограждан, точно это какие-то индийцы!

Верховный лорд смотрел на Ченсона; до чего бесцеремонен: кричит, бранится, ни один европейский дипломат никогда не позволит себе ничего подобного. Поистине, из всех чужестранцев американцы самые чужие и непонятные. И, однако, они так близки нам. Ощущение такое, словно тебя бранит родной брат или закадычный друг детства, который и не думает о приличиях.

— Мы предупреждали о наших намерениях. Мы были в своем праве.

— Я пришел к вам не для споров. Как нам теперь быть? Неужели вы не могли один раз уступить? Ничего не могу поделать, я обязан вручить вам это послание.

Но он не отдал документ. Казалось, он просто не в силах выпустить из рук эту бумагу.

— Послушайте, Верховный лорд,— вновь заговорил он.— Наш президент — человек миролюбивый. Он—само миролюбие. Но, не забудьте, он представитель американского народа и должен говорить от имени всех американцев. Пока мы с вами разговариваем, сэр, это послание передается во все газеты. Задержать его невозможно. Вот оно. Вам оно может показаться вызываю-

щим, но половина американцев скажет, что оно еще слишком мягко. Свобода морей! Они за нее горой. Даже жители Среднего Запада, которые толком не понимают, что это значит,— и те за нее горой. Захватить наши суда! Потопить нас! Не думал я, когда приехал к вам в Англию, что мне придется распутывать такой узел... Все было так мило. Приемы при дворе. Обходительные друзья. И вдруг такая неприятность... Моя жена, сэр, из-за этого опять слегла. В Париже ее исцелили, а теперь все пошло прахом!

Он положил бумагу на стол, в отчаянии стиснул руки и что-то горестно забормотал себе под нос.

Верховный лорд взял послание и пробежал его глазами. С каждой минутой лицо его становилось бледней и суровей. Гнев и отчаяние бушевали в душе. Да, это был поистине вызов. Рядом с ним знаменитая Венесуэльская нота казалась любовной записочкой. Эти американцы никогда не отличались сдержанностью. Британия должна прекратить блокаду «немедленно» — слово совершенно излишнее,— вернуть захваченные суда, возместить...

Он дочитал и вновь перевернул страницу, стараясь выиграть время. Он поспешно соображал: как отнесется к этому Англия, как это примет Канада, как это отразится на Британской империи и на всем мире. Его уже и так сильно беспокоили предполагаемые союзники в Европе: ни один из них не спешил, как полагалось бы, выполнить условия заключенных с ним соглашений. Германия, Польша, Югославия, Италия не предприняли никаких шагов против России, даже границ не закрыли, а Франция, хоть и провела частичную мобилизацию, не высказала ясно своих дальнейших намерений и ничего больше не сделала, чтобы поддержать Англию. Казалось, все они чего-то ждут, какого-то сигнала. Как-то поведут себя эти не слишком решительные союзники, когда прослышат о его ссоре с Америкой?

— Дорогой сэр,— сказал Верховный лорд.— Дорогой мой сэр! Мы, британцы, всегда готовы были считаться с некоторыми слабостями американской дипломатии. Но это послание!..

— Да,— сказал американский посол,— но не думайте, что это пустые слова.

— Нет, это уже слишком. Мы знаем, что у вас многое делается в угоду партийной политике. Но такое!.. У американских государственных деятелей, как видно, вошло в привычку не считаться с тем, что и у нас здесь немало трудностей. Я постараюсь отнестись как можно терпимее к этому потоку оскорблений. Но... должно быть, когда президент писал это, у него был приступ горячки.

— А вы не можете заявить, что этот обстрел был ошибкой? Погорячился кто-то из младших офицеров, и прочее?

Верховный лорд на мгновение задумался, потом вздрогнул и взглянул на миссис Пеншо.

— Боже милостивый! — воскликнул он.— Свалить все на человека, который только выполнял приказ!

— Вы настаиваете на том, что это было сделано по приказу?

— Да, люди действовали в духе общего приказа.

Американец пожал плечами, его явно взяло отчаяние.

— Мне нужно подумать,— сказал Верховный лорд.— Ваш президент поставил меня в ужасное положение. Я посвятил себя государственной деятельности, чтобы вернуть жизни человеческой былое благородство. Я поклялся возродить мужественную Англию. Я призван осуществлять высокую политику, дабы спасти великие ценности западной цивилизации. Навряд ли у вас, в Америке, представляют себе, как огромны разногласия, из-за которых ныне разгорается бой. Ваш президент тоже этого не понимает. Я собираю все силы нашей великой империи для всемирной битвы, а тут вдруг вытаскивают на свет божий какую-то ничтожную мелочь, чтобы расстроить, осложнить,— уж не знаю, может быть, чтобы унизить... Что хорошего, скажите на милость, даст вам этот грубый выпад? Чего вы этим достигнете?

— Так, — прервал американский посол.— Но поймите одно, сэр: это не просто грубый выпад ради популярности перед очередными выборами, и от этого нельзя отмахнуться, как от обычной попытки подразнить британского льва. Если вы намерены так к этому отнестись, вы совершите большую ошибку. Американцы, может быть, ребячливы, но они люди с размахом. Они смотрят на вещи широко. Они не мелочны. Быть может, они в один

прекрасный день станут взрослыми и поразят мир своим величием. Даже и сейчас им свойственно обостренное чувство справедливости. И правы они тут или не правы, но они верят в эту самую свободу морей так же свято, как в доктрину Монро; и вместе с ними в нее верит президент; и если ничего не будет сделано, чтобы загладить случившееся, и если вы собираетесь и впредь захватывать или обстреливать наши суда, то... я вам не угрожаю, я говорю это с отчаянием и скорбью,— дело дойдет до ультиматума.

— Дорогой мой сэр! — сказал Верховный лорд, все еще отказываясь верить в столь неприятную возможность.— Но ведь ультиматум означает...

— Об этом я и говорю. Это означает войну, сэр. Это означает нечто такое, чего никто по обе стороны Атлантического океана никогда и вообразить не осмеливался...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ВЕРОЛОМСТВО

Для истинно великих людей черные дни — неизбежность. Цвет власти — пурпур. Всякая великая жизнь — трагедия. Блистательное восхождение Верховного лорда начали отныне омрачать тени близящихся бедствий. А вместе с его судьбой омрачалось и его настроение. Америка не поняла его, едва ли не злонамеренно отказалась оценить по достоинству все значение, всю мощь его грандиозных замыслов. Прежде он не представлял себе, как далеко отошла она от британского понимания истории, от европейского взгляда на мировую политику. И вот все его титанические планы на грани крушения. Случай с «Красавицей Нарангансета» и нота американского президента оказались поворотным пунктом в его судьбе.

Он знал и раньше, что его вмешательство в людские дела — это подвиг, но не понимал, сколько тут таится сложностей и опасностей. Вдруг он понял, что бьется над головоломной задачей. Словно его вовлекли в спор — и поймали в ловушку, запутали, сбили с толку. Его постоянно преследовало воспоминание о том памятном споре мистера Парэма с Кемелфордом, Хэмпом и сэром Басси.

Казалось, они теперь всегда присутствуют где-то на втором плане, радуются каждой его неудаче, все его ценности объявляют ложными, его идеи — устарелыми и предвещают какое-то непонятное, чудовищное переустройство мира, в котором ему не будет места. Этот непонятный, чудовищный новый порядок вещей был самым отдаленным, самым смутным, но и самым тревожным из всех тягостных предчувствий, гнездившихся где-то в дальнем уголке его сознания.

Верховный лорд твердо верил, что он избранный вождь объединенных народов Британской империи. Нота президента заставила его понять, что британцы могут вести себя совсем не по-британски. Лишь очень небольшая часть населения постигла, что империя—та империя, пророками которой были Киплинг и Сили [1],— превыше всего. И, может быть, именно потому, что небольшая часть нации восприняла эту истину с необычайной силой и глубиной, все остальные усвоили ее совсем недостаточно. Неужели имперский патриотизм возник слишком поздно? Или ему еще предстояло распространиться вширь и вглубь? Ему не удалось увлечь умы идеей колоний, или увлечение уже позади?

Не только народные массы дома, в Англии, но и жители доминионов постепенно перестали чтить понятия, прививаемые Оксфордом и Кембриджем, верить в их непогрешимость, в обычаи и традиции правящего класса, армии и флота, в незыблемость своей близости с Лондоном, во все, что сделало нашу Британию такой, какова она теперь,— а быть может, они и не верили в это никогда. Эти огромные, непонятные людские массы вслед за Америкой все дальше отходили от основ истинно британского понимания истории и истинно британского поведения. Уже несколько лет проницательный мистер Парэм предчувствовал, что преданность империи пойдет на убыль. И он даже во сне не находил покоя. Если не станет преданности империи, что нас ждет впереди, как не полный упадок? И теперь героический дух Верховного лорда захлестнули былые тревоги мистера Парэма. Неужели он ведет безнадежную игру? Неужели, несмот-

---

[1] Сили, Джон Роберт (1834—1895) — английский историк и публицист; один из идеологов британского империализма.

ря ни на что, его удел не победа, но зловещее великолепие последней битвы за идеи, слишком благородные для этого малодушного мира?

Когда он захватил власть, лондонская толпа казалась бессмысленно равнодушной к перемене режима. Она не приветствовала его, но и не сопротивлялась. Как видно, ей плевать было на парламент. Но, с другой стороны, разве она приняла диктатуру с восторгом? Теперь ясно, что если восторг и был, он был отравлен угрюмым недовольством. Направляясь в своем большом синем автомобиле к Ричмонд-парку, где час в день он позволял себе отдохнуть и подышать воздухом в обществе миссис Пеншо и Хируорда Джексона, Верховный лорд увидел нескончаемую вереницу «живых сандвичей», бредущих по улице Уайтхолл.

Чаще всего на плакатах повторялась краткая надпись красными буквами: «Руки прочь от России!» И это — когда мы находимся в состоянии войны с Россией. Да ведь это, ни много ни мало, открытая измена! Другие плакаты были многословнее: «Руки прочь от Китая! У нас довольно хлопот и без Китая!» Были и такие: «Не хотим войны с Америкой!» Это было высшее выражение протеста. Люди с плакатами тащились по улицам, и никто им не препятствовал. Ни один патриот не вмешался. Никто и не подумал стукнуть их по голове. А ведь живых сандвичей очень удобно бить по голове. Но полиция и пальцем не шевельнула.

Какого черта надо этим людям? Чего они хотят — национального позора? Он не мог просто не обращать внимания на эти плакаты. Он был слишком поражен. Он смотрел. Даже повернул голову. И этим выдал себя. Люди, конечно, заметили, что он обернулся, необходимо было сейчас же что-то предпринять. Машина остановилась.

— Вылезайте,— сказал Верховный лорд Хируорду Джексону.— Подите и прекратите это. Выясните, на чьи деньги это делается.

И он поехал дальше мимо зданий парламента, запертых, безлюдных и, как ему вдруг показалось, смотревших на него с немым и несправедливым укором. В Ричмонд-парке он был хмур и нелюбезен с миссис Пеншо.

— Мой народ настраивают против меня,— сказал он после долгого, тягостного молчания.

В парке велись кое-какие интересные работы по устройству электрической подвесной дороги, но мысли Верховного лорда были заняты другим, и, вопросы, которые он задавал, не отличались живостью и глубиной.

Вскоре он поймал себя на том, что в сжатых и резких выражениях составляет декрет об общественной безопасности. Вот до чего дошло! Необходима краткая и четкая вводная часть, определяющая грозную опасность, нависшую над Британской империей. А затем надо сообщить о новых суровых законах против антипатриотической печати, антипатриотической агитации и малейшего неповиновения гражданским и военным властям. Придется ввести самые строгие меры наказания. Прямая измена в военное время должна караться смертью. Людей военных, обязанных убивать, следует освободить от какой-либо личной ответственности, если они, убивая, твердо убеждены в своей правоте. За нападки на существующий режим полагается смертная казнь — расстрел. При любых обстоятельствах. Если империя вообще чего-нибудь стоит, она стоит того, чтобы за нее расстреливать.

Когда он, суровый и сосредоточенный, вернулся в военное министерство, к своему письменному столу, намереваясь продиктовать этот декрет, его уже ждал Хируорд Джексон с кучей свежих и еще более неприятных новостей. Люди с плакатами на улице Уайтхолл были всего лишь первыми ласточками грандиозной бури протеста против того, что ораторам угодно было именовать вызовом, брошенным Америке.

По всей стране происходили митинги, шествия, демонстрации; англичане всеми способами выражали смутное, но сильное противодействие политике Верховного лорда. Сила недовольства его выступлением против России могла сравниться лишь с возмущением, которое вызвали его раздоры с Америкой.

— Мы не желаем воевать ни с Россией, ни с Америкой, все равно, будь то война справедливая или несправедливая,— заявил в Лестере один видный лейбористский лидер.— Мы в эту войну не верим. Не верим, что она необходима. В прошлый раз нас обманули, но уж больше мы на эту удочку не попадемся.

И эти чудовищные слова, это полнейшее отречение от национального духа толпа встретила криками одобрения!

— Надо расстреливать,— пробормотал Верховный лорд.— Расстреливать без колебаний. Это станет поворотным пунктом.

И он поручил миссис Пеншо отпечатать черновой текст нового декрета.

— Надо немедленно передать это по радио,— сказал он.— Разложение надо остановить, надо заставить мятежные голоса умолкнуть, иначе все пойдет прахом. Прочтите мне декрет вслух...

Когда по Британской империи разнеслась весть о том, что Америка объявила ей блокаду, бесчисленные и все умножающиеся свидетельства нерешительности, разобщенности и прямого отступления приняли угрожающие размеры. Стало ясно, что жители доминионов так же склонны к постыдному пацифизму, как и большинство населения в самой Англии. И столь же не способны понять, какими путями должно развиваться отважное наступление империи. Канадский премьер-министр лично написал Верховному лорду, предупреждая, что Британия ни в коем случае не может рассчитывать на участие Канады в войне против Соединенных Штатов. Более того, если обстановка еще более обострится, Канада вынуждена будет в качестве меры предосторожности интернировать британские вооруженные силы, находящиеся на ее территории и в ее водах. Он, канадский премьер-министр, уже предпринимает все необходимые к тому меры.

Несколько часов спустя почти столь же неприятные заявления сделали Южная Африка и Австралия. В Дублине имели место многолюдные митинги республиканцев-сепаратистов и предпринято было небольшое разбойничье нападение на Ольстер. В то же время из ряда шифрованных телеграмм стало ясно, что в Индии неудержимо ширится повстанческое движение. Продолжались, видимо, систематические нападения на железные дороги за северо-западной границей; с упорством и энергией, каких никто не мог предвидеть, мятежники бомбили мосты и перерезали дороги, ведущие к жизненно важным центрам страны. В Пенджабе волнения приняли религиозную окраску. Как видно, подражая Нана-

ку, основателю секты сикхов, невесть откуда явился новый вождь и начал проповедовать какое-то эклектическое учение, род коммунистического богословия, которое должно объединить мусульман и индусов, коммунистов и националистов общей верой и общим патриотизмом. Это была личность деятельная и воинствующая. Ученики его должны были быть прежде всего борцами, а их заветной целью, высшим счастьем, к которому они стремились, была смерть в бою.

В этой путанице радовало только одно — непоколебимая преданность индийских властителей. По собственному почину они образовали нечто вроде добровольного совета по английскому образцу и деятельно помогали имперским властям подавлять волнения и защищать границу. Они, безусловно, готовы были взять на себя ответственность за происходящее.

Перед лицом подобных событий вся Британия, по мнению Верховного лорда, должна бы подняться в едином патриотическом порыве. Все социальные распри следовало забыть. В армию должны бы потоком хлынуть добровольцы из всех слоев общества. В 1914 году они так непременно и сделали бы. Что случилось с тех пор с духом и ясным умом нашего народа?

Что ж, декрет об общественной безопасности будет для них как оклик часового. Он потребует безоговорочной верности, и надо будет ответить: да или нет. Придется им заглянуть себе в душу и принять решение.

Новые тревоги доставило Верховному лорду двусмысленное поведение европейских государств, обещавших ему союзничество. Иные из них действовали согласно с обязательствами, принятыми их правителями. Франция и Италия провели мобилизацию, но лишь в пограничных друг с другом районах. Фон Бархейм по телефону уверял, что его связывает по рукам и ногам республиканский и антипатриотический мятеж в Саксонии. Турция также провела мобилизацию, и в Египте вспыхнули какие-то непонятные националистические волнения.

Верховный лорд все яснее понимал, что, когда доходит до войны, события обрушиваются на главу государства стремительным потоком, не давая ни секунды передышки. Отношения с Америкой, спокойные и ровные,

за какие-нибудь четыре дня переросли в острый конфликт. Час от часу в головоломной задаче, стоявшей перед Британской империей, открывались новые и новые сложности. Он постепенно забрал в свои руки все нити управления империей. И теперь его минутами мучила жгучая зависть к Парамуцци, который на своем небольшом полуострове должен был решать не такую уж хитрую задачу.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

РАБСТВО ТИТАНА

По мере того как положение осложнялось и грозные опасности обступали Верховного лорда со всех сторон, он, думая о той роли, которую вынужден играть, все острее ощущал, что в наши дни судьбы мира приходится решать в отчаянной спешке.

— Вначале мое призвание казалось мне чересчур легким,— говорил он миссис Пеншо.— Разумеется, я понимал, что предстоит борьба, и борьба сложная. И рассчитывал на сплоченность нации, на единство всей империи. А, оказывается, я еще должен создать это единство. Я рассчитывал на верных союзников, а, оказывается, мне нужно их остерегаться. Я думал, что меня поддержат исполненные патриотизма ученый, финансовый и деловой мир, а передо мною бездушные люди, которые не внемлют моим призывам. Я вступил в битву с силами разложения, которые обрушились на весь от века установленный порядок человеческого бытия,—и никогда я не подозревал, что силы эти столь огромны. Только наша армия, наш флот, церковь и самые консервативные слои общества стоят неколебимо среди всеобщего распада и разложения. Они остаются верными себе; они остаются воплощением империи, ее целей и стремлений. На них по крайней мере я могу положиться. Но посмотрите, сколько бедствий обрушилось на меня.

— Мой полубог! — вздохнула миссис Пеншо, но он притворился, что не слышал: ведь иначе обоим будет неловко. Он стал необыкновенно практичен.

— Мне надо так построить мою жизнь, чтобы ни секунды времени, ни грана энергии не пропадало даром.

Я окончательно переселюсь сюда. Вас я попрошу следить за моими помощниками и за распорядком моего дня. Насколько возможно, вы здесь, в моем кабинете, создадите для меня домашний уют. Я знаю, я так же спокойно могу положиться на ваш здравый смысл, как и на вашу преданность. Постепенно мы подберем из числа гражданских служащих штат помощников, через которых будет проходить вся информация и на которых ляжет определенная ответственность. У каждого будет свой круг обязанностей. Сейчас нам еще предстоит собрать по винтику эту машину. Экономия сил, энергия, действенность...

Эти замыслы очень быстро принесли плоды, и жизнь Верховного лорда стала строиться таким образом, чтобы заставить его гениальный мозг работать на полную мощность в титанической борьбе, которую вел он во имя того, чтобы не дать империи и всему миру свернуть с пути, освященного традициями.

Сэр Тайтус Ноулз, прежде настроенный столь враждебно, стал теперь хоть и нелюбезным, но верным слугою Владыки Духа, чье величие открылось и ему. И на него, сэра Тайтуса, была возложена обязанность заботиться о силах и здоровье Верховного лорда. Он следил за диетой повелителя и в случае надобности поддерживал этот драгоценный организм различными снадобьями. Бдительно и неусыпно следил он за его химическими реакциями во всех их проявлениях. Он предписывал этому телу надлежащие порции отдыха и сроки сна.

Сэр Тайтус обрел свое призвание.

День и ночь каждые полчаса наготове была какая-нибудь простая пища, котлета или жареный цыпленок. Настало ли время подкрепиться? Если нет, блюдо уносили, а взамен, строго по часам, появлялось следующее. Диван или постель тоже всегда были наготове, чтобы Верховный лорд мог прилечь отдохнуть или поспать.

Войну и дипломатию нередко сравнивали с игрою в шахматы, но это шахматы с доскою неопределенной величины и формы, с фигурами, которые внезапно обретают неограниченную мощь и движутся, куда и как им угодно. И чтобы довести эту игру до победного конца,

надо уметь в любую минуту быть готовым к любой неожиданности. В комнате Верховного лорда стоял почти пустой стол, с которого были изгнаны все бумаги, не требующие в данный момент внимания. Обычно на этом столе только и было, что графин с водой, стакан и серебряная ваза, куда миссис Пеншо каждый день ставила свежий букет простых, но красивых цветов. Только она, она одна, безмолвная и внимательная, пребывала в этой комнате с Верховным лордом,—единственное существо, чья постоянная близость не мешала работе его могучего ума. Отсюда он переходил то в просторное помещение, где генерал Джерсон и фельдмаршал Кэппер склонялись над столами, на которых были разложены карты, то в другие комнаты, где хранились книги и картотеки для всевозможных справок и секретари и специалисты только и ждали случая подоспеть с ответом на любой вопрос. Поодаль,чтобы шум не тревожил Верховного лорда, размещались машинистки и всевозможные переписчики. Еще дальше были комнаты, где курьеры ждали поручений, посетители — приема и так далее.

Сэр Тайтус предписал Верховному лорду гимнастические упражнения, которые он должен был проделывать в особом помещении с искусственно повышенным содержанием кислорода, в костюме, напоминавшем об атлетах Спарты,— костюм этот не стеснял движений Верховного лорда и был ему очень к лицу. Здесь же он ездил верхом на седле без лошади, которое, однако, вставало на дыбы, что было весьма полезно для организма седока; или же работал веслами на воображаемых лодочных гонках, причем стрелки специальных циферблатов указывали достигнутую им скорость; либо забивал кожаные мячи, либо крутил педали неподвижных велосипедов, либо запускал мячи для гольфа в мишени, которые автоматически отмечали силу удара и расстояние,— результаты (об этом позаботился сэр Тайтус) неизменно были таковы, чтобы порадовать Верховного лорда и укрепить его веру в себя. А раз в день он выезжал с миссис Пеншо на прогулку, чтобы вдохнуть суровый и все же бодрящий воздух столицы.

В целом Верховный лорд вел в ту пору жизнь простую и скромную, всецело отданную неустанным трудам во имя благороднейших традиций человечества.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОРУДИЯ ОТКРЫВАЮТ ОГОНЬ

Когда возникла угроза, что Канада покинет своего союзника, у Верховного лорда оказалось в общей сложности ровным счетом пятьдесят три минуты на то, чтобы все обдумать и принять решение. Узнав впервые об этом прорыве единого фронта Британской империи, он смог посвятить раздумью около получаса подряд утром, прежде чем встать с постели; и еще двадцать три или двадцать четыре минуты он думал над этим урывками, по две, по три минуты зараз. Да еще несколько минут он обдумывал сходную задачу относительно Австралии и Южной Африки. И он решил быть твердым и непреклонным как с Канадой, так и с Америкой.

По правде говоря, ни этот, ни какой-либо другой вопрос, который ему приходилось решать, он вовсе и не обдумывал. Энергичные люди никогда ничего не обдумывают. Они просто не могут думать. События развиваются слишком стремительно. Порою человек действия приостановится, и может показаться, что он размышляет, на самом же деле он лишь перебирает те мысли и представления, которыми успел запастись прежде, чем стал человеком действия. Подобно многим англичанам его склада и культуры, Верховный лорд издавна затаил в душе злую обиду на преуспевающих американцев.

Давно он подавлял жгучее желание показать Америке, где раки зимуют. Пусть не задается! И в такую критическую минуту чувство это не могло не вырваться на свободу.

Он решил без всякого предупреждения устроить грандиозные морские маневры, перебросив через Атлантический океан, к бухте Галифакса, все линейные суда и вообще весь флот, какой удастся сосредоточить. Это будет как ход королевой в шахматной игре — ход через всю доску, дерзкий, грозный, совершенно меняющий положение. Нежданно-негаданно надвинется на берега Новой Шотландии устрашающая боевая сила, и одному богу известно, какой ей дан приказ и каковы ее намерения. Флот пойдет с северо-востока, избегая обычных морских путей, тогда его появление наверняка застигнет Америку врасплох. Пусть этот внезапный удар нарушит душевное равновесие всего континента.

Мощная эскадра войдет в залив Св. Лаврентия, отряд мелких судов, отделившись от нее, направится на всех парах вверх по реке к Оттаве, а главные силы, предшествуемые заслоном из множества юрких эскадренных миноносцев, торпедных катеров и аэропланов, растянутся огромной дугой к востоку от мыса Кейп-Сейбл— гигантский полумесяц в грозной близости от Нью-Йорка. Когда этот маневр будет завершен, на протяжении доброй тысячи миль ни один пароход, совершающий рейсы до Нью-Йорка, Бостона, Галифакса, не сможет ни войти в эти порты, ни выйти из них, не оказавшись в поле зрения по меньшей мере одного британского военного корабля, находящегося в полной боевой готовности. Линейным кораблям и крейсерам надо будет отдать приказ все время оставаться на виду и держать торговые суда в страхе божьем. Все это наверняка произведет на Канаду и на Соединенные Штаты потрясающее впечатление. Насколько известно было Верховному лорду, больше половины американского флота находилось в это время в Тихом океане; эти суда не выпускали из виду Японию, базой им служила бухта Сан-Франциско; судя по сообщениям разведки, многие суда стояли на ремонте; таким образом, перевес британских военно-морских сил будет бросаться в глаза даже самым отъявленным тупицам. А сейчас надо всячески оттяги-

вать переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока можно будет продемонстрировать ему свою силу.

Еще ровно сорок две минуты понадобилось Верховному лорду на то, чтобы отдать важнейшие приказы, необходимые для задуманного грозного шага. И снова он ощутил всем существом, что важнейшие исторические решения приходится принимать с бездумной поспешностью. Он понял, что поступки, меняющие весь ход истории,— это всего лишь внезапное и рискованное подведение весьма приблизительных итогов всех прежних мыслей.

Множество других неотложных дел требовало внимания Верховного лорда. Его не покидало ощущение, что он что-то делает не так, как надо. Но у него просто не было времени подумать и взвесить — много ли шансов, что его попытка запугать Новый Свет кончится провалом. Казалось, это единственный выход, только так и можно остановить нарастающую американскую опасность и тем самым покончить с двусмысленной нерешительностью европейских государств. Он отогнал тайные сомнения, теперь надо было тщательно разобраться: насколько велики выгоды и трудности, которые возникнут, если временно использовать японские войска для несения службы в Индии. Это была следующая неотложная задача, которую ему предстояло решить. Бенгалия с ее вечным неповиновением и тлеющими там и сям мятежами явно прогнила насквозь; из-за постоянных разрушений совсем разладился железнодорожный транспорт, а русско-афганское наступление развивалось куда энергичнее, чем можно было ожидать. Верховный лорд понял, что он плохо информирован о положении дел в Индии.

Приказы Верховного лорда не могли быть выполнены с той быстротой, на какую он надеялся. У адмиралтейства, как видно, были свои соображения, там считали, что не слишком мудро совсем оголить берега империи, а многие военные суда оказались не вполне готовы к походу, и это вызвало неизбежные оттяжки и отсрочки. Слишком долго Британское адмиралтейство было государством в государстве. Да, когда-то эта истина была известна Верховному лорду, а затем он упустил ее из виду.

Прошло целых три дня, прежде чем великий флот пустился через Атлантический океан. В состав эскадры входили: «Родни», «Повелитель» и еще три корабля того же класса, «Барэм», «Гневный», «Малайя», и еще два линейных корабля, «Гуд», «Славный», и еще один линейный крейсер, а также авианосцы «Герой», «Отважный» и «Великолепный». Впереди эскадры шел, прикрывая ее левое крыло, заслон из эскадренных миноносцев и легкие крейсеры-разведчики.

Передовой отряд флотилии мелких судов вышел из Плимута на двенадцать часов раньше, чем двинулись в путь линейные корабли, которые сходились от северных и южных побережий Британских островов к условленному месту южнее мыса Фарвел.

Назавтра Верховный лорд узнал, что американский флот уже пришел в движение. Он не ждал такой быстроты и не думал, что в море выйдут такие крупные силы. Вскоре ему сообщили, что американская эскадра, точный состав которой еще не выяснен (но, как уже известно, в нее входят «Колорадо», «Западная Виргиния» и по меньшей мере десяток других линейных кораблей), собралась между Азорскими островами и Мексиканским заливом и направляется на север, видимо, с намерением перехватить британский флот, прежде чем он достигнет берегов Канады. Делая свой ход королевой, Верховный лорд никак не рассчитывал, что американцы смогут встретить его столь мощными силами. Но теперь этот ход уже нельзя было взять назад.

В следующие три дня северная часть Атлантического океана и впрямь напоминала шахматную доску. Через тридцать шесть часов после того, как Верховный лорд принял свое решение, враждебные флоты сошлись так близко, что могли уже переговариваться по беспроволочному телеграфу, и в одной из дальних комнат, окружавших его кабинет, огромная карта Атлантического океана, утыканная флажками и испещренная пометками, позволяла ему все время следить за ходом игры.

Ни английское, ни американское правительства не стремились возбуждать народные страсти чересчур подробными сведениями о зловещих маневрах двух флотов. В сущности, целых три дня ни то, ни другое правительство даже не признавалось официально, что ему из-

вестно об этом передвижении военно-морских сил. Газетам ничего не сообщали, всякие расспросы пресекались. Американский президент, по-видимому, старательно готовил какую-то декларацию или манифест — словом, без пяти минут ультиматум. Два могучих флота неотвратимо сближались, а два правительства все еще воображали, что в последнюю минуту какое-то чудо поможет избежать столкновения.

В ночь на 9 мая, вскоре после полуночи, флоты сблизились настолько, что передовые суда уже различали в темноте прожекторы и световые сигналы противника. Обе эскадры двигались очень медленно, все время освещая себе путь прожекторами. Двигаться приходилось с большой осторожностью. В этом году с севера в небывалом количестве дрейфовали льды, да и чем ближе к Ньюфаундленду, тем больше становилась опасность заблудиться в тумане. То один, то другой корабль неожиданно исчезал в клубах тумана и так же неожиданно появлялся вновь. Ночь была тихая, пасмурная, море спокойное, далеко на юге в облаках играли отблески света,— для англичан это были первые зримые предвестники того, что американцы уже близко. Адмиралы продолжали переговариваться по беспроволочному телеграфу, но, помимо этого, обе стороны никак не общались друг с другом, хотя внутри каждой эскадры связь была самая оживленная, эфир был полон шифрованных донесений и приказов.

Обе эскадры шли с зажженными огнями; все делалось так, словно мир еще не нарушен, и те, кто уцелел после этой битвы, с изумлением рассказывали, что зрелище это ничем не напоминало войну. Только и слышно было, что ровный рокот машин, плеск и свист рассекаемой кораблями волны да размеренное гудение аэропланов над головой. Все очевидцы единодушно утверждают, что на кораблях почти не слышно было человеческого голоса. Люди молчали в каком-то благоговейном страхе, словно чуяли, что в этом походе на запад их сопровождает сама судьба. Неподвижно застыв на палубах, они следили, как бродят взад и вперед мертвенно-бледные лучи прожекторов, вырывая из тьмы и обшаривая то один, то другой крейсер или миноносец, исследуя какой-нибудь беззвучно проплывающий мимо

островок тумана. Внезапно в луче прожектора вырисовывался ослепительно-белый и четкий корабль — и вновь погружался во тьму, и только и можно было различить несколько огоньков на борту или на мачтах. И опять взоры обращались к югу, к далеким отсветам, мерцавшим в облаках над американской эскадрой, все еще скрытой за горизонтом.

Как бывало со всеми морскими сражениями, история этих роковых часов перед грандиозной битвой в Северной Атлантике остается темной и запутанной. Здесь тоже все разыгралось с такой быстротой, что почти невозможно установить точную последовательность событий. Что было известно такому-то и такому-то капитану, когда он отдавал тот или иной приказ? Было ли вообще получено то или иное известие? Ясно, что корабли американского флота еще только собирались все вместе и при этом на ходу описывали широкую дугу южнее английской эскадры. Англичане в это время шли на юго-запад, к Галифаксу. Американский адмирал Сэмпл постепенно выстраивал свои силы параллельно курсу англичан. По беспроволочному телеграфу он условился с их адмиралом до рассвета не пересекать определенную границу; пока не настанет день, обе эскадры будут двигаться рядом, причем их разделит полоса воды не менее чем в пять миль шириной. Затем он решил сообщить сэру Гектору Грейгу, британскому главнокомандующему, суть полученных им, Сэмплом, инструкций.

— Мне даны инструкции,— извещал он,— патрулировать в северной части Атлантического океана и принять все необходимые меры для предотвращения каких-либо недружественных действий против Канады или Соединенных Штатов в американских водах.

— Мне даны инструкции патрулировать между Великобританией и Канадой и, базируясь в Галифаксе, выслать отряд легких судов к заливу Святого Лаврентия,— был ответ сэра Гектора.

Каждый доложил о создавшемся положении своему правительству. Верховного лорда разбудили чуть свет, и он сидел, в белой шелковой пижаме, с чашкой чая в руках, и размышлял.

— Ничего не должно случиться,— сказал он.— Грейг отнюдь не должен стрелять, если только сначала по не-

му не откроют огонь. Пусть идет тем же курсом... Американцы, видимо, растерялись...

В Вашингтоне была еще ночь, и американский президент так и не ложился.

— Велики ли силы англичан? — спросил он.

Этого в точности никто не знал.

— Этот ничтожный Муссолини из Вестминстера чересчур обнаглел! Не понимаю, с какой стати мы должны ему уступать. И вообще, черт возьми, похоже, что ни им, ни нам невозможно уступить. Неужели нет никакого выхода?

— Неужели нет никакого выхода? — спросил Верховный лорд, забыв про свой чай.

— Военные корабли для того и строятся, чтобы воевать, я полагаю,— изрек некто в Вашингтоне.

— А, бросьте вы городить чепуху! — рассердился президент. Удивительное дело, он говорил именно таким тоном, какого ждал бы от него ученый поборник империи.— Мы их строим потому, что нас оседлали военные эксперты, будь они неладны. Я очень жалею, что мы влипли в эту историю.

Остроумный субъект в Вашингтоне предложил отдать американскому флоту приказ развернуться к югу и затем двинуться на восток, к берегам Англии: тогда Грейгу придется либо всем флотом двинуться вслед, либо разделить свои силы, либо, наконец, оставить Англию незащищенной.

— И мы окажемся в том же положении, но уже у берегов Ирландии,— возразил президент.

На него нашло какое-то странное затмение, и он так и не понял, что каждый час промедления открывает десятки возможностей для того, чтобы кончить дело миром. Он устал от бессонной ночи и раздражался из-за каждого пустяка.

— Мы не можем допустить, чтобы две огромные эскадры разгуливали взад и вперед по Атлантическому океану и не сделали ни единого выстрела. Это курам на смех. Нет уж! Когда мы строили военный флот, мы хотели, чтоб это был военный флот, а не черт знает что. И вот у нас есть военный флот — и таким он и должен быть — и пусть действует как положено. Пора покончить с этой неразберихой. Такая неопределенность не-

выносима. Пусть Сэмпл не уступает. Сколько еще времени они смогут без последствий идти параллельным курсом?

Проворный молодой секретарь пошел навести справки.

Тем временем Верховный лорд облачился в теплый халат и карандашом начерно набрасывал блестящий меморандум президенту. Меморандум должен был звучать примирительно, но по сути своей выражать полную непреклонность. Он должен был совсем по-новому, смело и властно, поставить далеко не решенный вопрос о свободе морей. Комната была залита солнцем — и в его веселых лучах на столе Верховного лорда сияли свежие ландыши — об этом позаботилась миссис Пеншо. Ее заранее вызвали, чтобы она привела меморандум в надлежащий вид, как только он будет закончен.

Вестники несчастья явились к обоим главам государств почти одновременно.

Проворный молодой секретарь вновь предстал перед президентом.

— Итак,— спросил президент,— сколько еще это будет продолжаться? Когда мы их увидим?

— Сэр,— только и вымолвил проворный молодой секретарь, но в голосе его прозвучало такое волнение, что президент поднял голову и уставился на него. Потом негромко охнул и стиснул руки, словно молясь, ибо он уже угадал, что скажет ему сейчас этот молодой человек с белым, как мел, лицом.

— «Колорадо» потоплен,— сказал молодой секретарь.— Мы лишились замечательного линейного корабля...

Верховному лорду новость сообщил Хируорд Джексон.

По его лицу, озаренному каким-то мрачным волнением, тоже можно было угадать, что произошло.

— Бой начался! — задыхаясь, выговорил он.— Мы потеряли «Родни»...

Несколько мгновений сознание Верховного лорда отказывалось примириться с этой вестью.

— Я сплю,— вымолвил он.

Но если он и спал, сон не прерывался, и скорбная повесть стала развертываться пред ним, беспощадная и непоправимая, словно уже занесенная на скрижали истории. Вести от военной эскадры продолжали поступать, но не было никаких признаков, что указания и запросы, которые слал ей Верховный лорд, получены и расшифрованы.

Серый рассвет забрезжил над темными водами Атлантического океана и застал обе эскадры в виду друг друга — их разделяла полоса нейтральных вод шириной мили в три, не больше. Оба адмирала намеревались сохранять расстояние в пять миль, но то ли кто-то ошибся в вычислениях, то ли в эту нейтральную зону вторглись мелкие суда. Впереди, на западе, еще под покровом уходящей ночи море скрывала полоса густого тумана. С той минуты, как эскадры увидели друг друга, оба адмирала, все еще надеясь на мирный исход встречи, стали, однако, энергично готовиться к бою. Линкоры обеих эскадр шли в кильватерном строю, между ними оставалось более чем достаточно места для маневрирования. Строй американской эскадры возглавлял «Колорадо», следом шел «Мэриленд», потом «Западная Виргиния»; за ними, немного ближе к колонне англичан, шли «Айдахо», «Миссисипи» и «Нью-Мексико»; дальше следовали «Калифорния» и еще по меньшей мере семь линейных кораблей. Эти три группы готовы были в любую минуту развернуться и образовать боевой порядок — три колонны. И у американцев и у англичан за линейными кораблями следовали крейсеры; строй британских судов замыкал «Гуд»; а под прикрытием линейных кораблей, по ту сторону их, двигались авианосцы. Дальше шли отряды легких крейсеров. Между этими двумя основными колоннами военных судов было расстояние в пять миль, может быть, чуть больше. Флотилии эскадренных миноносцев и торпедных катеров сошлись ближе и, точно охотничьи псы на сворке, готовы были мгновенно, по первому знаку круто повернуть, ринуться через разделяющую их полосу воды и уничтожить врага или погибнуть. С внешней стороны обеих эскадр, ожидая приказа, держались подводные лодки. Кроме того, у англичан, видимо, были в резерве особые минные заградители для предполагавшихся опера-

ций у американского побережья. Авианосцы только и ждали минуты, чтобы устремить на врага свои воздушные эскадрильи и образовать второй эшелон за строем линейных кораблей и крейсеров.

В утренних лучах плотная завеса тумана стала редеть, рассеиваться пушистыми клубами, и за ними начали просвечивать какие-то синеватые громады. Там виднелись горбатые спины каких-то чудовищ — сперва они были темно-синие, потом на них проступили блестящие полосы и засверкали, заискрились. Длинная вереница айсбергов, словно выстроившихся по росту, наискось пересекала линию курса огромной британской эскадры не далее чем в четырех милях от передовых кораблей. Они возникли из тумана подобно третьей армаде, враждебной англичанам, преграждая им путь. Словно сам дух Севера выступил на стороне американцев. По сравнению с этими громадами приближающиеся стальные левиафаны казались просто скорлупками. Айсберги внезапно предстали перед британской военной эскадрой отчетливые, грозные, словно гряда утесов, но адмирал Сэмпл, вероятно, так и не узнал об их существовании.

Наверно, Грейгу следовало известить Сэмпла об этом неожиданном препятствии. Наверно, им следовало обсудить, как быть дальше. Очень легко сидеть в кабинете и спокойно взвешивать разные возможности и вероятности, а потом преподнести ясное и безошибочное суждение насчет того, как именно надлежало поступить. Грейг же попросту отдал приказ повернуть на два румба южнее. Ему, должно быть, и в голову не пришло, что американской эскадре эти ледяные громады почти не видны и что такая перемена курса наверняка будет понята неправильно. Он, конечно, рассудил, что и американцы сделают такой же поворот,— что может быть логичнее? До сих пор именно он выбирал направление. А между тем, с точки зрения американского адмирала, который и не подозревал, что впереди — ледяные горы, этот маневр мог означать только одно. Англичане поворачивают, значит, они готовятся начать бой, подумал он.

Возможно, ему тоже следовало попытаться начать переговоры. Вместо этого он дал выстрел из шестифун-

тового орудия по носу «Родни». Затем последовала короткая, словно бы вопрошающая пауза.

Лишь одна мгновенная яркая вспышка прорезала холодную плотную синеву раннего утра, маленький плотный клубок дыма едва начал распускаться в воздухе, глухо ухнула пушка — и тишина. Словно это был пустяк, случайность, которая ничего не изменила.

Наверно, оба адмирала терзались, раздираемые противоречивыми чувствами: обоим страстно хотелось остановить катастрофу, и над обоими тяготела необходимость тотчас дать решительный приказ к бою. Пусть у вас наилучшие доводы в споре, но если за ним должна последовать битва, самое важное — первому нанести удар. Теперь уже никто никогда не узнает, пытался ли кто-нибудь из адмиралов в эту роковую минуту объяснить что-то другому.

Все оставшиеся в живых рассказывают об этом затишье, но никто не может сказать, длилась ли она минуты или секунды. Во всяком случае, какое-то время две колонны гигантских военных машин сближались без единого выстрела. Ибо экипажи судов — тысячи обреченных — застыли, подавленные ужасом перед тем грозным и непоправимым, что они совершали.

Как знать? Возможно, к этому примешивался и восторг. Даже орудия — и те, казалось, недоверчиво принюхивались к создавшемуся положению высоко поднятыми дулами. Первые аэропланы, жужжа, взмыли в небо, готовясь обрушиться на цель. И тут «Мэриленд» всеми орудиями малого калибра ударил по двум ближайшим английским миноносцам — и в тот же миг по бортам обеих колонн задрожала огненная бахрома вспышек и загрохотала такая оглушительная канонада, какой еще не слыхивала наша планета.

Неизбежное свершилось. Десять долгих лет Америка и Великобритания готовились к этому, во всеуслышание заявляли, что этого никогда не случится, и непрестанно готовились. Раздували и подогревали всеми способами азарт, дух соперничества, присущий англосаксам, возбуждая неестественную, зловещую жажду схватки не на жизнь, а на смерть. И, однако, возможно, лю-

ди все же были немного ошеломлены случившимся — даже Грейг и Сэмпл в свои последние минуты. Нельзя вообразить себе эти последние минуты, никто никогда не узнает, какая сила положила конец их изумлению и их жизни. Рассек ли их, изрубил ли в куски или раздавил непомерной тяжестью металл, сожгла струя раскаленного пара или затянул беснующийся водоворот.

На «Колорадо» залпами всех своих орудий обрушились разом «Ро́дни» и «Повелитель»; должно быть, снаряды, пробив броню, поразили какой-то жизненный центр корабля, и он исчез—только вихрь пламени взметнулся к небу и оставил после себя огромный столб дыма. «Ро́дни», главный противник «Колорадо», разделил его участь: шестнадцатидюймовые пушки «Колорадо» и «Мэриленда» своими выстрелами распороли корму «Ро́дни» и, видимо, повредили рулевое управление; не сбавляя скорости, он описал полукруг — и «Повелитель», который после второго залпа «Мэриленда» шел вслепую, точно пьяный, на полном ходу врезался ему в борт. Некоторые очевидцы уверяют, что добило его бомбой, сброшенной с аэроплана, но это не очень правдоподобно. Без сомнения, американские воздушные силы вступили в бой очень быстро, но все же не так молниеносно. «Ро́дни», по словам очевидцев, словно бы присел на волне, задрав нос, так что орудийные башни бессмысленно нацелились в небо поверх тонущего «Повелителя», а люди горохом посыпались с палуб в воду, потом корабль перевернулся и вслед за «Колорадо» погрузился в пучину.

Кипящий паром гигантский вал вскинул «Повелителя» носом вверх и отшвырнул в сторону, точно детскую игрушку. Когда носовая часть корабля оказалась над водой, стали видны пробоины и вмятины, полученные при столкновении с «Ро́дни». И пока его качало и швыряло в волнах, клокотавших после погружения «Ро́дни», по нему снова ударил из пушек «Мэриленд». Но избитые, израненные артиллеристы «Повелителя» были неустрашимы. Он почти тотчас ответил огнем из всех своих восьми тяжелых орудий и продолжал стрелять, пока вдруг не перевернулся и не пошел ко дну вслед за флагманом. А в строю британских кораблей «Гневный» тоже пылал, «Гуд» был изранен, истерзан залпами сразу трех про-

тивников — «Аризоны», «Оклахомы» и «Невады», и на нем снова и снова что-то взрывалось. «Айдахо» тоже загорелся.

Так началась эта чудовищная битва. После первого же столкновения всякое подобие согласованности действий исчезло. Чтобы изготовиться к бою, главные силы обеих эскадр должны были круто развернуться лицом к врагу — только так можно было прорвать его фронт,— но даже этот первоочередной, важнейший маневр так и не удалось завершить. И после не было никаких общих тактических операций. Современный морско́й бой тем и отличается, что очень быстро теряется всякая возможность отдавать и исполнять приказы. Самые хитроумные нововведения, которые должны бы обеспечить слаженность действий, становятся бесполезными после первого же удара. Рычаги управления разбиты, сигнализация теряет всякий смысл, и наступает самая главная стадия битвы — яростная всеобщая свалка, когда все решает сила и ничего нельзя предвидеть. Две колонны линейных кораблей, уже разорванные на три большие группы, ожесточенно бились друг с другом, паля из всех орудий; каждый корабль стрелял по той цели, какая попадется, и как мог увертывался от атак торпедных катеров, которые внезапно налетали на него в дыму и неразберихе. Мелкие суда шныряли между крупными, стреляя кто во что горазд, стараясь улучить минуту, чтобы выпустить торпеду, и вскоре над головой уже роились поднявшиеся с авианосцев аэропланы и с жужжанием пикировали вниз, в дым и пламя. Воинственность и традиции обоих флотов побуждали нападать во что бы то ни стало и в бою сходиться вплотную, и, насколько известно, ни единый случай трусливого бегства или сдачи в плен не омрачил безумного величия этой первой трагической битвы.

Никогда еще ужасающая мощь современной артиллерии не обрушивалась на противника в столь ближнем бою. Огромные корабли приблизились теперь друг к другу на расстояние в какие-нибудь две мили, а иные даже вплотную. Ни один снаряд не пропал даром. Впервые в истории двадцатого века линейные корабли таранили друг друга. «Королевский дуб» настиг «Теннесси», они столкнулись чуть ли не на полном ходу, но верх

взял «Королевский дуб»; «Нью-Мексико» таранил в борт «Доблестного» и уже готовился дать задний ход и отойти от своей жерты, но тут ему самому проломила борт «Малайя». Всем трем кораблям так и не удалось разделиться, и они кружили на месте, продолжая бой оружием мелкого калибра, пока не пошли ко дну; перед концом команда обоих английских судов сделала отчаянную попытку взять «Нью-Мексико» на абордаж. «Бей из всех орудий как можно чаще по ближайшей цели» — вот единственный приказ, который еще годился в этом бою. «Выпускать торпеду по самому большому кораблю противника, какой поймаешь на прицел».

Постепенно сражение распалось на множество отдельных стычек, каждый дрался хоть и рядом с другими, но за свой страх и риск. Горели корабли, другие, которым приходилось уж очень туго, выпускали дымовые завесы — небо заволокло дымом, там и сям над водой поднималась плотная стена черного тумана. Воздух сотрясал грохот взрывов, ввысь взметались столбы воды и пара, сверкал раскаленный добела металл, вскидывалось зловещее иссиня-багровое пламя — и в этом оглушающем сумраке вслепую пробирались мелкие суда, уничтожали других и гибли сами. Когда взошло солнце и золотые стрелы его пронизали дым и пламя, первоначально единый боевой строй разбился на отдельные группы, и от каждой устремлялся в небо пар и дым. Линейные корабли и крейсеры, еще способные драться, разделились на группы; так, «Королева Елизавета», «Барэм», «Гневный», на котором сумели справиться с пожаром, обойдя все еще горевший, медленно уходивший под воду «Айдахо», вели бой с «Пенсильванией» и «Миссисипи». Эти три английских корабля давно уже прорвались сквозь строй американцев и увлекли за собой своих противников; в горячке боя их кружило и сносило от места первой схватки все дальше к югу — и еще долго долетал оттуда гром орудий, пока наконец противники, разбитые и искалеченные, один за другим не пошли ко дну. Огромный американский авианосец «Саратога» тоже был вовлечен в эту мрачную и зловещую пляску смерти; по его палубам хлестал огненный ураган, и он уже не мог ничем помочь своим аэропланам, зато его восьмидюймовые орудия били по врагу так мет-

ко и неутомимо, что он единственный уцелел в этой схватке. Он был одним из немногих крупных судов, которые дотянули до вечера, и к этому времени у него на борту собралось более тысячи спасенных с тонувших кораблей. Большинство пилотов, сбросив бомбы, кружили высоко над сражающимися, пока не кончалось горючее, а потом падали и шли ко дну. Несколько аэропланов опустилось на айсберги. «Западная Виргиния», пробиваясь к западу от «Повелителя», столкнулась с одним из этих айсбергов и вскоре затонула. «Мститель» и «Решительный», которые хоть и жестоко пострадали, но все еще держались на воде, к середине дня оказались отрезанными от основных сил вереницей ледяных гор и уже не могли вернуться к своим.

После первого грозного столкновения кораблей-великанов все бо́льшую роль в сражении стали играть флотилии эскадренных миноносцев. Почти все время они сражались в удушливом непроглядном дыму и вынуждены были подходить к мишени почти вплотную, чтобы отличить своих от врагов. Они яростно сражались друг с другом и не упускали случая торпедировать любое судно покрупнее, какое попадало в их поле зрения.

Бомбы, сбрасываемые с воздуха, точнее всего поражали легкие крейсеры. С высоты пилот мог различить и опознать в дыму сражения трубы и мачты своей жертвы. Тогда он внезапно обрушивался на нее с небес — и зенитные орудия были против него бессильны. «Неваду», по слухам, потопила британская подводная лодка, но, кроме этого, о действиях подводных лодок в роковом сражении ничего не известно. И вполне возможно, что «Неваду» потопила не лодка, а плавучая мина, ибо, как ни странно, один из британских миноносцев умудрился выпустить некоторое количество мин.

Ни один человек не наблюдал этой грандиозной битвы в целом; никто не следил за тем, как оглушительный и непрерывный гром, потрясавший небо и океан в начале сражения, понемногу утихал, сменяясь разрозненными залпами. То тут, то там вдруг вспухало гигантское облако дыма и пара, его прорезали языки пламени, потом мгла неспешно рассеивалась, и ее относи-

ло ветром. Мало-помалу ожесточение спало. Орудия все еще гремели, но это напоминало последние отголоски ссоры, запоздалые реплики в споре. Изжелта-багровые завесы дыма редели и расползались. Меж ними в широких просветах взгляду открывался мерно дышащий океан, усеянный обломками разбитых кораблей. Время от времени какая-нибудь темная, изувеченная громадина шла ко дну, и на этом месте вскипал грязный водоворот, мелькали крошечные фигурки моряков, тщетно пытавшихся выплыть, потом все успокаивалось, и только на водной глади медленно кружилось масляннстое пятно.

К трем часам дня бой в основном закончился. К половине четвертого установилось что-то вроде перемирия: противники выбились из сил. Американский флаг еще развевался над горсткой изрядно потрепанных судов на юго-западе, уцелевшие британские корабли держались двумя кучками, их разделила роковая гряда айсбергов. Ледяные исполины медленно пересекали арену недавнего боя, сверкая и переливаясь всеми цветами радуги в ярких солнечных лучах, и по их чуть подтаявшим бокам сбегали струйки воды. На одном из них примостились два аэроплана, и у всех айсбергов на уровне воды темнела густая бахрома: мертвые и умирающие люди в спасательных поясах, какие-то обломки, доски и иной плавучий мусор, оставшийся после боя.

Без сомнения, эти холодные, равнодушные громады появились очень кстати для изнемогающих противников. Ни та ни другая сторона не решилась возобновить борьбу, прерванную их неожиданным вмешательством. Не сохранилось никаких сведений о том, кем и когда был сделан последний выстрел.

Так бесславно закончилась великая битва в водах Северной Атлантики. Это была не битва в прямом смысле слова, а нечаянное столкновение, грандиозная и гибельная артиллерийская дуэль. Пятьдесят две тысячи человек — специально отобранные и обученные мужчины в цвете лет — утонули, сварились заживо, были разорваны на куски, раздавлены, расплющены, точно мухи под молотом, или убиты иными, не менее жестокими способами; сложнейшие металлические сооружения, созданные современной техникой, стоившие, должно быть,

полмиллиарда фунтов стерлингов, плод долгого и тяжкого труда миллионов рабочих, были потоплены. Из линейных судов уцелели всего лишь два английских корабля и три американских, потери в легких крейсерах и мелких судах были соответственно не меньше, а, пожалуй, даже больше. Но так или иначе, они свершили то, что должны были свершить. Люди с величайшей изобретательностью создали эти великолепные орудия разрушения и убийства — и они исполнили свое предназначение.

Наконец до сознания усталых, измученных воинов дошли сигналы, которые посылали им их правительства по беспроволочному телеграфу. Оказалось, обоим флотам приказано прекратить огонь и возвращаться в ближайший порт.

Именно это они и делали, еще не получив приказа. «Мститель» и «Решительный» в сопровождении крейсеров «Изумруда» и «Предприимчивого» и беспорядочной стайки мелких судов (все они были сильно повреждены, а некоторые уже наполовину затонули) кое-как тащились в сторону Галифакса. Авианосец «Отважный» со свитой гидропланов, под охраной семи миноносцев повернул к Клайду. Уцелевшие американские суда, также повинуясь полученному по беспроволочному телеграфу распоряжению об отходе, двинулись на юг; число их было неизвестно. Следуя указаниям своих адмиралтейств, многие суда, еще способные держаться на воде, в том числе «Саратога», «Эффингем», «Фробишер», «Пенсакола» и «Мемфис», подняв над национальными белые флаги, спасали тех, кто еще был жив и ждал помощи среди плавающих всюду обломков. Американцы и англичане вели спасательные работы порознь, не помогая друг другу, но и не мешая. Каждый делал свое дело медленно, почти вяло, всех одолела угрюмая усталость. Ни у кого уже не было сил для волнения. На время одинаково угасли и рыцарство и патриотизм. Рассказывали о людях, которые плакали скупыми слезами, даже не замечая их, и это было единственное проявление чувств. Многие мелкие суда наполовину затонули и нуждались в помощи, немало было и шлюпок и вышедших из строя гидропланов. За бесчисленные доски и обломки цеплялись люди, были и такие, измученные или по-

терявшие сознание, которые уже и держаться не могли, их просто носило по волнам вместе с трупами.

По мере того, как расшифровывались сообщение за сообщением, оставшиеся в живых адмиралы и капитаны все яснее понимали, что произошла страшная ошибка. Все сражение было ошибкой, и теперь следовало, не теряя ни минуты, выйти из боя и, как гласил приказ по британскому флоту, «оказать наивозможное содействие вражеским судам, терпящим бедствие». Тут не мудрено было растеряться, уж очень крут оказался этот переход от безрассудной отваги, владевшей ими еще утром.

Не очень понятно было, как поступить со спасенными таким образом людьми и материалами с вражеских судов, но в конце концов их стали рассматривать как военнопленных и военные трофеи. Позже это повело к ожесточенным взаимным обвинениям и попрекам.

Нет нужды повторять здесь то, что говорили оставшиеся в живых адмиралы и капитаны, ведя свои разбитые, изуродованные, залитые кровью корабли спасать погибающих врагов; все они устали и измучились, многие страдали от только что полученных ран, и мы не станем разбираться в том, что могли они думать о смысле жизни, о неисповедимых путях судьбы, так странно явивших себя в этот день. В большинстве это были люди простые, а как говорят, в наше время война если не уничтожает человека и не сводит с ума, то действует на нервную систему как очистительная гроза. О чем они думали? Да, пожалуй, ни о чем не думали, просто делали свое дело, как и прежде, только дело теперь было другое.

Пожалуй, стоит отметить, что еще до наступления ночи кое-кто из моряков с обеих сторон начал спор, впоследствии затянувшийся бесконечно и, без сомнения, весьма важный для человечества, а именно: кого считать победителем в этой Великой Атлантической битве. Они уже принялись приспосабливать и обрабатывать для будущего свои перегруженные подробностями сумбурные воспоминания...

Весь земной шар был в изумлении. Не только в Лондоне и Нью-Йорке — повсюду весть о случившемся ошеломила людей. И на всей планете с наступлением вече-

ра выливались на улицы взбудораженные толпы. По мере получения свежих вестей непрерывно выходили все новые выпуски газет, радио опрокидывало на слушателей потоки сведений и слухов. Все очевиднее становилось, что англичане и американцы, в сущности, уничтожили друг у друга флот; они изгнали друг друга с морских просторов. Что же будет теперь, когда две господствующие морские державы сошли с международной арены? Случившееся и само по себе было достаточно страшно, но теперь начали вырисовываться неизбежные его последствия, которых по какой-то поразительной беспечности никто не предвидел, и последствия эти оказались несравнимо более грозными и опасными для человечества.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С БУРЕЙ

В жизни человеческой всегда есть что-то нереальное. Человек, не лишенный воображения, смотрит на мир сквозь дымку грез. Природа наделила нас способностью самообольщаться и воспринимать все по-своему, чтобы мы могли выжить, и наш опыт в лучшем случае — лишь своеобразное преломление действительности в нашем сознании. И, однако, так как это преломление все больше искажает реальную действительность и мы нет-нет да и столкнемся с подлинной опасностью, самые дорогие нашему сердцу мечты омрачаются в конце концов сомнениями и сожалениями. И вот мечта, ставшая жизнью Верховного лорда, начала изменять ему: она все больше меркла под тенью сомнений и противоречий.

Он захватил власть смело и уверенно. Распуская парламент, он чувствовал себя не менее уверенно, чем мистер Парэм в беседе со студентом. Дальнейшая его задача состояла в том, чтобы возродить извечные традиции человечества, следовать им неотступно. Он, точно некое божество, сошел на землю, чтобы обуздать мятежный дух и навести порядок. Но мало-помалу прежняя уверенность покидала его, ибо все ясней он ощущал,

что слишком могучи и коварны те силы, с которыми он вступил в бой, силы, стремящиеся перевернуть все в этом мире. Логика событий взяла верх. Он был попрежнему убежден в своей правоте, но чувствовал, что на него возложена уже не божественная миссия, а всего лишь тяжкое бремя героя.

Битва в Северной Атлантике сыграла решающую роль в чреде событий, заслонивших видение помолодевшей и торжествующей Британской империи, которая увенчала собою ход истории и провозгласила Верховного лорда своим спасителем, ниспосланным самими небесами. Пришлось спуститься на землю и начинать все сначала, и по крайней мере на время он оказался в невыгодном положении.

После злосчастного дня морской битвы на него посыпались удар за ударом. Сперва до него дошли вести о самом сражении: такой-то линкор затонул, такой-то крейсер сгорел, десятка два мелких судов погибли. Потери с обеих сторон были так велики, что на первых порах как Англия, так и Америка считали себя в этом бою побежденными. И тут же на Верховного лорда обрушились неисчислимые последствия случившегося. Доминионы, себялюбиво заботясь только о собственном благополучии, оставались равнодушными зрителями. Канада фактически переметнулась на сторону Соединенных Штатов и вела переговоры, с тем чтобы закрепить эту связь на веки вечные. Южная Ирландия была, разумеется, против него; в Дублине произошел республиканский переворот, на границах Ольстера уже шла жестокая кровопролитная битва; Южная Африка провозгласила себя нейтральной, и в округах, где преобладало голландское население, толпа срывала британский флаг; в Бенгалии пылал мятеж, и совет индийских властителей, забыв о недавней лояльности, провозгласил автономию Индии. Они предложили Англии заключить мир с Россией, отозвать своих резидентов и отныне не считать себя ответственной за судьбу Индостанского полуострова. Страшно подумать, в каком тяжком положении оказался отрезанный от своих английский гарнизон.

Европейское содружество, созданное Верховным лордом, рассыпалось, точно карточный домик. Старый план

Парамуцци заключить союз с Германией против Франции, который не удавалось осуществить сперва из-за того, что в Германии была республика, а потом из-за сдерживающего влияния англосаксов, стал теперь фактом. Занятые своими делами Америка, Великобритания и Россия на неопределенный срок вышли из европейской игры, и древняя нескрываемая вражда, кипящая в приальпийских странах, разыгралась вовсю. Страсти Европы вновь запылали вокруг Рейна. Немцам представилась полная возможность взять реванш, на что они уже и не надеялись, и обиды, накопившиеся за десять лет унижений и разочарований, обернулись неистовой яростью. Если раньше было сомнительно, удержит ли фон Бархейм власть, то теперь в этом не осталось никаких сомнений. Его провозгласили новым Бисмарком, и в один прекрасный день Германия вновь стала той железной и кровавой Германией, что черной тучей нависала над Европой с 1871 по 1914 год. Либерализм и социализм были бесследно смыты нахлынувшими патриотическими чувствами.

Через три дня после сражения в Северной Атлантике чуть ли не вся Европа была охвачена войной, и Франция, двинувшись на Германию, заклинала Англию оказать ей обещанную помощь и поддержать ее на левом фланге. Французскому флоту было теперь нетрудно держать остатки американских военно-морских сил на почтительном расстоянии от европейских вод, да и японская угроза требовала от Америки постоянной оглядки. Венгрия, не теряя времени, напала на Румынию; Чехословакия и Югославия объявили себя сторонницами Франции; Испания установила пушки на горах, господствующих над Гибралтаром, и стала чинить препятствия британским торговым судам; и только Польша занимала двусмысленную позицию между угрожающей Россией на востоке, воинственными славянскими государствами на юге, Германией, взбешенной из-за Данцига и Силезии, и вечно недовольными Латвией и Литвой: она встала под ружье, но еще никому не объявила войну. За эту двусмысленную позицию пришлось расплачиваться окнам польского посольства в Париже.

По Венгрии и Румынии прокатилась волна погромов. Что и говорить, во всех странах Восточной Европы и

ближней Азии, каково бы ни было политическое лицо их правительств, население, судя по всему, видело в погромах лучший способ отвести душу.

Турки, как выяснилось, двигались на Багдад, и похоже было, что мятеж в Дамаске — только прелюдия ко всеобщему восстанию арабов против владычества англичан, французов и евреев в Палестине. Болгария и Греция объявили мобилизацию; предполагалось, что Болгария будет действовать заодно с Венгрией, но чего ждать от Греции, как всегда, было неясно. Общественное мнение в Норвегии, по слухам, решительно принимало сторону Америки, а Швеция и Финляндия высказывались в пользу Германии, но ни одно из этих государств не начинало военных действий.

Британская внешняя политика, как всегда, была на удивление неповоротлива.

— Мы верны нашим обязательствам,— говорил Верховный лорд. Он лишился сна, был бледен, утомлен и держался на ногах лишь благодаря тонизирующим снадобьям сэра Тайтуса, но по-прежнему мужественно боролся с обстоятельствами.— Мы поддержим Францию на левом фланге — в Бельгии.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВОЗДУШНАЯ УВЕРТЮРА

«Мы поддержим Францию на левом фланге — в Бельгии». Этими словами он признавал, что потерпел неудачу, и принимал новое положение вещей. Первоначальный план войны, который Верховный лорд предложил Совету Британской империи, исключал возможность военных действий в Западной Европе. Военные действия виделись ему к востоку от Вислы и Дуная, а поля решающих сражений — в Азии. Он слишком понадеялся на мудрость и широту взглядов дипломатов Америки и Европы. А потому, несмотря на предупреждения Джерсона, весьма мало внимания уделял новым способам ведения воздушного боя над Англией. И вот теперь, вслед за трагедией, разыгравшейся в океане, нагрянула воздушная война.

После вступления французских войск в Вестфалию на европейских границах существенных перемен не происходило. Франко-итальянский фронт был сильно укреплен с обеих сторон, и в действие еще должна была вступить богатая и разнообразная техника, которой в последнее время переоснастили британскую армию. Техника эта задерживалась из-за какого-то просчета в транспортных средствах, необходимых для переброски ее через Ла-Манш. Но все державы располагали теперь мощной авиацией, и уж ей-то ничто не мешало в любую минуту начать действовать. Лондон, Париж, Гамбург и Берлин почти одновременно подверглись разрушительной бомбардировке с воздуха. Луна только-только вступила во вторую четверть, погода в северных широтах стояла теплая и ясная — все благоприятствовало воздушным налетам.

Две недели, ночь за ночью, над Европой стоял гул мощных моторов, и самый воздух трепетал в ожидании все новых взрывов бомб. Истребители воюющих сторон не давали друг другу ни отдыха, ни срока; орудия противовоздушной обороны оказались несостоятельны, и все густонаселенные города были охвачены мрачными предчувствиями и мучительной тревогой, которая в любую минуту могла разразиться бессмысленной паникой. Поначалу бомбардировали только фугасными бомбами. Международные соглашения еще соблюдались. Но все со страхом чувствовали, что фугасные и зажигательные бомбы — лишь предвестники грозных газовых атак.

«Каждому — противогаз!» — требовали лондонские газеты, и повсюду усиленно обсуждались возможности применения и использования «антигазов». Лондонские власти призывали жителей сохранять спокойствие, все театры, мюзик-холлы и кинематографы были закрыты, чтобы по вечерам в центре города не скапливался народ. Населению были розданы миллионы противогазовых масок, они весьма слабо защищали от газа, зато уберегали от паники, а ради этого стоило пойти на самые нелепые «меры предосторожности».

Джерсон предусмотрительно перевел бо̀льшую часть правительственных учреждений в огромные газоубежи-

ща, которые оборудовали в Барнете по его приказу, но поначалу Верховный лорд не желал покидать военное министерство и укрываться в этих убежищах. Все уговоры Джерсона были напрасны.

— Но ведь Уайтхолл — это империя,— сказал Верховный лорд.— Позволить загнать себя под землю — значит уже наполовину проиграть.

Однажды вечером распространился слух, что на Лондон будет пущено огромное количество ядовитого газа, и в этот слух поверили. В Ист-Энде началась страшная паника, обезумевшие толпы хлынули в Эссекс и Вест-Энд. В тот вечер немцы сбрасывали зажигательные бомбы, и, когда пожарные машины прокладывали себе путь в толпе, хлынувшей на запад, на улицах творилось что-то немыслимое. Сотни жертв, раздавленных, затоптанных, были доставлены в больницы, тысячи пострадали от бомб и пожаров.

Верховного лорда попросили посетить больницы.

— Неужели этим не может заняться королевская фамилия? — чуть ли не с раздражением ответил он, ибо его коробило от одного вида страданий. При мысли, что ему, быть может, придется встретить укоризненный взгляд страдальцев, сердце его сжалось. И тут же, меняя тон, резнувший даже его собственный слух, он прибавил: — Мне не пристало покушаться на популярность царствующего дома. Народу гораздо приятнее будет видеть членов королевской семьи, а у меня, бог свидетель, и без того хлопот по горло.

Миссис Пеншо поняла его, она-то прекрасно поняла, но широкая публика, которая не желает знать, что время и силы ее вождей имеют пределы, рассудила иначе: его сверхчеловеческую преданность долгу стали вслух, без стеснения называть бесчеловечностью. Верховному лорду становилось все яснее, что судьба не создала его народным кумиром. Он пытался ожесточить свое сердце, чтобы не чувствовать разочарования, но боль не проходила. Ибо сердце его было столь же нежным, сколь и великим.

Джерсон встречал нарастающую мощь воздушных налетов с нескрываемым удовольствием.

— Парижу достается куда больше нашего,— сказал он.— Эти немецкие зажигательные бомбы — страшная

штука, они всю душу вымотают. Говорят, в Вестфалии будут применены репрессивные меры. Хорошо! Рим тоже прошлой ночью бомбили. Итальянцы этого не любят. Уж очень они чувствительный народ. Они могут взбеситься и кинуться на Парамуцци, если мы не оставим их в покое. Но уж поверьте, бомбардировка — лучший способ пробудить от спячки нашего брата — англичанина. Он уже скоро начнет огрызаться. Британский бульдог еще не вступил в бой. Вот погодите, пока он не разозлится всерьез.

Его безобразный рот захлопнулся с лязгом, точно капкан, дождавшийся жертвы.

— На немецкие зажигательные бомбы может быть только один ответ: газ Л. И чем раньше мы его пустим в ход, тем лучше. Тогда весь мир увидит, что с нами шутки плохи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

УРОК СМУТЬЯНАМ

Но рядовой англичанин вовсе не был тем британским бульдогом, на которого возлагал надежды генерал Джерсон. Он совершенно не желал быть бульдогом. Он по-прежнему был живым человеком, настроенным весьма скептически, и его новомодные взгляды внушали острую тревогу руководителям нации. И воинственный пыл его по преимуществу обращен был не против указанного ему врага, но против того Владыки и вдохновителя, который один еще мог привести англичан к победе.

Декрет об охране общественной безопасности стал теперь в стране основным законом. Он, пожалуй, и не вполне соответствовал конституции, но диктатура вытеснила конституцию. Однако он повсеместно вызывал возражения. Всеобщая апатия сменилась духом противодействия, который проявлялся тем более дерзко, чем сильней его преследовали. На севере, на востоке и западе народ протестовал, возмущался, отказывался повиноваться. Непокорные рабочие нашли юристов, объявивших правление Верховного лорда незаконным, и собрали средства на организацию сопротивления.

В доброй половине городов представители власти отказались подчиняться Верховному лорду, и их пришлось сместить при помощи военного суда. Никогда еще разрыв между стремлениями народа и волей имущих и правящих классов не был столь явным и столь глубоким. Какой же непрочной, оказывается, была верность империи!

Напряженное положение внутри страны и вне ее приводило Верховного лорда в отчаяние.

— Англичане мои,— говорил он,— англичане, вас обманули.— Он стоял с пачкой донесений о ходе мобилизации и повторял: — Нет, этого я не ждал.

Чтобы убедить эту героическую и нежную душу, что репрессии — суровая необходимость, Джерсону пришлось пустить в ход все свое умение. И, однако, именно потому, что Верховный лорд отошел в сторону и держался в тени в памятном случае с больницами, о нем сложилось неверное мнение, и репрессии, к которым он вынужден был прибегнуть, сочли естественным проявлением присущей ему жестокости и самонадеянности. Карикатуристы изображали его со свирепо выпученными глазами и злобным оскалом зубастого рта. А рукам его, право же очень красивым, придавали сходство с когтистыми лапами. Никогда еще на него так яростно не нападали. «Я должен быть тверд,— повторял он про себя,— пройдет время, и они поймут».

Но как трудно истинному сыну отечества быть твердым и непреклонным со своим введенным в заблуждение народом! В Южном Уэльсе, Ланкашире и Мидленде пришлось подавить бунты с помощью штыков и ружейного огня. В Глазго были жестокие уличные бои. Список пострадавших рос. Убитые вскоре уже исчислялись сотнями. «Задушите беспорядки в зародыше,— настаивал Джерсон.— Арестуйте зачинщиков и расстреляйте нескольких, если уже вам не по нраву стрелять в толпу. Мы упускаем время, набор новобранцев почти всюду затягивается».

Итак, зловещие статьи закона об антиправительственной агитации, которые на бумаге, казалось, выражали неколебимую решимость, были приведены в действие. Военные власти арестовывали людей направо и налево. В расставленные сети попалось и некоторое ко-

личество стреляных воробьев, но еще прежде, чем военные суды принялись за дело, Верховный лорд понял, что судить придется главным образом пылких юнцов. К большинству этих молодых подстрекателей, к студентам, надо будет, разумеется, проявить снисходительность. Но Джерсон твердил свое: надо потрясти умы, пусть вся страна содрогнется.

— Стреляйте не медля,— говорил он,— и тогда потом сможете прощать. Война есть война!

— Стреляйте не медля,— говорил он,— и все остальные станут шелковыми и как миленькие пойдут в армию. Положите конец беспорядкам. И пусть болтают про вас все, что хотят.

Тут Верховный лорд почувствовал, что его преданная секретарша по скорбному, но решительному лицу его с нежностью и проникновением угадывает все, что творится в его душе.

— Да,— согласился он,— придется стрелять... хотя эти пули разрывают мне сердце.

И приказ был подписан.

Поднялась буря — протесты, угрозы, страстные мольбы о милосердии. Этого следовало ожидать. От многого Верховного лорда удалось уберечь, но он знал, что недовольство растет. И оно находило отклик в его чувствительной душе.

— Великий народ не должны останавливать судьбы отдельных личностей. Меня просят помиловать этого молодого бристольца Кэрола. Из-за него, кажется, особенно разгорелись страсти. Многообещающий юноша, как будто... да. Но какие ядовитые речи он произносил! И он ударил офицера...

«Неужели Кэрол умрет?» — кричали бесчисленные, неизвестно кем расклеенные плакаты со стен улицы Уайтхолл. Губы лорда протектора сурово сомкнулись: пусть не рассчитывают его запугать! И в ответ на этот неуместный вызов юный Кэрол и тридцать пять его товарищей были на рассвете казнены.

Этот неизбежный в условиях войны акт был встречен воплем негодования. Секретариат Верховного лорда был еще слишком малочислен и неопытен, чтобы должным образом оградить его от взрыва возмущения, да и что-то в душе его было настроено на прием этих враж-

дебных волн. Неожиданно, как снег на голову, свалился где-то пропадавший, но по своему обыкновению неистребимый сэр Басси. Это опять был прежний сэр Басси, самоуверенный и резкий, как до войны.

— Расстреливать мальчишек! — начал он с места в карьер.— Убивать честных и откровенных людей только за то, что они с вами не согласны! Кой черт! Это вам не Италия! Все это устарело на сто лет. И зачем вы вообще развязали войну?

Верховный лорд не успел ответить, Джерсон опередил его.

— Вы что, не знаете, что такое дисциплина? — сказал он, точно прочел мысли Верховного лорда.— Никогда не слыхали, что такое военная необходимость? Мы воюем, понятно?

— А почему мы воюем? — крикнул сэр Басси.— Какого черта мы воюем?

— А на кой черт тогда флоты и армии, если не пускать их в дело? Как иначе улаживать споры между государствами? На что нам наше знамя, если оно не будет развеваться на полях сражений? Не по одним только уличным мальчишкам и большевистским агитаторам плачет пуля, понятно? Наша империя ведет бой не на жизнь, а на смерть. Она взывает к каждому своему сыну. И вы знаете не хуже меня, сэр Басси, чего ей не хватает для победы... А сырье поступает через час по чайной ложке!

Джерсон повернулся к Верховному лорду, о сэре Басси забыли, словно его тут и не было.

— В мирное время можно быть мягким как воск. В своем отечестве, понятно, не обойтись без проволочек и надувательства, но когда дело доходит до внешней политики и до войны, тут шутки плохи. Тут нужна стальная воля.

— Стальная воля,— эхом отозвался Верховный лорд.

— Нужны газ Л и стальная воля.

— Мы поставим на своем, mon général,— сказал Верховный лорд.— Можете на меня положиться.

— Тогда пора уже взять быка за рога...

Но никакие протесты и противодействия военной дисциплине не были столь тягостны для Верховного лорда,

как неожиданное появление немолодой женщины — миссис Кэрол. На обращения, протесты, манифестации, на угрозы убить его и еще на многое он мог отвечать непоколебимой твердостью, ледяным спокойствием. Иное дело с миссис Кэрол. Она нанесла удар не с той стороны. Она не угрожала, не оскорбляла. Кэрол был, видимо, ее единственным сыном. И она хотела его вернуть.

Она возникла в его кабинете, словно внезапная мысль. Это была точь-в-точь старушка привратница в Сэмфор-парке близ дома, где мистер Парэм провел детство. У той старушки, чье имя он давно позабыл, тоже был единственный сын года на три, на четыре старше юного Парэма, и он работал в саду мистера Парэма-старшего. Все звали его Фредди. Он был очень приветливый, славный паренек, и мальчики жили дружно, водой не разольешь. Он много читал, любил пересказывать прочитанное, а однажды поделился со своим приятелем ужасной тайной. Он уже наполовину решил стать социалистом, да-да, он уверен, что священное писание — почти сплошь враки. Они заспорили, поссорились, ибо юный Парэм впервые услышал призыв к неповиновению, а чувство долга и дисциплины было у него в крови. Но, в сущности, что общего могло быть у этого давно забытого деревенского парнишки с юным Кэролом? Теперь он уже годился бы Кэролу в отцы.

Нелегко проследить, каким образом старой миссис Кэрол удалось дойти до Верховного лорда. Она, видно, обладала редким даром проникать сквозь запертые двери. Казалось бы, секретарям следовало ее задержать. Но легкое недоверие к ближайшим помощникам, боязнь замкнуться в слишком тесном кругу, побуждавшие Верховного лорда быть как можно доступнее для простых смертных, оставляли подобие лазейки, через которую вполне могла проникнуть эта настойчивая женщина. Так или иначе, она стояла перед ним, бедно одетая, с изможденным лицом, привычно сжимая руки, и ее поразительное сходство с матерью Фредди вытеснило из его мыслей все обстоятельства дела.

— Вот начинают войну, гонят мальчиков на убой, а каково матерям да родным, и не думают. А ведь мать

и вспоила, и вскормила, и всю жизнь на детей своих положила. Мой сын был хороший,— сказала она убежденно.— А вы велели его застрелить. Он был хороший мальчик, на все руки мастер.

Она извлекла откуда-то несколько бумажек и дрожащей рукой протянула их Верховному лорду.

— Вот смотрите, это он рисовал, он тогда еще не ходил на завод. Королевские дети и те так не умеют, я видала. Такой он был умный, разве можно его расстреливать. Неужто уж ничего нельзя сделать?

— А подрос он, купили ему конструктор, и чего только он не строил: и семафор у него загорался, прямо как настоящий, и ветряная мельница — дунешь, а она вертится. Не диво, что его взяли на завод. Я бы вам их принесла, показала бы, была б я в надежде, что вы через них одумаетесь. Вы бы диву дались. А теперь уж ему ничего не смастерить, ничего не придумать, успокоилась его бедная головушка.

История не сообщает нам, случалось ли Александру Македонскому, Цезарю или Наполеону, сурово покарав кого-нибудь, стать жертвой преследования такой вот старой женщины, которая так стискивала бы руки, словно хотела уничтожить содеянное, и при этом пыталась бы смягчить свое невыносимое упорство мольбой о милосердии. Она чуть не валялась в ногах у Верховного лорда.

— Но поймите, сударыня,— сказал он.— Его разум служил дурным целям. Он был мятежник. Бунтовщик.

Но миссис Кэрол не соглашалась.

— Никакой Арти не бунтовщик. Уж мне ли не знать? Да он еще маленький такой был хороший — прямо страх меня брал, уж такой старательный, первый мне помощник. И здоровый был и веселый, а уж такой ласковый, я все, бывало, думаю: «Не захворал бы...» А теперь вы его застрелили. Неужто ничего нельзя сделать? Ну, хоть что-нибудь!

— Она измучила меня,— сказал Верховный лорд своей секретарше,— совсем измучила.

Сказав это, он на время почувствовал некоторое облегчение, но ненадолго.

— Я не могу свернуть со своего пути, хотя бы пришлось претерпеть все муки ада,— сказал он без боль-

шой, впрочем, убежденности. Потом отбросил мученический венец. И чуть было не разгневался.— Проклятая старуха! Неужели никто не может втолковать ей, что *война есть война?* Ей здесь не место. Пусть она больше не приходит.

Но она приходила снова и снова. И чем дальше, тем чаще Верховному лорду казалось, что преследует его не живой человек, а смутный, неотвязный, бесконечно тягостный сон.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ВАШИНГТОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Великая война 1914—1918 годов была не только величайшей войной, какую знала история, но и величайшим спором о войне, какой когда-либо волновал людские умы. «Четырнадцать пунктов» президента Вильсона, не имеющие никакого оправдания, туманные посулы, которые расточал Крю-Хауз кающейся Германии, оказались действеннее любой битвы. И ныне великая война, начатая Верховным лордом, тоже постепенно превращалась в нескончаемый и бестолковый спор.

Рано или поздно человечество будет спасено или погублено спорами, ибо совместные действия и поступки людей — это лишь недосказанные доводы в споре.

Загадочная смесь буйного воображения, дерзкой предприимчивости, возвышенных стремлений и, судя по всему, неизбежного цинизма, которая составляет американский характер и приводит в недоумение остальное человечество, теперь постоянно занимала мысли Верховного лорда.

Спор принял совершенно определенную форму потому, что американский президент поступил истинно по-американски. Он выступил с декларацией, которая войдет в историю под названием Вашингтонской, и в ней (не слишком логично, поскольку его страна участвовала в войне) предложил отказаться от дальнейшей борьбы. Америка, заявил он, не станет больше сражаться, ибо ею движет не гордыня, но здравый смысл. Он не при-

бавил, однако — это сразу отметил Верховный лорд,— что после памятного боя в Северной Атлантике Америка на время попросту не в силах всерьез вмешиваться в дела Европы и Азии. Уцелевшие остатки ее флота необходимы ей, чтобы не спускать глаз с Японии. Однако об этом немаловажном обстоятельстве президент бесстыдно умолчал. Все, что он говорил, вполне могли бы сказать субъекты вроде Хэмпа, Кемелфорда или Эттербери. Его высказывания уж, наверно, порадовали бы сэра Басси. Он был первым главою государства, открыто перешедшим на сторону тех сил, что подрывают и отвергают историю.

Эта декларация бездействия, это отречение от воинствующего национализма точно стрела пронеслась через океан — прямо в руки Верховного лорда, в бурю, что бушевала в его мозгу. Держа в руке сей документ, наспех отпечатанный расплывающимися лиловыми буквами, Верховный лорд шагал по кабинету взад и вперед и читал его вслух своей верной и неизменной слушательнице. Читать вслух побуждало его какое-то настойчивое внутреннее чувство, хотя каждая строчка была ему ненавистна. Это решительное отречение изложено было с той искусно сделанной простотой, с той выспренней, торжественной суровостью, которой издавна отличаются речи и заявления американских государственных деятелей.

«Оплошность нашего молодого пилота, разбившегося в Персии, нежданно повлекла за собой тяжкий всемирный кризис. С невероятной быстротой большая часть человечества оказалась вновь втянутой в войну. Мир превратился в пороховой погреб, и не нашлось средства предотвратить взрыв. И ныне на всей планете люди с невиданным ожесточением убивают друг друга и разрушают все на своем пути. Соединенным Штатам тоже не удалось остаться в стороне. Наши корабли уже приняли участие в битве, тысячи наших сынов погибли, и, если бы не исконное здравомыслие, охраняющее наши северные и южные границы, наш континент тоже пылал бы в огне войны.

Однако счастливое географическое положение нашей страны и общность мыслей с великим доминионом — нашим северным соседом — помогают нам пока удержи-

ваться от участия в кровавой бойне. Благодаря этим особенностям местоположения, а также уцелевшей части военного флота наша родина не подвергается денно и нощно всем ужасам, которые угрожают жизни мирных граждан в густонаселенных городах Европы и Азии. Наше участие в этой разрушительной деятельности, если уж мы пожелаем принять в ней участие, сведется к одному — мы будем нападать. Мы нападали до сих пор и впредь будем нападать только для того, чтобы остановить руку разрушителя. Жители наших городов и селений — едва ли не единственные в мире — еще могут спокойно спать по ночам, дни свои проводить, не видя и не слыша сражения, свободно думать, и обмениваться мыслями, и обсуждать, насколько справедлив и закономерен и к чему может повести этот трагический взрыв людской злобы. И теперь наше право и наш долг — судить об этих устрашающих событиях трезво и беспристрастно, как не может судить ни один народ во всем мире, кроме нас.

Было бы нетрудно — и некоторые из нас, американцев, уже сделали это с большой легкостью — решить, что наше нынешнее относительное преимущество есть признание свыше наших особых заслуг, награда за нашу мудрость. Я не позволю себе тешиться подобным елейным патриотизмом. Распределять хулы и похвалы между действующими лицами этой всемирной трагедии — дело историков. Быть может, никто не виновен; быть может, высшие силы вынуждали всех исполнить назначенную им роль; быть может, мы должны обвинять не отдельных людей и не государства, а идеи и культурные традиции. Сейчас важно другое: справедливо ли, нет ли, но судьба оказалась благосклонна к нам, американцам, и дала нам несравненные преимущества. И ныне мы можем послужить всему миру, как никто другой. Служа всему миру, мы послужим и самим себе. Нам и никому иному уже второй раз в решающий час истории дано сделать выбор между миром на земле и всеобщим уничтожением и гибелью.

Давайте же поразмыслим об особой природе наших Соединенных Штатов без чванства и национального высокомерия, но с благодарностью и смирением. По своей политической природе наши штаты отличны от всех го-

сударств, какие существовали доныне. Это не суверенные государства в том смысле, как понимают суверенность в любой другой части света. То есть они суверенны, но отдали федеральному правительству ту долю своей свободы, которая могла бы повести к войне. Не без тяжких страданий, не без страстей и кровопролития достигли наши предки мира на всем нашем континенте. Велики были и практические препятствия и противодействие инакомыслящих. Не просто было определить, какие вопросы надлежит решать местным властям, а какие — общеамериканским. До сегодняшнего дня иные пункты остаются спорными. На то, чтобы решить, будет ли у нас труд свободным или рабским, ушла жизнь целого поколения. И мы научились понимать, что труд должен навсегда стать свободным, иначе невозможен прогресс. Не всегда мы были благородными и мудрыми. Многие истины мы постигли через страдания и ошибки. И, однако, с тех пор как была завоевана свобода, год от году, от поколения к поколению наше гигантское сообщество ощупью прокладывало путь к идее прочного всеобщего мира и при помощи международных соглашений и пропаганды искало способ установить вечный мир на земле. Это стало нашей традицией, если только можно сказать, что у нас уже есть традиции. Не было и нет другого народа, который так определенно и деятельно желал бы мира, как наша дружная семья. Мы смотрим на войну как на нечто ненужное и отвратительное, столь же невыносимое, как многие другие грубые и жестокие обычаи, столь же отвратительное и непростительное в наше время, как человеческие жертвоприношения, как сожжение людей на костре при погребении вождя варварского племени — обряды, без которых некогда люди не мыслили своего существования. Мы знаем, что все люди должны быть свободными, что их жизни ничто не должно угрожать, и мы уже многое сделали для этого.

И если мы были осторожны и стремились к миру, превыше всего избегая вступать в союз с государствами старого, воинственного склада, эта наша обособленность коренится отнюдь не в лености и себялюбии, побуждающих забыть об остальном человечестве и отгородиться от менее счастливых государств Старого Све-

та. Но собственный опыт в начальную пору нашего существования, а также глубокая мудрость нашего вождя Вашингтона подсказывали нам, что столь грандиозное предприятие, столь сложный и необъятный план, как создание всемирного государства, таит в себе многочисленные и грозные опасности. И мы с первых шагов твердо решили, что не дадим обманом и хитростью вовлечь нас в извечные раздоры и честолюбивые замыслы Старого Света, не позволим поставить на службу им нашу простодушную и все возрастающую мощь. В высказываниях президента Вильсона, затем в нотах и меморандумах, в посланиях и на различных конференциях и, наконец, в дни, когда заключен был пакт Келлога, Америка всегда ясно и определенно подавала свой голос за мир на земле, за доброжелательство в отношениях между всеми людьми и народами.

В последние двенадцать лет мы многое испытали, многое видели, немало спорили и обсуждали и все яснее это понимаем; теперь уже все согласны в том, что современные государства и правительства — это лишь поверенные, которым на время вручена власть, и направить ее надлежит на всеобщее примирение и создание единой всемирной власти; к этому тяготеет все в мире. И я, избранный глава нашего федерального правительства, заявляю, что любой человек обязан любым правителям лишь условной верностью, подлинную же глубокую верность дòлжно хранить не флагу и не нации, но человечеству. Сказанное мною относится не только к чужим флагам и конституциям, но в равной мере и к нашему, американскому флагу и к нашей конституции. Ужасающие страдания, кровопролитие и разрушения, свидетелями которых мы стали ныне, призывают каждого обратить свои мысли к федеральному всемирному правительству: создать его как можно скорее и сделать как можно более прочным — такова насущнейшая задача рода человеческого. И мы утверждаем, что правители и министры, которые не способны содействовать такому слиянию,— просто предатели: они изменяют человеческой природе, ибо они рабы мертвых фантазий и давно устаревших организаций.

Итак, мы, правительство и народ Соединенных Штатов, насколько возможно, держимся в стороне от этой

войны, бдительные, вооруженные, дожидаясь лишь часа, когда можно будет тем или иным способом вмешаться и положить ей конец. Мы приглашаем все державы, которые еще колеблются и сохраняют нейтралитет в этом хаосе вражды и ненависти, сойтись на совет — и не только ради новых договоров, обещаний и деклараций, но за тем, чтобы объединить усилия, действовать заодно и сообща управлять миром отныне и навеки. Мы призываем к этому не только суверенные государства, мы призываем каждого свободомыслящего человека во всем мире, будь то мужчина или женщина, стать на сторону этой идеи, хранителем и провозвестником которой выступает наш народ. Мы говорим всем и каждому: «Оставайтесь в стороне от этой войны. Не соглашайтесь участвовать в кровопролитии. Не отдавайте войне ни сил, ни средств». Мы действуем честно и открыто, побуждаемые решимостью, накопившейся за полтора столетия, и мы призываем вас к верности более всеобъемлющей, нежели верность только своему государству и национальному флагу. Мы, граждане Соединенных Штатов, окажем вам всемерную помощь и поддержку, какую только возможно оказать, не разжигая еще больше ярость воюющих сторон. Обуздайте своих правителей. Посвятите себя отныне созданию империи мира и согласия, в которой мы, и вы, и все, кто населяет нашу планету, смогут жить в содружестве».

Верховный лорд умолк.

Он перевел дух, сделал три шага к окну, обернулся и похлопал по бумаге, которую держал в протянутой руке.

— Вот оно,— сказал он.— Это должно было случиться. Вот он, ясный и недвусмысленный удар грома. Гроза собиралась давно, накапливала силы, и вот она— атака на души людей.

Он зашагал из угла в угол.

— Бесстыдная пропаганда. Атака на наш дух — это убийственней тысячи аэропланов.

Он внезапно остановился.

— Знавал ли когда-либо свет подобное лицемерие?

— Невиданно и неслыханно,— решительно откликнулась миссис Геншо.— Просто возмутительно.

— Они увеличивали свой флот, не давая нам ни минуты покоя. Они задирали нас и перечили нам на каждом шагу, когда мы всей душой готовы были сотрудничать. Они опутали всю Европу своими ростовщическими сетями. А теперь прикидываются добродетельными человеколюбцами!

Что-то вдруг словно повернулось в мозгу Верховного лорда — повернулось и ударило в самое сердце. Он больше не мог сохранять позу благородного негодования. Послание американского президента внезапно напомнило ему о том, что давно дремало в его сознании, что связано было с людьми вроде Кемелфорда (кстати, где он сейчас, черт возьми, этот Кемелфорд?) и сэра Басси. Он остановился как вкопанный; послание, которое он держал за один угол кончиками пальцев, вяло повисло в его руке.

— А вдруг это не лицемерие! — сказал Верховный лорд.— Вдруг он и в самом деле так думает! Наперекор всем американским патриотам!

Расширенными глазами он посмотрел на миссис Пеншо, и она ответила таким же смятенным взглядом.

— Но как он может думать это всерьез, ведь во всем этом нет никакого смысла? — сказала наконец эта преданная душа.

— Есть смысл! Есть. Даже если он и не высказан прямо. Допустим, все это вздор. Я-то в этом уверен. Но никто не станет выдавать вздор за что-то серьезное, если это не принесет выгоды. Должно быть что-то такое, на что этот вздор рассчитан. Что же это такое? Что означает вся эта туманная болтовня? Ничего подобного я не изучал в истории и не учил такому других. Земной шар без государств и наций. Жалкий всеобщий мир, тишь и гладь. Истории человечества приходит конец. И это носится в воздухе, таково веяние эпохи. Вот для чего я послан небесами: бороться с этим и победить. Это — заблуждение. Обман...

— Где я? — промолвил вдруг Верховный лорд и провел рукою по лбу.— Кто я?.. Заблуждение и обман? Который же из двух миров — заблуждение: этот новый мир — или мой?

КНИГА ПЯТАЯ

САМОЕ ГЛАВНОЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДУХ ВРЕМЕНИ

— Это больше, чем война между Британией и Америкой,— сказал Верховный лорд.— Это больше, чем какая бы то ни было война. Это бой за человеческую душу. Он идет по всей земле. Допустим, что президент лицемерит, это очень может быть; и, однако, он обращается к чему-то такому, что стало в нашем мире вполне реальным и обрело великую силу. Быть может, он просто пытается настроить весь мир против меня, но это не умаляет силы, к которой он взывает, и приходится с нею считаться. Он обращается к духу, к могучему и опасному духу. Это смертельный враг того духа, что воплощен во мне и движет мною. Это и есть мой подлинный противник.

— Как вы замечательно говорите! — вздохнула миссис Пеншо.

— Понимаете, этот человек, стоящий в дни войны во главе огромного и могущественного суверенного государства, брызжет ядом в лицо всем суверенным государствам, он вообще против существования независимых, суверенных государств. Он — глава, вождь и олицетворение нации, отвергает национальное чувство. Он, кого конституция возводит в дни войны в ранг главнокомандующего, отвергает войну. В Белом доме воцари-

лась Анархия. Перед нами мощная воинствующая организация, но у нее нет лица. Это — политическое затмение, непроглядный мрак. Это страшная опасность, она грозит положить конец истории.

Верховный лорд на мгновение умолк, потом продолжал с чувством:

— Всюду и везде яд умственного отступничества разъедает людские души. Нельзя, видите ли, вести даже честную, благородную войну. На смену воинской доблести приходит пропаганда. Мы даем обещания. Маскируемся. Скрываем истинное лицо вещей. Измена влечет за собой измену.

Миссис Феншо выпрямилась, натянутая, как струна, стиснув обеими руками пишущую машинку, и пожирала глазами Верховного лорда.

— Но этого не будет,— промолвил он, и прекрасный голос его зазвенел.— Этого не будет...

— Высшими ценностями жизни,— продолжал он,— я называю верность, отечество, нацию, повиновение, самопожертвование... Не мир, но меч!.. Я пошлю в бой миллионы!.. Я буду сражаться до конца! Сражаться до конца... Демон-искуситель, я бросаю тебе вызов!

Необходимо было сделать что-нибудь символическое. Он смял послание президента в комок. Вновь расправил, изорвал на узкие полосы, потом в мелкие клочки и швырнул их на ковер. И стал расхаживать взад и вперед, откидывая бумажки ногой. Громко и выразительно перечислял он обстоятельства, определяющие его нынешнее положение.

— Жестокий враг... неверные союзники... мятежники в пределах самой империи... измена, уклончивость, трусость в собственном доме. Боже праведный! Нелегкая дана мне задача. Враждебные силы, которые поминутно меняют свой облик, противники-оборотни! Неужели же славная история сменявших друг друга империй увенчается таким концом? Я сражаюсь с пагубными, зловредными мыслями. И если все силы зла восстанут против меня, я по-прежнему буду сражаться с ними за короля, нацию и империю.

Он был изумителен — великая и непонятая душа — в эти минуты, когда, шагая по комнате, думал вслух и короткими фразами, точно ударами резца, придавал

форму своим грозным опасениям. Клочки президентского послания, словно объятые страхом, бежали с его пути, забиваясь под столы, стулья, в дальние углы. Казалось, они стыдятся, что принесли ему чудовищную весть об этом непостижимом предательстве.

— Странно и страшно следить, как вырастает этот опасный противник — дух сомнения, вечный разрушитель всего, что дорого человеку... С той поры, как людьми правит власть. Когда сомневаться и то уже было гибельно... Великие дни для души человеческой. Простая вера и решительное действие. Правота ясна каждому, и лицо греха узнано. Теперь мы сбились с пути. Стадо без пастыря... Началось с мелочей, пустяковое ослушание и леность. Насмешки, разъедающие душу насмешки. Долг становится в тягость. Ослушник не хочет оставаться в одиночестве и развращает других. Простые верования, они кажутся невероятными в обыденной жизни, но для души они — святая истина. Они были основой основ. Едва начинаешь в них сомневаться, они исчезают; это доказано столетиями веры. Но так уж устроен человек: он вечно сомневается. Он вечно жаждет перемен... сбивается с пути истинного. Сомневаться так легко и так гибельно. Потом возникает наука — нескончаемая цепь вопросов, поначалу робких, вкрадчивых. А потом она становится надменной и упрямой. Все на свете ей надо исследовать, все сделать простым и ясным, все должно стать точным и определенным. Плесните кислоты на алтарь! Она разъедает его. Стало быть, он только мрамор. Плесните ее на корону! Это всего лишь обруч из металла, металлический сплав. Плесните ее на флаг отечества! Он становится багровым и истлевает. Итак, все святыни ничего не значат...

Почему это не прекратили? Почему власть потеряла уверенность в себе и перестала разить мятежников? Что за сонное оцепенение проникло во дворцы правителей?..

И вот наконец история человечества замирает на месте. Дух истории перестает ткать свою славную ткань, отвращает от нее взор и вопрошает:

— Надо ли продолжать?

Надо ли продолжать? С помощью божьей я позабочусь о том, чтобы история человечества продолжалась.

Одна решительная битва, одно могучее усилие — и мы задушим науку-разрушительницу, ибо она есть анархия. Эта наука, которая лжет, будто она опора и свет, но несет один лишь непроглядный мрак, должна прекратить свое существование. Раз и навсегда. Мы должны возвратить наш мир на путь традиций, чтобы он вновь обрел извечные мерила всех вещей, древние и непреходящие для человека ценности, исторически сложившиеся формы бытия, в которых выражено все, что есть человек и чем он только и может быть...

Я думал, что наука всегда противоречит себе, теперь я понимаю: это просто потому, что она противоречит истории. Сущность науки в том, что она ниспровергает *все* основы, даже и свои собственные. Она презирает философию. Прошлое для нее лишь диковинка или куча никому не нужного хлама. Анархизм! В настоящем ничего нет, все еще только впереди. Наука не выполняет никаких обещаний и вместо этого выдает все новые и новые векселя...

Ее вечно ниспровергают, и всякий раз падение лишь прибавляет ей силы. Это и есть легенда об Антее! А все-таки Геркулес его уничтожил!

— Мой Геркулес! — еле слышно шепнула миссис Пеншо.

— Оторвал его от земли и задушил.

— Да, да,— прошептала она.— Своими сильными руками...

Верховный лорд вдруг словно преобразился.

Он замер, недвижный, как статуя, и вперил взор в темные бездонные глаза своей маленькой секретарши. На мгновение в голосе его зазвучала нежность.

— Большое счастье,— сказал он,— когда есть на свете хоть одно живое существо, перед которым можно сбросить панцирь и поднять забрало.

Миссис Пеншо ничего не ответила, но, казалось, в ее глазах раскрывается и сияет ее сердце.

В эту короткую минуту молчания их души слились.

— А теперь за работу! — сказал Верховный лорд: он уже снова был непреклонным властелином своей судьбы.

И вдруг с возгласом: «О господи!» — он подскочил чуть не на фут от полу.

Ей незачем было спрашивать, отчего ему так неожиданно изменило чувство собственного достоинства.

Над головою что-то протяжно взвыло—громче, громче,— и близкий грохот взрыва возвестил, что еще один вражеский аэроплан проскользнул сквозь кордоны, охраняющие Лондон. Миссис Пеншо вскочила и, прежде чем надеть маску противогаза, вручила противогаз Верховному лорду, ибо властитель должен подавать пример и носить то, что велено носить народу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ФАНТАЗИЯ НА ТРАФАЛЬГАРСКОЙ ПЛОЩАДИ

— Газа нет,— произнес Верховный лорд и указал на прозрачное алое зарево на востоке. Резким движением он сорвал с себя маску: он терпеть не мог закрывать лицо. И с удовлетворением вдохнул окутавший все антигаз. Потом повторил с удивлением: — Газа пока еще нет.

Лицо миссис Пеншо тоже появилось из-за уродливой маски.

— И нам ничего не грозит? — спросила она.

— Доверьтесь мне,— сказал Верховный лорд.

В небе стоял оглушительный гул моторов, но ни одного аэроплана не было видно. Всюду теснились розовеющие вечерние облака — и вражеские аэропланы, напавшие на столицу, и те, что ее защищали, без сомнения, гонялись друг за другом, поднявшись над этой завесой. Гудению аэропланов негромко откликался далекий заградительный огонь, словно гигантский резиновый мяч снова и снова ударял в гигантский жестяной поднос. Комфортабельного «роллс-ройса» нигде не было видно. Вероятно, шофер отвел его куда-нибудь в укромное место и еще не успел вернуться.

— В этом есть что-то возбуждающее,— сказал Верховный лорд.— Почему бы мне и не делить опасности с моим народом.

По улице Уайтхолл шагали храбрецы в противогазах разных систем, а некоторые просто прижимали ко рту какой-нибудь лоскут или носовой платок. Многие,

подобно Верховному лорду, решили, что бояться газа пока нечего, и либо несли противогазы в руках, либо вовсе обходились без них. Никаких экипажей не было видно, если не считать двух старомодных цистерн для поливки улиц. Сейчас они хлопотливо разбрызгивали тяжелую, медленно улетучивающуюся влагу с резким сладковатым запахом: считалось, что она надежно предохраняет почти от всех ядовитых газов. Жидкость постепенно испарялась, стлалась низко по земле голубоватым туманом, который кружил, редел и медленно рассеивался. После паники в Ист-Энде об антигазе много говорилось и писалось в газетах. Вот уже несколько дней как была прекращена подача обыкновенного светильного газа, и вместо него все резервуары и магистральные трубы заполнил антигаз определенной концентрации — в случае надобности его можно было получить, отвернув обыкновенный газовый рожок. У него был тот же сладковатый запах, что и у жидкости, разбрызгиваемой цистернами, и во время вражеских воздушных налетов он очень успокоительно действовал на жителей Лондона.

— Пойдемте через Уайтхолл,— сказал Верховный лорд.— Помнится, было распоряжение, чтобы в случае налета мой автомобиль укрывался под аркой Адмиралтейства, где его нельзя будет заметить с воздуха. Мы можем дойти туда пешком.

Миссис Пеншо кивнула.

— Вы не боитесь? — спросил он.

— Когда вы рядом! — возмутилась она.

Автомобиля под аркой не оказалось, и они вышли на площадь. В невидимом с земли воздушном бою как будто наступила передышка. Враги либо улетели восвояси, либо поднялись так высоко, что их больше не было слышно, а может быть, у их моторов были глушители. Взрывов больше не было, доносилась только стрельба орудий внешнего пояса противовоздушной обороны.

— Стихает,— сказал Верховный лорд.— Наверно, они улетели.

И тут он заметил, что вокруг много народу и все держатся очень спокойно. Оказывается, улицы снова стали людными. Еще минуту назад они с миссис Пеншо были почти совсем одни. А сейчас мужчины и женщины выходили из станции метрополитена, словно пере-

ждали там, пока стихнет ливень. Продавцы газет стояли на тротуарах с таким видом, будто вовсе и не покидали своего поста.

— Есть у нашего народа особая черта — ему присуще великолепное спокойствие,— сказал Верховный лорд.— Какое-то особое упорство. Упрямое нежелание давать волю чувствам. Англичане не щедры на слова, зато они делают свое дело.

Но тут весь воздух наполнился пронзительным воем! Минута растерянности.

И вот все вокруг затряслось и загрохотало. Слепящие вспышки и оглушительные взрывы — четыре или, может быть, пять подряд, совсем близко,— и гладкая мостовая превратилась в кратер действующего вулкана.

Мистер Парэм почти не сталкивался с жестокими буднями войны. Во время мировой войны 1914—1918 годов благодаря сердечной слабости, удостоверенной врачом, а также благодаря природным дарованиям он оказался полезнее в тылу. И теперь, затаясь в Верховном лорде, он просто глазам не верил: с какой чудовищной, неправдоподобной прихотливостью бомбы увечили и рвали на куски человеческое тело! Привыкнув изучать войну по патриотическим фильмам, он думал, что смерть в бою исполнена достоинства, что чуть ли не все герои, погибая, вскидывают руки к небесам и падают вперед самым приличным образом, дабы не видно было ничего такого, что могло бы как-то унизить их или оскорбить чувства зрителя. Однако люди, убитые на Трафальгарской площади во время бомбардировки, не проявляли подобной деликатности — быть может, потому, что они были штатские и не имели специальной подготовки; их разрывало на куски, смешивало с обломками кирпича и пылью разбитых зданий, швыряло во все стороны, точно лохмотья или футбольные мячи, расплескивало красной грязью. Старуха в черной шляпке — торговка спичками, сидевшая на корточках на обочине тротуара,— взметнулась высоко в воздух, протянув руки к Верховному лорду, словно хотела, подобно колдунье, пролететь над ним,— и тут же (он глазам своим не верил) распалась на куски, и коробки спичек брызнули во все стороны, словно отброшенные

ногой великана. Черная шляпка на лету смахнула с Верховного лорда шляпу, в него попал коробок спичек и что-то мягкое, мокрое. Нет, все происходило совсем не так благопристойно, как положено... Это был чистейший кошмар... нет, грязный кошмар. Это было оскорбление, нанесенное извечному достоинству войны.

И вдруг он понял, что в колонну угодила бомба и она падает. Она падала почти торжественно. Так долго она стояла безукоризненно прямая — и вот начала изгибаться, неуверенно, как колено ревматика. Казалось, она медленно разделяется на части. Казалось, ее спускают с неба на незримых канатах. За это время можно было даже успеть что-то сказать.

Никогда еще миссис Пеншо не видела Верховного лорда столь величественным.

Он обнял ее. Он хотел положить руку ей на плечо, но она была такая маленькая, что он обхватил ее голову.

— Станьте поближе,— сказал он. И успел еще прибавить: — Доверьтесь мне и доверьтесь богу. Смерть не коснется меня, пока я не завершил свои труды.

Нельсон опрокинулся и падал боком, не сгибаясь. С таким видом, будто спешил на деловое свидание, он врезался в фасад большого здания страхового общества на той стороне площади, куда выходит Кокспар-стрит. Огромные обломки колонны рухнули, вдребезги разбивая мостовую, вновь подскочили и наконец замерли, а вокруг Владыки Духа и его секретарши так и сыпались куски камней и асфальта. Верховного лорда отбросило в сторону по меньшей мере на ярд; шатаясь, он поднялся на ноги и увидел миссис Пеншо, стоявшую на четвереньках. Она тут же вскочила и кинулась к нему, ужас и любовь были на ее лице.

— Вы весь в крови! — воскликнула она.— Весь в крови!

— Это не моя,— вымолвил он, спотыкаясь, добрел до развалин фонтана, и вдруг его неудержимо, отчаянно затошнило.

Намочив свой носовой платок, миссис Пеншо обмыла ему лицо и отвела его на уцелевший клочок мостовой за гостиницей «Золотой крест».

— Той же слабостью страдал и Нельсон,— сказал

Верховный лорд. В подобных случаях он всегда говорил что-нибудь в этом роде.

— Нельсон! — повторил он, мысль его сделала внезапный скачок, он поднял глаза и увидел пустоту.— Боже праведный!

От памятника только и остался кусок пьедестала вышиною футов в двадцать.

— Пора нам перебраться в новое помещение генерального штаба, к Джерсону,— вновь заговорил Верховный лорд.— Хотел бы я знать, куда упрятали этот автомобиль. Где автомобиль? Постойте! Видно, опять рвутся бомбы, там, южнее. Не надо слушать.

Тут он заметил, что на него с любопытством смотрят какие-то обезумевшие, растерзанные люди. Они разглядывали его неодобрительно и выжидающе. Вдруг образовалась толпа. Многие смотрели подозрительно и неприязненно.

— Я с радостью остался бы здесь и помог раненым,— сказал Верховный лорд,— но мой долг призывает меня в другое место.

Откуда-то появились люди с повязками Красного Креста и стали обыскивать развалины. Стонали и ползли по обломкам раненые.

— Надо реквизировать автомобиль,— сказал Верховный лорд.— Найдите кого-нибудь из офицеров и реквизируйте автомобиль. Я должен увезти вас отсюда. Нам надо как можно скорее попасть в генеральный штаб. Мое место там. Надо выяснить, куда девался мой автомобиль. Джерсон его найдет. Может быть, разумнее всего вернуться пешком в военное министерство и уже оттуда отправиться. Не бойтесь. Держитесь ближе ко мне... Что это, опять бомба?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВОЙНА ЕСТЬ ВОЙНА

Джерсон что-то говорил ему. Они сидели в каком-то незнакомом месте. Может быть, в том самом огромном подземном убежище в Барнете, которое должно было стать новой резиденцией правительства; так или ина-

че, это была какая-то огромная, безобразная пещера; речь шла о том, как теперь поступить, если надеяться, что империи, на которую обрушились столь тяжкие удары и над которой нависла столь грозная опасность, еще суждено добиться победы. Где-то наверху громыхала и перекатывалась барабанной дробью канонада зенитных орудий.

— Если мы станем слушать пропагандистские речи американского президента, нам крышка,— сказал Джерсон.— Народ не должен их слушать. Это отрава... бред. Продолжайте войну, пока еще не все пропало. Продолжайте войну! Теперь или никогда!

В Джерсоне была мрачная, отчаянная сила, подчинявшая Верховного лорда.

— Газ Л,— повторял Джерсон.— Газ Л. Весь Берлин в агонии — и конец Берлину. Да разве после этого они станут воевать дальше, какая бы там у них ни была новая взрывчатка!

— Бог свидетель, я не собирался пускать в ход ядовитые вещества,— сказал Верховный лорд.

— Война есть война,— возразил Джерсон.

— Не такой войны я хотел.

Джерсон никогда не отличался излишней почтительностью, теперь же он попросту злобно огрызнулся.

— Может, по-вашему, это я хотел такой войны? — резко спросил он.— Черта с два! Нам навязали эту войну проклятые химики и ученые. Это не война, а чудище. Науку надо было задушить в зародыше еще сто лет тому назад, да кто-то прозевал. Ученая публика из кожи вон лезет, чтобы сделать войну невозможной. Вот чего они добиваются. Но пока я жив, ничего у них не выйдет, зря стараются. Сперва я взорву к чертям эту паршивую планету. Они у меня все передохнут, все до последнего человека. Что за жизнь без войны? Есть один способ прекратить эту адскую немецкую бомбардировку: надо уничтожить осиное гнездо, надо уничтожить Берлин! Вот за это я бы сейчас и принялся. Но мы не можем получить сырье! Кемелфорд и Вудкок без конца тянут и вставляют палки в колеса. Если вы в день-два не расправитесь с этими негодяями, я сам с ними расправлюсь, этого требуют интересы войны. Я их арестую.

— Арестуйте,— сказал Верховный лорд.

— А если понадобится, и расстреляю.

— Если понадобится, расстреляйте,— сказал Верховный лорд...

Казалось, вся власть постепенно переходит в руки Джерсона. Верховный лорд вынужден был все чаще и чаще напоминать себе, что это делается в интересах войны. Джерсон должен стоять во главе всего, пока идет война. Его власть начинается там, где государственные деятели бессильны, а когда он сделает свое дело, государство вновь примется решать возложенные на него задачи.

Верховный лорд пребывал в уверенности, что Кемелфорда и сэра Басси арестовали, но им удалось бежать. Прошло какое-то время, а он и не заметил. Да, они и в самом деле были арестованы, а потом удрали. Сэр Басси подучил Кемелфорда, и они бежали.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НЕИЗБЕЖНОЕ ВОЗМЕЗДИЕ

Сознание Верховного лорда затуманилось. По нему проплывали облака. Чьи-то голоса, не имевшие никакого отношения к происходящему, бесконечно что-то разъясняли ему. События уже не сменяли друг друга с подобающей последовательностью. Отрывочные сцены появлялись и исчезали перед глазами Верховного лорда, точно в кинематографе. Шла погоня за сэром Басси. Джерсон преследовал его по пятам, но уже нельзя было понять, где и как все это происходит.

Потом оказалось, что сэра Басси словно бы настигли в Норвегии. Агенты Джерсона поразительнейшим образом похитили его, перевезли в Норфолк и расстреляли. Приходилось действовать на территории нейтральной страны, церемониться было некогда. И — не очень ясно, почему именно — Верховному лорду совершенно необходимо было тайно отправиться ночью осмотреть труп сэра Басси. Ему вспомнилось героическое убийство Маттеотти и еще более героический поступок Наполеона, ко-

торый уничтожил герцога Энгиенского[1]. Необходимо, чтобы один человек умер ради всего народа. Настал черед этого отщепенца — надо было с ним покончить. Наступил день, когда собственность, как и все остальное, должна была подчиниться велениям долга.

И вот после утомительной езды по извилистой и тряской дороге Верховный лорд выходит из своего автомобиля и оказывается на берегу близ Шерингема. Он ощущает какое-то странное, удивительное сходство с Наполеоном; на нем даже непременная треугольная шляпа. Ему пришлось закутаться, чтобы его не узнали. Он кутается в плащ черного бархата. Автомобильные фары освещают выбеленный известкой сарай, лодку на берегу, усыпанном галькой; а дальше, выступая из сизого сумрака, в лучах фар вспыхивают белой пеной валы беспокойного моря.

— Сюда, сэр,— говорит молодой офицер и услужливо светит ему электрическим фонариком, но из-за прыгающего пятнышка света идти только труднее. Под ногами громко хрустит галька.

На доске, покрытое простыней, с привязанным к ногам пушечным ядром, которое должно увлечь его в пучину, лежит тело сэра Басси. Минуту Верховный лорд стоит над ним, скрестив руки. Диктатура избавилась от последнего внутреннего врага. Все вокруг замерло, все смолкло, только одна за другой мерно ударяют о берег волны.

Так вот чем кончилось шестилетнее знакомство, подумал Верховный лорд. Невозможно было подчинить это неугомонное, вечно жаждущее перемен алчное существо величественному ходу истории; Вудкок был неисправимый ослушник, вечно он сеял сомнения и раздоры, и в конце концов это вылилось в непримиримую борьбу за существование между ним и ему подобными, с одной стороны, и традициями и устоями Англии — с другой стороны. Пока он был жив, он казался грозной силой, но теперь, бездыханный, он стал таким маленьким и

[1] Маттеотти, Джакомо (1885—1924) — итальянский социалист. Был похищен и убит фашистами по приказу Муссолини; Герцог Энгиенский, принадлежавший к династии Бурбонов, в 1804 году по приказу Наполеона был схвачен за пределами Франции и расстрелян.

ничтожным, в нем даже появилось что-то трогательное и жалкое. Он был невелик ростом, несчастный коротышка. И у него были кое-какие неплохие качества — дружелюбие, гостеприимство.

Почему он не послушал мистера Парэма? Почему не попытался найти свое место, не научился сотрудничать с ним и повиноваться ему? Зачем восстал против самой истории и погиб, как должен погибнуть всякий, кто восстает против традиций? Верховный лорд стоял там, где укрывавшая тело простыня немного приподнималась,— это была голова сэра Басси; Джерсон стоял в ногах. Мысли Верховного лорда перенеслись от мертвеца к живущим.

Кто, в сущности, убил сэра Басси — он или Джерсон?

В чем заключаются истинные, глубочайшие и непримиримые противоречия жизни человеческой? Наперекор водовороту событий, обрушившихся на Верховного лорда, мысль его не переставала работать. На первых порах, став диктатором, он полагал, что самое основное противоречие в жизни людей — это борьба исторически сложившегося общества, обладающего определенными устоями и традициями, против скептицизма, пренебрежения и беспорядка, против всяческих новомодных затей, глубоко ему враждебных. Но так ли это? Верно ли, что его подлинный враг был сэр Басси? А может быть, подлинный враг — более всеобъемлющий и последовательный, холодный, отчужденный разум Кемелфорда? Ведь это Кемелфорд разбудил мятежный дух сэра Басси, вырвал его из-под влияния мистера Парэма. Не кто иной, как Кемелфорд, нашел форму выражения для таинственных и неистребимых склонностей сэра Басси. Точно так же, как сам Верховный лорд из страха, предрассудков, сопротивления, привычек, преданности, мощи и мудрой осторожности, присущих роду человеческому, извлек и пробудил к действию героическую бесчувственность Джерсона. А если так, значит, истинные движущие силы нынешних событий, воплощение подлинного могущества — это сэр Басси и Джерсон, а он и Кемелфорд — лишь вдохновители, своим разумом вызвавшие к действию неугомонное беспокойство одного и упорство другого. Но почему, если в сэре Басси воплощена была основополагающая сила человеческого бытия, так легко

оказалось его убить? Нелепо даже помыслить о том, чтобы убить такую силу. Да полно, в самом ли деле удалось его убить? Сомнение вонзилось в мозг Верховного лорда и окрасило все его мысли.

— Откройте лицо,— сказал он.

И сделал знак шоферу направить свет фар на бледное, сморщившееся в кулачок лицо убитого.

Поразительно,— а впрочем, могло ли быть иначе? — сомнения его подтвердились.

— Да,— произнес Верховный лорд.— Сходство большое, но это не он. Разумеется, Джерсон, вы всегда убиваете не того, кого надо. Хорошо, что я решил сам посмотреть.

Но Джерсон нимало не смутился.

— А теперь,— сказал он,— раз это поддельный Вудкок, пора нам ловить настоящего, не то империя не получит вовремя газ Л, а тогда ей не выиграть войну.

— Кто этот человек?

— Да просто первый встречный. В военное время без этого не обойдешься.

Выдержка начала изменять Верховному лорду.

— Но получим ли мы наконец это сырье? Одолеем мы когда-нибудь Кемелфорда и сэра Басси?

— Должны! — в ярости крикнул Джерсон.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ИНТЕРЛЮДИЯ С ЗЕРКАЛОМ

Похоже, что Верховный лорд опять оказался в огромном убежище в Барнете. Он был в одном из небольших боковых помещений, выходивших в центральный подземный зал,— комнатка эта служила ему туалетной. Он облачался в мундир хаки, готовясь к путешествию, полному опасностей. Ему робко помогал молодой офицер.

Не без досады Верховный лорд услыхал в коридоре громовой голос Джерсона. Джерсон теперь не разговаривал, а бушевал и гремел.

Они все еще преследовали Кемелфорда и сэра Басси: поступили сведения, что эти двое находятся на загадочных новых химических заводах в Кэйме, Лайонесс,

Нужно захватить их — и пусть, хотя бы под дулом револьвера, служат тем политическим идеям, от которых пытались бежать. Спор о том, кто будет править миром, солдат или ученый, велся теперь уже не на словах, а силою оружия. Чуждая действительность спасалась бегством, традиция следовала за нею по пятам. Джерсон и Верховный лорд должны были лететь в Девоншир на аэроплане и уже оттуда захватить Кэйм «молниеносно и безошибочно, прыжком тигра», как выразился Джерсон. Ну, а тогда, взяв в плен химиков и обеспечив себя газом Л, Британская империя поставит весь мир перед выбором: повиновение или смерть.

Верховный лорд застегивал перед зеркалом хитроумные пряжки портупеи. Потом замер, пристально всматриваясь в свое отражение.

Куда девалась спокойная красота Владыки Духа?

Из глубины зеркала на него смотрел человек, которого он тысячи раз видел прежде в других зеркалах. Это было лицо, которому не хватало силы и спокойствия, ибо в нем сквозил намек на брюзгливость и нерешительность,—лицо старшего преподавателя из колледжа Сен-Симона. И этот тревожный взгляд мистера Парэма. И в волосах — прежде он этого не замечал — уже проступает седина. Он и раньше знал, что они начинают редеть, но оказалось, что они и седеют. Всего лишь мистер Парэм? Неужели Верховный лорд просто пригрезился ему и во всем, что произошло, не было другого героя, кроме него самого? Да и было ли все это на самом деле? А может быть, он сейчас приходит в себя после какого-то чудовищного опьянения?

Тут он вздрогнул: вошел Джерсон, все ближе раздавались его мерные, четкие шаги. Сей творец победы вытянулся и отдал честь, зазвенев шпорами и всем металлом своего генеральского снаряжения.

— Все готово, сэр,— сказал он повелительно.

Мистер Парэм кивнул в знак согласия, но теперь он понимал, что просто повинуется Джерсону.

Подобно грешникам в видениях Сведенборга [1], он по доброй воле пошел в рабство.

[1] Сведенборг, Эммануил (1688—1772) — шведский мистик и теософ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КЭЙМ В ЛАЙОНЕССЕ

По приказанию Джерсона шофер резко затормозил.

— Поставьте машину к обочине,— распорядился генерал,— сделайте вид, что у вас неисправность в моторе.

Он вышел.

— Поднимемся на холм. Вон там, на вершине, наш разведчик. А за холмом Кэйм.

Верховный лорд молча повиновался. До гребня оставалось всего каких-нибудь двести — триста шагов. Солнце садилось — раскаленный добела шар — и окаймило радужным сиянием гряду холмов. Верховный лорд поглядел назад, на голую, неприютную, залитую солнцем корнуэльскую равнину и стал подниматься в гору.

— Пока это проклятое солнце не село, мы вряд ли что увидим,— сказал Джерсон.— Но нам спешить некуда.

— Воздушный разведчик,— сказал Верховный лорд.

— Это они высылают. Он тут все время кружит. А другой над морем. Но вода не так уж прозрачна, надеюсь, наши подводные лодки сквозь нее не разглядишь, да они особенно близко и не подходят.

— У нас есть подводные лодки?

— Пять штук. Было шесть. Но одна погибла. Носилась вдоль берега как чумовая. Дно морское неровно. Черт их знает, как они это ухитрились — подняли десятки квадратных миль. Как-то сумели. Наша лодка, видно, напоролась на какую-то глыбу или барьер... на том месте его не должно было быть. Они создали весь этот свой Лайонесс из ничего, чтоб не платить законным владельцам земли. Они въелись в это самое дно и добывают из него ископаемые, прямо из-под моря... То самое сырье, за которое мы бы все на свете отдали.

Верховный лорд озадаченно разглядывал каменный выступ справа от них.

— Кажется, я припоминаю эту дорогу... вон та скала мне знакома... и поворот за ним.

— Дорога идет в Пензанс. Прежде шла.

— И тот заброшенный оловянный рудник, что мы миновали, тоже мне знаком. Что-то есть странное в этой

двойной шахте... я бывал здесь только в юности. Тогда я бродил по этим местам с заплечным мешком. От Лендс Энда, через эти места, до самого Тинтэйджела.

— Тут теперь все по-другому, сейчас увидите.

Верховный лорд промолчал.

— Ну вот. Теперь нас могут заметить. Шагайте как ни в чем не бывало. Вон тот молодчик, может, следит за нами. Вечер ясный, прозрачный, как стеклышко. Ни тумана. Ни облачка. Я бы предпочел, чтоб сегодня было пасмурно.

— А почему не видно наших аэропланов?

— Потому что нам надо застать ваших приятелей врасплох,— не без презрения ответил Джерсон.

И в какой уже раз за последние несколько дней Верховный лорд с огорчением почувствовал, что он не на высоте. Он задал глупый вопрос. Джерсон, великий знаток и мастер по части войны, все больше забирал власть в свои руки. Сказать было нечего, и Верховный лорд молча стал созерцать открывшийся им вид. Джерсон по-прежнему был начеку.

— Давайте-ка сядем тут, на берегу, надо укрыться в вереске. Нечего стоять и глядеть по сторонам, а то они еще заподозрят, что за ними следят.

Да, тут все переменилось.

Кэйм не похож ни на город, ни на завод, ничего подобного мистер Парэм еще никогда не видел. Ибо не кто иной, как мистер Парэм, смотрел сейчас на этот странный пейзаж. Кэйм торчал на фоне пламенеющего неба, широкий, черный, приземистый, точно какой-то невиданный, несуразный военный корабль. Низкий, длинный, в десятки раз больше всякого военного корабля. Он стоял против света, и потому нельзя было толком разглядеть его, виден был лишь тяжелый, вытянутый силуэт. Его огромная клинообразная тень покрывала тайной и мраком что-то неразличимое — быть может, в ней скрывались бесчисленные потоки и глубокие водоемы. Полоска суши, протянувшаяся к этой махине, поблескивала в лучах заходящего солнца, а там, где скала или камень загораживали свет, ее перерезали длинные, зубчатые тени, перемежающиеся треугольники тьмы.

— Но ведь тут было море,—сказал мистер Парэм.

— Да, было.

— А там мыс Лендс Энд, где кончалась суша.

— Теперь она тянется дальше.

— Я бродил в этих местах... теперь трудно сказать, где именно... и в заплечном мешке у меня лежал Теннисон — «Смерть короля Артура». И я... я был тогда молод... я глядел на закат... великолепный, сияющий закат, вот такой, как сегодня... и грезил об исчезнувших городах и дворцах Лайонесса, и наконец они привиделись мне, точно мираж, сверкающий в лучах заходящего солнца.

— А Лайонесс вот он, и нет тут ни городов, ни дворцов, ни рыцарей. И ничего он не сверкает. И вместо короля Артура с его круглым столом тут засела шайка Кемелфорда и замышляет черную измену... Хотел бы я знать, что именно они замышляют, хотел бы я знать...

Джерсон помолчал, потом вновь заговорил, пожалуй, не столько с мистером Парэмом, сколько с самим собой.

— Они раздобыли здесь сырье. Захватили его, они все захватили. Если б мы могли вырвать у них Кэйм... все было бы наше, у меня есть люди, им бы только дорваться до этого сырья, они бы уж знали, что с ним делать. Тогда у нас будет вдоволь отравляющих веществ, чтобы нагнать страху на весь мир... И мы нагоним на них страху... Но действовать надо быстро и уверенно — броском, чтоб они и опомниться не успели,— сразу положить их на обе лопатки. Сами они нам завод не отдадут — скорее взорвут его. Кемелфорд так и сказал. Бог знает, до чего дойдут эти химики! В прошлую мировую войну они не смели сказать военным «нет».

— Эти берега сильно изменились,— сказал мистер Парэм.— И весь мир изменился. Сегодня мне кажется, что и сам господь бог изменился, он стал непонятен и страшен.

Посидели молча. Солнце, еще недавно ослепительно-яркое, клонилось к закату, вот оно четко выписало в небе силуэт Кэйма и из слепящего белого пламени превратилось в багряный диск.

— Скажите,— заговорил мистер Парэм,— каковы наши планы?

Джерсон покосился на разведчика, чтобы увериться, что он их не услышит.

— У нас сейчас столько газа Л, сколько успела произвести империя, пока эта публика не завладела сырьем. Примерно столько, сколько нам сегодня потребуется, не более того. Там, немного подальше, он свален у дороги под видом бочек с дегтем. А вон около тех домишек — прежде это был рыбачий поселок, а теперь местные жители выращивают овощи, держат коров и стирают на тех, кто работает в Кэйме,— стоят штабеля бочонков с пивом — это тоже газ Л. И среди скал тоже спрятаны баллоны и ящики.

— А где же наши люди?

— В Бодмине, в Пензансе,— дождутся темноты, вскочат на велосипеды — и сюда... да и здесь их немало, только вам не видно: с вечера прячутся в канавах и под грудами сухого вереска в лесу, где мы проезжали. Ждут бесшумно ракеты, она будет пущена ровно в час ночи. Каждый знает, что̀ он должен делать. А за этой первой линией наготове Берчиль, у него свои люди в каждом городишке и селении от Плимута до Экзетера, все они до поры до времени держатся в тени, но в нужную минуту вмешаются. Берчиль — вот это человек! Какая энергия! Он как мальчишка — умнейший великан мальчишка. Уж он не допустит, чтоб кашу заварили без него. Побольше бы нам таких!

— А что будет в час ночи?

— Мы тихонько перетащим баллоны и бочки в большой ров, который у них выкопан вокруг всего завода, проверим, надежно ли пригнаны наши маски, и выпустим газ.

— И что тогда?

— Они тут поизвиваются малость, черт бы их подрал!

— А потом?

— А потом им крышка. Мы в противогазах пойдем на завод — и он наш. Это все равно, что уничтожить осиное гнездо.

— А вдруг газ не подействует мгновенно и они успеют все взорвать?

— Тогда нам с вами крышка, дорогой мой Верховный лорд. Когда мы вернемся в Лондон, он будет готов предать нас и продать вместе с британским флагом — лишь бы нашелся покупатель. Когда мы вернемся, ни-

какой любви к отечеству не будет и в помине — нигде, от Китая до Перу. А лорды и диктаторы пойдут по дешевке — десяток на пенни. Или — если мы не потеряем уважения к себе — мы не вернемся в Лондон. Но, я думаю, мы можем положиться на газ Л.

Никогда еще Верховный лорд не чувствовал себя до такой степени мистером Парэмом. Он огляделся вокруг — вечер был точно золотой купол, воздвигнутый из тепла и тишины, и жизнь казалась прекрасной, и откуда-то издалека доносилось блеяние ягнят, отзывавшихся низким голосам маток.

— Очень возможно, что книга истории с треском захлопнется,— сказал Джерсон.— Это очень даже возможно. Сегодня в час ночи. Мы сделали все, что могли. Мы стояли за свои убеждения, как подобает мужчинам. Но вот, к примеру, газ Л можно разглядеть простым глазом — он как прозрачный голубовато-серый туман. Пожалуй, ночью они его и не заметят — но если увидят его прежде, чем вдохнут... Или если у них есть антигаз...

Генерал не договорил, предоставив воображению мистера Парэма дорисовать эту картину.

— Неужели он будет сторожить всю ночь?—спросил мистер Парэм, кивком указывая на медленно описывающий круги аэроплан-разведчик.

— Они сменяют друг друга. Насколько могу судить, нас уже обнаружили. Насколько могу судить, наш хитроумный замысел уже известен им во всех подробностях. Насколько могу судить, мы пытаемся застрелить спящего тигра горохом из духового ружья, но только того и добьемся, что разбудим его.

Долгое молчание. Купол солнца становился все больше, все багровей,— казалось, он медленно, упорно вливает свой расплавленный металл в таинственный черный сосуд Кэйма.

— Как здесь тихо! — шепнул мистер Парэм.

— В том-то и подлость,— отозвался Джерсон не без злости.— Они всегда тихие! Они себя не выдадут. Эта ученая братия, эти «современные» люди, как они себя называют, никогда не заявят о себе во всеуслышание, не предложат заключить сделку, над которой мог бы поразмыслить порядочный человек. Вечно одна только

беспредметная критика да бессмысленный пацифизм. Мы зазевались — и наука выскользнула у нас из рук. Когда-то она была послушным нашим орудием. Давным-давно надо было запретить всякие исследования всем, кто не подчинен воинской дисциплине, а на всяких ученых распространить действие закона о государственной тайне. Вот тогда они были бы у нас в руках. И, может быть, этот их треклятый прогресс шел бы не так быстро. Они бормотали бы свои паршивые теории по углам, и мы бы над ними смеялись. А будь мы покруче с торговцами и ростовщиками, они не забрали бы себе воли и вели бы дела пристойно, как было в старину. Но мы всех их распустили — ученых, промышленников, банкиров, и вот они делают, что им в голову взбредет, и никого не слушают. Теперь эта банда космополитов-заговорщиков сбросила маски, ни много, ни мало — перехватывает вооружение, жизненно необходимое нашей империи, и, никого не спросясь, сговаривается о мире с вражескими государствами. Ведь это получается вроде как символически, сэр, что мы с вами проводим военную операцию крадучись, как воры, и даже мундиры наши такого цвета, чтоб нас нельзя было увидать издали... Война стыдится самой себя!.. Вот до чего они нас довели!

И вдруг Джерсон разразился потоком бессмысленной непристойной брани, столь любезной простым душам во всех концах света. Он обрекал ученых мужей происшествиям самым противоестественным и ждал от них поступков самых неподобающих. В ярости ополчался он на тщеславие разума, на гнусную самонадеянность человеческой мысли.

Последний ярко-алый краешек солнечного диска так внезапно исчез с черной крыши завода, словно кто-то вдруг вспомнил о нем и втащил его в здание. В небе слабыми золотыми полосами обозначились крохотные перистые облачка, прежде невидимые, и вновь медленно померкли. Мистер Парэм по-прежнему сидел очень тихо. Генерал Джерсон обратился к стоявшему поодаль на страже разведчику и приказал ему вытащить из автомобиля пледы и корзину с провизией, а машину отослать в Пензанс. Они с Верховным лордом будут ждать здесь, среди скал, пока не настанет час идти в атаку.

Мистеру Парэму показалось, что время прошло очень быстро. Вечерняя синева, озаренная багряной полосой на западе, постепенно сгустилась в сумерки, потом настала ночь, высыпали звезды,— меньше всего их было на северо-западе, где еще светлело закатное небо. Мистер Парэм подкрепился запасами из корзинки и прилег у скалы, а Джерсон опять и опять с таинственным видом уходил за скалу и дальше, через болото, и переговаривался с кем-то, подражая крику несуществующих в природе птиц. Они долго еще шептались, и ползали по земле, и наконец, когда совсем стемнело, ощупью двинулись в путь, вниз по отлогому склону, к утесам, отмечавшим границу прежней суши,— за ними начиналась новая земля, недавно поднятое морское дно. Потом поползли дальше, с величайшей осторожностью, стараясь не выдать себя ни шорохом, ни стуком. Внезапно мистер Парэм почти с испугом понял, что они с Джерсоном уже не одни: справа и слева осторожно прокрадывались поодиночке и группами еще какие-то фигуры, едва видимые на фоне неба,— некоторые пробирались налегке, другие что-то тащили.

Джерсон подал мистеру Парэму противогаз.

— Надевайте как следует,— предупредил он.— Это ведь газ Л, не что-нибудь. Смотрите, чтоб края маски присосались к лицу.

Минуты ожидания, когда слышишь громкий стук собственного сердца, потом беззвучно, как метеор, проносится по небу ракета. Снова нескончаемо долгие минуты — и газ Л втихомолку выпущен на свободу.

Газ Л был ясно виден; от него словно шло какое-то сероватое свечение. Он стлался по земле, потом отдельные струи и потоки стали приподниматься, изгибаясь, словно лебединые шеи, словно змеи, тянулись вперед, и вновь опускались, и вытягивались по направлению к темным, уже совсем близким — рукой подать — таинственным громадам Кэйма. Они достигли его и, казалось, ощупью стали взбираться по его крутым бокам, медленно, страшно медленно достигли гребня окружавшей завод высокой стены и полились внутрь...

— На рассвете мы войдем туда,— сказал Джерсон, голос его был чуть слышен сквозь маску.— На рассвете мы войдем.

Мистер Парэм вздрогнул и ничего не ответил.

Ему было неудобно, все тело словно свело судорогой, маска противогаза давила на уши; потом он, должно быть, уснул,— во всяком случае, время пролетело незаметно, и вдруг оказалось, что уже ярко светит солнце. В его лучах совсем близко высились мрачные, зеленоватые стены Кэйма; они были точно из потускневшего металла и прямо из рва уходили в небо — ровные, чуть покатые, без единого окна или амбразуры. Ров оказался неожиданно глубоким, глянешь — и даже голова кружится, в нем не было воды и дна тоже не было видно, лишь далеко внизу что-то клубилось, словно раскручивался и вновь свивался спиралями, не поднимаясь выше, тяжелый желтоватый дым. Двигаться надо было очень осторожно и смотреть в оба, что совсем не просто, когда на тебе маска противогаза. Видишь не все окружающее, а словно бы мелко нарезанные картинки. Атакующие растянулись по краю рва — неуклюжие, сутулые, похожие на павианов с вытянутыми белыми мордами, они двигались бесшумно, с опаской, переговариваясь знаками. У всех были в руках винтовки, либо револьверы.

Некоторое время они в нерешительности медлили на краю рва. Потом дружно повернули налево и пошли вдоль него гуськом, словно надеясь найти место, где можно будет перебраться на другую сторону. Вскоре стена отступила и, повернув за угол, мистер Парэм увидел подъемный мост, вернее, перекинутую через ров узкую полосу металлической решетки, перед которой сгрудились наступающие.

Мистер Парэм понял, что надо показать пример.

И вот они с Джерсоном стоят у входа на мост, а остальные смотрят на них и словно бы ждут их решения. В дальнем конце этой полоски сквозного металла виднеется вход. Это не дверь, а просто арка, ведущая в темноту неосвещенного коридора. Там, за аркой, странная, неживая пустота. Не видно ни души, не доносится ни звука, над Кэймом нависла гнетущая, ничем не нарушаемая тишина. «Мышеловка»,— мелькнуло в голове у мистера Парэма, но он постарался отогнать эту мысль.

— Ну? — слабо послышалось из-под маски Джерсона.

— Если они там все перемерли — наше счастье,— сказал мистер Парэм.— А если нет, чтобы мы ни делали, все равно — даже здесь мы в их власти. Довольно одного меткого стрелка, чтобы оттуда перестрелять нас поодиночке.

— Почему они оставили эту дверь открытой? — недоумевал Джерсон.

— Не знаю. Но чувствую, что должен войти.

— Всё или ничего,— сказал Джерсон.

Он обернулся и знаками приказал шестерым солдатам сопровождать их.

Мистер Парэм, не малодушный, но и не дерзкий, некий новый мистер Парэм, озадаченный, полный страха и любопытства, перешел мостик. И вступил в коридор. Джерсон, шедший следом, задержался и стал изучать дверной проем. Сказал что-то, чего мистер Парэм не расслышал. Поднял глаза и вдруг отпрянул.

Сверху стремительно скользнула в пазах металлическая дверь, с лязгом защелкнулась и отрезала их обоих от дневного света и от всякой помощи извне.

Джерсон выругался и попробовал открыть дверь. Мистер Парэм смотрел на все это без удивления и даже не шевельнулся. Вокруг было светло. Горело несколько крохотных электрических лампочек,— должно быть, дверь, опустившись, автоматически включила их.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРОТИВНИК ЗАГОВОРИЛ

Мистер Парэм был поражен собственным фатализмом. Он, еще недавно уверенный, что в его изящных руках сосредоточена власть над всем миром, сейчас чуть ли не с полным безразличием созерцал свое крушение. И на Джерсона, который дубасил кулаками в дверь ловушки, он смотрел с чувством, близким злорадству.

Ему стало ясно, что в Джерсоне всегда воплощалась самая неприятная сторона его владычества; Джерсон всегда все портил; к утонченной романтике он примешивал непредвиденные ужасы и жестокость. Мистер Парэм

был верен традициям и хотел хранить им верность, но Джерсон — теперь это ясно — хватал через край, в нем было что-то давно устаревшее, архаичное. Глядя на эти обезьяньи кулаки, которые то бешено барабанили в толстую металлическую дверь, то замирали, дожидаясь ответного стука извне, мистер Парэм понял, что он в последнее время возненавидел Джерсона не меньше, чем сэра Басси. Он знал, что ярость Джерсона бессмысленна и бесплодна, и презирал ее столь же сильно, как ненавидел.

Протянув руку, он тронул Джерсона за плечо.

Джерсон отпрыгнул, обернулся,— ясно было, что он страшно зол, маска не вполне заглушила его удивленное рычание.

— Дверь могла опуститься и автоматически,— сказал мистер Парэм.— Нам пока ничего не известно, может быть, там все мертвы.

Джерсон подумал минуту, потом кивнул и жестом предложил мистеру Парэму пройти вперед.

«Да,— подумал мистер Парэм,— насколько я понимаю, очень может быть, что они мертвы».

Через минуту он убедился в своей ошибке. В конце недлинного коридора виднелось что-то вроде огромного круглого зала, и там стояли двое без масок и смотрели на них. Газа Л как не бывало. На этих двоих были белые халаты, которые всегда носят химики и хирурги. Они делали какие-то знаки, словно бы предлагая мистеру Парэму и генералу ступать осторожнее. И указывали на что-то, еще скрытое от взоров вошедших. Фигуры этих двоих казались немного расплывчатыми, жесты — немного преувеличенными, словно их искажало какое-то прозрачное вещество, отделявшее их от пришельцев.

Итак, для газа Л у них имелся антигаз.

Мистер Парэм приблизился, вплотную за ним шел Джерсон.

Они вышли на круговую галерею.

Это странное место показалось мистеру Парэму внутренностью резервуара на заводе, где перекачивают светильный газ. Наверно, резервуар внутри выглядел бы именно так, будь в нем электрическое освещение. Зал был очень просторный, должно быть, ярдов сто в диамет-

ре, и походил формой на барабан. Узкая галерея, на которой оказались мистер Парэм и Джерсон, обегала его кругом, а посередине громоздился гигантский стеклянный сосуд, занимавший бо́льшую часть помещения,— огромная реторта, где кипела и пузырилась какая-то зеленовато-белая жидкость. Перед ними поблескивала изогнутая стеклянная поверхность реторты, и в ней смутно виднелись их слегка искаженные отражения. Это кривое зеркало делало обоих ниже ростом и толще, чем они были на самом деле. Оно отняло у мистера Парэма его полную достоинства осанку и сделало Джерсона каким-то мерзким приземистым чудищем. Жидкость в реторте кипела неравномерно; тут и там ее внезапно пересекали и разрывали вновь образующиеся течения и водовороты; здесь она была таинственно спокойная и гладкая, а рядом бурлила, там стремительно взлетали и лопались пузыри. Один за другим они выскакивали на поверхность, образуя маленькие жидкие горки и вулканы. И над всем этим вились, плясали клочья и пряди мутных испарений. Но все это недолго привлекало внимание мистера Парэма. Перед ним вдруг появились Кемелфорд и сэр Басси, и он забыл обо всем остальном.

Эти двое, так же как и их помощники на противоположной стороне галереи, были в белых халатах. Но вид у них был такой, словно они ждали мистера Парэма и его спутника. Казалось, они и пришли сюда ради этой встречи.

Мистер Парэм досадливо сорвал с себя маску, Джерсон последовал его примеру.

— Верховный лорд британский,— сказал Кемелфорд и отвесил насмешливый поклон.

— Точь-в-точь мой старый приятель Парэм,— подхватил сэр Басси.

— А с ним, если не ошибаюсь, великий стратег генерал Джерсон,— продолжал Кемелфорд.

— Честный англичанин, к вашему сведению, мистер Кемелфорд,— вставил генерал.— Человек, который сделал все, что мог, чтобы спасти великую империю.

— Для начала вы ее чуть не погубили,— сказал Кемелфорд.

— Потому что нам нанесли удар в спину.



«САМОВЛАСТЬЕ МИСТЕРА ПАРЭМА»



«САМОВЛАСТЬЕ МИСТЕРА ПАРЭМА»

— А как теперь подвигается ваша война?

— Война идет прахом. Мятежи. Беспорядки. Лондон бунтует и требует мира. Измена в тылу да еще американская мирная пропаганда — вот что нас добило. Повторяется история несчастного кайзера Вильгельма. Мы терпим поражение на внутреннем фронте. Никто не желает честно воевать. Если бы мы могли произвести достаточно газа Л... если бы мы получили все, что рассчитывали получить... А, черт! Мой расчет был точен. Все прошло бы превосходно, не перехвати вы газ Л. Мы сражались с врагом, а вы, подлые трусы, выбили у нас из рук оружие. И теперь ваша взяла, будьте вы прокляты!

Кемелфорд повернулся к сэру Басси.

— Генерал чересчур горячится,— сказал он,— но, я думаю, можно признать, что, по существу, он прав. У вас всегда была страсть скупать все на свете.— Он любезно улыбнулся Джерсону.— Совершенно верно, мы перехватили сырье. Мы этого и не отрицаем. Сэр Басси все проделал мастерски. Но мы скупали не для перепродажи. Было бы слишком обидно потратить его на химическое оружие, мы его используем по-другому. На свой лад.

В мистере Парэме на миг встрепенулось что-то от Верховного лорда. Он привычно повел рукой.

— Мне нужно это сырье,— произнес он.— Я его требую.

Сэр Басси выпятил нижнюю губу.

— На что оно вам? — спросил он.

— Чтобы спасти империю. Чтобы спасти весь мир от хаоса.

— Никакого хаоса не будет,— возразил сэр Басси.

— Что вы задумали? Куда вы метите? Вы что же, собираетесь сидеть тут, и торговаться с нами, и сбывать свой краденый товар втридорога?

— Скупленный — да, но не краденый,— поправил сэр Басси.

— А дальше что?

— Мы возьмем власть в свои руки,— сказал сэр Басси.

— *Вы!* Кучка инженеров и банкиров, кучка негодяев!

— Да простит мне сэр Басси, но *мы* не намерены брать власть,— вмешался Кемелфорд.— Она уже в других руках. И в этом деле, в деле созидания, а не разрушения, участвует куда больше народу, чем можете вообразить вы или Джерсон.

Мистер Парэм огляделся по сторонам и увидел гладкие закругленные стены, гигантскую стеклянную реторту и далеко напротив — безмолвных людей в белом. Их было уже не двое, а шестеро, и все они молча следили за происходящим. Необыкновенно тихо, и просторно, и чисто, и... уж очень странно. Все это бесконечно далеко от войны. И от правительства. И от промышленности. Такого еще не бывало в истории. Надвигается что-то новое, невиданное. А рядом стоит Джерсон. Он-то в точности похож на всех героев его несбывшихся надежд. Этот коренастый человечек в грязноватом мундире цвета хаки и всегда-то был не слишком привлекателен, а сейчас, по контрасту с этими в белом, казался особенно грубым и низменным. Оттого что он ползал в темноте по камням и рытвинам, в диких местах, куда никто и не заглядывал, кроме разве кроликов да случайной козы, он, всегда не слишком опрятный, выглядел еще неряшливей; от природы он был на редкость крепок и здоров и сейчас оброс черной щетиной — сразу видно было, что он уже дня три не брился.

Мистер Парэм, который всегда очень заботился о своей внешности и костюме, ощутил глубокую неприязнь к здоровяку Джерсону. Тот выглядел настоящим скотом,— казалось, он готов кидаться на все и на всех и рвать глотки, точно попавший в засаду дикий кабан. В нем было куда больше от зверя, чем от человека. И, однако, при всей своей свирепости он, бесспорно, отличался непоколебимой верностью, на какую способны лишь великие герои, у него было жестокое, непреклонное, навеки преданное сердце. Бесспорно?

Мысль мистера Парэма вернулась к последнему изречению Кемелфорда и к этому странному месту, куда забрели они с Джерсоном. «Власть уже в других руках»? Не Джерсона, но чьих-то других? Как возник спор, из-за которого они теперь стоят лицом к лицу? Джерсон, разгоряченный и грязный, против чего-то другого? Что-то другое — не та группа людей и не эта. Не нация и

не империя. Не Америка и не Европа. Нечто вроде излучения, испускаемого освобожденным и выпущенным на волю разумом человечества.

В манере держаться, в проблесках решительности мистера Парэма еще давал о себе знать Владыка Дух, но это была только маска; мистеру Парэму казалось, что самый разум его лежит нагой и беззащитный, открытый ударам этих неожиданных врагов, проповедников новой, непонятной ереси.

— К чему вы стремитесь? — спросил он.— Чего вы добиваетесь? Мои мысли и принципы по-прежнему разделяет весь род людской. Они движут историей. Они та сила, что создала цивилизацию наших дней. Верность традициям. Дисциплина. Повиновение. А что провозглашаете вы? Для чего вы подняли из вод дно морское и построили все это?

— Мы не поднимали дно морское,— сказал Кемелфорд.— Мы ничего тут не строили. А цель нашу мы познáем, когда ее достигнем.

— Какого же черта...— начал Джерсон.

— Эта лаборатория возникла сама собой, никто в отдельности не задумывал ее заранее. Никто не предвидел. Она возникла сама собою. Как возникают все великие изобретения. Их создают не отдельные люди, но человеческий разум. Этот край — сокровищница неведомых минералов — лежал под водами моря и только ждал, чтобы кто-нибудь выполнил все, без чего невозможно было поднять его на поверхность. А наши заводы и газ, который мы тут производим, могли появиться лишь при определенных условиях. Мы, ученые и предприниматели, каждый в отдельности соблюдаем только одно самое главное условие — нельзя сковывать развитие человеческого разума. Теперь, когда все это уже создано, мы стараемся понять, что надо делать дальше.

— Уф! — вырвалось у Джерсона.

— Прежний образ жизни человечества уходит в прошлое. С терпением, которое воспитала в нас наука, мы наблюдаем за появлением нового. Век войн и завоеваний миновал. С войной покончено, но вместе с нею миновало безвозвратно еще очень многое, без чего прежде жизнь казалась немыслимой. Годы угнетения подходят

к концу. Патриоты, воины и владыки, флаги и нации должны быть раз и навсегда сданы в архив. Государствам и империям конец. Верность и преданность этим дряхлым святыням должны умереть. Они больше не нужны людям. Теперь они только нелепы и опасны. Как это сказал тогда сэр Басси? Рассуждения кролика, который жил при королеве Елизавете. Поскорее захлопните книгу национальной вражды, войн и завоеваний и передайте ее для изучения психологам. Мы труженики нового рассвета. Мы не принадлежим ни к какой нации. Не связаны никакими традициями. Мы смотрим вперед, а не назад. Мы поняли, что такое воля и разум, мы сообща ими владеем и им повинуемся. Такие, как мы, должны будут навести порядок в мире, сделать его полем деятельности тех творческих сил, которые нами движут, для которых мы сосуд и орудие.

— Но ведь вы тут делаете газ! — сказал мистер Парэм.— Это ваше варево — опасный, ядовитый газ! Как же так?

— Этот процесс тоже необходим! Если эта реторта треснет и в нее проникнет воздух... что ж, где-нибудь в другом месте все начнется сызнова. Здесь все будет кончено. То, что вы видите в этой реторте,— лишь звено в длинной цепи сложных процессов. Прежде чем продукт наших трудов будет готов к употреблению, он должен пройти разные стадии, он бывает едким и разрушительным. Он разъедает и разрушает на каких-то стадиях — это неизбежно. Но бывают ли большие начинания без риска и опасности? Зато, когда мы доведем дело до конца, наш газ уже не будет ядовитым. Мы добудем тончайшее вещество, которое, проникая в кровь, нервы и мозг человека, впервые, как никогда, очистит его разум. Человеческий мозг, все еще обремененный, задавленный грудами старого хлама, отравленный, смятый и искалеченный, благодаря этому новому веществу избавится от всего, что связывает его и мешает взлететь и расправить крылья во всю их мощь. А тогда возникнет новый мир, ничуть не похожий на тот, к которому привыкли вы. Мир, какой вам и не снится. Вы не в состоянии вообразить и десятой доли того, что способен создать раскрепощенный человеческий мозг. Все жалкие ценности прошлого будут отброшены и забыты. Ваши

царства и империи, ваша мораль и ваше право — все, что кажется вам столь прекрасным и возвышенным, геройство и жертвы на поле брани, мечты о господстве, вся эта ваша романтика, преданность слуг, покорность женщин, привычка лгать детям, все хитросплетения и непроходимый вздор вашего старого мира — все это будет смыто с человеческого разума. Мы здесь готовим новую нравственность и новое мужество. Вместо того чтобы вечно подозревать и убивать друг друга, соперничать друг с другом, порабощать и пожирать друг друга, мы создадим мир равных, где все будут трудиться сообща, руководствуясь познанной действительностью, стремясь к целям столь высоким, что вы их и вообразить не можете...

— Да это голос самого Сатаны! — прервал мистер Парэм.— Это смертный грех — гордыня — бросает вызов небесам. Начинается новое вавилонское столпотворение.

— Нет,— возразил Кемелфорд, и мистеру Парэму почудилось, что собеседник растет и раздается вширь и голос его доносится откуда-то с высоты.— Это способ вырваться из плена нашего «я». Это путь к новому. Если вы и дальше будете цепляться за ваши традиции, историю, как ее понимаете вы,— с теми новыми силами и возможностями, какие мы, ученые и промышленники, вкладываем вам в руки, конец может быть только один — катастрофа.

Это слово гулко отдалось в мозгу мистера Парэма. И вдруг его внимание привлек Джерсон. Здоровый глаз генерала, расширенный и неподвижный, был устремлен на Кемелфорда, губы стиснуты, вся его бульдожья физиономия выражала неудержимое бешенство. Он побагровел. Он стоял неподвижно, точно окаменел, и только медленно, едва заметно двигалась правая рука. Вот она нащупала револьвер, стиснула его и потянула из кобуры.

Противоречивые мысли бушевали в голове мистера Парэма. Речи Кемелфорда были глубоко враждебны и отвратительны ему, но он вовсе не хотел их прерывать, он хотел дать Кемелфорду выговориться; и уж никак не хотел он, чтобы разговор прервал Джерсон на свой, чисто джерсоновский лад.

И вообще, что здесь делает Джерсон? Его сюда не приглашали. Но разве они в гостях? Это ведь не званый обед. Это спиритический сеанс. Да нет же! Что такое? Где мы? В Кэйме?

В душе мистера Парэма, теперь объятой страхом, рассудок боролся с чувством. Нет, пока еще ни в коем случае он не желает такой развязки. Он слабо шевельнул рукой, словно хотел помешать Джерсону.

И тут Джерсон выхватил оружие.

— Не путайтесь,— бросил он Парэму и крикнул Кемелфорду: — Руки вверх!

Кемелфорд словно не понимал, какая опасность ему грозит.

— Уберите-ка эту штуку,— сказал он.— Дайте сюда. Вы что-нибудь разобьете.

Протянув руку, он шагнул к Джерсону.

— Назад! — приказал Джерсон.— Я вам покажу, пришел ли всему конец. Это только начало. Настоящий Верховный лорд — это я. Действовать только силой и расстреливать на месте. Думаете, вы мне нужны с вашим газом? Катастрофа! Плевал я на ваши катастрофы! Вечно вы ими грозите, и никогда их не бывает... Руки вверх, говорят вам! Руки вверх, старый дурак, черт бы тебя побрал! Стой!!!

Он выстрелил. И тотчас, перед самым носом мистера Парэма, синеватое дуло нацелилось на сэра Басси.

Тщетно. Пуля Джерсона ударилась о стальную дверь, которая захлопнулась за этим неуловимым человечком. В мистере Парэме всколыхнулся гнев, эти двое своим вечным упрямым непокорством выводили его из себя. Ему все еще хотелось дослушать Кемелфорда. Да, что же Кемелфорд? Но Кемелфорд, шатаясь, едва держась на ногах, схватился рукой за горло.

И тут, как он и предсказывал, разразилась катастрофа.

Что-то треснуло, разлетелись осколки стекла. Кемелфорд, падая, проломил огромную реторту, увлек с собою прозрачный, разлетающийся вдребезги треугольник, расплескал кипящую жидкость и теперь лежал под толстым слоем ее, судорожно корчась на изогнутом дне реторты. Все вокруг наполнилось струящимися испарениями,— смешиваясь с воздухом, они окрашивались в зеленый

цвет и становились видимыми. Они кружились, завивались спиралью. Они вращались все быстрей и быстрей.

Джерсон направил револьвер на Парэма.

— И ты еще! Туда же, кричит про войну! А у самого куриные мозги и храбрости, как у зайца! Сгинь, пропади!

И замер с открытым ртом. Выстрела не последовало.

Но теперь все понеслось в вихре. Последняя искра сознания озарила конец событий. Купол над головами разверзся, словно его разорвала чья-то могучая рука, и между двумя половинками крыши засияло яркое утреннее солнце. Ураган звуков обрушился на барабанные перепонки мистера Парэма. Взрывом неимоверной силы, который, казалось, длился уже несколько мгновений, его подхватило, со страшной скоростью метнуло назад и вверх, мимо пронесся Джерсон, вдруг ставший совсем плоским и кроваво-красным; на лету он как-то вытягивался и наконец обратился в длинную тонкую нитку, наполовину красную, наполовину цвета хаки — так он пересек небосвод и исчез из виду, а за ним, нелепо кувыркаясь в воздухе, летел его револьвер...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОСМЕРТНАЯ

Мир ослепительно вспыхнул и исчез.

«Гибель!» — искрой мелькнуло в распадающемся мозгу мистера Парэма. Тьма должна была бы поглотить эту летучую искру, но нет, за нею вспыхивали другие — крупнее, ярче. Иная жизнь или гибель? Иная жизнь или гибель?

Не без удивления мистер Парэм понял, что все еще существует. Он все еще нечто такое, что чувствует и мыслит. И он где-то...

В раю или в аду? В раю или в аду?

Наверно, в аду, конечно, в аду, ибо тут звучит голос сэра Тайтуса Ноулза, если только можно назвать голосом это хриплое, злобное рычание. Точь-в-точь голос Джерсона. Попасть в ад, да еще в обществе сэра Тай-

туса! Но ведь ад должен быть насквозь прокопчен, а тут все так и сверкает...

Наконец он разобрал слова сэра Тайтуса.

— Попался! — вопил тот.— Попался! Вот она, эманация! Вот он, лик высокого гостя! Размалеванный бычий пузырь — я же говорил! Ловкий малый, но меня не проведешь! Притворяйся мертвым сколько угодно, но твоя карта бита, так и знай.

То была комната на верхнем этаже Карфекс-хауса, и на полу, точно груда тряпья, валялся Карнак Уильямс. Хируорд Джексон пытался оттащить Ноулза, который рвался пнуть ногой неподвижное тело.

Мистер Парэм, шатаясь, поднялся со своего кресла и увидел, что с соседнего кресла тяжело поднимается сэр Басси, весь красный, словно его только что неожиданно разбудили.

— Что за черт? — спросил сэр Басси.

— Не понимаю,— ответил мистер Парэм.

— Разоблачение! — с торжеством выпалил сэр Тайтус и опять занес было для пинка ногу.

— Но при этом гнусное разоблачение,— сказал Хируорд Джексон и оттолкнул сэра Тайтуса от его обессиленной жертвы.— Оставьте в покое этого беднягу!

— Руки прочь! — закричал сэр Тайтус.

Появился слуга и почтительно встал между сэром Тайтусом и Хируордом Джексоном. Другой пришел на помощь Карнаку Уильямсу.

И поднялся крик, как на базаре...

— Поди ты! — сказал сэр Басси, когда все было кончено.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

— Я пойду пешком до «Клериджа»,— сказал сэр Басси.— После такой чепухи надо проветриться. Вам не по пути со мной?

— Да, мне на улицу Понтингейл.

— Пойдемте в «Клеридж». Мои племянницы там сегодня танцуют вовсю... Тошнит меня от этой эманации... Больше я привидениями не занимаюсь, баста.

— Я всегда хотел держаться от этого подальше,— напомнил мистер Парэм.

Некоторое время они молча шагали рядом, и каждый думал о своем. Сэр Басси, видно, до чего-то додумался, ибо вдруг изрек свое «поди ты», словно точку поставил.

— Вы не спали во время сеанса, Парэм?

— Спал. Мне стало скучно. И я уснул.

— Я тоже,— в раздумье промолвил сэр Басси.— На этих сеансах клонит ко сну... и видишь сны. В этом вся штука.

Мистер Парэм в испуге посмотрел на него. И ему тоже что-то приснилось? Что же?

— Мне приснилось все, о чем на днях говорили эти самые Кемелфорд и Хэмп.

— Удивительно,— сказал мистер Парэм, но никакие слова не способны были выразить, как он удивлен. Неужели им привиделся один и тот же сон?

— Мне снилось, будто все, о чем они там толковали, вроде как происходит на самом деле.

Поистине, этот человек не умел выражать свои мысли!

— Мы с вами были в разных лагерях,— добавил он.— На ножах, как говорится.

— Не может быть.

— Шла война. Поди ты! Просто не расскажешь. Ужас какая война! Как будто прорвало паровой котел, а ты стараешься его заткнуть.

Сэр Басси предоставил собеседнику самому дорисовать эту картину. И мистеру Парэму это было совсем не трудно.

— Я скупил все химикалии,— продолжал сэр Басси.— Мы с Кемелфордом. Мы их придерживали. Делали что могли. Но под конец наш сумасшедший мир все-таки сорвался с цепи... и все разлетелось вдребезги. Был там один вояка, этакая мерзкая жаба. Бац!

— И вы проснулись!

— И я проснулся.

Тут мысль сэра Басси метнулась в сторону.

— Мы, люди со средствами... воротилы... ставили не на ту лошадь. Мы всегда боялись большевистского пугала и всего нового. А ведь, черт подери, старое-то куда опаснее, из-за него все может пойти прахом. Мы и сами люди новые. Как там сказал Христос? Не лейте новое вино в старые мехи... Новое прибывает и переливается через край. Его не удержать в старых рамках... Хотел бы я вам описать, что мне приснилось. Необыкновенный сон. И вы там все время были... И Кемелфорд... Хэмп был американским послом. Прямо чертовщина какая-то...

Да, это становилось все удивительнее. Но нет... это не был тот же сон... может быть, похожий. Невозможно, чтобы это был один и тот же сон...

Сон, даже самый длинный, на самом деле неправдоподобно краток. Он мог длиться секунду. Щелканье выключателей, когда сэр Тайтус зажег свет, глухие удары и крик, когда он пинал ногами медиума, без сомнения, превратились в пробуждающемся сознании обоих в орудийные залпы и вспышки, в грозные картины войны. А все прочее возникло из их подсознательной скрытой вражды.

— Если мы недоглядим,— продолжал сэр Басси с глубоким убеждением,— эти ваши извечные устои... и всякая прочая рухлядь, которую пора перетряхнуть и выбросить... погубят человечество... вроде сумасшедшей старухи, которая возьмет да и зарежет младенца... Министерства иностранных дел, военные министерства, суверенитет и прочее месиво. Гнусное месиво. Кровавое. Теперь мне все это ясно как день. Так дальше продолжаться не может. Все это надо сдать в архив, выбросить на свалку. Прежде я этого не понимал. Надо что-то делать, и поскорей. Поскорей, черт возьми. Пока опять не заварилась каша. Именно нам, новым людям. Мы набивали себе карманы и ни о чем больше не заботились... Но покупать, и продавать, и сливать, и монополизировать — этого еще мало. Иметь власть и не пользоваться ею толком — что может быть хуже... Все, что мне привиделось, вполне могло случиться наяву.

Мистер Парэм ждал, что будет дальше. Совпадение, конечно, поразительное, а все-таки не может быть, чтобы ими завладел один и тот же кошмар.

— А вам случайно не приснился такой... лорд... лорд-протектор? — спросил он.

— Нет,— ответил сэр Басси.— Просто безмозглое патриотическое имперское правительство и война. Хотя нет, что-то такое было... вроде диктатуры. Лейбористов прогнали. Во главе стоял как будто Эмери. Этакий гордый Эмери. Эмери — высший сорт... понимаете, что я хочу сказать? Сам-то по себе он не много значил. Он только представлял все эти старые взгляды и убеждения.

— А я? — слегка задыхаясь, спросил мистер Парэм.

— Вы были на стороне правительства, и мы с вами спорили. Вы были за войну. Во сне как-то так получалось, что мы с вами все время сталкивались и спорили. Даже не похоже на сон. Вы были каким-то чиновником. Мы спорили без конца. Даже когда рвались бомбы и меня чуть было не расстреляли.

Мистер Парэм почувствовал некоторое облегчение. Не полное, но все-таки ему полегчало. Да, конечно, они оба видели сон, похожий сон, явно похожий сон. Такова уж особенность спиритических сеансов, что людям снятся похожие сны; но ему и сэру Басси приснился не один и тот же сон. Не совсем тот же. Им привиделась война, мысль о возможности которой преследовала обоих, но каждый увидел ее на свой лад, у каждого она преломилась по-своему. Только и всего. Короткое и трагическое (и, пожалуй, чуточку нелепое) царствование мистера Парэма в образе Верховного лорда навсегда останется его тайной.

Но что там говорит сэр Басси?

Он рассказывал еще что-то про свой сон, а мистер Парэм прослушал.

— Мы должны открыть людям глаза на то, что делается в мире, да поскорей. Иначе все полетит к чертям... Через школы ничего не сделаешь... Подходящих учителей не подберешь. Университеты отгородились от нас. Да, отгородились. Надо вырвать молодежь из рук тупых и самодовольных педантов и объяснять ей, объяснять, пока не поймет. Направить бьющую ключом энергию мира. Дать людям новые идеи, новое поле деятельности. Путь к новому лежит через книги, газеты,

через печать и устное слово... «Света, больше света»[1], как сказал старик Готик.

Видимо, он имеет в виду Гёте?!

— Я возьмусь за печать, Парэм, так и знайте. Вы мне часто это советовали, так я и сделаю. Надо сказать, вы кое-что смыслите. Дело идет к войне, но ее можно предотвратить, только если подтолкнуть мир в другую сторону, да покрепче. Изо всех сил. Навалиться сообща. Покрепче подтолкнуть к новой жизни! Издавать большую воскресную газету... по воскресеньям есть время читать... рассказывать людям о науке, о новом мире, который хочет родиться на свет. Кемелфорд, что ли, говорил о родах нового мира,— объяснять, что это за мир и к чему он... или тот малый из Женевы?..— И предупредить их, что старуха все еще ворчит и точит ножи... большую, влиятельную газету.

При этих словах мистера Парэма охватило странное, безотчетное волнение, даже мурашки пошли по телу. Враждебное чувство к сэру Басси как рукой сняло. Давно лелеемые и долго подавляемые надежды вспыхнули с такой силой, что ему изменил здравый смысл. Ему предлагают возглавить газету — только так он и мог это понять. Сэр Басси предложил это совсем не так, как можно было бы ждать, и смотрел как-то странно, скосив глаз, а все-таки он это предложил. Итак, газета будет. Своя газета. Наконец-то. Пожалуй, он изберет направление, несколько отличное от того, что было ему по душе до странного сна, этот сон многое перевернул в нём, а пробуждение — и того больше. И, как бы то ни было, у него будет газета!

— Может быть, лучше издавать субботний еженедельник? — спросил он; голос звучал напряженно и плохо ему повиновался.— Круг читателей, возможно, сузится, зато влияние газеты будет гораздо сильнее.

— Нет, я хочу, чтобы она доходила до самой широкой публики в сотнях тысяч экземпляров, я хочу идти по пятам за всеми этими умниками. Их никто не слушает. А я не побоюсь ни картинок, ни грубой шумихи, и я буду

---

[1] Предсмертные слова Гёте.

вдалбливать людям одно и то же, неделю за неделей. Я буду твердить им, что все эти ваши фокусы безнадежно устарели и исчерпали себя, и теперь они только опасны и вредны, черт подери!

«Ваши фокусы безнадежно устарели?» — мистера Парэма обдало холодом. Но бедняга отчаянно цеплялся за свою последнюю надежду. Долгих шесть лет он лелеял ее.

— Не знаю, справлюсь ли я с этим,— сказал он.— Я ведь не Гарвин [1], знаете. Не уверен, что можно быть одновременно и плодовитым и изысканным.

Сэр Басси круто остановился и несколько секунд, скривив рот, с удивлением разглядывал своего спутника.

— Поди ты! — сказал он наконец.— А я про вас и не думал.

Мистер Парэм сильно побледнел. Случилось невероятное. Его сознание отказывалось с этим мириться.

— Но газета! — с усилием вымолвил он.

— Мне придется подобрать для нее настоящих людей,— медленно сказал сэр Басси.— Она будет направлена против вас, против всего, за что вы стоите, черт возьми.

С явным изумлением он в упор смотрел на мистера Парэма. Казалось, он впервые что-то понял. Они были знакомы целых шесть лет, и ни разу ему не приходило в голову, что для любой газеты или журнала не найти лучшего издателя, чем мистер Парэм! Он, этот безграмотный выходец из лондонских трущоб, собирался — да, да, всерьез собирался — сам руководить своей газетой! Сон придал этому сумасброду самоуверенности. Какой-то нелепый, невероятный сон, навеянный тягостной, напряженной обстановкой спиритического сеанса. Чертов сеанс! Будь он тысячу раз проклят! Из-за него все пошло вкривь и вкось. Все рассыпалось в прах. Это был какой-то чан для брожения мыслей. Из томительной скуки этого сеанса и возникли, точно под гипнозом, все эти откровения. Он ослабил сдерживаю-

---

[1] Гарвин, Джеймс Льюис (1868—1947) — известный английский журналист. Более тридцати лет был редактором газеты «Обсервер». Защищал позиции консерваторов.

щие центры, которые управляли умами мистера Парэма и сэра Басси и помогали соблюдать приличия, обнажил то, что ни в коем случае не должно было выплескиваться наружу. Он показал, куда уходит корнями воображение обоих. Обнаружил непримиримые противоречия. Какое верное, безошибочное чутье подсказывало мистеру Парэму всячески избегать этих темных комнат и безрассудных надежд, которые неминуемо пробуждаются в условиях спиритического сеанса!

Будет газета, большая газета, деньги на нее даст сэр Басси. И во главе станет не он! Это будет газета, направленная против него!

Шесть лет потрачены зря! А сколько пришлось вытерпеть обид! Унижений! А гнев, не нашедший выхода! А счета портного!

Никогда в жизни мистеру Парэму не случалось вопить, но тут он едва сдержал истерический вопль. Он сунул пальцы за воротник, как будто его душило, и не мог вымолвить ни слова. Что-то сломалось в его душе. Это рухнула надежда, что помогала ему шесть долгих лет гнаться за сэром Басси по крутым и извилистым тропам, через страны и материки.

Они остановились на углу улицы Понтингейл. Мистер Парэм немо, в упор, гневным взглядом уставился на сэра Басси. Поистине с этой минуты их пути расходились в разные стороны.

— Погодите,— сказал сэр Басси.— Еще и двенадцати нет. Пойдем посмотрим, может, мои племянницы уже подпалили «Клеридж». Там, наверно, собралась вся компания — шлюхи и герцогини... Гэби... все на свете.

Впервые за годы их знакомства мистер Парэм отклонил приглашение.

— Нет,— решительно произнес он, вновь обретя дар речи.

Сэр Басси не умел спокойно мириться с отказом.

— Ну-ну, идемте! — настаивал он.

Мистер Парэм покачал головой. Его переполняла ненависть к этому изворотливому и пошлому негодяю, к этому коварному и неукротимому врагу. Быть может, ненависть глянула из его глаз. Быть может, взгляд его выдал, что в душе преподавателя колледжа сидит демон.

Пожалуй, впервые за все время сэр Басси понял, какие чувства питает к нему мистер Парэм.

Двадцать секунд длилось это жестокое откровение, двадцать секунд они глядели друг другу в глаза; потом к мистеру Парэму вернулось благоразумие, и он поспешил занавесить зеркало своей души. Но сэр Басси не повторил приглашения зайти в «Клеридж».

— Поди ты! — сказал он и повернул на Беркли-сквер. Он даже не простился.

Никогда еще мистер Парэм не слышал в этом «поди ты» такой насмешки и отчужденности. На это «поди ты» совершенно нечего было ответить. Этим «поди ты» на нем ставили крест.

Наверно, целую минуту он стоял не шевелясь и смотрел вслед удалявшемуся сэру Басси. Потом медленно, почти покорно, направился к своему жилищу на улице Понтингейл.

Ему казалось, что сама жизнь отвернулась от него. Не только сэр Басси ушел от него, унося самые дорогие его сердцу чаяния,— казалось, собственное «я» тоже его покинуло. Недавний лорд-протектор был теперь всего лишь пустой оболочкой, выпотрошенным ничтожеством, тоскующим по утраченной вере в себя.

Неужели у него нет будущего? Быть может, в один прекрасный день, когда помрет старик Уотерхем — если только эта старая вобла когда-нибудь умрет,— он станет директором колледжа Сен-Симона. Только это и остается ему. Да еще возможность презрительно улыбаться. Улыбка будет кисловатой.

Мысль его медлила и колебалась, не зная, на чем остановиться, потом с трепетной решимостью стрелка компаса повернула к сумеречному уюту и задушевной близости, к беспредельному пониманию и сочувствию, воплощенному в маленькой миссис Пеншо. Она поймет его. Она поймет. Даже если все, из чего складывалась для него история, пойдет на свалку, даже если взамен в мире станет править новая самозванная история, которая не признает властителей и держав, великих людей и политики и вся построена на биологии, экономике и тому подобных новшествах. Он знал, что она поймет все, что можно понять, и увидит все —

что бы это ни было — в нужном свете, и это будет ему помощью и поддержкой.

Правда, главные доказательства ее преданности и понимания он обрел во сне, но в каждом сне есть доля откровения, доля добра — в каждом несчастье.

Хорошо, что у него записан номер ее телефона...

И вот устало повернувшись к нам спиной, сдвинув шляпу на затылок, наш низвергнутый публицист удаляется по улице Понтингейл, удаляется со всем своим тщеславием, с богатой эрудицией, с милыми его сердцу нелепыми обобщениями, с идеями о нациях, воплощенных в отдельных великих людях, и прочим давно устаревшим мусором кабинетной политической премудрости, который бессмыслен и жалок по сути своей, но способен повлечь за собою неисчислимые беды... и автор, который под конец стал питать к нему странную, ничем не оправданную нежность, волей-неволей вынужден с ним распроститься.

1930

Чудотворец

Сценарий Герберта Джорджа Уэллса
по мотивам одноименного рассказа

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Это сценарий фантастической комедии. Она обрамлена короткими Прологом и Эпилогом, которые помогут вскрыть ее подлинный смысл. Джордж Макрайтер Фотэрингей — абсолютно реальная личность, живой человек; от начала и до конца он остается *самим собой*. Все действующие лица — отнюдь не символы, но ярко выраженные характеры. Их надо *суметь сыграть*. Пролог и Эпилог служат для того, чтобы при создании фильма избежать вторжения (которое оказалось бы роковым) расслабляющего «символизма» в декорации, грим, костюмы, музыку, диалог — словом, в любой из компонентов фильма. Все должно быть совершенно как в жизни, все «подлинно», правдиво, вплоть до последних кадров мировой катастрофы. А Обрамление, напротив, должно с помощью музыки и операторского искусства получиться поистине грандиозным. Если, предположим, Обрамление снять, в сценарии останется связный фантастический сюжет, но Оно необходимо, чтобы подчеркнуть глубину замысла и сделать фильм «*Чудотворец*» равным по достоинству «*Облику грядущего*».

Заметьте, что сценарий завершает именно Фотэрингей, а не Эпилог. Фотэрингей — вот что главное. В противоположность «*Облику грядущего*» это фильм для больших актеров.

МУЗЫКА

Музыка в фильме должна звучать не прерываясь, то веселая, то гротескная, то бравурная и стремительная. Ведущие темы должны направлять интерес зрителя.

Например, Фотэрингея пусть сопровождает веселый, бойкий, но простой, легко запоминающийся мотив (с потенциальным пафосом). Иногда, в минуты душевных колебаний, он может насвистывать свой мотив сквозь зубы. Это придаст особую окраску его чудесам — невинную и комическую вначале, а по мере нарастания их размаха — зловещую, предостерегающую.

Музыка должна звучать и во время длинных красноречивых монологов чуть слышным аккомпанементом, словно за развитием действия следит целый оркестр невидимых духов и, увлеченный зрелищем, готов оглушить вас в самых драматических местах.

В Прологе пусть музыка сохраняет величественное спокойствие, его нарушит волнение, которое оборвется громовой тишиной, когда палец опустится на Фотэрингея.

Волнение в музыке еще не использовалось в кино с подобной целью — подчеркнуть приближение кульминации. Надо проверить это на нашем фильме.

ЧУДОТВОРЕЦ

Сценарий

ЧАСТЬ I

ИЗНАЧАЛЬНЫЕ СИЛЫ

Возвышенно-торжественная музыка.

Небо, усыпанное звездами, какое можно видеть ясной, морозной ночью в умеренном поясе. Вначале *расположение звезд непривычное*. Какие-то незнакомые туманности и два ярчайших созвездия из семи и одиннадцати самостоятельных светил. Звезды медленно плывут по экрану, и на их фоне проносятся Всадники. Затем в пункте, обозначенном буквой «А», появляются знакомые созвездия, однако несколько расплывчатые, искаженные, уменьшенные. В пункте, обозначенном буквой «Б», они располагаются в точности как мы привыкли их видеть — в зените Орион.

Два Всадника все явственнее проступают на фоне звезд. Это великолепные фигуры обнаженных мужчин на конях. Сперва они почти прозрачны, затем темнеют. Звезды ярко светят сквозь них; но вот Всадники делаются более плотными и четкими и наконец совсем затмевают собою звезды. Кажется, словно они не из плоти и крови, а из бронзы. Слышны их голоса, но кто именно говорит, разобрать трудно. Назовем первого Всадника Наблюдатель. Второго — Равнодушный. Третий пусть будет Игрок, или Дарующий Силу. На экране их имен нет. Они не так уж важны и приведены здесь лишь для удобства.

Наблюдатель. Наш брат Дарующий Силу все забавляется своей планетой. Вон он. *(Указывает.)*

Равнодушный. С той смешной планеткой, на которой обитают живые существа?

Он смотрит из-под руки, защищая глаза от яркого света звезд над головой.

Наблюдатель. Поглядим, что он там делает. Это пункт А.

Огромные силуэты двух Всадников устремляются вперед через весь экран, постепенно кони исчезают из поля зрения, и полупрозрачные фигуры Всадников, Наблюдателя и Равнодушного теперь видны лишь до пояса — по правую и по левую руку от центральной фигуры. Они останавливаются вполоборота к зрителю и смотрят на фигуру в центре. Это третье огромное, туманное видение имеет столь же прекрасный и героический облик. Поза его напоминает родэновского «Мыслителя», размышляющего над чем-то, что лежит у его ног. (Это пункт Б.) У ног его — солнечная система, сначала совсем крохотная. Постепенно она растет, и оба Всадника выходят за кадр, остаются лишь их голоса. Игрок еще здесь, виден смутно, но уже не прозрачен — под ногами у него и сквозь них, заполняя теперь почти весь экран, видна солнечная система и несколько ближайших звезд.

Равнодушный. Никак не можешь расстаться с этими жалкими тварями?

Игрок (*качая головой*). Это ты о людях?

Наблюдатель. Глупые, ничтожные создания. Копошатся, ползают. И зачем только они понадобились Создателю?

Игрок. Да, они малы и слабы. И все же я люблю их.

Равнодушный. Что от них проку? Раздави их.

Игрок (*помолчав*). Нет, я их люблю.

Наблюдатель. Глупости. Они омерзительны. Они подлы, жестоки и глупы. Тщеславны и жадны. Они давят, убивают, уничтожают друг друга.

Игрок. Они просто слабы.

Равнодушный. К счастью.

Игрок. Если бы они не были так слабы, то не вызывали бы жалости. Ведь их жизнь так коротка, а усилия так ничтожны...

Наблюдатель. Будь у них Сила, лучше бы от этого они не стали.

Игрок. Хочу это испытать — хочу дать им всю Силу, какая у меня есть.

Наблюдатель. Не делай этого. Ведь ты Дарую-

щий Силу. Ты можешь дать Силу беспредельную. Что будет, если эти жадные, безмозглые людишки, которые только и могут, что плодиться да пожирать друг друга, рассеются меж наших звезд?

Игрок. Увидим.

Наблюдатель. Ты собираешься дать Силу всем им сразу?

Игрок кивает и улыбается, глядя вниз на землю.

Наблюдатель. Неужели *беспредельную, всемогущую?*

Игрок. Сила, которую я могу дать, имеет предел. Так повелел Создатель... В каждой личности есть нечто неодолимое ни для какой Силы. Это святая святых, Душа, или иначе Индивидуальность, она подвластна лишь Создателю. Воля людей — в первооснове своей — свободна. Все остальное — их положение, их возможности — в моих руках...

Солнечная система постепенно растет и вытесняет с экрана Игрока, слышен только его голос. Три голоса звучат сверху, справа и слева. Теперь почти весь экран занимает солнечная система на фоне далеких звезд.

Наблюдатель. Посмотрим, чего стоят их Души!

Игрок. Освобожденная Воля Человека!

Наблюдатель. Расплодившиеся черви.

Равнодушный. Они осквернят звезды.

Наблюдатель. Не давай Силу всем сразу. Это будет подобно взрыву, испытай сначала нескольких. А лучше одного.

Игрок. Ничего не получится.

Наблюдатель. Испытай одного, и посмотрим, что у него за душой.

Равнодушный. Конечно. Испытай одного. Самого заурядного. Самого честного. Позволь ему делать, что он захочет. Дай ему Силу творить чудеса — любые чудеса.

Игрок *(задумавшись)*. И в самом деле. Что ж, посмотрим...

Солнечная система все это время приближается и растет. Вот уже различима Земля, она на переднем плане. Видны рядом три головы, серьезно рассматривающие планету.

Игрок. Любого человека. Все они так похожи друг на друга. Выберу наугад.

И он медленно нацеливается пальцем на Землю. Земля приближается на фоне звездного неба. Огромная рука касается указательным пальцем крохотной Земли.

ЧАСТЬ II

ДАР

Пока слышны голоса, музыка (музыка сфер) звучит совсем тихо. Но как только смолкают последние слова, она становится громче, взмывает или, скорее, низвергается тревожным, напряженным, протестующим потоком... Внезапно она замирает; наступает зловещая тишина, подобная затишью перед бурей.

Вслед за этим бьют девять часы на церкви.

Под звездным небом виден Дьюинтон, провинциальный английский городишко, слабо освещенный несколькими газовыми фонарями, светом из окон, дорожными сигналами и пр. Камера обшаривает его по всем направлениям и останавливается перед питейным заведением. На улице ни души, кроме мистера Джорджа Макрайтера Фотэрингея, который не спеша приближается к кабачку. Это самый заурядный, бледный молодой человек, продавец из универсального магазина. В полной тишине на котелок мистера Фотэрингея падает черная тень, похожая по форме на палец. Мгновение она медлит, как будто через эту дрожащую, колеблющуюся тень проникает во тьме ток невидимой Силы. Потом тень исчезает. На мистера Фотэрингея, судя по всему, это никак не подействовало, он даже ничего не почувствовал. Остановившись перед дверью, он поправляет шляпу, перекладывает в другую руку трость и входит. Из раскрытой двери вырываются возбужденные голоса спорящих.

ЧАСТЬ III

ЧУДО ПЕРВОЕ

Кабачок «Длинный дракон» в Дьюинтоне. Кабачок, как и все кабачки в центре любого английского городка. Буфетная стойка. Единственное освещение — большая керосиновая лампа, свисающая с крюка в потолке.

У стойки, склонившись, мистер Фотэрингей. Напротив него здоровяк Тодди Бимиш, мелкий строительный подрядчик. За стойкой раздобревшая буфетчица мисс Мэйбридж, она перетирает бокалы. На заднем плане мистер Кокс, хозяин заведения, он без пиджака. Слева, за столиком, почти под самой лампой сидит велосипедист; сразу видно, что происходящий спор ему совершенно безразличен. Справа у столика — пожилой господин с собакой, он с явным неодобрением медленно покачивает головой. В кадре крупным планом спорящие.

Тодди Бимиш. Пожалуйста, мистер Фотэрингей, сами *вы* можете не верить в чудеса, а я верю. Я бы даже сказал, что тот, кто отвергает чудо, подрывает основы религии.

Пожилой господин одобрительно кивает.

Мисс Мэйбридж. Вы совершенно правы, мистер Бимиш, бывают чудеса и чудеса.

Фотэрингей. Конечно, мисс Мэйбридж. Вот и давайте уточним, что именно считать чудом. Кто-нибудь станет доказывать, что восход солнца каждый день — это тоже чудо.

Тодди Бимиш. Некоторые так и считают.

Фотэрингей. А я — нет. Я называю чудом то, что свершается по чьей-либо воле *вопреки* естественному ходу вещей,— то, что без этой воли никогда не свершилось бы.

Тодди Бимиш. Это *ваше* личное мнение.

Фотэрингей. Но надо же как-то определить, что такое чудо. *(Обращается к велосипедисту.)* А как *ваше* мнение, сэр?

Велосипедист вздрагивает, откашливается и молча выражает согласие.

Фотэрингей обращается к Коксу, хозяину.

Кокс. Нет, нет, меня от этого увольте.

Тодди Бимиш. Ладно, согласен. Вопреки естественному ходу вещей. Пусть так. Ну, а дальше что?

Фотэрингей *(продолжая развивать свою мысль)*. Пример. Вот вам чудо. Будет эта лампа, согласно естественному ходу вещей, продолжать гореть, если ее перевернуть вверх дном? Ведь нет, а, мистер Бимиш?

Тодди Бимиш. *Вы* сами и говорите «нет».

Фотэрингей. А вы? Ха! Не станете же вы утверждать обратное?

Тодди Бимиш. Нет. Не будет.

Фотэрингей. Прекрасно. Но вот является некто, ну хоть я, например, становится здесь, вот так же, как я, и говорит лампе, вот как я, собрав всю свою силу воли, и учтите, без всяких фокусов: «Перевернись вверх дном, приказываю тебе, но не падай и продолжай гореть...» Ух ты!

Лампа повинуется.

Крупным планом — изумленное лицо мистера Фотэрингея. Рука его все еще вытянута вперед. Рот разинут.

Все оцепенели от ужаса. Велосипедист, сидевший почти под самой лампой, осознает опасность и, согнувшись в три погибели, стремительно ретируется. Мисс Мэйбридж, которая в счастливом неведении продолжала наводить блеск на бокалы, оборачивается, видит чудо и вскрикивает. Потрясенный мистер Кокс восклицает: «Фу! Черт возьми!» Пес пожилого господина вскакивает и заливается лаем. До самого пожилого господина все происходящее доходит позднее.

Крупным планом мистер Фотэрингей, пот льет с него градом. «Нет, это невероятно,— шепчет он.— Мне ее не удержать. Сейчас упадет».

Лампа падает, разбивает каминную полку и гаснет. Но дело обходится без пожара. Лампа металлическая, и поэтому керосин не проливается. В кабачке темно, пока Кокс не приносит из задней комнаты другую лампу.

Кокс *(с угрожающим спокойствием)*. А теперь, мистер Фотэрингей, прежде чем я укажу вам на дверь, потрудитесь объяснить, что это за глупые шутки.

Велосипедист *(в крайнем возбуждении)*. Сроду не видал таких глупых шуток.

Тодди Бимиш. Зачем вам все это понадобилось?

Кокс. Чтобы духу вашего не было в этом доме! Прочь из «Длинного дракона», раз и навсегда!

Мисс Мэйбридж. Пусть сначала заплатит за две кружки пива, мистер Кокс.

Кокс. Да, да, и за ламповое стекло и за каминную полку.

Пожилой господин (*вдруг выпаливает*). Это у него проволока! Я знал одну девицу, которая проделывала такие же фокусы. Конченая была девица, ей-богу! Он это с помощью проволоки устроил.

Мистер Фотэрингей (*наконец снова обретая дар речи*). Послушайте, мистер Кокс, право, я меньше всех понимаю, что случилось с этой проклятой лампой. Я ее не трогал. *Клянусь вам*, не трогал!

Крупным планом — недоверчивые лица, обращенные к Фотэрингею.

Мистер Кокс (*неумолимо*). Слушайте, вы, мистер Фокусник, хватит с нас всей этой суетни. Лучше уходите сами, пока я вас не выставил...

ЧАСТЬ IV

ЧУДОТВОРЕЦ ОСОЗНАЕТ СВОЮ СИЛУ

Провинциальная улица, слабо освещенная газовыми фонарями. Мистер Фотэрингей возвращается домой; воротник у него разорван, галстук съехал набок. Под фонарем он останавливается. Крупным планом его лицо.

— Что же все-таки *произошло*? Загадочная история!

Он идет дальше. Под следующим фонарем опять останавливается.

— Что же *собственно* произошло, а?

Бедняга совершенно озадачен. Вот он у третьего фонаря. Он жестикулирует, вспоминая, как падала лампа.

Действие переносится в спальню мистера Фотэрингея. Жалкая комнатенка в дешевом меблированном доме освещена лишь свечой. Мистер Фотэрингей, уже без пиджака и жилета, снимает воротничок, затем галстук.

— Мистер Кокс совершенно напрасно вышел из себя.

Он тщательно изучает петлю на воротничке, потом с особой аккуратностью вешает воротничок и галстук на небольшое обшарпанное квадратное зеркало. Погружается в размышления.

— Я-то вовсе не хотел, чтобы эта проклятая лампа опрокидывалась.

В его сознание закрадывается подозрение. Губы его продолжают бесшумно шевелиться.

— Вот вам и чудо... Только я сказал: «Приказываю: перевернись вверх дном!» — и вот вам.

Внезапная мысль поражает его. Он долго и пристально смотрит на свечу, словно хочет что-то сказать, но не говорит. Поднимает руку, протягивает ее было к свече, потом роняет в нерешительности. Видно, что он боится собственного успеха. Наконец все-таки произносит:

— Приказываю тебе. Поднимись на фут.

Горящая свеча поднимается.

Фотэрингей. Спокойней, спокойней, головы не терять. Только не терять головы, Джордж Макрайтер Фотэрингей. Свеча не упадет, пока вы ей не разрешите. *(Он чуть ли не с мольбой глядит на свечу.)* Нет...

Фотэрингей. Ну-ка, прямо держись, не сажай противных сальных пятен, а то мы не оберемся неприятностей, теперь перевернись, живо!

Горящая свеча повинуется.

На лице Фотэрингея написано удовлетворение: он начинает осознавать свою власть.

— На место, на стол! — уже почти небрежно бросает он.

Свеча выполняет приказание.

Потрясенный Фотэрингей садится.

— Ба! Да это чудо! В самом деле чудо, без дураков. Если выступать с таким фокусом, можно кучу денег заработать!

Он размышляет: «Похоже, что я могу проделывать то же самое с любым предметом. Например, со столом. А ну-ка!»

Он жестикулирует и что-то бормочет. Стол поднимается.

Фотэрингей *(оглядывает стол)*. Переворачивать, пожалуй, рискованно. А ну вниз! *(Стол с грохотом опускается.)* Что теперь — кровать?

Бросает на кровать неуверенный взгляд.

— Великовата.

Но тут же обращается к кровати, сопровождая слова жестом — «Валяй, мол». Кровать поднимается.

Фотэрингей. Только не плюхайся сразу на пол, слышишь? Опускайся *потихоньку.*

Фотэрингей *(размышляет).* Их заставляет подниматься моя сила воли...

Он подходит к зеркалу, выпячивает подбородок, пристально вглядывается в свое отражение.

— Сила воли. Гипнотизм и всякое такое. А что, если теперь...

И он поднимается сам примерно на фут, но ему, очевидно, становится не по себе, и он опускается.

— Интересно, на что еще я способен?

Он вертит в руках колпачок, которым гасят свечи.

— А ну-ка, расти! Превратись в колпак, какие бывают у фокусников. Посмотрим.

Тут колпачок либо должен вырасти прямо на глазах, либо сразу превратиться в волшебный колпак в руках у Фотэрингея.

Фотэрингей. А теперь достанем из него что-нибудь. *(Он ставит волшебный колпак на стол и засучивает рукава, как это делают фокусники.)* Раз, два, три!

Но ничего не получается. Он повышает голос:

— Раз, два, три! Пусть под колпаком будет... котенок!

Он осторожно поднимает колпак и обращается к воображаемой публике:

— Пожалуйста, почтеннейшая публика, настоящий котенок!

Котенок озирается и прыгает со стола.

Фотэрингей. Стой! Кис-кис-кис!

Он бросается за котенком, но тот прячется под кровать.

Фотэрингей *(в замешательстве скребет в затылке).* Только бы не удрал. Ох, уж эти котята! Если он там что-нибудь натворит, мне житья не будет от матушки Уилкинс! Пойди сюда, кис-кис! Шалунишка. *(Он наклоняется и зовет.)* Кис-кис-кис! *(Лезет под кровать. Торчат одни его ноги.)* Иди сюда, тебе говорят. *(Слышно, как котенок шипит на него.)* Черт тебя возьми! Вот бесенок.

Он вылезает из-под кровати совершенно расстроенный и, стоя на коленях, внимательно разглядывает царапину на руке.

— Подушка для булавок, а не котенок!

Вдруг в голову ему приходит новая идея. Он ползет на четвереньках. Вытягивает руку вперед.

— А ну-ка ты, колючка! Превращайся в подушку для булавок. Ага, *попался!*

Он вытаскивает из-под кровати подушечку для булавок в форме котенка. С любопытством смотрит на нее, потом прячет под колпак.

— Сгинь! Раз, два, три!

Фотэрингей *(обращаясь к волшебному колпаку)*. А теперь и ты снова стань обыкновенным колпачком для свечи, и дело с концом. Вот так.

Фотэрингей *(в раздумье лижет царапину)*. Надо быть осторожней. *(Новая мысль.)* А ну-ка, царапины, заживайте!

Фотэрингей. Ба! Так, пожалуй, вся ночь пройдет с этими чудесами.

Часы бьют одиннадцать.

Фотэрингей. Пора спать, Джордж Макрайтер, спать пора.

Он садится на кровать и начинает расшнуровывать башмак.

Фотэрингей. Ничего подобного со мной не бывало.

Следующий кадр — та же спальня. Фотэрингей уже в постели. Свеча догорела до подсвечника. На кровати несколько кроликов, букеты цветов, трость, множество пар часов, два фарфоровых котенка. Сам Фотэрингей, не веря своим глазам, объедает гроздь винограда (сотворенного с помощью чуда).

Часы на церкви бьют два.

— Скандал! Уже два часа, я просплю, опоздаю на работу. Куда же мне девать все это барахло? *Пусть сгинет* все, что я тут сотворил. *(Все исчезает.)* Бог мой! Свеча совсем сгорела. Ну и достанется мне утром от старой матушки Уилкинс.

Он дует на мигающую, совсем оплывшую свечу. Но она не гаснет, пока он не догадывается сказать:

— Потухни.

Тут же становится темно, только окно видно. Поскрипывает кровать.

ЧАСТЬ V

МИСТЕР ФОТЭРИНГЕЙ В ЗАМЕШАТЕЛЬСТВЕ

Звонит будильник. Церковные часы бьют семь. Звучит бодрая музыка.

Фотэрингей просыпается. Потягивается. Протирает глаза. Садится на кровати.

— Все это мне приснилось.

Недоумевает. Почесывает щеку.

Делает рукой магический жест. Шевелит губами.

На одеяло выскакивает зайчик и тут же исчезает.

— Вот те на! Значит, *правда*.

Принимает решение.

— Хватит чудес, во всяком случае, на сегодня. *Хватит*. Надо все обдумать... Куда это годится? Не успеешь с мыслями собраться, а чудо раз-два и готово. Довольно, мистер Джордж Макрайтер Фотэрингей, если вы не поостережетесь, неприятностей не оберешься.

Фотэрингей за завтраком.

Яйцо оказывается тухлым. Он его нюхает, разглядывает с негодованием. Превращает в хорошее. Получает чудом еще два. Приходит в замешательство.

— А вдруг хозяйка пожелает узнать, откуда лишняя скорлупа? Куда бы ее деть? О господи, вот задача! *Есть!* А ну, скорлупа, превратись в мух и фьюить отсюда... Неплохо придумано, а?

Часы на церкви бьют восемь. Фотэрингей встает и уходит. Он все так же задумчив.

Магазин «Григсби и Блотт». В большой витрине Билл Стоукер, он украшает витрину. Это видный, красивый молодой человек, пожалуй, чуть фатоватый, но уж куда привлекательней Фотэрингея. В глубине, в дверях, ведущих в служебное помещение, стоит Эйде Прайс, молоденькая манекенщица, и разговаривает (слов не слышно) с Биллом Стоукером. Это высокая брюнетка в длинном, облегающем фигуру платье из примерочной. Держится она кокетливо. Стоукер наклоняется, словно хочет сказать ей что-то по секрету. На улице появляется Фотэрингей. В нем вспыхивает ревность. Они его замечают.

Тут же Эйде Прайс принимает вид недотроги. Обмен приветствиями. Фотэрингей входит в магазин.

Галантерейный отдел. За прилавком мисс Мэгги Хупер, весьма чувствительная блондинка с голубыми мечтательными глазами, одна рука у нее на перевязи. Ее помощница, веснушчатая Эффи Брикмэн, спрашивает:

— Мисс Хупер, как рука?

— Пока на перевязи и неподвижна, болит меньше. Для того и перевязь, чтобы не тревожить ее. Я сегодня что-то ужасно голодна, скорей бы завтрак.

Эффи. А мне совсем есть не хочется.

Мисс Хупер. Заболели?

Эффи. Нет, это из-за веснушек, я вся в веснушках. Выскочили еще две. Пудра не помогает. Ах, Мэгги, скоро я буду вся запудрена. А *он* этого терпеть не может. Да ладно, все равно теперь ничего не поделаешь. Кто это *там* крадется сюда из «Тканей»?

Мисс Хупер. Ничего, я окажу ему холодный прием.

Эффи. Не выйдет у вас, я уверена.

Мисс Хупер. Выйти-то выйдет. Только я не хочу.

Эффи. Где двое, там третий лишний. Я пошла.

Мисс Хупер. Это не обязательно.

Эффи. Но желательно. Согласны?

Она исчезает, а за прилавком появляется мистер Фотэрингей. Вообще-то не в его привычках покидать свой отдел, но сейчас мертвое время перед наплывом вечерних покупателей.

Мисс Хупер. В последние дни вы что-то не часто заглядываете к нам, мистер Фотэрингей. Не новое ли увлечение в примерочной? Ну-ну, мы уже все знаем.

Фотэрингей (*с глупой улыбкой*). Нет, сердце мое в этом отделе, мисс Хупер.

— Неужели?

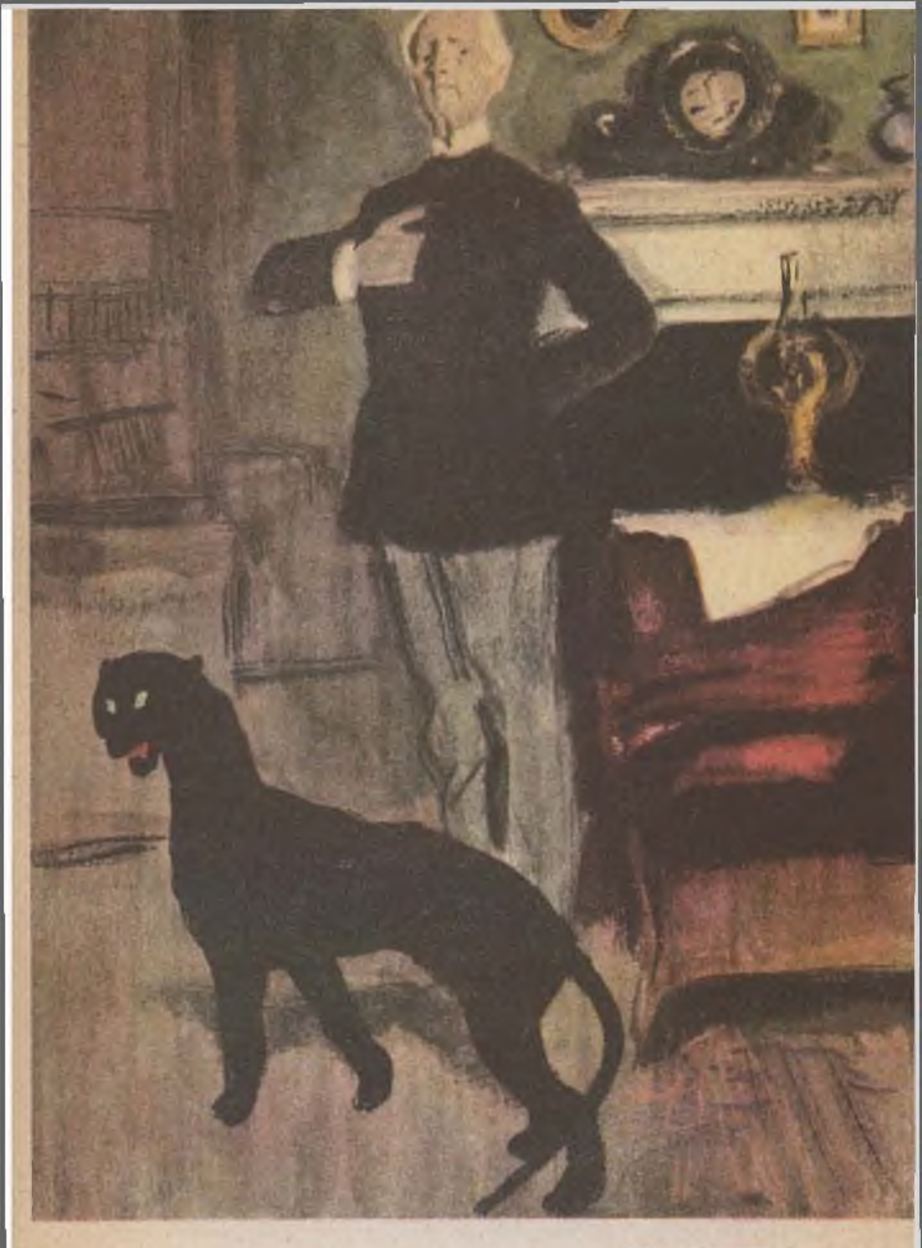
— Да, это так. Я весь день искал случая поговорить с вами. Вернее, все утро.

— Неужели?

— Серьезно, Мэгги! Со мной произошло что-то... что-то невероятное. До сих пор в себя не приду.

Мисс Хупер. Забыли получить деньги с покупателя или выиграли в лотерею?

Фотэрингей качает головой.



«ЧУДОТВОРЕЦ»



«ИГРОК В КРОКЕТ»

— Что-то невероятное... Влюбились, значит?
— Уже давно, и вы это сами знаете, мисс Хупер.
— Неужели?
— Да.
Оба лукавят.
— Говорят, вчера вечером вы хватили лишнего в «Длинном драконе» и разбили лампу. Может, вы об *этом?*
— Да, об *этом.* В некотором смысле. Понимаете, это так странно. Стоит мне чего-нибудь пожелать, и мое желание исполняется.
— Вроде как пророчество?
— Нет, не пророчество, а чудо.
— Да ну вас.
— Истинная правда, Мэгги. Хотите докажу? Смотрите!
Сотворяет букетик фиалок и протягивает ей.
— Да вы просто фокусник, мистер Фотэрингей. Ловкость рук, и все тут. Какие хорошенькие фиалки! Прелесть. Не то, что букетик за шесть пенсов. Чудесный фокус! Они словно из ничего возникли. Вот если бы на самом деле уметь творить чудеса. Представляете, что *можно* было бы тогда сделать?
— Что, например?
— Больного сделать здоровым.
— Об этом я как-то не думал. Впрочем... ведь я же *вылечил* царапины.
— У меня вот растяжение связок на руке. Я бы много дала, чтобы опять свободно ею действовать: брать и класть все на место.
Фотэрингей. Пожалуйста! *(Дотрагивается до ее руки.)* Исцелись. Поднимите ее!
Мэгги пробует поднять руку. Сначала она делает это с опаской.
— Мистер Фотэрингей, вы же настоящий исцелитель. У вас дар исцеления.
Фотэрингей. Я еще и не такое умею.
— Вы могли бы делать людям столько *добра!*
— Наверное. Впрочем, так я и намереваюсь.
Мисс Хупер свободно двигает рукой. Чудо несомненно.
— А теперь помогите Эффи! Она так убивается из-за

своих веснушек. Ее дружок терпеть не может веснушек, а у нее, как назло, вскакивают все новые. Ну...

— Я попробую.

Мисс Хупер (*зовет Эффи, та появляется*). Знаешь, мистер Фотэрингей умеет веснушки выводить. Правда, правда. Ну же, мистер Фотэрингей, давайте.

Фотэрингей. Пусть все веснушки исчезнут. (*И поспешно добавляет.*) И пусть у нее будет прекрасный цвет лица.

Превращение.

Мисс Хупер. Ах! Где зеркало?

Зеркало.

Эффи. Потрясающе! Как это у него получилось, не понимаю?

Фотэрингей. *Я и сам* не понимаю.

Звенит звонок.

— Второй смене обедать!

В кадре столовая магазина «Григсби и Блотт». Служащие обедают. Все за длинным столом, передают друг другу тарелки и прочее. Фотэрингей в центре, рядом с ним Мэгги Хупер, дальше мисс Эйде Прайс. Билл Стоукер сидит спиной к зрителю. Сбоку Эффи, у нее великолепный цвет лица. Тут же ученик и остальные. Во главе стола управляющая.

Фотэрингей (*говорит*). Не знаю, откуда это у меня. Просто я велю какому-нибудь предмету стать тем-то и тем-то, или сделать то-то и то-то, и все получается. Возможно, тут играет роль сила воли. До самого вчерашнего вечера я понятия не имел, что способен на такое...

Билл Стоукер. Это когда разбили в «Длинном драконе» лампу? Мы уж наслышаны.

Хозяйка. Только не вздумайте здесь чего-нибудь разбить, мистер Фотэрингей. Пожалуйста, никаких чудес *ни* здесь, *ни* в магазине. У нас магазин, а не Дом Чудес.

Мисс Хупер. Но руку-то он мне вылечил! А на Эффи поглядите!

Все в восторге от Эффи, которая любезно поворачивается к каждому по очереди лицом.

Хозяйка. Все равно это опасно. Майор Григсби ужасно сердится, когда что-нибудь разобьют. Право, не

знаю, что бы он сказал, если б мы тут начали кидаться лампами.

Фотэрингей. Будь я уверен, что этот дар у меня навсегда, ну и загулял бы я. Всю жизнь мечтал об этом.

Билл Стоукер. Вот чего я не стал бы делать.

Эйде. А что бы *вы* сделали, мистер Стоукер?

Билл Стоукер. Уж придумал бы что-нибудь получше.

Фотэрингей. А что?

Билл Стоукер. Вот вы то кроликов сотворите, то фиалки, то хороший цвет лица и тому подобное. Вы словно дух природы, Фотэрингей. Но ведь все это—детские игрушки. Почему бы вам не пожелать: «Пусть у меня в кармане окажется тысяча фунтов. Или, если уж на то пошло, пусть будет двадцать тысяч на счете в банке. И автомобиль... и большой особняк».

Хозяйка. Разве это честно?

Фотэрингей. Вероятно, всему есть предел. Хотя, слов нет, иметь такие деньги было бы очень кстати. Я еще об этом подумаю.

Мисс Хупер. Но не забывайте о своем даре исцеления.

Билл Стоукер. Да он мог бы создать чудо-больницу. Кто ему мешает? Мог бы по всей стране устроить такие больницы. Приходил бы раз в неделю и всех вылечивал. Ничему другому это не помешало бы. Ну, а как насчет чудо-игры на скачках, без проигрыша? Господи, *мне* бы такую силу, ну и размахнулся бы я. И уж, конечно, отказался бы от великой чести служить у «Григсби и Блотта».

Хозяйка. Только все честь по чести, мистер Стоукер. Вы должны предупредить об уходе за месяц.

Эйде (*мечтательно и с блуждающим взглядом — теперь Фотэрингей предстал перед ней в новом свете*). Все в вашей власти. Вы могли бы стать богатым. Делать, что только вздумается. Могли бы направо и налево раздавать подарки. Да что там, могли бы бывать в высшем свете! Ах, мистер Фотэрингей, встречаться со всеми знаменитостями. Вас принимали бы при дворе, вы увидели бы самого короля!

Билл Стоукер. Ходили бы в мюзик-холлы!

Фотэрингей. Я как-то не собирался вот так все сразу... Честно говоря, я слегка побаиваюсь. И пока не думал совершать что-нибудь... особенное.

Мисс Хупер *(как бы в пику Эйде)*. Вы меня лучше слушайте, мистер Фотэрингей. К чему такая опрометчивость? Разве можно творить чудеса как попало. Нельзя расточать такой дар на эгоистические дела!

Билл Стоукер. Оо! Значит, только на возвышенные!

Мисс Хупер. Да, именно на возвышенные, мистер Стоукер. Способность творить чудеса и дар исцеления — это не пустяки. Вам нужен хороший советчик, мистер Фотэрингей.

Хозяйка. Очень разумно. Вам необходим советчик, мистер Фотэрингей.

Фотэрингей *(почесывая щеку)*. Пожалуй, да. Я как-то не думал об этом.

Мисс Хупер. Обратитесь к мистеру Мэйдигу, новому баптистскому проповеднику.

Хозяйка. Ах нет, мистеру Фотэрингею надо поговорить с нашим пастором.

Билл Стоукер. Уж будьте покойны, они вам присоветуют, что тот, что другой. Из обоих уж песок сыплется. Праведные старцы, умом обиженные, во всяком случае, наш пастор. А Мэйдиг просто болтун. Послушайте моего совета, Фотэрингей, думайте лучше о себе, чем о других. Не растрачивайте попусту свой дар!

Эйде. На всем свете не найдется женщины, которая отвергла бы того, кто творит ради нее чудеса!

Фотэрингей бросает на нее взгляд.

Мисс Хупер. Поищите советчика, мистер Фотэрингей.

Хозяйка. Джейн, соберите, пожалуйста, тарелки. А теперь, кто хочет омлет с вареньем, а кто пудинг? С чудесами или без чудес жизнь все равно продолжается. Не можем мы здесь засиживаться, работа не ждет.

На экране отдел тканей магазина «Григсби и Блотт»; конец рабочего дня. За уборку здесь еще не принимались. В конце прилавка сгрудился целый ворох товаров, повсюду в беспорядке лежат развернутые рулоны тка-

ней. Фотэрингей, ковыряя в зубах, прислонился в глубокой задумчивости к полкам.

Входит майор Григсби, хозяин магазина. Фотэрингей вытягивается.

Григсби. Живее, живее, мистер Фотэрингей! Что с вами сегодня? До закрытия осталось всего пять минут, а посмотрите, что тут творится, только посмотрите. Все вверх ногами. Да здесь на полчаса уборки.

Фотэрингей. Извините, сэр. У меня был сегодня довольно беспокойный день. Но я быстро справлюсь.

И он принимается скатывать кусок материи в рулон; тут его осеняет идея. Он жестикулирует и бормочет чуть слышно:

— Все по местам!

И в тот же миг рулоны сами скатываются, разбросанные товары выравниваются в правильные стопки — словом, все занимает свои места.

Григсби поражен. Он стоит, разинув рот. Смотрит на Фотэрингея, который упирается обеими руками в прилавок.

Фотэрингей (*нарушает молчание*). Я же говорил, сэр, что справлюсь быстро.

— Да, да, конечно, *быстро*. Я и не заметил, как... Гм, странно... но... Весьма, весьма странно. А вы уверены, что товар не пострадал при таком способе?..

Фотэрингей. О, это ему только на пользу.

Григсби, все еще не оправившись от изумления, медленно пересекает кадр. Оборачивается и смотрит на Фотэрингея, который нарочно глядит в сторону. Григсби отводит взгляд, потом снова оборачивается. Оба испытующе глядят друг на друга.

Григсби, оглядываясь на Фотэрингея, уходит. Фотэрингей почесывает щеку. Затемнение.

ЧАСТЬ VI

ИСТОРИЯ С МИСТЕРОМ УИНЧЕМ

Вечер. Улица. В отдалении кабачок «Длинный дракон». Прохожие. Фотэрингей после рабочего дня вышел подышать. В руке у него трость. Поигрывая тростью, он направляет свои шаги к «Длинному дракону». Останав-

ливается в нерешительности. Продолжает вертеть в руках трость, что выдает его неуверенность. Постояв, круто поворачивается и уходит в другую сторону. Здесь крупный план отсутствует. Вся сцена снята с расстояния примерно в тридцать ярдов.

Поздний вечер. Яркий свет луны. С краю тротуара ступеньки. На ступеньках сидит Фотэрингей. Лицо его горит возбуждением; глаза широко открыты. Им владеет что-то среднее между вдохновением и безумием.

Фотэрингей. Я могу все. Решительно все. Захочу и сделаю с этой несчастной луной что мне вздумается. Все святые, любая наука — все ничто передо мной! И трусить тут нечего, говорю вам. Нечего трусить!

Он бьет тростью по ступенькам и ломает ее.

— А, черт, сломал трость! Семь шиллингов шесть пенсов заплатил за нее на рождество. Любимая моя трость.

Фотэрингей *(сочувственно обращается к трости)*. Доломал тебя? Ну ничего, старушка, погоди. У твоего хозяина, надеюсь, еще не пропал дар исцеления. Все устроится как нельзя лучше. А ну-ка будь не тростью, а кустом, большим розовым кустом, прямо тут, на самой дороге, а на ветках пусть растут чудесные розы... Мм, какой аромат!

Фотэрингей. Стоп, кто это там шагает по дороге? Никак старина Бобби Уинч? Вот уж некстати! Назад, приказываю тебе. Фу, пропасть!

Розовый куст тут же отступает назад и наносит удар Уинчу — представителю местной полиции; тот в ярости оглядывается по сторонам. Он только теперь показался в кадре. Словно Лаокоон, он вступает в короткую схватку с вьющимся розовым кустом, который весь усеян пунцовыми цветами и колючками.

Фотэрингей *(розовому кусту)*. Черт возьми! Оставь же его! А вы отойдите. Дайте кусту исчезнуть.

Розовый куст исчезает.

Уинч наступает на Фотэрингея, тот встает ему навстречу. Каска Уинча съехала набок. Все лицо его в царапинах и мрачно, как туча.

Уинч. Послушайте, милейший. Это что еще за шутки? Кто вам позволил кидаться ежевикой, а?

Ф о т э р и н г е й. Я и не думал кидаться ежевикой. Просто... ну... если я что и сделал, так только чудо.

У и н ч. Ха-ха-ха! Так это вы, мистер Чудотворец? Значит, это вы? Так-то вы проводите ночи, а? Разучиваете новый фокус? Ну-ну, только на этот раз вы перестарались. Пеняйте на себя.

Ф о т э р и н г е й. Я совсем не хотел, чтобы этот куст задел вас, мистер Уинч. Поверьте, не хотел.

У и н ч. Нет, хотели. Вы оскорбили полисмена при исполнении служебных обязанностей. Я уже слышал, что вы нарушаете общественный порядок. Теперь это подтвердилось.

Ф о т э р и н г е й. Да, но... Все можно легко объяснить.

У и н ч. Тем лучше, вот вы и дадите объяснения старшему инспектору.

Ф о т э р и н г е й. Что вы, мистер Уинч, неужели вы принимаете все это всерьез?

У и н ч. Не я — закон!

Ф о т э р и н г е й *(почти со слезами)*. Как, вы хотите меня арестовать? Меня, всеми уважаемого гражданина? Нет, вы этого не сделаете, мистер Уинч.

У и н ч. Сделаю. Идите за мной.

Ф о т э р и н г е й. Не пойду.

У и н ч. Пойдете.

Ф о т э р и н г е й. Ах, идите вы сами... в пекло! Я ведь...

Фотэрингей умолкает, пораженный. Полисмен исчез.

— Ну вот! О господи! Исчез. *(Лицо у Фотэрингея бледнеет. Он шепчет.)* Исчез, отправился в... в... в пекло!

Ф о т э р и н г е й. Но если я его верну, он же всем разболтает...

Действие переносится в глухое место среди скал, озаренное мрачным светом. Из земли поднимаются тонкие струи пара. За скалы робко зацепилось какое-то странное полурастение, полуживотное. Через экран проплывают два печальных призрака, занятые глубокомысленным разговором. Они бесплотны и почти прозрачны. Вдруг, широко расставив ноги, появляется изумленный констебль Уинч.

— Где я?

Он сдвигает каску и почесывает затылок.

Уинч. В ловушку, что ли, он меня заманил? Вечные фокусы. А здесь, кажется, жарковато. Эй!

По переднему плану пробегает какой-то зверек, похожий на ящерицу. Над головой Уинча кто-то хлопает крыльями, но кто — не видно, лишь тень падает на скалы.

Уинчу явно делается не по себе, однако он держится молодцом. Вынимает записную книжку.

— Возьмем-ка лучше все это на заметку. *(Достает огрызок карандаша.)* Молодой полисмен должен все тщательно подмечать. Так, засечем время. *(Смотрит на ручные часы.)* Что за черт, бумага почернела. И подошвы горят. Ну и ну!

Зрители снова видят Фотэрингея, одиноко стоящего посреди улицы, освещенной луной.

Фотэрингей. Пекло... Вероятно, местечко не из приятных. Нехорошо с моей стороны ни с того, ни с сего отправить человека в ад! А где же любимая моя тросточка? Ах да, пусть моя трость вернется, но... но только несломанная. Так, а теперь как же мне быть с Уинчем?

Фотэрингей *(взывает к ночи)*. Как мне быть с Уинчем?

Фотэрингей. Вернуть его нельзя. Но оставить его там я тоже не могу... Есть! Сан-Франциско! Это же почти на другом конце света. Пусть мистер Уинч, где бы он ни был, немедленно отправляется в Сан-Франциско. И...

В кадре одна из оживленных улиц Сан-Франциско.

Вся эта сцена должна быть снята при ярком освещении, очень четко и с большого расстояния. Должно создаться впечатление, что мы видим все это издалека в полевой бинокль. Голосов не слышно. Звуковое оформление — гудки, свистки, выкрики, но тихие, приглушенные, словно звуки волшебной свирели. (Примечание: поскольку в Эссексе 12 ч. 30 мин. ночи, значит, в Сан-Франциско 4 ч. 30 мин. пополудни.)

Вдруг в самой сутолоке уличного движения появляется мистер Уинч в каске, сбитой набок, с записной книжкой и карандашом в руках. Светофор открыт. Не-

ожиданное препятствие нарушает уличное движение. Мистер Уинч спасается просто чудом. Ведет он себя крайне неосторожно, летит сломя голову, но отделывается счастливо. Преследуемый двумя сан-францисскими полисменами и возмущенной толпой, он добирается до тротуара и делает отчаянную попытку улизнуть. Сбивает с ног китайца с бельем, опрокидывает корзину с яблоками, успевает подняться на несколько ступенек по пожарной лестнице, но тут его настигает полисмен, и он исчезает из виду, затерявшись в огромной, все растущей толпе зевак.

Опять перед нами Фотэрингей, медленно идущий к дому.

— Мне необходим советчик. Ясно, как день, мне необходим советчик. Не знаю, что же в конце концов делать с этим Уинчем? Все это слишком невероятно. Придется все время о нем помнить и каждые два-три дня отправлять его назад в Сан-Франциско. Но ведь дело не только в одном Уинче. Нет... Ведь у меня задумано еще кое-что, планов хоть отбавляй. Некоторые, как подумаю о них, даже... даже пугают меня...

— И все-таки надо за них приниматься. Хотя бы попытку сделать.

— Во-первых, Эйде...

Улыбка на его лице выражает радужные ожидания.

— Недурно бы заткнуть за пояс этого Билли Стоукера...

ЧАСТЬ VI-а

ЛЮБОВНАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

Все та же лунная ночь. Переулок между высокими, густыми изгородями, под которыми всегда темно, вливается в широкую, открытую улицу. Видны две пригнувшиеся фигуры, которые осторожно крадутся по переулку. В движениях обоих что-то виноватое. Когда они выходят на лунный свет, оказывается, что это Эйде и Билли Стоукер.

Эйде. Теперь, Билл, ты не станешь говорить, что я тебя больше не люблю?

Б и л л. Эйде, любимая моя. Ты лучшая на свете. Любимая. Моя любовь.

Э й д е. Правда, *твоя?*

Б и л л. Конечно. *(Он обнимает ее и целует.)*

Э й д е *(глубоко вздыхая)*. Как хорошо! Божественно! Что может с этим сравниться! И подумать только, Билл, ты ревновал меня к этому бедняге Фотэрингею!

Б и л л. К нему и к его чудесам!

Э й д е. Наверное, сейчас ужасно поздно, Билл?

Б и л л. Господи, половину уже пробило! Пора домой. Дверь запрут. Придется звонить.

Э й д е. Нам нельзя возвращаться вместе, Билл. Пойдут разговоры.

Б и л л. Да, да. *(Обдумывает положение.)* Ты иди к парадной двери. А я обогну дом и влезу по водосточной трубе в мужскую спальню. Мне это не впервой. Окно никогда не запирают. Ну, я пошел переулком, нашим переулком.

Э й д е. Смотри не упади.

Б и л л. Кто, я?

Э й д е. Поцелуй меня на прощание, Билл.

Они целуются. Затемнение.

Эйде робко идет по улице прямо на зрителя, направляясь к магазину «Григсби и Блотт». На углу слева выныривает мистер Фотэрингей, весь еще во власти своих любовных мечтаний.

— Неужели это Эйде? Та самая девушка, о которой я только что думал!

Э й д е. Неужели это Джордж! Вы знаете который час, Джордж? Вам хорошо, снимаете себе отдельную комнату и не должны каждый вечер являться не позже половины одиннадцатого.

Ф о т э р и н г е й *(останавливаясь перед ней)*. В такую лунную ночь, Эйде, я готов совсем не возвращаться домой. А вы?

Э й д е. Ночь прелестна. Да, в самом деле прелестна. Сотворили какие-нибудь новые чудеса, Джордж?

Ф о т э р и н г е й. Ничего особенного. Не так уж весело творить чудеса в одиночестве. Нужно, чтобы кто-то тебя вдохновлял. Ну, скажем, вот... Видите часы на церкви?

Оба оглядываются. Часы на церкви показывают без четверти одиннадцать.

Голос Фотэрингея. Вы и все остальные часы и будильники в Дьюинтоне, отстаньте на двадцать, нет, на двадцать пять минут, ну, живо!

Стрелки часов двигаются назад.

Снова улица.

Фотэрингей *(показывает Эйде при свете зажженной спички свои наручные часы)*. Видите? На моих часах то же самое! Все в порядке, Эйде. Если теперь вы позвоните и вас впустят, то часы в прихожей вас тоже не подведут.

Эйде. Да, вот это настоящее чудо, Джордж. И очень милое.

Фотэрингей. Ну, *для вас*, Эйде, я мог бы и не такое чудо сделать. Знаете, зачем я переменил двадцать минут на двадцать пять? Только для того, Эйде, чтобы поговорить с *вами* немного. Понимаете?

Она *(кокетничая)*. О, пять минут, Джордж, вы заслужили.

Фотэрингей. Я заслуживаю много большего. Я бы... для вас, Эйде, я бы мог творить неслыханные чудеса. Вы разжигаете мое воображение.

Эйде. Вы и так много сделали для меня.

Фотэрингей. Ах, Эйде! Что бы я ни сделал, только бы заставить вас... ну... полюбить меня, хоть чуть-чуть. Все что угодно. Если б только я мог заставить вас... ну, чтоб вам захотелось меня поцеловать.

Эйде. О Джордж! Чудеса не чудеса, но так вы не должны со мной говорить.

Фотэрингей. Почему не должен? Разве я вам не нравлюсь? Ни капельки?

Эйде. Нравитесь, но только не *так*... Не так, мистер Фотэрингей. *(Она умышленно не называет его Джорджем.)*

Фотэрингей. Почему же не так?

Эйде. Не знаю. Право, не знаю.

Фотэрингей. У вас есть кто-нибудь другой? А? Я все вижу.

Эйде. Вас это не касается, мистер Фотэрингей. Во всяком случае, *так* вы мне не нравитесь. А не так... Вы славный, но не в *моем* вкусе. Тут уж ничего не поде-

лаешь. Есть кто-нибудь другой или нет, от этого для вас ничего не меняется. Я не могла бы вас полюбить.

Фотэрингей. Не могли бы?

Эйде. Нет. И покончим с этим.

Фотэрингей. Минуточку, Эйде! Постойте! Вы уверены, что никогда не полюбите меня? А про чудо вы забыли? Что, если вас заставить?

Эйде. Как вы так можете, мистер Фотэрингей! *(В испуге она отступает.)* Нет, этого вы не сделаете, мистер Фотэрингей.

Фотэрингей. Ха! Посмотрим, моя милочка. Посмотрим, что получится. Не сделаю? А ну-ка, влюбитесь в меня. Влюбитесь безнадежно. Забудьте навсегда Билла Стоукера и любите только меня. Ну!

Она глядит на него как завороженная. Сначала не произносит ни слова. Потом шепчет:

— Нет. *(И громче.)* Нет. *(Совсем громко и ликующе.)* Нет! Нет, я влюблена в вас сейчас ничуть не больше, чем раньше! Чуда не вышло. Не вышло, мистер Фотэрингей. Нет никаких перемен в моих чувствах к вам. К вам со всеми вашими фокусами. Я вам не какие-нибудь несчастные часы, или там кролик, или еще что-нибудь такое. Как вы напугали меня, мистер Фотэрингей! Ох! Как напугали. *(Она глядит на него, все еще не оправившись от испуга.)* Мне пора, мистер Фотэрингей. *(Она поворачивается и убегает.)* Доброй ночи!

ЧАСТЬ VII

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Магазин «Григсби и Блотт». В кабинете администратора майор Григсби. Это самоуверенный, коренастый человек, типичный владелец магазина, из бывших военных. Кабинет его отделен стеклянной перегородкой от бухгалтерии, за которой виден сам магазин. Большой письменный стол майора украшают деловые бумаги, образцы товаров и дамская шляпка на подставке. Майор обдумывает предстоящий разговор с Фотэрингеем. Повторяет про себя заготовленные фразы. Наконец нажимает на кнопку звонка. Появляется мальчик-ученик.

— Вызовите ко мне Фотэрингея. Или нет... Попросите мистера Фотэрингея зайти ко мне.

Опять повторяет про себя заготовленные фразы. Встает и принимается ходить по тесному кабинету, ведя спор с самим собой.

Появляется Фотэрингей, вернее, над матовым стеклом двери кабинета появляются его лоб и нос. Привычка заставляет его держаться с Григсби почтительно, но в манерах уже заметна уверенность. Он смотрит на майора, майор — на него. Потом он не спеша открывает дверь и спрашивает вежливо, но не заискивающе:

— Вы хотели меня видеть, сэр?

Григсби жестом администратора предлагает ему стул. Затем, вспомнив о своем положении, снова садится за стол.

Григсби *(уже на своем месте)*. Прошу, мистер Фотэрингей, мне хотелось с вами поговорить.

Фотэрингей опускается на стул.

За своим столом Григсби снова чувствует себя великим дельцом, человеком сильным и проницательным. Фотэрингей же, как всегда, полон нерешительности, новое сознание силы борется в нем со старым чувством зависимости. Так всегда бывает с человеком, которого вдруг щедро одарила судьба.

Григсби. Так вот. Мне нужно поговорить с вами. Признаться, мистер Фотэрингей, я был крайне поражен тем, каким способом вы вчера вечером привели в порядок свой отдел. До крайности поражен. Это было сделано молниеносно. Не могли бы вы... хм... не могли бы вы... *(он склоняет голову набок)*... все же объяснить мне, как вам это удалось? Мне говорили, что вы уже проделывали нечто подобное.

Фотэрингей *(невольно настораживается, не зная, впрочем, против чего)*. Объяснить я могу... и в то же время не могу. Попросту говоря, это можно назвать чудом.

Григсби. А не кажется вам, что слово «чудо» несколько старомодно?

Фотэрингей. Ну, можно еще сказать, что это сделано... это сделано с помощью силы воли, вопреки естественному ходу вещей.

Григсби. А, *сила воли*. Теперь я начинаю кое-что понимать. Разве мог бы человек, не имеющий Силы Воли, создать за какие-нибудь семь лет столь солидное и преуспевающее предприятие, как наше, у которого уже

три филиала и сорок девять служащих, начав дело с какой-то лавчонки и всего-навсего пяти помощников. Сила Воли важнее помощников, важнее компаньонов, важнее покупателей... Признаюсь вам откровенно, мистер Фотэрингей, вы никогда не производили на меня впечатление человека, который способен на нечто подобное.

Фотэрингей. Да я таким и не был. На меня это вдруг нашло.

Григсби. Вы никогда не замечали за собой этой Власти, не пробовали подчинять чужую волю своей?

Фотэрингей. Разве что изредка, с покупателями.

Григсби. И не очень успешно.

Фотэрингей. Мне кажется, и сейчас это не очень-то получилось бы. Я могу делать другое — просто чудеса, старомодные чудеса, вроде магии; ну там исцелять или могу заставить появляться и исчезать всякие предметы и животных, переносить людей и вещи куда угодно. И превращать одно в другое. Это все я могу. Никогда и не знал за собой такого, но вот, оказывается, могу.

Григсби *(не спуская с него глаз)*. Однако влиять на чувства и поступки людей не можете?

Фотэрингей. Видимо, не могу.

Григсби. А пробовали?

Фотэрингей *(уклончиво)*. Ничего не вышло.

Григсби. Ну-ка, ну-ка, расскажите.

Фотэрингей. Просто я хотел, чтобы один человек изменил свои чувства ко мне. Ерунда. Не стоит об этом и говорить.

Григсби. В этом замешана женщина? Тогда молчок. Эта область меня не интересует. Поговорим лучше о вещах серьезных, мистер Фотэрингей. Я хочу сделать вам деловое предложение. Так вот. Так вот... Даже если, как я понимаю, не в вашей власти *заставлять* людей приходить к нам и покупать, у вас есть другие преимущества. Работоспособность. Высокое качество обслуживания. Например, вы могли бы наводить порядок в наших магазинах, открывать их по утрам, доставлять на места покупки... И все это с помощью чуда. Но как? Вам это не приходило в голову? Все очень просто. Я думал о том, как вы вчера привели в порядок свой отдел. Такая уж у меня привычка — обдумываю все ночью перед рассветом. Никто и не подозревает о напряженности моей умст-

венной жизни. Огромная сосредоточенность. Только представьте себе! «Григсби, Блотт и Фотэрингей — Чудеса мануфактуры». Само собой разумеется, вы должны подписать обязательство, что будете использовать ваш дар исключительно для нашего предприятия. Никаких чудес на стороне. Вы меня понимаете, мистер Фотэрингей?

Фотэрингей. Да, но...

Григсби. Я все продумал. Все рассчитал. В первый год мы могли бы гарантировать вам доход в три тысячи—три тысячи фунтов стерлингов! Нет такого конкурента, которого бы мы не обскакали, хотя бы по обороту и доходности. Мы будем торговать по всему западному побережью, по всей Англии. При таких преимуществах для нас нет невозможного. Хотите, назовите меня мечтателем, мистер Фотэрингей. Но поверьте, настоящий делец всегда немного мечтатель. Поэзия торговли! Я уже вижу, как капитал Григсби, Блотта и Фотэрингея превращается в миллионы, как мы проникаем во все уголки земного шара.

Фотэрингей. Во все?

Григсби. Во все!

Фотэрингей (*на секунду задумываясь*). И Сан-Франциско как раз в одном из таких уголков, а?

Григсби. Надо полагать. А что?

Фотэрингей. Да так, пришло в голову. Вы случайно не знаете, сэр, сколько отсюда до Сан-Франциско?

Григсби. Недели три или месяц, наверно. А почему вы об этом спрашиваете?

Фотэрингей. Три недели, не меньше?

Григсби. По крайней мере. А что?

Фотэрингей. Просто хотел узнать. У меня там родственник один.

Наплыв, а следом красочный эпизод в сан-францисской больнице. Мы видим форму мистера Уинча, его каску и пояс, которые висят то ли на вешалке, то ли в шкафу, их внимательно рассматривает нахальный репортер (Y). К самому Уинчу является еще один, уже более интеллигентный репортер (дальше он зовется X). (Репортеры, участвующие в разговоре, обозначены X, Y, Z). В кадре появляется мистер Уинч, с забинтованной

головой, в кресле на колесиках, окруженный вездесущими газетчиками (с весьма характерной внешностью).

X. Это все, что вы можете нам сказать, мистер Уинч?

Уинч. Да, это все, что я могу вам сказать.

Y. Но это же бред сумасшедшего.

Z. Никакого просветления.

Уинч уходит за кадр. Крупным планом — беседующие репортеры. Среди них один, X,— человек более тонкого понимания, чем остальные; он потрясен случившимся.

Y. Все равно, ребята, этот материал не пойдет. Малый просто свихнулся.

Z. Что он все-таки плел насчет каких-то роз и ежевики?

X. А между тем одет он был в самую настоящую английскую полицейскую форму. Слово даю, в этом что-то кроется. Из области Четвертого Измерения или тому подобного.

Y. Откуда он свалился? Вот единственное, что интересует *меня*.

X. А что вы думаете насчет его формы?

Z. К черту форму! Эд про это не тиснет ни строки. Мы в Соединенных Штатах привыкли, чтобы люди *исчезали*. Вот это чистый материал. Но ведь он не исчез, а *появился*. Нет, этим никого не удивишь.

X. Говорю вам, в одежде все дело, да и записная книжка у него вся обуглилась.

Z. И записи невозможно разобрать!

X. Но одно все-таки ясно: он самый настоящий английский полисмен и попал сюда прямо из Эссекса. В мгновение ока. Как? Одному богу известно. Но так быстро, что его башмаки и записная книжка обуглились.

Y. Можете преподнести это как материализацию духа!

Z. И убеждать в этом простаков, которые читают вашу газету. А мне место терять неохота.

Y. Вот-вот, морочить людям голову.

X. Это же блестящая сенсация! Нам всегда нужно искать что-нибудь свеженькое. И вот, пожалуйста, вам свеженькое — ничего подобного раньше не случалось. Но так как мы не можем подогнать эту историю под знакомый шаблон, придется от нее отказаться. Ничего не попишешь, ребята. Точно так же, как отказались бы пи-

сать о полете в воздухе, о подводных лодках или радио полсотни лет назад. Это *сверхновость*. А сверхновости не для газет. Ей же ей, нет на свете ничего более низкого и жалкого, чем человеческое воображение! Мы свидетели самого удивительного и невероятного происшествия, но даже заикнуться о нем не смеем...

Х (*размышляет с негодованием*). Хоть умру, а дам репортаж об этой истории на первой полосе. Надо же разбудить у людей воображение. (*Крупным планом его лицо, пылающее протестом.*) Разве нельзя прямо говорить о чудесах? Неужели люди навсегда останутся ничтожествами?

Наплыв, и снова в кадре майор Григсби, разговаривающий с Фотэрингеем, который не столько увлечен и убежден, сколько подавлен напористостью майора.

Григсби. А ну-ка заставьте свое воображение поработать. Расточать такой дар, как у вас,— это все равно, что потерять его. Никакой пользы от него не будет ни вам, никому. Чудо направо. Чудо налево. Пробросаетесь чудесами — и все тут. Продешевите. Другое дело, если их направить по нужному руслу, сосредоточить в одних руках! Монополизировать! Поставить на службу только «Григсби, Блотту и Фотэрингею», вот тогда это будет огромная сила.

Фотэрингей. Картина весьма заманчивая.

Григсби. Заманчивая! Само собой разумеется. Я уже вижу, как в одну ночь мы превращаемся в титанов, подчиняем себе весь мир... ворочаем крупными делами... делаем большие деньги... становимся магнатами. Монополистами. Нельзя упускать такую возможность. Послушайтесь меня, мистер Фотэрингей. Я бы еще посоветовался с мистером Бэмпфилдом насчет всего этого: мистер Бэмпфилд служит в банке через дорогу от нас.

ЧАСТЬ VIII

ВЫСОКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Фотэрингей, майор Григсби и мистер Бэмпфилд в небольшом кабинете дьюинтонского отделения Лондонско-Эссекского банка.

Мистер Бэмпфилд — сухой человечек невысокого роста, в пенсне; он, что называется, дока. Григсби возбужден, упивается собственным красноречием, излагая свой блестящий проект. Пока эти двое ведут беседу, Фотэрингей, по-видимому, кое-что уже прикинул. Постепенно в его поведении не остается и следа прежней почтительности. Начинает прорезываться его природный ум, не лишенный, правда, наивности. В нем уже проглядывает будущий капиталист. Держится он свободней. Не сидит напряженно, как было в кабинете у Григсби.

Бэмпфилд. Ну и удивили вы меня своим предложением, майор Григсби! Если бы два часа назад вы сказали мне, какие чудеса будут твориться в этом кабинете и какой проект создания всемирной сети «Универсальных магазинов чудес» мне будет предложен, я бы не поверил, ни за какие деньги не поверил бы.

Григсби. А сейчас верите?

Бэмпфилд. Верю.

Григсби. Я всю ночь ломал над этим голову. Пока не привел все в систему.

Бэмпфилд. Конечно, будут осложнения с Лондонским банком, но, надеюсь, мне удастся все уладить. Я думаю, вы можете смело рассчитывать на поддержку Лондонско-Эссекского банка, мистер Фотэрингей. Можете на нас рассчитывать, майор Григсби.

Фотэрингей. Да-а. Надеюсь, все будет в полном порядке. Сам я не очень-то разбираюсь в финансах и торговле. Но ведь, насколько я понимаю ваше предложение, этим мне заниматься не придется.

Григсби. Ваша задача — посвятить свой чудесный дар всецело «Григсби, Блотту и Фотэрингею». Это — *главное.*

Бэмпфилд одобрительно кивает.

Фотэрингей. Вот тут-то мне и *не все ясно.*

Оба ждут разъяснений.

Фотэрингей. А как же дар исцеления, ну и все такое? Я вовсе не собираюсь превращать это в доходное предприятие.

Григсби *(его осеняет блестящая идея).* Мы могли бы при каждом нашем магазине открыть бесплатную по-

ликлинику. Прием по вторникам и пятницам — средства на это мы изыщем. Лечение бесплатное. Совершенно бесплатное.

Фотэрингей. Да-а. Это, конечно, *можно.* Меня смущает другое: почему бы нам и ткани не раздавать даром? Зачем все превращать в доходное предприятие?

Григсби. О, так у вас ничего не выйдет. Решительно ничего не выйдет.

Фотэрингей *(вкрадчиво).* Вероятно, у вас так не выйдет. Да-с. И потом, почему мы должны для этого изыскивать средства и... как это вы называете... выпускать акции?

Бэмпфилд. Всякое дело строится на прочной финансовой основе.

Фотэрингей *(пытаясь разобраться).* Мы должны делать деньги...

Григсби *(проникновенно).* Деньги, сэр,— двигатель всякого предприятия.

Фотэрингей. Но почему же, если нам нужны деньги, не делать сразу деньги?

Бэмпфилд. Это невозможно... *(Пауза. Он пугается.)*... без самых губительных последствий.

Фотэрингей. Глядите. *(Вытягивает руку и шевелит губами. Появляется банкнот в сто фунтов.)*

Бэмпфилд. Нет! Нет! Нельзя. Это незаконно. Это подлог. Ваш банкнот фальшивый.

Фотэрингей. Взгляните на него. Разве он не настоящий?

Бэмпфилд *(ощупывая банкнот).* Так не годится. *(От волнения он даже встает.)* Решительно не годится. Нельзя делать деньги, когда вздумается. Это пошатнет основы общества. Расстроит всю финансовую систему. Люди должны *нуждаться* в деньгах.

Григсби. Они должны *нуждаться* во всех решительно товарах.

Фотэрингей. Но я могу дать им все, в чем они нуждаются!

Григсби и Бэмпфилд *(вместе).* А им что останется делать? Какой же у них тогда будет стимул делать хоть что-нибудь?

Фотэрингей *(почесывая щеку).* Веселиться, например.

Григсби вскакивает с места. Фотэрингей сидит смущенный, однако пускаться в объяснения не собирается.

Бэмпфилд. Поверьте мне, мистер Фотэрингей, поверьте мне. Я изучал все эти проблемы... весьма серьезные проблемы, еще когда вас на свете не было. Человеческое общество, я повторяю, зиждется на человеческих потребностях. Жить — значит *нуждаться*. Только безумные мечтатели — имен называть не будем — могут говорить о мире без нужды. Это сказка, миф. Это попросту неосуществимо.

Фотэрингей. А разве кто-нибудь пробовал?

Бэмпфилд. Кто же мог пробовать?

Лицо Фотэрингея хранит скептическое выражение.

Григсби. Помяните мое слово, мистер Фотэрингей, нельзя *задаривать* людей как попало. Все развалится. Полное банкротство. Пресыщение. Упадок. А если вы нас послушаете... доверитесь нам... Мы уже разработали план, как... как удержать ваш дар... очень, осмелюсь сказать, опасный дар... в пределах разумного. Между прочим, *вы* ведь станете мультимиллионером. Абсолютно точно. А люди получат все, что захотят, в пределах возможного.

Бэмпфилд. Постепенное процветание на общее благо. Никаких излишеств. А главное, без всяких потрясений.

Фотэрингей. Я должен все это обдумать.

На экране зал магазина «Григсби и Блотт». В дальнем конце входная дверь, через которую видна улица. На заднем плане один из продавцов, обслуживающий покупателя. Крупным планом Билл Стоукер; в отсутствие майора Григсби распоряжается он. Он приводит в порядок выставку летних зонтов. Еще один продавец стоит за прилавком.

Продавец. А где Фотэрингей?

Стоукер. Не видел с утра. Хозяин вызвал его к себе.

Продавец. Наверно, чтобы сделать внушение.

Стоукер. Вполне возможно.

Продавец. А все эти дурацкие чудеса.

Стоукер. Что и говорить, они до добра не доведут. Не по *нем* все это. Воображения у него никакого. Вот

если бы *мне* перехватить у него этот секрет. *(Вертит зонтом и шлет воздушный поцелуй.)*

На улице появляется Фотэрингей и входит в магазин. Несколько дней назад, увидев покупателя, он тут же бросился бы за прилавок. А теперь, не обращая на покупателя никакого внимания, он с мрачным видом останавливается посредине магазина. Держится он с достоинством. Только подойдя к Биллу Стоукеру вплотную, он поднимает глаза, глядит на него отсутствующим взглядом и кивает.

Стоукер. Хелло, Фотэрингей, что случилось? Где вы пропадали все утро?

Продавец. Ну как, здорово досталось?

Фотэрингей (*медленно качает головой, чуть улыбаясь. Он полон важности, однако ему не безразлично, какое впечатление произведут на окружающих его слова*). Не угадали. Просто я обдумывал одно деловое предложение. Как, по-вашему, звучит — «Григсби, Блотт и Фотэрингей. Магазины Чудес»?

Продавец. Ого! Не заливайте!

Фотэрингей. Так вот, я получил серьезное предложение. Дело крупное. Я и не представлял себе, но, оказывается, на этих чудесах можно заработать кучу денег — только успевай загребать. Целый капитал.

Продавец. Вот это да! «Магазины Чудес», а?

Фотэрингей. Или что-то в этом роде.

Продавец. А нас всех на улицу?

Фотэрингей. Об этом я как-то не думал.

Стоукер. Вы еще не дали согласия?

Фотэрингей. Нет. Мне хотелось бы все взвесить.

Стоукер. Кто еще в деле?

Фотэрингей. Григсби и... и банк.

Стоукер. Так, но почему вы должны делать деньги для них? Почему не для себя?

Фотэрингей. И для себя тоже.

Стоукер. Но почему именно для *них*? Если вам нужны деньги, делайте их для себя. Зачем стараться ради старого Григсби и Бэмпфилда?

Фотэрингей. О, так ничего не выйдет. Нельзя делать деньги только для себя.

Стоукер. Но почему же?

Фотэрингей. Мистер Бэмпфилд мне объяснил. Теперь я все понимаю. Это приведет к мировому хаосу. Всеобщему банкротству. Подорвет всю социальную систему.

Стоукер. Подорвет Григсби и Блотта, хотите вы сказать.

Фотэрингей. Он считает, что так делать не следует.

Стоукер. Сам бы он, не задумываясь, так сделал, если бы только знал, как подступиться. Послушайте, Фотэрингей, да эти деляги просто норовят к вам присоседиться. Эх, *мне* бы ваш волшебный дар...

Фотэрингей. И что?

Стоукер. Я покорил бы мир.

Фотэрингей смотрит на него, склонив голову набок.

Стоукер. «Новый курс Билла Стоукера» — что, недурно? Ну и дел бы я наворотил! Уж я бы не позволил морочить мне голову и пользоваться моим даром каким-то там «Григсби, Блотту и компании». Будьте покойны!

На экране лицо Фотэрингея. Он вникает в эту новую, однако не чуждую ему идею.

ЧАСТЬ IX

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ЭЙДЕ ПРАЙС

Отдел готового платья «Григсби, Блотт и К°». На вешалках костюмы. Всюду зеркала. Затишье, покупателей не видно. У зеркала Эйде Прайс, она красит губы.

Входит Фотэрингей и останавливается, увидев ее. Оба стоят в нерешительности, вспомнив, что произошло накануне.

Эйде *(с напускным хладнокровием)*. Хелло, Джордж.

Фотэрингей. Зачем вам еще прихорашиваться?

Эйде. К сожалению, приходится, Джордж. Ничего не поделаешь. Губная помада и пудра. Почему вот вы не сделали меня такой же красивой, как Эффи? Она ослепительна! Когда я думала о ваших возможностях, я поняла, что вы ужасно скупы на свои чудеса.

Фотэрингей *(оторопев слегка)*. Да бог с вами! Бормочет и жестикулирует.

Эйде превращается в настоящую красавицу.

Эйде (*продолжая глядеться в зеркало*). Вот это мило, Джордж. И эта волна в волосах мне очень идет. О, я себе очень нравлюсь! Какая посадка головы и лебединая шея! А может, еще бриллиантовую тиару или что-нибудь в этом роде?

Фотэрингей. Почему бы и нет!

Появляется бриллиантовая тиара. Эйде недоверчиво подносит руку к голове.

Фотэрингей. Взгляните в зеркало.

Эйде (*вздрагивая*). Восхитительно! Ах, если бы она была настоящая! Чудесно.

Фотэрингей. Она и есть *настоящая*.

Эйде. В самом деле! А не могли бы вы сделать еще и жемчужное ожерелье, Джордж? Не понимаю, как у вас это все получается. С ума можно сойти!

Эйде так поглощена созерцанием в зеркале жемчужного ожерелья, что почти забывает о присутствии Фотэрингея.

Фотэрингей. Кстати, пора сменить ваше старое черное платье. А ну, пусть на ней будет роскошное одеяние, как у Клеопатры на сцене!

Эйде Прайс преображается.

Фотэрингей потрясен собственным чудом. Эйде стоит перед ним великолепная, торжествующая. На него она даже не смотрит. Она упивается собой.

Фотэрингей. Эйде, вы восхитительны!

Эйде. Нет, это вы восхитительны, мистер Фотэрингей. Я о таком и не мечтала. Если бы сейчас меня увидел Билл, он бы лишился чувств.

Фотэрингей (*вдруг замечает, что в магазин входят покупатели*). Покупатели! Они увидят вас в этом наряде. Скорей, Эйде, станьте прежней!

Эйде (*снова превращается в самую обычную молодую женщину. Глядится в зеркало*). Вот я опять такая же. Ничто не изменилось. А была я другой, Джордж?

Фотэрингей уже занялся своими коробками. Покупатели входят в отдел в сопровождении Билла Стоукера, и Эйде спешит их обслужить. Она еще не пришла в себя и продолжает хранить королевское величие.

Фотэрингей в нерешимости оглядывается на нее и затем, вконец расстроенный, уходит из магазина.

ЧАСТЬ X

ЗА СОВЕТОМ

Гостиная, устроенная миссис Григсби и миссис Блотт для продавцов. Не бог весть какая обстановка, небольшой книжный шкаф, диван, мягкие стулья, стол и прочее. Часы показывают четверть десятого. Мисс Мэгги Хупер в одиночестве за рукоделием.

Входит Фотэрингей. Увидев ее, останавливается.

Мисс Хупер. А *вы* что делаете здесь так поздно?

Фотэрингей. Сам не знаю. Я только сейчас пришел. Наверное, хотел повидать вас. *(Садится на диван.)* Мэгги, меня что-то начинают пугать все эти чудеса.

Мисс Хупер. Я же говорила, что вам нужен хороший советчик.

Фотэрингей. Я *только* и делаю, что выслушиваю советы, но все это не то. Не понимаю, что со мной. Не знаю, куда деваться от своих чудес, боюсь давать им волю. Скорее *во мне* самом происходит что-то фантастическое, чем вокруг меня. Мне начинает чего-то недоставать, чего-то все хочется. Как бы объяснить вам... У меня появилось скверное воображение, Мэгги. *Опасное* воображение.

Мисс Хупер. Ну, а что я вам говорила? Повидайтесь с мистером Мэйдигом. Вы могли бы пойти к нему сегодня же вечером. Он принимает у себя дома.

Фотэрингей. Да что он *может* мне сказать?

Мисс Хупер. Я вас сколько раз приглашала на его проповеди. Он великолепен, когда в ударе. Возвышает душу. Отвлекает от мрачных мыслей.

Действие переносится в кабинет мистера Мэйдига.

Мистер Мэйдиг сидит в низком кресле у пылающего камина. Это долговязый человек, с длинными руками, ногами и шеей. У него вкрадчивый голос пламенного проповедника, выражение лица, как правило, возбужденное и восторженное. Рядом столик с книгами, на нем, кроме книг, «Дейли геральд», еженедельная газета «Новый век», бутылка виски, сифон и бокал виски с содовой. Книги показываются крупным планом: «Через пространство и время» Джина, «Природа, человек и бог» Темпла,

«Вселенная» Данна, «Психология и жизнь» Уэзерхеда, а также «Руководство по современной политике», авторы — Г. Д. Х. и М. А. Коул.

В руке мистер Мэйдиг держит «Свободу и государственное устройство» Бертрана Рассела.

Другой рукой он жестикулирует. Он не столько читает, сколько походя рассуждает. А вернее, и вовсе не читает, книга лишь вдохновляет его.

Мэйдиг. Так, так! Превосходно, превосходно. Было бы целесообразно весь этот жалкий порядок вещей подчинить желаниям людей. Да, мои дорогие друзья, мои возлюбленные друзья, наш бедный, неустроенный мир, наш богатый и великолепный мир. Разве вы... Нет! Разве мы... Нет, нет и нет... Если мы когда-нибудь решимся отвратить взгляд наш от материальных благ — от ничтожных, но столь необходимых жалких вещей, нас окружающих,— подумайте... возмечтайте... возмечтайте, каким мог бы стать наш мир. Только подумайте... Возмечтайте, каким он мог бы стать. Если бы только мы были властны... если бы только в нас достало веры...

Стук в дверь, появляется экономка.

— Какой-то молодой человек очень вас добивается, сэр. Его фамилия Фотэрингей. Говорит, дело не терпит отлагательств.

Мэйдиг (*пытается припомнить*). Фотэрингей? Не знаю такого. Одет прилично? Не попрошайка?

Экономка. Нет, ничего похожего. Но что-то у него стряслось, сэр, говорит, ему надо посоветоваться.

Мэйдиг. Тогда просите, просите его сюда. Я ведь никогда не отказываю... в таких случаях. Всегда готов служить, чем могу.

Экономка выходит, а Мэйдиг прячет виски, сифон и прочее, наскоро осушив перед этим бокал. Перекладывает книги, чтобы видны были корешки. Встает на коврик перед камином, готовый встретить посетителя. Поднимается на цыпочки. Напускает на себя важность. Входит слегка робеющий Фотэрингей.

Мэйдиг. Слушаю вас, сэр, чем могу служить?

Фотэрингей. Мне говорили, что вы даете людям добрые советы... а со мной случилась такая странная неприятность — если только это можно назвать неприятностью,— которую вам, как святому отцу...

Мэйдиг. Продолжайте.

Фотэрингей. Так вот, со мной произошла невероятная история. Я всегда считал, что я ни на что не способен. А теперь постепенно убеждаюсь, что могу добиться решительно всего, чего захочу... с помощью силы воли.

Мэйдиг. Что вы подразумеваете под «силой воли»?

Фотэрингей. Чудеса.

Мэйдиг. Чудеса?

Фотэрингей. Ну да, чудеса просто одолели меня!

Мэйдиг (*пристально всматривается в своего гостя*). Дорогой сэр, а вы в здравом ли уме? Уверяю вас, чудес в наше время не бывает.

Фотэрингей. Но, может быть, вы измените свое мнение, если... если я сотворю какое-нибудь чудо?

Мэйдиг. Что ж, тогда посмотрим. Я человек широких взглядов. Никто мне в этом не откажет.

Фотэрингей. Так что же сделать? Пусть что-нибудь появится, а? Только вся эта возня с кроликами, котятами и букетами цветов мне уже порядком надоела. Придумал! Пусть появится пантера, *настоящая* пантера, вот здесь, прямо на коврике перед камином.

Между двумя мужчинами появляется припавшая к полу пантера. Мэйдиг пятится и опрокидывает столик. Судя по всему, Фотэрингей тоже испугался зверя. Да и пантера напугана не меньше их. Она приготовилась к защите. Выпустив когти, с угрожающим рычанием озирается, затем прыгает на них, повернувшись хвостом к зрителю, так что закрывает бóльшую часть экрана.

Слышен голос Фотэрингея: «Эй! Исчезни! Испарись!»

Пантера исчезает, и Мэйдиг с Фотэрингеем остаются лицом к лицу, между ними лишь помятый коврик.

Фотэрингей. Ну, что скажете?

Мэйдиг (*постепенно приходя в себя*). Да, это что-то необыкновенное. Но не чудо!

Фотэрингей. Вы хотите сказать, что здесь только что не было настоящей пантеры?

Мэйдиг. Конечно, нет, любезнейший. Нет. Это галлюцинации. Старо, как мир.

Фотэрингей. Ничего себе, пантера — это галлюцинации! Посмотрим! Сейчас я вызову ее опять.

Мэйдиг. Не надо, не надо! Ведь...

Фотэрингей. Поглядите на эти следы когтей на полу. Видите? Что ж, по-вашему, галлюцинации могут оставлять такие следы, да?

Мэйдиг. Я только хотел убедиться. Да, да. В самом деле, следы какого-то огромного хищника. *(Он уже и не думает возражать.)* И вы обнаружили в себе такие способности? А знаете ли, мистер... мистер...

Фотэрингей. Фотэрингей.

Мэйдиг. ...мистер Фотэрингей, вы только что совершили настоящее чудо. Долой все сомнения! И вы... вы еще многое можете в этом же духе?

Фотэрингей. Вот об этом-то я и хотел посоветоваться с вами, мистер Мэйдиг. Я могу что угодно. Могу исцелять. Могу наводить порядок, чинить все подряд. Могу превращать одно в другое. Не могу только, так сказать, залезать людям в душу, а в остальном для меня нет ничего невозможного, все в моей власти.

Мэйдиг *(склонив голову набок, изрекает с мечтательным видом)*. Но это же Сила!

Фотэрингей. Конечно. А что мне с ней *делать?* Что бы сделали вы на моем месте? Или всякий другой? Знаете, мистер Мэйдиг, удивительное дело, до того, как я узнал, что могу творить чудеса, я думал, что прекрасно знаю, чего хочу, но не мог этого получить. А теперь, когда я могу иметь все, что, так сказать, душе угодно, меня словно что-то удерживает. *(Он замолкает, желая увериться, что Мэйдиг его слушает.)*

Мэйдиг *(все еще под впечатлением осенившей его блестящей мысли)*. Сила. Си-ла. Ах, мой молодой друг, чего вам только не сделать, чего вам только не сотворить с нашим миром! Можете излечить всех от болезней! Вы думали об этом?

Он опускает свою костлявую руку на плечо Фотэрингею, а большим пальцем другой руки указует в пространство.

— Почему бы не изгнать из мира все болезни? Одним махом сделать то, что доктора и наука преодолевали шаг за шагом! Мир без болезней, а?

Фотэрингей. Я об этом как-то не подумал. Я думал, что вот захочу и вылечу то одного, то другого.

Мэйдиг. Нет, изгнать все болезни и навсегда.

Счастливый век нам снова дан,
Счастливый и великий!
Уже расходится туман
Империй и религий.
И мира дружная семья
Меняет кожу, как змея! [1]

Настанет благоденствие! Вы всех щедро одарите хлебом, богатым урожаем. О чем еще мечтать?

Фотэрингей. А ловушки тут никакой не может быть, как по-вашему?

Мэйдиг. Какой ловушки?

Фотэрингей. Мне казалось, что лучше приниматься за все постепенно. Когда сразу размахнешься, могут быть всякие неожиданности. Вот хотя бы эта пантера...

Мэйдиг *(вскидывает голову)*. Конечно, некоторая осмотрительность не помешает, что и говорить. Мы должны действовать осторожно. С пантерами тоже надо уметь справляться. Спешить не следует, это верно, но и откладывать не стоит. В вашей Силе мне видится нечто великолепное, это надежда всего человечества, поистине Светлая Надежда.

Фотэрингей. Но когда я сказал майору Григсби и мистеру Бэмпфилду, что заведенный порядок можно и нарушить, они очень испугались и просили, чтобы я этого не делал. По-моему, они опасаются какой-нибудь ловушки.

Мэйдиг. Это люди недалекие, весьма недалекие. Я никогда не мог столковаться ни с тем, ни с другим.

Фотэрингей *(продолжает)*. Так вот, мистер Бэмпфилд говорил, что люди держатся друг друга только из-за денег, только потому, что им нужны деньги и вещи, а если они им будут не нужны, то незачем будет работать.

Мэйдиг. По-моему, это возмутительно. Просто возмутительно. Выходит, они совсем не верят в Челове-

---

[1] П. Б. Шелли. Из драмы «Эллада». *Перевод М. Чемена.*

ка? *(Он словно парит над Фотэрингеем, подкрепляя каждое свое слово жестами.)* Разве не существует искусства? Красоты? Разве мало еще непостигнутого человеческим разумом?

Фотэрингей. Видимо, мистер Бэмпфилд полагает, что с этим спешить не обязательно.

Мэйдиг. Значит, у этого человека нет воображения. Значит, у него нет души. Значит, он уже успел забыть розовые мечты своего детства. Одно слово — делец! Банкир! Подальше от таких людей! Это не человек, а банкрот в процветающем мире!

Фотэрингей. Они действительно *могли* бы получше устроить мир.

Мэйдиг. Еще бы! Но разве станут они об этом заботиться, пока их не заставят? Пока обстоятельства не вынудят их? Ни за что. С этого мы и начнем. Завтра же. А сейчас представим себе, что вдруг у каждого бедняка на нашей планете очутилось в руках пять фунтов. Так, чтобы каждый мог пойти и купить себе, что захочет! Только представьте себе! Только представьте себе, что получится.

Фотэрингей. Я не прочь попробовать. Если вы уверены, что тут нет ловушки. Но мистер Бэмпфилд будет возмущен.

Мэйдиг. Какое там возмущен, надеюсь, его хватит удар! А уж потом займемся исцелением. Всех подряд. Каждый вдруг воскликнет: «Да, я совершенно здоров! И полон сил».

Фотэрингей. В этом я ничего дурного не вижу.

Мэйдиг. Я тоже.

Фотэрингей. А если останутся без работы врачи?

Мэйдиг. И что же?

Фотэрингей. Ну, они, естественно, думают, что это *их* дело лечить нас...

Мэйдиг. О господи! О дух Справедливости! Неужели мы так и будем вечно ублажать банкиров и дельцов, а больные — вечно печься о гонорарах врачей?

Фотэрингей. Я только подумал, что все очень сложно.

Мэйдиг. Конечно, конечно. Сейчас не стоит ломать себе над этим голову. Само собой, мы постараемся, чтобы на долю врачей и торговцев что-нибудь да осталось.

Нельзя сделать все в один миг. Существует инерция, о которой не следует забывать. Надо все обдумать и еще раз обдумать. Спать я сегодня не буду, мистер Фотэрингей. Не сомкну глаз. Буду бодрствовать. Последняя ночь мира нищеты! Последний вздох перед Рассветом. Какая великолепная мысль! Неужели *вы* сможете заснуть?

Фотэрингей. Ну, знаете, у меня был такой тяжелый день.

Мэйдиг. Нет, вы просто агнец божий. Вы-то заснете. Но я не могу расстаться с вами вот так. Давайте сначала сделаем хоть *одно самое пустячное* доброе дело в залог наших будущих дел. Надо только подумать. Что-нибудь самое пустячное. Вот! У меня есть сосед полковник Уинстенли. Член парламента, человек влиятельный, но ярый противник прогресса. Всегда обходится со мной крайне невежливо. Впрочем, я зла на него не таю. Он до глубокой ночи не ложится, все пьет и пьет, боюсь, совсем сопьется. Я сам не слишком строг в этих вопросах, но *он* просто запойный пьяница. Сейчас он наверняка сидит и беседует с графином. Вот возьмите да замените содержимое графина чем-нибудь невинным. А весь дом его увешан шпагами и прочим оружием. Превратите их в земледельческие орудия. Например, шпаги в серпы.

Фотэрингей. А ему это понравится?

Мэйдиг. Сначала нет. Но это заставит его задуматься.

Фотэрингей *(с неохотой)*. Пожалуй, я не прочь что-нибудь сделать, прежде чем уйти спать. Как вы сказали — полковник Уинстенли? Готово! *(Жестикулирует и беззвучно командует.)*

ЧАСТЬ XI

УСМИРЕНИЕ ПОЛКОВНИКА УИНСТЕНЛИ

Холл в доме полковника Уинстенли. Стены украшают две тигровых головы, несколько наконечников для копий, малайские кинжалы, шпаги и другое оружие. Раздается резкий звонок. Холл поспешно пересекает дворецкий с перепуганным лицом, без галстука, на ходу

надевая и застегивая сюртук. Кинокамера следует за ним через большую, темную, ничем не примечательную гостиную в кабинет полковника. Мы видим полковника, он стоит возле кресла перед камином, на нем морской китель, в руке у него бокал виски, на лице выражение величайшего отвращения. Это красивый, видный старый вояка, однако нрава желчного и нетерпимого. Он делает глоток и бросает на дворецкого обличающий взгляд.

Дворецкий. Вы звонили, сэр?

Полковник. Шесть раз. Вы что-то рановато укладываетесь спать, Моди. А ну-ка объясните мне, что за дьявольщина с этим виски? С ним что-то неладное. Куда девался запах? Оно совершенно выдохлось. Хуже того. Оно потеряло вкус, вы слышите — потеряло всякий вкус. Что вы с ним такое сделали? Вы его разбавляли, Моди? Разве это похоже на виски?

Дворецкий. Это старое доброе виски, сэр. Выдержанное.

Полковник. Это не доброе старое виски, и оно вовсе не выдержанное. Никакого огня. Никакой крепости. Что вы с ним такое сделали?

Дворецкий. Уверяю вас, сэр...

Полковник. Не станете же вы уверять меня, что я пью виски, если это не виски!

Что-то падает со страшным звоном, и разговор прерывается.

Полковник. А *это* еще что за чертовщина? Что случилось? Сначала мне подают воду вместо виски, потом дом рушится. Что-то неладное с моей коллекцией. Ступайте посмотрите. Ступайте же! Ну что вы уставились и ни с места?

Дворецкий выходит.

Полковник *(снова принимается за виски)*. Это *ОТРАВА*. Меня отравили. Эй! Моди! Что случилось? Почему вы там застряли?

Из гостиной слышны быстрые шаги дворецкого.

Вот он опять появляется, оставив дверь в гостиную открытой. На лице его написаны ужас и изумление, в руках он держит серп.

Дворецкий *(говорит с трудом)*. Ничего не понимаю, сэр. Три минуты назад, когда я проходил через

холл, все было в полном порядке. А сейчас... это что-то ужасное.

Полковник. Что ужасное? Говорите же, что?

Дворецкий. Ваша коллекция, сэр... Вся ваша коллекция...

Полковник. Ну, говорите же, ну!

Дворецкий. Вся коллекция, решительно вся, так сказать, исчезла, сэр.

Полковник. *Исчезла!*

Дворецкий. Да, сэр, исчезли шпаги и все остальное, а вместо них полно разных других штук, которые, по-моему, смахивают на земледельческие орудия... все это разбросано по полу. Вот посмотрите.

Дворецкий с отвращением протягивает серп полковнику, и тот осматривает его.

Полковник *(не скрывая удивления)*. Что это? Что означает этот символ большевиков? В чем дело? Как все это понимать? Неужели весь дом сошел с ума? Исчезли мои шпаги! Как исчезли? Что вы говорите? Ничего не понимаю. Пойдемте поглядим.

Холл в доме полковника. Полковник и дворецкий *созерцают картину разгрома.* Коллекция полковника превращена в лемехи и серпы, почти все они валяются на полу.

После краткого молчания полковник восклицает:

— Попадись мне тот ИДИОТ, который натворил все это! Разве в Дьюинтоне нет полиции? Этот прохвост побывал здесь только что, пока я сидел в кабинете. Он украл мои шпаги! Это ясно как день. Но на кой черт он оставил здесь всю эту дрянь?

Звонок у входной двери.

Полковник. Кто еще там звонит в такой поздний час?

Дворецкий. Не представляю себе, сэр.

Полковник. А вы *не* представляйте. Вы идите и поглядите! Ну, если кто-то решил *меня* разыграть, я ему покажу...

Дворецкий отворяет входную дверь. Появляются старший инспектор полиции Смитлз и полисмен Тамбл. Оба смущены. У помощника инспектора в руках телеграмма.

П о л к о в н и к *(вне себя).* Ах, это вы! Полюбуйтесь, полюбуйтесь, что здесь творится. Мои шпаги... моя коллекция! Вам что-нибудь известно? Входите же, черт вас подери! Ну, что вы застряли на пороге и глазами хлопаете? Это случилось только что! Входите и полюбуйтесь, что сталось с моим оружием!

Старший инспектор и полисмен, тяжело ступая, медленно входят и с недоумением оглядывают холл, в котором царит полный беспорядок. Затем обмениваются многозначительными взглядами.

П о л к о в н и к *(рявкает).* Ну?

С т а р ш и й и н с п е к т о р. Та-ак, вот, значит, еще.

П о л к о в н и к. Что еще?

С т а р ш и й и н с п е к т о р. Еще чудеса.

Полковник Уинстенли готов разразиться проклятиями, но, к счастью для блюстителей порядка, лишился дара речи.

С т а р ш и й и н с п е к т о р. В этом районе, сэр, уже совершено несколько чудес. Что-то из ряда вон выходящее.

П о л к о в н и к. Чудес?!

С т а р ш и й и н с п е к т о р. Да, чудес, сэр.

П о л к о в н и к. Но чудес не бывает!

С т а р ш и й и н с п е к т о р. Не совсем так, сэр. К великому прискорбию, сэр. Мы бы не посмели беспокоить вас ночью по пустякам. Но, видите ли, сэр, поскольку вы являетесь членом парламента, мы думали, вы могли бы помочь нам...

П о л к о в н и к. Что еще такое? В чем дело?

С т а р ш и й и н с п е к т о р. Речь идет о нашем констебле Уинче, который исчез прошлой ночью. Мы обыскали все. Даже дно у мельничной плотины. Навели справки по всей линии железной дороги.

П о л к о в н и к. Уж не хотите ли вы, чтобы я сейчас, за десять минут до полуночи, пустился на розыски?

С т а р ш и й и н с п е к т о р. Что вы, сэр! Но мы получили телеграмму.

П о л к о в н и к. Ну и что это за телеграмма?

С т а р ш и й и н с п е к т о р. Телеграмма, сэр, из... из Сан-Франциско.

П о л к о в н и к. Ого! Что такое? *(Хватает телеграмму. Читает.)* «Телеграмма с оплаченным ответом, 36

слов. Дьюинтонское полицейское управление, Эссекс, Англия. Сообщите, исчез ли полисмен Уинч точка. Таинственно появился здесь точка. Легко пострадал уличной катастрофе собственной вине точка. Ссылается на чудо точка. Обвиняет некоего Фотэрингея точка. Все сведения и распоряжения для полисмена телеграфируйте лично мне Сан-Франциско, канцелярия Уилла Прэкмена точка. Расходы несу я».

Полковник. Попахивает мистификацией.

Старший инспектор. При всем уважении к вам, сэр, должен заявить: это не мистификация, а нечто более серьезное. И все этот малый, Фотэрингей.

Полковник. Фотэрингей! Дайте мне виски. Если я не глотну виски, то совсем с ума сойду.

Дворецкий. Слушаюсь, сэр... но...

Полковник. О господи! Неужели и тут чудо?

Дворецкий. Я принесу новую бутылку, сэр, возьму еще нераскупоренную.

Снова кабинет полковника. Дворецкий распечатывает и откупоривает четырехгаллоновую бутыль виски. Все его окружают, затаив дыхание, но все же храня слабую надежду. Наливаются четыре бокала — без содовой. Сейчас не до пустяков. Четверо мужчин делают по глотку одновременно и ставят бокалы на место. Лица их мрачны.

Полковник *(прерывая молчание)*. Мыльная вода.

Старший инспектор. Даже еще хуже, сэр. Я бы назвал это напитком трезвенников.

Полковник. Ну, Моди, что скажете?

Дворецкий. Ничего не понимаю, сэр. Но клянусь, скорей я отравлю дитя, чем оскверню виски.

Старший инспектор. Поверьте мне, это опять Фотэрингей.

Полковник. Фотэрингей! Снова Фотэрингей. Спокойно. Будем соблюдать спокойствие. Так. Полнейшее спокойствие. Я повидаю этого малого завтра утром. Не волнуйтесь. Я только побеседую с ним. Тихомирно. Горячиться бесполезно. Я все у него выясню. Смитлз, вы приведете его ко мне как бы случайно. Будто просто, чтобы посоветоваться. Приведете ко мне в сад. Не вспугните его. Но не сводите с него глаз, ког-

да поведете. Дубинку держите наготове. Пусть только пальцем шевельнет. Пусть только попробует выкинуть какой-нибудь номер, бейте его по голове. Я вам помогу.

Полковник (*сам с собой*). Нет, сегодня вечером я не буду с ним встречаться. Только на открытом воздухе. Среди бела дня. Когда видишь каждое его движение. Лицом к лицу.

ЧАСТЬ XII

ПОЛКОВНИК В РОЛИ ПРОСИТЕЛЯ

Розарий возле дома полковника. Милый старомодный сад, всевозможные породы деревьев, даже чилийская араукария. Виден дом. Ярко светит солнце.

Полковник весь в белом, на голове у него соломенная шляпа, в руках инструмент, которым можно выпалывать одуванчики и подорожники, не наклоняясь Однако занят он не прополкой. Он шагает взад и вперед, волоча за собой свой инструмент. Бессонная ночь не принесла покоя. Он уговаривает себя:

— Надо спокойно и уверенно взять все в свои руки Без шума. Без лишнего волнения. Изучить противника При необходимости быть беспощадным. Только огласки лучше избежать. Вот и они!

Видны приближающиеся старший инспектор полиции и Фотэрингей.

Полковник Уинстенли. Так вот он, чудотворец. *Прямо скажем, не похож.* Негодяй. Испоганил мне виски, испортил коллекцию. Только не волноваться! Взять себя в руки! Так что же, господин старший инспектор, это и есть тот самый молодой человек, с которым вы хотели меня познакомить?

Старший инспектор. Да, я привел мистера Фотэрингея, сэр, как вы приказали.

Фотэрингей (*с привычной почтительностью и с вновь обретенной уверенностью*). К вашим услугам, сэр.

Полковник Уинстенли. Мне нужно с вами поговорить. Серьезно с вами поговорить. Как член парламента и первый помощник судебного исполнителя графства, как бывший владелец ценной коллекции оружия, как хозяин некогда великолепного погребка, как организатор местного Общества защиты закона и поряд-

ка и, наконец, как согражданин нашего бедняги констебля Уинча, я должен с вами поговорить. Мне хотелось бы, если позволите, получить объяснение...

Фотэрингей. «*Как*» — но это я сам бы хотел узнать. «*Почему*» — объяснить почти так же трудно. Я, кажется, умею творить чудеса — вот все, что я знаю.

Полковник Уинстенли. Миленькие чудеса, что и говорить!

Фотэрингей. Видите ли, трудно угадать, что можно делать, не обижая других.

Полковник Уинстенли. Не обижая других! А как еще, черт возьми, рассматривать мне этот фокус с моим виски и коллекцией?

Фотэрингей. Но мистер Мэйдиг...

Полковник Уинстенли. Мэйдиг — этот новый проповедник, да? Он-то тут при чем?

Фотэрингей. Он мне дал совет.

Полковник Уинстенли. Дал совет!

Фотэрингей. Он считает, что если хоть раз вы ляжете спать трезвым...

Полковник Уинстенли. Будьбе добры повторить, что вы сказали.

Фотэрингей. Ну, если бы у вас не нашлось чего выпить...

Полковник Уинстенли. Продолжайте, сэр, продолжайте. Я выдержу. Выслушаю вас до конца.

Фотэрингей. А что касается этого символического превращения ваших шпаг, мы хотели этим в какой-то мере, так сказать, подготовить ваше сознание к Мирной эпохе.

Полковник Уинстенли. И когда же эта эпоха наступит?

Фотэрингей. В самом скором времени. Мир. Изобилие. Мистер Мэйдиг мне в точности объяснил, с чего начинать.

Полковник Уинстенли. Когда же все-таки вы решили начать?

Фотэрингей. Я должен встретиться с ним около двенадцати, так что, думаю, Золотой век мы начнем что-нибудь сразу после полудня.

Полковник (*делается устрашающе спокойным. Он говорит, обращаясь к саду*). Они думают начать Золо-

той век сегодня после полудня. *(Потом обращается к небу и к вселенной, произнося слова с расстановкой.)* Они... думают... начать... Золотой... век... сегодня... после... полудня. *(Он оборачивается к Фотэрингею.)* При таких обстоятельствах вряд ли стоит вспоминать мою коллекцию или виски...

Фотэрингей. И не вспоминайте. Право же, мы не хотели никого задевать. Я сейчас верну все на место. *(Жестикулирует и что-то говорит про себя.)*

Полковник Уинстенли. И это все, что от вас требуется? Только и всего?

Фотэрингей. Только и всего.

Полковник Уинстенли. И чудо готово? Виски — снова виски? И коллекция на месте?

Фотэрингей. Пойдемте посмотрим. Самое невероятное — что я действительно *могу* творить чудеса. Например, я мог бы превратить этот сад в пальмовую рощу с тиграми. Кажется, и вправду для меня нет ничего невозможного.

Полковник *(вглядываясь в него)*. Говорите, для вас нет ничего невозможного! *Для вас?*

Фотэрингей. Для меня. Подумаешь, пустяки какие!

Полковник. И вы можете решительно все?

Фотэрингей. Ну, хотите, я что-нибудь сделаю?

Полковник *(слегка опешив)*. Кто, вы?

Фотэрингей *(выдавая скрытое раздражение)*. А почему бы не я? *Хотите* увидеть чудо? Что-нибудь грандиозное?

Полковник. Да, наверное, это полезно знать наперед, с чем придется столкнуться.

Фотэрингей. Хотите опять побывать в Индии? Хотите взглянуть на... ну, назовите какой-нибудь индийский город. Например, Бомбей. Пусть мы оба очутимся в Бомбее.

На экране — оживленный Бомбей.

Фотэрингей. Ну как, полковник?

Полковник *(протирает глаза)*. Вы даже такое можете?

Фотэрингей. А кто же это сделал? Вы довольны, что очутились в Бомбее?

Полковник. Город сильно изменился. Но я узнаю его. Да, точно, мы в Бомбее. А как мы, черт возьми, вернемся назад, одному богу известно. У меня после завтрака деловые свидания.

Фотэрингей. Прекрасно. Ваши свидания состоятся. Мы не станем здесь задерживаться. Назад, в Дьюинтон, в сад полковника! А ну!

И вот они опять в саду.

Фотэрингей. Так как же, сэр? Могу я творить чудеса или нет?

Полковник. Безусловно. Расстояний для вас не существует.

Они молча направляются к дому. Затемнение.

На экране холл в доме полковника. Все на своих местах. Полковник и Фотэрингей продолжают разговор, начатый, очевидно, раньше. Полковник сидит на столе. Фотэрингей то стоит, то ходит взад-вперед.

Фотэрингей. К примеру, мистер Мэйдиг — у него полно Идей. И Воображения. А разве стоит, имея этот дар, который вдруг свалился на меня, заниматься всякими там деловыми и банковскими операциями? Мистер Мэйдиг назвал их Системой Нужды, а мы собираемся устроить жизнь по Системе Изобилия. Теперь люди не будут знать нужды. Они перестанут болеть и голодать. Им не придется грабить и мошенничать. Не нужна будет и война.

Полковник. Как я вижу, *ничего* будет не нужно.

Фотэрингей. Нет, просто все будет *по-другому*. Мистер Мэйдиг говорит, что если творить чудеса, то на месте стоять нельзя.

Полковник. А если вы положите конец войне — насколько я понял, вы собираетесь заняться этим сегодня же, еще до вечера, и я начинаю верить, что у вас это получится,— если вы положите конец конкуренции, освободите людей от необходимости работать, дадите им денег больше, чем они могут истратить, то что же людям останется ДЕЛАТЬ, спрашиваю я вас, сэр? Что им останется делать?

Фотэрингей *(простодушно и откровенно)*. Знаете, и меня это *ставит в тупик*. Но мистер Мэйдиг го-

ворит, отчего бы нам всем просто не любить друг друга?

Полковнику это кажется уже слишком. Он соскакивает со стола и орет:

— Просто всем *любить* друг друга! *Любить* друг друга! Вы что, спятили, сэр? Или вы не человек? И у вас нет стыда? Любить! Это же самое сокровенное, самое святое из человеческих чувств.

Фотэрингей. О, мистер Мэйдиг, по-моему, имел в виду совсем другое. Конечно, ведь есть еще и искусство, и наука, и всякие ремесла.

Полковник. От безделья рукоделье и... *(он задыхается)* ...и шутовство.

Фотэрингей. Ну, можно попробовать. И мистер Мэйдиг говорит: нельзя знать точно, что люди *захотят* делать.

Полковник *(дает волю гневу)*. Мистер Мэйдиг говорит то! Мистер Мэйдиг говорит это! А сами вы собираетесь начать этот свой бредовый Золотой век ровно через шесть часов. Вы хоть подумали, что будет с нами со всеми? Что всех нас ждет?

Фотэрингей. Сам я точно, конечно, не знаю. Что-то изменится. Мистер Мэйдиг говорит...

Полковник *(с жестом отчаяния)*. О!

Он отступает от Фотэрингея на несколько шагов, бросает взгляд на малайский кинжал, самый зловещий из тех, что висят на стене, с минуту колеблется, потом огромным усилием воли заставляет себя вернуться к беседе с Фотэрингеем.

— Послушайте, мистер Фотэрингей, не подумать ли вам несколько часов или... или даже несколько дней над всей этой штукой, прежде чем... прежде чем дернуть за веревочку? Будьте так добры. Ведь как-никак, а у нас цивилизованный мир. И люди сжились с ним.

Фотэрингей. Не так уж блестяще им живется.

Полковник. Но, во всяком случае, они живут. Существует империя. Порядок все-таки.

Фотэрингей. Все это очень хорошо для таких, как вы. Но большинство людей на земле — вроде меня. Для вас вполне естественно желание—сохранить существующий порядок вещей. А я вот не прочь этот порядок

нарушить. Понятно? Против перемен я *не возражаю*. Я думаю, это может быть даже занятно.

Полковник. Разве за последние сто лет мало было перемен и открытий: и железные дороги, и электричество, и фотография, и пароходы, и радио?..

Фотэрингей. Это нас только чуть встряхнуло, но не проняло. Я за Большие перемены к Лучшему.

ЧАСТЬ XIII

ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИЯ

На экране кабинет полковника. Время после полудня. Полковник сменил свой «рабочий» костюм и теперь наслаждается сигарой. Кроме него, в кабинете Григсби, Бэмпфилд, старший инспектор, викарий и молодой человек весьма спортивного вида. Им уже поданы кофе, сигары, ликеры и прохладительные напитки.

Главный в этой сцене — полковник, он невероятно возбужден. Остальные ему во всем поддакивают.

Полковник. Мне думается, вы даже не отдаете себе отчета, насколько это дело серьезно. Пока мы тут сидим и проводим время, эти двое сумасшедших, опасных для общества, собираются перевернуть мир — перевернуть все вверх дном. Уцелеет хоть что-нибудь? Я вас спрашиваю. Вы же знаете их планы, Григсби.

Григсби. Он погубит любое дело.

Бэмпфилд. Он погубит финансовую систему. Человеческое общество держится только на денежных отношениях, и если они будут нарушены, то полетит все.

Полковник. Он оставит страну безоружной перед любым врагом, какому вздумается совершить налет с воздуха. Этот жалкий продавец — самый опасный сумасшедший, какие когда-либо гуляли на свободе. Говорю вам, мистер Смитлз, законно это или нет, но вы должны его арестовать.

Старший инспектор. Разве что сделать попытку?.. Для местной полиции даже преступники на колесах — и то дело тяжелое, а тут предстоит столкнуться с преступником, который умеет *творить чудеса*. Это выше наших возможностей, предупреждаю вас, полковник.

Полковник (*крупным планом, вид у него необы-*

чайно важный). Это выше ваших возможностей. Что ж, я тоже не против закона и порядка — в нормальных условиях. Но разве нормальными условиями это назовешь? Иногда приходится прибегать к решительным действиям, никуда не денешься. Иногда необходимо даже идти на риск и нарушать закон. Я не прошу вас, джентльмены, разделить со мною ответственность. Разве что *позднее... (На лице полковника написана твердая решимость.)* Эти люди—все равно что бешеные собаки. И с ними следует поступать, как с бешеными собаками. Чтобы спасти наш мир от их проклятых фокусов, все средства хороши. Когда человека доведут до крайности... доведут до крайности... Это считается смягчающим вину обстоятельством.

Он поворачивается и уходит, кинокамера следует за ним. Широкими шагами он пересекает холл и удаляется. Все словно замирают.

Первым подает признаки жизни Бэмпфилд. Он кивает Григсби медленно и понимающе. Затем оба глядят на старшего инспектора, который сохраняет загадочную сосредоточенность. Викарий делает вид, будто погружен в раздумье. Молодой спортсмен вытягивает шею, следя глазами за полковником.

Мы видим спину полковника, который смотрит на охотничье ружье, висящее на стене. Он осторожно снимает его и осматривает. Но ружье не годится. Нет. Нужна пуля, а не дробь. Он снимает военную винтовку. Подходит к шкафу и достает из ящика патроны. Когда он заряжает винтовку, резко щелкает затвор. Все это он проделывает, стоя спиной к зрителю. Затемнение.

ЧАСТЬ XIV

СОМНЕНИЯ НА ПОРОГЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА

Прелестная лужайка, освещенная солнцем, близ Дьюинтона. Река. Ивы над бегущей водой, вдали дьюинтонская церковь, окруженная вязами.

Неторопливой походкой входят Мэйдиг и Фотэрингей. Мэйдиг впереди, он ведет разговор. Фотэрингей вынужден следовать за ним.

Мэйдиг. Какой восхитительный день! И подумать только, что это канун Новой эпохи для нашей земли! Мы на пороге величайших перемен, какие только знал мир. Нужда исчезнет, и повсюду воцарится Изобилие. Прощай Старое, да здравствует Новое... Знаете, мне почему-то хочется оттянуть немножко и Начало и Конец.

Они присаживаются на упавшее дерево.

Мэйдиг. Глупый старый мир, какой урок ты получишь!

Фотэрингей. Но мне все-таки желательно точнее представить себе, что мы собираемся делать. Ночь я провел в размышлениях. И мне еще не все ясно.

Мэйдиг. Мне тоже. Я вижу лишь огромное сверкающее зарево надежды.

Фотэрингей. Это хорошо. Но я должен творить чудеса по порядку — одно за другим.

Мэйдиг. Понимаю.

Фотэрингей. Ну вот хотя бы дать каждому доброе здоровье. Надеюсь, это не вызывает сомнений?

Мэйдиг. Конечно, нет! Отличное здоровье, избыток здоровья.

Фотэрингей. Так. Значит, все станут здоровыми. Но я надеюсь, что когда люди получат отличное здоровье, они не бросят работать?

Мэйдиг. Само собой, нет. Зачем? Но только трудиться они будут не по принуждению, а по доброй воле.

Фотэрингей. А что считается отличным здоровьем?

Мэйдиг. Это мы решим.

Фотэрингей. Врачи будут недовольны. Ведь это *их дело*—лечить нас. Им не понравится наше вмешательство.

Мэйдиг. Что вы говорите, мистер Фотэрингей, что вы говорите! Не убеждайте меня, будто врачей это не порадует — человечество, пышущее здоровьем.

Фотэрингей. И я еще должен вам объяснять? Да у врачей тогда не останется ничего, кроме разыгравшегося аппетита!

Мэйдиг прикидывается возмущенным.

Фотэрингей. Но ведь все так оно и есть. Люди привыкли жить по заведенному порядку. Об этом и го-

ворили мистер Григсби и мистер Бэмпфилд. Если мы раздадим им кучу денег и всего прочего, ведь для них получится все равно что выиграть, не участвуя в игре. Что же тогда им останется ДЕЛАТЬ?

Мэйдиг. О, у них будет уйма дел, уйма!

Фотэрингей. Каких?

Мэйдиг. Ну! Мы можем так организовать все — и собственность, и производство, и торговлю, и денежные отношения,— что будет уйма дел.

Фотэрингей. Да, но мы еще не условились, как этого добиться.

Мэйдиг. Ну, это мелочи. Что же касается проблемы праздности — она уже ставилась перед учеными, изобретателями, рационализаторами и прочими. Проблема не новая. Вы с вашими чудесами лишь немного ускоряете события, вот и все. Научный прогресс давно предостерегает нас. Что людям делать, говорите? Стремиться к счастью, наслаждаться искусством, творить!

Фотэрингей. Вот когда вспомнишь полковника. И вы уверены, мистер Мэйдиг, что люди — обыкновенные люди — так уж захотят заниматься творчеством и прочим?

Мэйдиг. Мы должны *заставить* их хотеть.

Фотэрингей. Но вот тут-то *моя* власть и кончается. Я не могу влиять *на волю* людей; я уже пробовал. Я могу перевернуть их вверх ногами, могу в мгновение ока перебросить их в Сан-Франциско, излечивать их от болезней, наделять богатством, но люди остаются людьми.

Мэйдиг. Человеческая личность остается верна себе.

Фотэрингей. Ну, будь по-вашему.

Мэйдиг. Но ведь вы можете воздействовать на них и косвенно. Более здоровые люди и чувствуют себя более счастливыми. Чем людям легче живется, тем они добрей. Они делаются только лучше, если их не раздражать и не притеснять.

Фотэрингей. Да. В какой-то мере. В какой-то мере это так. Но разве тогда не возникнут новые желания? У меня вот появились неудержимые желания, мистер Мэйдиг. И от сознания обретенной власти они только растут.

Мэйдиг. О, мой юный друг! Как часто приходилось мне слышать подобные признания от молодых людей в расцвете их сил! Знаю. Понимаю. У всех нас бывают сильные желания. Даже у меня...

По лицу Мэйдига видно, что на него нахлынули воспоминания.

Фотэрингей. При чем тут *вы!* Я говорю о *себе.*

Мэйдиг. Уверяю вас, вы ничем не отличаетесь от других.

Фотэрингей. Вот именно. В этом-то вся и беда. Если все похожи на меня...

Мэйдиг. Нашими желаниями должна руководить чистая любовь.

Фотэрингей. Я *испытал* чистую любовь.

Мэйдиг. И что же?

Фотэрингей. Этого мало. Она, эта девушка, Мэгги Хупер, и посоветовала мне обратиться к вам.

Мэйдиг. Я знаю ее. Хорошая, скромная и благоразумная девушка.

Фотэрингей. Да. И я нежно люблю ее. Все так. Но та девушка... тот тип девушек, какой вызывает во мне *желание,* совсем другой.

Он встает.

Мэйдиг. Ну-ну! Кипение страсти. Вы должны обуздать свои желания.

Фотэрингей. Почему же *должен?* Я желаю девушку по имени Эйде Прайс. Мэгги пришивает мне пуговицы и штопает носки. Она очень мила, когда пришивает пуговицы или штопает носки. Но в Эйде Прайс есть, что называется, «пойди сюда...»

Мэйдиг (*тоже встает и принимает позу проповедника*). Старо, как мир. Боритесь с искушением. Вашим девизом должно быть Служение Людям.

Фотэрингей. Почему должно быть? *Почему* Служение Людям? Почему *я* должен делать людей здоровыми и красивыми, а сам ничего не получать взамен? Почему я должен уступить Биллу Стоукеру, будь он неладен?

Мэйдиг. *Дорогой друг!*

Фотэрингей. Большинство людей скажут вам то же самое! И моя Сила — она даст мне свободу. А все

эти чудеса со Скоростью, Изобилием и Исцелением — они дадут свободу и другим людям. Соблазн — вот что нас влечет.

ЧАСТЬ XV

НА СЦЕНУ ВЫСТУПАЕТ СМЕРТЬ

Те же лица.

Раздается выстрел. Резкий свист пули. С головы Фотэрингея слетает шляпа, он подносит к раненой голове руку. С изумлением глядит на испачканные кровью пальцы. Вторая пуля сбивает ветку над самой его головой.

— В нас стреляют! — кричит Мэйдиг.—Ложитесь!— И распластывается на земле.

Однако Фотэрингей продолжает стоять.

Фотэрингей. Перестаньте! Перестаньте стрелять!

По его щеке течет кровь.

Фотэрингей. Пусть пули меня не берут. Пусть я останусь невредим. Пусть рана на голове перестанет кровоточить и заживет.

Но лицо его и руки так и остаются в крови до конца этой части, невольно придавая его лицу некую пугающую таинственность.

Фотэрингей. Пусть я буду неуязвим. Слышите? А ну!

Он думает, принимает решения и меняется прямо на глазах. С этой минуты и до конца фильма в нем чувствуется подлинная сила. От его прежней почтительности и неуверенности не остается и следа.

Фотэрингей. А теперь поглядим, кто послал эту пулю. Хочу перемолвиться с ним словечком. Эй, вы, там! Пусть ствол вашей винтовки будет заклепан раз и навсегда!

Он останавливается. Смотрит на Мэйдига, который, оглядываясь на Фотэрингея, медленно поднимается на четвереньки. Взгляды их встречаются, и в дальнейшем они уже не играют в учителя и ученика.

Фотэрингей. Встаньте, Мэйдиг... Вот все, чем сумел отплатить этот глупый мир человеку, способному творить чудеса! Человеку, который хотел создать для

него все блага! Излечить людей! Дать им изобилие! Свободу!.. Они пытались меня убить! Остановить меня! Еще...— продолжает он рассуждать, подняв палец,— еще какой-нибудь дюйм — и меня не стало бы... А теперь посмотрим, кто стрелял. Кажется, я догадываюсь.

Мэйдиг. Я тоже.

Они идут вместе. У Мэйдига ноги длиннее, однако на сей раз он держится позади Фотэрингея.

Мэйдиг. Мне кажется... а не лучше ли было бы и меня сделать неуязвимым?

Фотэрингей (*мгновение смотрит на него*). Все в свое время, Мэйдиг. Не волнуйтесь, я о вас позабочусь. Пока со мной ничего не случилось, уж поверьте мне, все будет в порядке.

В кадре полковник, который спрятался за густую цветущую изгородь. Жимолость и шиповник. Он следит сквозь ветви за приближающимися. Грозит им кулаком. Мэйдиг и Фотэрингей пересекают широкую лужайку, двигаясь на полковника. Полковник вскидывает винтовку с намерением выстрелить, но обнаруживает, что винтовка не действует.

Полковник. Нет, это уж слишком. (*Бормочет.*) В укрытие. (*Бросает винтовку, припадает к земле.*)

И снова на экране непреклонное лицо наступающего Фотэрингея. За ним следует Мэйдиг, напуганный и покоренный. Они все ближе и ближе. Виден верхний край изгороди. Мэйдиг и Фотэрингей заглядывают через изгородь.

Фотэрингей. Где он?

Мэйдиг и Фотэрингей продираются через изгородь и осматриваются. Полковника и след простыл. В густой траве валяется брошенная винтовка.

Мэйдиг. Он скрылся! В любую минуту опять может выстрелить.

Фотэрингей. Не может.

Мэйдиг. Надеюсь. Вот если б и я был неуязвим...

Фотэрингей. Но *где же* он? (*Смотрит на изгородь и вдруг оживляется.*) А ну-ка! Вы все — шиповник, *жимолость, крапива, травы* — все-все! Отвечайте! Говорите! Где он?

Крупным планом Шиповник (*голос у него визгливый и тонкий*). Он слева, в канаве.

Крупным планом Крапива (*язвительным тоном*). Он слева, в канаве.

Крупным планом Жимолость (*сладким голоском*). Он подо мной, в канаве.

Крупным планом Трава в канаве (*унылым травянистым голосом, немного похожим на голос Греты Гарбо*). Он *тут*.

Трава расступается, и полковник медленно выползает из канавы; мгновение он остается не четвереньках, досадуя на весь мир, затем выпрямляется.

Полковник (*с гримасой*). *Kamerad!*

Фотэрингей. Я так и подумал на вас. Никто другой не посмел бы выступить так открыто. Только вы — человек действия. Я *знал*, что это вы.

Полковник. С чудесами бороться невозможно. Что поделаешь! Теперь вы, верно, начнете проделывать свои глупые обезьяньи трюки. Жаль, что я промахнулся в первый раз. Что ж, открывайте с мистером Мэйдигом свой чудесный Золотой век, посмотрим, как он вам понравится.

Фотэрингей. Нет.

Полковник. Уж не хотите ли вы сказать, что одумались?

Фотэрингей. Я серьезно и тщательно все обдумывал целых два дня, полковник. Золотого века, видимо, не будет. Видимо, это невозможно. Послушать мистера Мэйдига — так у него идей без счета... Но у меня свои взгляды... и осуществлять все должен не кто-нибудь, а я.

Мэйдиг. Неужели вы хотите отказаться от всего, о чем мы говорили? Только потому, что он в вас стрелял?

Фотэрингей. Нет, не поэтому.

Мэйдиг. Или потому, что в вас взыграли желания?

Фотэрингей. Не только поэтому. Кое-какие ваши предложения я приму, а другие нет. Чудеса ведь творю *я* — *я*! Сила эта принадлежит только *мне*. Теперь это уже не мир полковника Уинстенли. Или там Григсби, или Бэмпфилда, или еще кого-нибудь. И даже не мир преподобного Сайласа Мэйдига. Нет, отныне это мир Джорджа Макрайтера Фотэрингея, Г. Д..[1], и все будет

[1] Генерального директора.

так, как я захочу, я своего добьюсь. А вы все — вы лишь норовили воспользоваться мной. Теперь я сам собой воспользуюсь.

Мэйдиг. Для чего?

Фотэрингей. Чтобы делать все, что мне взбредет в голову. Иметь желания — вполне естественно для человека, и у меня они есть. Понятно?

Лицо Фотэрингея делается мрачным и решительным.

— Я начинаю разбираться, что к чему в этих чудесах. Вы все уже сказали свое. Единственный разумный человек в этом деле — Билл Стоукер, но *ему* это не поможет, когда я захочу свести с ним счеты. Пойдемте, Мэйдиг. Вы мне еще можете пригодиться. Мы откроем новый мир Джорджа Макрайтера Фотэрингея прямо здесь, в доме полковника.

Все идут по направлению к городу. Впереди Фотэрингей, весь во власти раздумий. Следом Мэйдиг. Он разговаривает сам с собой и по временам встряхивает головой. В нескольких шагах от них плетется мрачный полковник с испорченной винтовкой в руках.

Звучит зловещая музыка.

Мы видим Фотэрингея по пояс, в анфас, невеселые мысли его текут в такт музыке. Остальные следуют за ним.

ЧАСТЬ XVI

МОНОЛОГ

Спальня полковника. Предметы мужского обихода. Сапоги для верховой езды со шпорами. Фотографии офицеров полка. На ночном столике пистолеты. Высокое зеркало на ножках. Открывается дверь, и входит Фотэрингей. Он обращается к кому-то невидимому *(к Мэйдигу)*, стоящему за дверью:

— Мне хотелось бы побыть одному. Недолго.

Он закрывает за собой дверь, прерывая связь с внешним миром.

Фотэрингей. Вы обрели Силу, Джордж Макрайтер, и теперь вам от этой Силы никуда не деться. Вы обрели Силу?.. Нет, сила обрела *вас*.

Он замолкает и глядится в зеркало. Руки держит в карманах.

— Да у меня лицо в крови!

Прикасается к лицу.

Стоя перед зеркалом, принимает различные позы, скрещивает на груди руки, как Наполеон; затем выразительным жестом выбрасывает руку вперед.

— Пусть я буду чуть повыше и покрупнее.

Превращение свершается. Он стоит спиной к зрителю, и лицо его видно в зеркале. И зеркало и комната уменьшаются примерно на одну пятую.

— Если бы еще лоб мне повыше да рот более волевой. Пусть у меня будет высокий лоб и волевой рот.

— Острее взгляд и темнее брови.

Зеркало отражает все эти превращения.

Фотэрингей. Прямой нос и пышные усы. *(Долго рассматривает свое отражение.)* Ну и странный вид у вас, сэр! Но вы — это вовсе не я. Что-то вы мне не нравитесь. Нет, пусть я снова буду таким же, как до превращений. Даже чудно́ видеть вас с такой физиономией, Джордж Макрайтер Фотэрингей. Ну и вид! Нет, уж лучше оставаться Джорджем Макрайтером Фотэрингеем. Быть просто самим собой до конца своих дней.

— Интересно, хотел хоть кто-нибудь быть однажды не самим собой?

Он отворачивается от зеркала и с полной серьезностью спрашивает себя:

— Что же мне все-таки надо? Я могу исполнить любое желание. Что же мне все-таки надо? Нужна мне Эйде? Да, нужна. А *что* мне, собственно, от нее нужно? Чтобы она поняла, что я Властелин Мира, чтобы *почувствовала* и признала: да, я властелин. А кроме этого, нужно мне что-нибудь от нее? Ровным счетом ничего. А от Мэгги? От Мэгги тоже. И пусть никто не лезет ко мне со своими уговорами и обещаниями. Я желаю быть Хозяином и Господином во всем, как желает каждый в глубине души. Однако я обладаю Силой. Учтите. Пока я не отдавал себе в этом отчета, я держался в тени. Но теперь... К черту полковника — эту старую перечницу, и Григсби — этого торгаша, и Бэмпфилда, ну их всех к черту! И Мэйдига! Мэйдига *в особенности*. Подумаешь, будет еще мне указывать, что делать! Добрые со-

веты! Предостережения! Проповеди! Кому все это нужно — этот Прогресс, Служение Людям, и всякие там добрые дела, и самопожертвование? Все сплошной обман! Обман! Они гнут *свою* линию, а я хочу вести *свою*. Возможно, я и потружусь на пользу человечества, но им придется мне за это заплатить. Надо внести ясность: мне, именно мне, и *еще* раз мне, *и еще раз, и еще раз* мне — Джорджу Макрайтеру Фотэрингею!

Крупным планом его пылающее возбуждением лицо, на котором написана свирепая угроза, оно надвигается на зрителя.

ЧАСТЬ XVII

МИР ДЖОРДЖА МАКРАЙТЕРА ФОТЭРИНГЕЯ

Холл в доме полковника.

Мэйдиг и полковник в тревожном ожидании. Их взаимная неприязнь очевидна. Они не разговаривают. Полковник все еще не может прийти в себя и успокоиться из-за своей испорченной винтовки. Он снимает со стены несколько старых пистолетов и осматривает их. Стволы у них тоже оказываются заклепанными.

Мэйдиг мечется по комнате, что-то шепчет и жестикулирует, то и дело поглядывая на дверь, в которую должен войти Фотэрингей.

Входит Бэмпфилд и спрашивает:

— Случилось что-нибудь еще?

Полковник. Бог ты мой! Разве вам мало? Он потерял рассудок и очень опасен, а пули его не берут.

В другом конце холла открывается дверь, ведущая в кабинет, и появляется Фотэрингей. Лицо его мертвенно-бледно и возбуждено.

С угрожающим видом он медленно приближается к троим мужчинам. Они застыли на месте; чувствуется их огромное напряжение; они ждут, чтобы он заговорил первым.

Фотэрингей. Так вот, у меня родились собственные Идеи. Вашему старому миру конец. На смену придет Новый Мир Чудес. Это будет Мой мир!

Бэмпфилд. Конечно, Сила на вашей стороне, сэр, однако...

Фотэрингей. Будут возражения?

Бэмпфилд. Перемены, даже чудесные, могут оказаться чересчур резкими. Ведь существует же инерция.

Фотэрингей. А, собственно, что такое *Инерция*?

Бэмпфилд. Привычка жить по заведенному порядку. Даже машину вы не остановите сразу, *на полном ходу*.

Фотэрингей *(ухмыляясь)*. Вы забываете о чудесах.

Бэмпфилд. Можете считать, что я выдумываю лишние затруднения, но людям ко всему необходимо приспособиться. Вы должны дать им время. Не слишком торопитесь. Действуйте осмотрительно.

Фотэрингей. Чтобы никогда ничего не добиться! Нет уж. Мы начнем немедленно. Мир Джорджа Макрайтера Фотэрингея. Такой, о каком он мечтал. Какой ему рисовали и каким он себе представил его, когда начал задумываться о существующем порядке вещей.

Мэйдиг. Одно слово, сэр. Что́ бы вы ни думали о мистере Бэмпфилде, *меня-то* вы, надеюсь, считаете человеком прогрессивным? Прошу вас, прежде чем предпринять что-либо, составьте План. Без Плана не делается решительно ничего.

Фотэрингей *(морщится)*. *Какой такой* План?

Мэйдиг. Расчеты. Порядок действий. Творческие задачи.

Фотэрингей. План! Бесконечная болтовня! Колебания! Сомнения! А я хочу увидеть мой новый мир немедленно. Я хочу еще сам пожить в нем. Любоваться им, гордиться им, радоваться ему.

Бэмпфилд. Погодите. Пусть все идет своим чередом — хоть недолго.

Фотэрингей *(отвечает ему презрительной усмешкой)*. А ну, пусть этот дом превратится в огромный, великолепный дворец, и мы пусть окажемся в его огромном приемном зале. *Ну!*

Властный взмах руки.

Все четверо остаются на месте, а тесный холл, обшитый деревянными панелями, превращается в громадный и великолепный зал. Справа большие окна, через которые вливаются лучи заходящего солнца. Все, что за этим следует, должно быть грандиозно, ни в коем случае нельзя допустить пародии. Само здание может быть,

предположим, в стиле Стокгольмской Ратуши. Или лучше в духе Паоло Веронезе.

Фотэрингей. Неплохо, а? Архитектура делает успехи. Но, кажется, мы неподобающе одеты. А ну, пусть на каждом из нас будет богатая одежда, согласно его роли и положению, чтобы мы не выглядели здесь белыми воронами. Я буду принцем, Мэйдиг и Бэмпфилд — советниками, полковник — капитаном гвардии. Ну!

Превращение свершается. Костюмы могут быть в футуристическом стиле или в стиле Ренессанса, но не должны выглядеть смешными или нелепыми.

Фотэрингей. Ничего, вы скоро привыкнете быть капитаном гвардии, полковник. Но здесь что-то пустовато. А где ваше войско, полковник? Пусть его бывший полк прибудет сюда, одетый по всей форме. Ну-ка! *(Гвардия появляется.)* И пусть сюда явятся все эссекские дворецкие и лакеи в соответствующем платье. Под стиль архитектуре. Как и полагается в богатых домах. Так. Вот теперь я могу здесь творить. Есть где развернуться. Неплохо, верно? А вы и не думали, что я люблю размах? Считали, что, мол, раз я родился маленьким человеком, то таким должен и остаться? Но кому же нравится быть маленьким? Пусть здесь появится ручная пантера, нет, пусть две или лучше пять *ручных* пантер, слышите, действительно ручных. У меня всегда была слабость к пантерам. И несколько слонов вон там тоже не помешают. Пусть возникнут два слона, украшенные, как полагается, с погонщиками и всем прочим. *(Магический жест.)*

Фотэрингей. А теперь пусть явится сюда мисс Эйде Прайс в таком виде, как она была вчера вечером, когда я подарил ей тиару и сделал ее красавицей.

Появляется Эйде Прайс в облике Венеры-Клеопатры.

Фотэрингей. Эйде, голубка, как вам все это нравится?

Эйде *(оглядываясь по сторонам)*. О, и полковник Уинстенли здесь! Все так шикарно одеты! Прямо как в сказке. Наконец вы своего добились, Джордж. А где *Билл?*

Фотэрингей *(уязвлен)*. Вы и минуты не можете прожить без Билла.

Эйде. Просто я подумала, что здесь он был бы к месту. Все это в его стиле.

Фотэрингей (*пытаясь сдержать себя*). Нет, это в моем стиле, Эйде. (*Он размышляет.*) На чем же здесь сидеть? Пусть появятся два трона!

Троны появляются.

Эйде. Вы могли бы приготовить трон и для Билла.

Фотэрингей. Нет уж. К тому же этот трон не для вас. Станьте у подножия трона, Эйде,— вот где ваше место... Пусть Мэгги Хупер предстанет здесь в костюме королевы.

Появляется Мэгги. Мэйдиг, который уже начинает понимать, к чему идет дело, чувствует себя увереннней и делает шаг вперед.

Фотэрингей. Так вот, Мэгги, сейчас здесь начнется чудесное царствование Джорджа Макрайтера Фотэрингея. Что мы сделаем с этим миром?

Но Мэгги слишком потрясена, чтобы говорить.

Эйде. Только не делайте его скучным и благочестивым... А про Билла у меня вырвалось нечаянно, Джордж! Честное слово.

Фотэрингей (*непреклонно*). Сказанного не воротишь. Ну вот что. Таких, как вы, сколько угодно. Вы тут красуйтесь и ждите, пока я не обращу на вас свое внимание. А чтобы составить вам компанию, пусть появятся здесь пять самых хорошеньких после вас девушек в Дьюинтоне, тоже нарядно одетых. Но не слишком строго одетых... В моем мире будет множество хорошеньких женщин — сколько захочу.

Появляется группа девушек. На лицах у них написано изумление, они оглядываются и перешептываются, охваченные благоговейным страхом. Видя красоту других, каждая испытывает непреодолимое желание поглядеться в зеркало. Но только у одной есть маленькое зеркальце, и все просят его наперебой.

Мэгги. Милый Джордж, сделайте мир счастливым. Не делайте его эгоистичным и слишком парадным. Пусть и в самом деле начнется новая, великая эра.

Мэйдиг (*становясь все самоувереннней*). Начнем все сначала. Справедливость. Мир. Изобилие.

Фотэрингей (*Бэмпфилду*). Вы полагали, я не знаю, как это делается? Сейчас увидите. Спешить не

станем, но и медлить незачем. Я многое понял за эти три дня и теперь знаю что к чему.

Мэйдиг. Продумайте все. Посоветуйтесь.

Фотэрингей оборачивается к нему, жестом выражая что-то среднее между увещанием и насмешкой. Что ж, он посоветуется, но только по-своему.

Камера поворачивается, и теперь Фотэрингей виден сбоку: он стоит на верху бесконечной лестницы, а под ним — огромный пустой дворцовый парк. Его окружают Мэгги, Эйде, Мэйдиг, Бэмпфилд, полковник. По ходу действия появляются все новые советники. Крупным планом его темный профиль на фоне просторного, ярко освещенного зала для приемов.

Фотэрингей. Итак, пусть этот зал раздвинется, чтобы вместить всех людей, каких я намерен сюда вызвать. Пусть сюда явятся двести самых крупных банкиров и станут вон там. *(Появляется толпа удивленных джентльменов.)* Вот они. Теперь пусть явится тысяча управляющих и владельцев крупных фирм. *(Зал начинает заполняться.)* А теперь — правители, вершащие судьбы людей, короли и президенты, политические деятели и полководцы, и те, кто диктует свою волю газетам, и все, кто преподает и проповедует. Пусть явится их... м-м... пять тысяч. *Ну!*

Зал, простирающийся у его ног, быстро наполняется огромной толпой мужчин (среди них и несколько женщин) по большей части средних лет и респектабельной внешности. Есть тут священники в мантиях и военные в мундирах. Индийские лидеры. Китайские генералы. Японские — старого и нового режима. Словом, здесь собраны все деятели, перечисленные в английских, американских и других биографических справочниках. У всех самообладание людей, привыкших бывать в обществе и выступать перед толпой. Они прохаживаются, слегка ошеломленные, обмениваются приветствиями, вопросами и наконец замечают самого Фотэрингея. Их поднятые лица должны быть показаны слегка карикатурно. Наконец-то сливки мыслящего человечества обратили внимание на мистера Джорджа Макрайтера Фотэрингея.

Фотэрингей. Итак, мы собрались здесь для большого, серьезного разговора. Я самый обыкновенный человек, а вы властители мира. Мне говорили: надо поду-

мать, надо посоветоваться. Вот я и пригласил вас всех сюда! Всех! Очень даже просто. *(У него перехватывает дыхание, и он замолкает. Затем продолжает с напряжением.)* Итак, я собрал вас. Собрал вас всех. Всех, чьи портреты помещают в газетах, кто занимает самые высокие посты, кто всегда окружен толпой, кому рукоплещут, кого приветствуют! Я созвал всех, кто правит миром, чтобы сказать вам: правьте им лучше. Слышите... *(От волнения он повышает голос.)* ПРАВЬТЕ ИМ ЛУЧШЕ!

Пока звучит его речь, крупным планом мелькают лица выдающихся людей.

Фотэрингей *(помолчав, принимается выговаривать им)*. Вы и вам подобные всегда жили в роскоши. Мы вам *доверили* мир. Таким, как я, волей-неволей приходилось доверять вам. А вы чем нам отплатили? Что вы сделали для нас за то доверие, какое мы вам оказали? Наука творила чудеса и до меня. Было возможно полное изобилие. Так писали газеты. Так утверждали ученые. *Вы* были свободны и могли делать, что хотели. А что вы сделали для *нас*? Какова наша участь?

Протестующие лица и возгласы политических деятелей и журналистов. Какой-то экономист что-то объясняет жестами, слов не слышно.

Фотэрингей. О, я знаю. Мне следовало подождать. Подождать, пока из молодого и нищего я превращусь в старого и нищего. И я ждал... Долгие годы терпеть, пока вы прибираете все к рукам, и бездействовать. Вам-то что? Разве вы об этом задумывались? Очень вам надо! Но *теперь советую вам задуматься.*

Крупным планом группа возмущенных. Один из военных хватается за кобуру.

Фотэрингей *(указывая на него пальцем)*. Стрелять бесполезно. В меня *уже* стреляли. Больше не выйдет. Убийствам конец. Правду вам все равно не убить. Здесь я хозяин, им я и останусь! Я, Джордж Макрайтер Фотэрингей! Ваша Власть кончилась. Можете до поры до времени ходить, гордо задрав голову, напустив на себя важный вид, и выкидывать свои старые штучки, но, повторяю вам, ваша Власть кончилась. *(Показывает на заходящее солнце, которое видно в огромные окна.)* Это заходит *ваше* солнце. Для всех вас наступил закат. И вы

это знаете. Вы спросите: куда она денется, эта Власть? Она перешла *ко мне*, простому человеку, и уже довела меня до безумия; она перешла ко мне с помощью чуда.

Кадры, показывающие монолитную толпу, исполненную сосредоточенности. Затем снова профиль Фотэрингея и поднятая рука.

— А теперь вам придется потрудиться, и не теряйте времени. Создайте новый мир, в котором я буду счастлив. Объедините-ка усилия, все вы, Знаменитости, и попробуйте хоть однажды действительно *быть достойными* этого звания. Обсудите все по существу, всерьез. И сразу же, не откладывая. Что у вас там получилось с собственностью? Почему собственность — это проклятье почти для каждого из нас, а вовсе не основа нашего общего благополучия, как вы пытаетесь утверждать? У меня не было ничего. И я не знаю, что́ такое владеть собственностью. Но вы-то все *знаете*. Разве большинство из вас не употребляло ее во зло, захватив больше, чем ему нужно? Пытались вы хоть когда-нибудь внести в это дело ясность и навести порядок? И почему столько несчастий приносят деньги? Это все *ваши* махинации. А если и не ваши, то всяких там негодяев, которым вы потакаете. Словом, и вы причастны к этому. Вы вели друг против друга мелкую игру. Лучшая забава для вас. Деньги! Мистер Бэмпфилд называет их источником жизненных сил общества, а разве вы позаботились о его чистоте? Разве вы использовали свой досуг и преимущества, чтобы заставить деньги лучше служить людям? Нет и нет. А разве не могли вы покончить с войнами? Могли. Неужели сотня людей с твердой волей, что заседает в верхах и не боится чуть пошевелить мозгами, не могла за последние двадцать лет покончить с войной раз и навсегда? Впрочем, боюсь, вы слишком любите марши, шпоры и плюмажи. И вам нет дела до таких, как я! Вам лишь бы покрасоваться перед строем, когда все отдают вам честь. Неужели вы и впрямь забыли про таких, как я? Ничего подобного. У вас нет даже этого оправдания. Подумаешь, несколько траншей, полных убитыми! Вам *это* только придает уверенности и самомнения, так ведь?

Он замолкает и в подтверждение своих слов кивает головой.

На экране мелькают генералы, военные, несколько министров иностранных дел, фабриканты оружия и прочие. Они обмениваются вопросительными взглядами. Потом на экране снова Фотэрингей.

Фотэрингей. Ну-ка, быстро! Наведите-ка полный порядок, *быстро!* Понятно? Я жду. Никаких проволочек. Вам не дадут ни есть, ни пить и не выпустят отсюда, пока вы не наведете порядок в том хаосе, в котором жили сами и вынуждали жить меня с самого рождения. Вот все, что я хотел вам сказать. А если вы не выполните мои требования, я сотру вас с лица земли, как ребенок стирает мел с доски. Это мое последнее слово. Вот что накипело во мне с тех пор, как я прозрел. Вот чего требует Джордж Макрайтер Фотэрингей!

Мэйдиг *(Бэмпфилду).* Он совсем спятил.

Бэмпфилд *(Фотэрингею).* Но ведь им нужно время, чтобы обдумать все это.

Фотэрингей. Если я дам им время, они его все равно растратят попусту. У них было время, за которое сменились целые *поколения.* Поколения им подобных. А что они сделали? Чем были они заняты, когда я вызвал их сюда?

Бэмпфилд. Но это не делается сразу.

Фотэрингей. Должно быть сделано, и без промедления! Пусть будет мир добра и счастья. Мир разума. А потом, когда это будет осуществлено, мы посмотрим... *(Он бросает на придворных дам нежный взгляд.)* Посмотрим, что еще можно взять от жизни.

Бэмпфилд *(пытаясь убедить Фотэрингея и себя самого).* Но ведь существует инерция сил, движущих нашим обществом.

Фотэрингей. Инерция! Я всегда был противником инерции. Во *мне* уже созрели силы и жажда перемен. Мне осточертел ваш старый мир с его инерцией!

Мэйдиг. Подождите хотя бы до завтра. Уже закат солнца. Дайте им ночь на размышление.

Фотэрингей. Что за спешка с этим закатом солнца? Я могу и задержать его. Я желаю видеть мой новый мир сейчас же.

В разговор вступает новый советник, который оказался рядом:

— Не можете же вы остановить солнце, сэр!

Фотэрингей. *Что?* А я вам говорю — могу.

Новый советник. Нет, сэр. Тогда все планеты сорвутся со своих орбит и улетят во мрак космоса.

Фотэрингей. Вы рассуждаете, как какой-то банкир.

Новый советник. С вашего позволения, я профессор физики.

Фотэрингей. Все равно я *остановлю* солнце. У *меня* оно не зайдет, пока я не захочу лечь спать после того, как мы наведем порядок.

Новый советник. Но тогда вам придется остановить вращение Земли!

Фотэрингей. Что *я и намерен* сделать. И не спорьте со мной, Мэйдиг, никто пусть со мной не спорит. Хватит возражений! *(Он сжимает кулаки и топает ногой. Им овладевает неистовство.)* Слушай, Земля, *сейчас же* перестань вертеться! Ну! Стоп!

Музыка, которая звучит все тревожней, переходит в глухой рокот; все вокруг трепещет и содрогается. На экране мелькают беспорядочные полосы. Рокот сменяется бурным потоком звуков, и вот снова звучит та же величественная музыка, что и в Прологе.

ЧАСТЬ XVIII

В ПОСЛЕДНИЙ МИГ

Вселенная, усыпанная звездами. На фоне звезд появляются те же три гигантских Всадника, что и в начале фильма. Игрок сидит и смотрит вниз на Землю. Двое других выглядывают из-за его плеча. Притихшая было музыка опять звучит рокочущим крещендо.

Игрок. Что произошло?

Наблюдатель. Он остановил вращение Земли!

Равнодушный. Неужели вот так, сразу?

Наблюдатель. Да.

Равнодушный. Значит, теперь все разлетелось, движимое собственной инерцией,— вот вам и конец ваших глупых любимцев и их глупой планетки. Какая нелепость! Ну, что я вам говорил? Все кончено. Пошли!

Игрок. Нет, нет. Еще не все кончено. *Он* еще жив, и жизнь его удивительна. Согласно его воле.

Наблюдатель *(наклоняясь ниже)*. Готово! Нет, мимо! Опять мимо. Чуть его не прихлопнуло. Что и говорить, диво, а не жизнь.

Смещение: на какой-то миг фильм делается отвлеченным. Замедленная съемка, в результате все на экране мчится стремглав. В музыке звучит волнение, тревога, смятение, она оглушает. Перед глазами зрителя настоящий ливень, Ниагарский водопад, все летит: деревья, дома, машины, корабли, вода, железнодорожные мосты, целые горы проносятся в воздухе. Стихии тоже разбушевались. Рев урагана. Мечущиеся рваные облака, гигантские сполохи и зигзаги молний. Музыка неистово грохочет.

Виден Фотэрингей, летящий вверх тормашками в этом вихре предметов. Он двигается рывками. Придворный слон чуть не сбивает его. Огромный обелиск проносится совсем рядом... Издалека слышится голос Наблюдателя:

— Готово. Нет, мимо.

Раздается прерывающийся голос Фотэрингея:

— Пусть все будет... так же... как было... за минуту до того... как я вошел в «Длинный дракон».

Все мгновенно останавливается. Затем все предметы делают поворот, словно корабли в море, и устремляются вниз черными и серыми линиями, которые, закрутившись вихрем, тут же превращаются в провинциальный городок, тот самый, какой зрители видели в начале второй части. Вот улица, на которой расположен «Длинный дракон». Перед дверью кабачка мы видим Фотэрингея. Он стоит, почесывая в затылке. Глядит на небо. Неужели это был сон?

— Постойте, постойте. Еще не все кончено. Ох, уж эти чудеса! Ежели я и впрямь их *творил*, пусть после слова НУ я никогда больше не смогу это делать. Хватит чудес. Надо забыть об этом. Забыть. Выкинуть из головы, раз я не в силах управлять ими. *Ну!*

Над его головой появляется черная столпообразная, трепещущая тень, через которую в него проник чудесный дар, она чуть колышется в своем мрачном величии и уносится ввысь.

ЧАСТЬ XIX

ВЫСШИЕ СИЛЫ ВЫНОСЯТ ПРИГОВОР

И снова те же три гигантских Всадника, что и в Прологе.

Равнодушный. Итак, у него больше нет этого дара. Он сам отказался от него.

Наблюдатель. А перед тем разрушил свой мир. Твоя глупая планетка, Брат, была на краю гибели. Взгляни на них. Никто там и не подозревает, что всего минуту назад он несся с остальными в бездну, был стерт с лица Земли и снова возрожден с помощью чуда.

Равнодушный. Да что они понимают! Он же сказал: «Надо забыть все». Ну, что дал ваш опыт, Брат? Каково ваше мнение об этом представителе рода человеческого? Ничего, кроме самоуверенности и самой обыкновенной похоти. Да еще немножко мстительности, когда его рассердили. Вот все, на что способны эти существа, и так будет вовеки. Чего вы от них добьетесь?

Игрок. Они совсем недавно были обезьянами. Надо дать им время.

Равнодушный. Кто был обезьяной — обезьяной и останется.

Игрок. Ты говоришь, в них нет ничего, кроме самоуверенности и похоти? Нет. В каждом чувствовалось что-то большее. Словно сверкающая крупица золота, затерянная в песке. Вспомните хотя бы этот взрыв негодования, когда они столкнулись с ложью и злом. Это прекрасно. Низкий неспособен негодовать. Потому-то они меня и интересуют.

Наблюдатель. Их негодование всегда эгоистично. Они пребывают в хаосе. Они созданы из хаоса. И для хаоса. Они часть хаоса. Им никогда не вырваться из хаоса.

Игрок. А что, если я дам им силу не вдруг, а постепенно? Если я вдохну в их хаос мысль и мудрость, чтобы они двигались вперед, не отставая от своей растущей силы? Предоставлю им развиваться не спеша? Из века в век. Позволю крупицам золота сплавиться воедино.

Равнодушный. А кончится тем же. Все эти разговоры об инерции, о постепенном развитии вместо внезапных перемен — ерунда. Все кончится печально.

Игрок. Нет. Все изменится.

Равнодушный *(скептически)*. Ты не согласен? Опять не согласен!

Игрок. Вернемся сюда через какие-нибудь сто лет, и вы увидите...

ЧАСТЬ XX

DA CAPO[1]

И снова кабачок «Длинный дракон» в Дьюинтоне. Сначала экран ярко освещен. Все пронизано светом звезд, которые постепенно гаснут и исчезают.

Действующие лица те же и в тех же позах, что и во второй части, когда Фотэрингей сказал: «Я называю чудом то, что свершается по чьей-либо воле *вопреки* естественному ходу вещей,— то, что без этой воли никогда не свершилось бы».

Тодди Бимиш. Это *ваше* личное мнение.

Фотэрингей. Но надо же как-то определить, что такое чудо. *(Обращается к велосипедисту.)* А как *ваше* мнение, сэр?

Велосипедист вздрагивает, откашливается и молча выражает согласие.

Фотэрингей обращается к Коксу, хозяину.

Кокс. Нет, нет, меня от этого увольте!

Тодди Бимиш. Ладно, согласен. Вопреки естественному ходу вещей. Пусть так. Ну, а дальше что?

Фотэрингей *(продолжая развивать свою мысль)*. Пример. Вот вам чудо. Будет эта лампа, согласно естественному ходу вещей, продолжать гореть, если ее перевернуть вверх дном? Ведь нет, а, мистер Бимиш?

Тодди Бимиш. *Вы* сами и говорите нет.

Фотэрингей. А вы? Ха! Не станете же вы утверждать обратное?

Тодди Бимиш. Нет. Не будет.

Фотэрингей. Прекрасно. Но вот является некто, ну, хоть я, например, становится здесь, вот так

---

[1] Da Capo *(итал.)* — сначала.

же, как я, и говорит лампе, вот как я, собрав всю свою силу воли и, учтите, без всяких фокусов: «Перевернись вверх дном, приказываю тебе, но не падай и продолжай гореть!» *(Молчание.)* Вот видите, ничего не произошло.

Кокс. Ничего и *не могло* произойти. Это было бы нелепо.

Фотэрингей. Совершенно верно. Но ведь чудеса и есть нелепость.

Мисс Мэйбридж *(перетирая бокалы)*. И все-таки мне иногда так хочется уметь творить чудеса.

Фотэрингей *(опираясь о стойку)*. Интересно, что бы *вы* сделали, если б могли творить чудеса?

Мисс Мэйбридж. О, массу замечательных вещей. *(Короткое молчание.)*

Тодди Бимиш. А я бы постарался улучшить наш мир. В разумных пределах, конечно.

На миг каждый задумывается о своем.

Фотэрингей *(сосредоточившись, жестикулирует, будто хочет свершить чудо, но ничего не выходит)*. Кое-что мне все-таки хотелось бы сделать.

Тодди Бимиш. Но такой возможности у вас никогда не будет.

Фотэрингей *(навалившись на стойку, уныло кивает головой)*. Да, такой возможности у меня уже никогда не будет... никогда. *(Крупным планом его лицо — он словно силится вспомнить что-то и не может.)* Никогда.

Он поднимает было руку, но тут же роняет ее. Музыка звучит громче, опять появляется лейтмотив чуда, но потом бессильно замирает, словно со вздохом. Медленное затемнение.

1936

Игрок в крокет

1

КРОКЕТИСТ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЧИТАТЕЛЮ

Мне пришлось беседовать с двумя необычными субъектами, из-за которых я утратил душевный покой. Едва ли будет преувеличением сказать, что они заразили меня чрезвычайно странными и неприятными мыслями. Мне хочется поделиться с вами тем, что я от них услышал, мне это нужно самому, чтобы как-то разобраться в путанице своих переживаний. То, что они рассказали, фантастично и несуразно, но если я изложу это на бумаге, у меня будет легче на душе. Более того, мне хочется изложить все это связно, по порядку — тогда, быть может, кто-нибудь из доброжелательных читателей сможет убедить меня, что история, рассказанная мне этими двумя субъектами,— сплошная выдумка.

Это было нечто вроде истории о привидениях. Но история не совсем обычная. Тут гораздо больше реалистических подробностей, поэтому она не забывается и волнует несравненно больше, чем прочие россказни такого рода. Это не сказка о каком-нибудь доме с привидениями, или о кладбище с призраками, или о чем-нибудь столь же ничтожном. Привидение, о котором мне рассказали, было куда страшнее: под его властью находилась целая округа; началось со смутного беспокойства, которое сменилось страхом; мало-помалу это ощущение становилось все сильней и неотвязней. Оно непрерывно росло. И наконец перешло в сплошной, беспросветный ужас. Не по душе мне эти духи, которые

распространяются и хотят заполонить все вокруг, пусть даже это одно воображение. Но, пожалуй, лучше мне начать сначала и рассказать все по порядку, как я это слышал сам.

Прежде всего несколько слов о себе. Конечно, я предпочел бы не говорить о себе, но без этого вы вряд ли поймете мою роль. Я, пожалуй, один из лучших крокетистов нашего времени и могу сказать это без ложной скромности. Кроме того, я первоклассный стрелок из лука. Тем и другим может быть лишь человек дисциплинированный и уравновешенный. Многие считают меня — я это знаю — несколько смешным и изнеженным по той причине, что моя любимая игра — крокет; это говорят у меня за спиной, а иногда и прямо в глаза; и, должен сказать, бывали минуты, когда я сам готов был с этим согласиться. Однако многие меня любят, все ласково называют меня Джорджи, и в общем я себе нравлюсь. Каких только людей нет на свете, и я не нахожу нужным прикидываться человеком обычным, когда в действительности я не таков. В определенном смысле я, без сомнения, неженка; однако я умею сохранять хладнокровие и присутствие духа во время игры, и деревянный шар у меня похож на дрессированное животное. А на теннисном корте я привожу в слепую ярость самых свирепых игроков. К тому же я не хуже любого профессионала проделываю фокусы, требующие ловкости рук, известной смелости и полного самообладания.

В сущности говоря, многие спортивные знаменитости, рекордсмены, азартные игроки и прочие гораздо больше мне сродни, чем они могли бы подумать. В их притязаниях на мужественность немало лицемерия. В глубине души они такие же смирные, ручные зверьки, как и я. Они прячутся от жизни. Я допускаю, что хоккей больше сродни гладиаторским боям, чем мой излюбленный спорт, что авиация и автомобилизм представляют больше опасностей, а карточная игра больше волнует; но, по-моему, все эти виды спорта так же далеки от действительности, как мой крокет. Ведь риск лежит за пределами действительности. И эти люди, подобно мне, всю жизнь занимаются делом безобидным и бесплодным.

Нельзя не признать, что моя жизнь была исключительно бедна событиями. Я родился слишком поздно, чтобы принять участие в мировой войне, и жил спокойно, окруженный комфортом. Воспитывала меня тетка, сестра отца, мисс Фробишер — та самая мисс Фробишер, активная участница всемирного женского гуманистического движения, и лишь взрослым я понял, что воспитание мое было — как это ни парадоксально звучит — в высшей степени банальным. Моя жизнь состояла из запретов и ограничений. Меня приучили сохранять спокойствие, быть учтивым и не выказывать своих чувств при всякого рода неожиданностях. А главное—считаться только с тем, что общепризнанно, и соблюдать приличия.

Тетка взяла меня к себе трехлетним ребенком, когда мои родители разошлись, и с той поры уже не расставалась со мной. Эта женщина, надо откровенно сказать, глубоко ненавидит и презирает все, что связано со взаимоотношениями между мужчиной и женщиной; дурной поступок моих родителей — газеты в ту пору печатали подробные отчеты о бракоразводных процессах,— а также некоторые подробности этого дела до крайности ее шокировали. Когда я поступил в школу в Гартоне, она поселилась поблизости, чтобы я мог жить дома, так же поступила она и позже, когда я учился в Кибле. Вероятно, у меня от природы были задатки неженки, и благодаря такому воспитанию они развивались.

У меня мягкие руки и слабая воля. Я предпочитаю избегать важных решений. Тетушка никогда со мной не расставалась, она на каждом шагу окружала меня безграничной материнской любовью, избаловала меня и не приучила к самостоятельности. Впрочем, я не осуждаю ее и даже не слишком об этом жалею. Такими уж мы созданы. Она была богата, всю жизнь могла делать что хотела и помыкать другими, я благодаря ей чувствовал себя обеспеченным и мог ни о чем не заботиться. До поры до времени нам жилось легко. Подобно большинству знатных и богатых людей, мы принимали как должное и свое привилегированное положение, и подобострастие слуг, и всеобщую благосклонность. Вероятно, многие сотни тысяч людей, так же обеспеченных материальными благами, как мы, принимают это как нечто само собою разумеющееся.

«Чем бы нам заняться? — спрашиваем мы.— Куда бы поехать?» Мы вольны поступать, как нам нравится. Мы сливки человечества.

У нас собственный дом на Аппер-Бимиш-стрит, в скромном местечке в Хэмпшире, и мы частенько путешествуем. Моя тетушка, как известно многим, женщина весьма темпераментная — конечно, отнюдь не в предосудительном смысле,— и порой мы воспламеняемся энтузиазмом ко всемирному женскому гуманистическому движению (я, впрочем, никогда толком не понимал, что это за движение) и разъезжаем по всему земному шару, где только есть в гостиницах номера с ванной, на чем тетка всегда настаивала, «устанавливая контакты» до тех пор, пока у тетушки не произойдет каких-нибудь неприятностей на почве выборов в комитет; после этого на год или на два мы забываем о всемирном женском гуманистическом движении и гоняем шары по крокетным площадкам в обществе чемпионов или же завоевываем почетные значки искусной стрельбой из лука. Мы оба очень сильны в этом искусстве, и художник Уилмердингс даже изобразил мою тетушку в образе Дианы. Но особенно сильны мы в крокете. Мы, наверное, были бы чемпионами, если бы не гнушались рекламы и вульгарности. Кроме того, мы неплохо играем в теннис, а в гольф, пожалуй, похуже; но в теннисе теперь разбираются решительно все, так что мы не любим, когда зрители смотрят на нашу игру; гольф же дает возможность общаться с самыми разнообразными людьми. Иногда мы просто отдыхаем. Недавно мы отдыхали в Ле Нупэ после крайне неприятного съезда представительниц женского гуманистического движения в Чикаго. (Чем меньше мы скажем об этих американских делегатках, тем лучше; но тетка моя вполне им под стать.)

Полагаю, что теперь вы получили достаточно ясное представление обо мне и о моем образе жизни. В Ле Нупэ были две прекрасные площадки для гольфа, и, кроме того, мы нашли отличного секретаря-стенографистку, которая вела обширную корреспонденцию тетки, связанную с женским движением, а главное — с процессом против миссис Глайко-Хэрриман, допустившей против нее клеветнические выпады; утром секретарша стенографировала, днем переписывала это на машинке, а после

чая приносила письма для просмотра. Там нашлось несколько довольно милых людей, с которыми приятно было непринужденно поболтать. До завтрака, а иногда и после завтрака — крокет, в восемь вечера — обед. В бридж мы играем только после обеда, это — наше нерушимое правило.

Таким образом, у меня оставалось немало свободного времени, пока тетка писала свои письма, заносчивые и саркастические, как могло бы показаться человеку, не знающему ее нрава; с утра я отправлялся на прогулку, поднимался на гору, к источникам Пероны, где я пил воды не столько для здоровья, сколько для развлечения, а потом сидел, предаваясь блаженной праздности, на террасе отеля «Источник», стараясь заглушить чернильный привкус лечебной воды различными прохладительными напитками. Моя тетушка — убежденная трезвенница; но за последние годы я понял, что, если я стану в таких делах следовать своим собственным вкусам, это будет и приятней и полезней для нас обоих. Я хочу сказать, что тогда я делаюсь общительнее.

Думаю, что я достаточно подробно рассказал о себе, и теперь, с вашего разрешения, отступаю, так сказать, на задний план — или, вернее, удаляюсь в тень,— чтобы познакомить вас с первым из двух чудаков, с которыми я встретился на террасе отеля в Пероне.

2

СТРАХИ НА КАИНОВОМ БОЛОТЕ

Я впервые увидел доктора Финчэттона на террасе, где, жуя булочку, потягивал безобидный вермут с сельтерской водой. Доктор Финчэттон сидел через столик от меня и яростно расправлялся с книгами, взятыми из местной библиотеки. Он раскрывал их одну за другой, прочитывал несколько страниц, потом, что-то сердито бормоча, швырял книгу наземь с пылкостью, которая привела бы библиотекарей в отчаяние. Подняв голову, он встретил мой укоризненный взгляд. Он посмотрел на меня, потом улыбнулся.

— Десятки книг,— проговорил он,— сотни книг — и ни одной стоящей! Все они никуда не годятся!

В его негодовании было что-то комическое.

— Зачем же вы их читаете? — спросил я.— Чтение засоряет память и мешает думать.

— Это как раз мне и нужно! Я приехал сюда для того, чтобы перестать думать — и забыть. Да вот никак не могу! — В голосе его, чистом и звонком, послышались гневные нотки.— Одни из этих книг скучны, другие раздражают. А иные даже напоминают мне о том, что я стараюсь забыть!

Перешагнув через груду отвергнутых томиков, он направился ко мне с графином и бокалом и, не дожидаясь приглашения, сел за мой столик. Он поглядел мне в глаза с приветливым и слегка насмешливым выражением. Я знаю, что для тридцатитрехлетнего мужчины слишком похож на херувима, и было совершенно ясно, что он обратил на это внимание.

— А вы много думаете? — спросил он.

— Порядочно. Почти каждый день отгадываю кроссворды в «Таймсе». Я часто играю в шахматы, главным образом по почте. И неплохо играю в бридж.

— Я не об этом. Думаете ли вы всерьез о том, что вас мучает и угнетает, о том, что вы не можете объяснить?

— Меня ничто не угнетает.

— Вы интересуетесь ду́хами и привидениями?

— Не очень. Я не из тех, кто верит в духов, но не могу сказать, что я в них не верю. Вы меня понимаете? Я их никогда не видел! Полагаю, что в пользу спиритизма можно привести немало доводов, хотя в этой области шарлатанства хоть отбавляй. Мне кажется, спиритам удалось доказать, что существует бессмертие, и это хорошо. Моя тетушка, мисс Фробишер, такого же мнения. Но столоверчение, спиритические сеансы и прочее — это, по-моему, дело специалистов.

— А что если бы вы обнаружили, что вас окружают духи?

— Со мной такого не бывало.

— Ну, а здесь ничто не вызывает в вас беспокойства?

— Где? — спросил я.

— Здесь,— повторил он и указал на спокойное море и мирный небосклон.

— Да что же здесь может быть такого?

— А все-таки?

— Ничего не замечаю.

— Завидую вашей невосприимчивости... или невозмутимости! — Он допил бокал и потребовал еще пол-литра вина. То ли потому, что он не разбирался в винах, то ли по особому пристрастию, он пил простое красное вино.— Разве вы не чувствуете, что тут что-то есть? Какая-то опасность?

— В жизни не видел ничего безмятежнее. На небе ни облачка.

— А я бы этого не сказал... У меня были мучительные переживания. До сих пор не могу успокоиться. Странное дело! Вы ничего не чувствуете. Может быть, я стал так восприимчив после того, как это произошло...

— А что, собственно, произошло?

— Если хотите, я с удовольствием вам расскажу... Это, знаете ли, целая история.

— Пожалуйста,— сказал я.

И он начал рассказывать. Сперва рассказ его был довольно бессвязен, но потом дело пошло более гладко. Не то чтобы он хотел поделиться именно со мной, просто ему нужен был слушатель, и он сам желал услышать, как это прозвучит. Я почти не перебивал его.

Может быть, я напрасно с ним разговорился. Я даже не знал, кто он такой. Он не назвал себя, и мне пришлось спросить его имя. В нем было что-то чудаковатое; я совершенно забыл, что большой дом, стоявший на холме, высоко над городом, был лечебницей для душевнобольных — психотерапевтическим институтом, как выражаются теперь,— и мне следовало улизнуть под каким-нибудь предлогом, прежде чем он приступил к рассказу.

Но в нем не было ничего подозрительного. Ни его манеры, ни внешность не были странными. Казалось, он измучен бессонницей, под глазами темные круги, но в остальном он ничем не отличался от других. На нем был самый обычный серый костюм, цветная рубашка и скромный галстук. Галстук был повязан несколько косо, но это пустяки. Многие мужчины не умеют повя-

зывать галстук как следует, хотя мне трудно представить себе, как могут они с этим примириться. Повязать галстук правильно вовсе не трудно. Мой новый знакомец был худощав и довольно красив; у него был, что называется, чувственный рот, прикрытый короткими усиками. Он сидел, подавшись вперед и упрятав скрещенные руки под грудь, как прячет кошка свои передние лапы. Говорил он, пожалуй, слишком увлеченно, хотя и старался себя одергивать. Так как до возвращения в Ле-Нупэ у меня оставался еще добрый час, я предоставил ему говорить, не перебивая его.

— Сначала,— говорил он,— я думал, что все дело в болотах.

— В каких болотах?

— В Каиновом болоте. Вы слышали о Каиновом болоте?

В школе я был довольно силен в географии, но такого названия припомнить не мог. Мне, однако, не хотелось сразу сознаться в своем невежестве. Что-то казалось мне знакомым. «Болото» как будто давало какую-то нить. Перед моим взором смутно маячили трясины, бесконечные топи, низко нависшее небо, серые, прелые соломенные крыши, пришвартованные старые лодки и полчища гудящих комаров.

— Рассадник малярии и ревматизма,— сказал он, словно в ответ на мои мысли.— Я купил себе там практику... Простите за эти подробности о себе. Сделал я это отчасти потому, что запросили с меня удивительно мало, а при моих ограниченных средствах мне нужен был какой-нибудь заработок, отчасти же потому, что мне хотелось оставить клинику и Лондон и дать отдых голове. Я приехал туда измученный и разочарованный. Работа на первый взгляд показалась легкой. Конкуренции там, среди болот, в сущности, не было, если не считать так называемого «Острова», куда иногда заезжают на своих автомобилях врачи из ближайшего города. Зато в приходы, расположенные у окрестных холмов и среди солончаков, они никогда не заглядывают, разве что их вызовут туда на консилиум. Пришлось приступить к практике, хотя у меня не было достаточной квалификации, так как я нуждался в спокойной обстановке... Я отказался от мысли добиться ученой степени.

Он помолчал, видимо, подыскивая слова.

— Вы заболели?— попытался я прийти к нему на помощь.— Почему вы оставили клинику, не кончив курса? Простите, что я задаю вопросы, но вы не похожи на человека, который мог бы провалиться на экзаменах.

— Я не провалился. В сущности, во мне честолюбия даже больше, чем следует. Вероятно, я слишком напряженно работал. И слишком много размышлял над различными вопросами. Политикой я интересовался живее, чем большинство наших студентов-медиков. Меня очень волновали вопросы общественной справедливости и вопрос о войне. О войне — особенно. Я работал сверх сил. Возможно, у меня были слишком тяжелые переживания. Да... да, это несомненно. В конце концов утренняя газета могла так меня взбудоражить, что я целый день не в состоянии был работать.

Надо сказать, что нервы мои были в постоянном напряжении с самого начала учебы. Признаю это. Я не любил анатомировать; не любил всех этих больных в палатах. Одно возбуждало во мне жалость, другое ужасало.

Я согласился с ним.

— Медицина и меня всегда приводила в ужас. Я бы этого не вынес!

— Но ведь врачи необходимы людям,— возразил он.

— Во всяком случае, я не стал бы врачом. За всю свою жизнь я видел не больше трех покойников, да и те мирно лежали в постели.

— Ну, а на дорогах? Когда ездишь на автомобиле, вечно видишь ужасные зрелища.

— Мы никогда не ездим в автомобиле. Все здравомыслящие люди от этого отказались.

— Вы, как я вижу, с детства избегали уродливых сторон жизни. Ну, а я нет. Я сразу очутился в самой ее гуще, когда избрал медицину. Я думал о добре, которое мог сделать, и никогда не думал о мрачных сторонах действительности. Вы избежали этого. Я же сперва не пытался избежать, а потом отступил. Когда я приехал в те места, у меня было такое чувство, что я убежал от жизни. Там, говорил я себе, никогда не будет ни войны, ни бомбежки. Там я смогу прийти в себя. Там будут только обыкновенные больные, которым я смогу ока-

зать действительную помощь. Каиново болото лежит в стороне от больших дорог. Там не будет даже пострадавших от автомобильных катастроф, на которых порой жутко смотреть. Вы меня понимаете? Каиново болото казалось мне лучшим местом на свете, и мне было приятно приехать туда летом, когда распускаются полевые цветы, когда порхают сотни бабочек и стрекоз и всюду щебечут птицы, а по реке плавают удобные лодки, на которых приезжают туристы и рыболовы с семьями. Я рассмеялся бы, если бы мне сказали, что я попаду в страну привидений!

Я принял все меры, чтобы успокоить нервы. Я не выписывал газет. Я довольствовался краткими еженедельными обозрениями с диаграммами вместо иллюстраций. Я не раскрывал книг, написанных после Диккенса.

Местные жители показались мне вначале туповатыми и скрытными, но добродушными. Ничего подозрительного я в них тогда не заметил. Старик Роудон, викарий церкви Святого Креста в Слэкнессе, стоявшей на краю равнины, рассказал мне, что жители, спасаясь от лихорадки, потихоньку злоупотребляют наркотиками и что он склонен считать их дружелюбие притворным. Я сразу же после приезда пошел засвидетельствовать ему свое почтение. Это был пожилой человек, туговатый на ухо; в Слэкнесс он переехал по болезни, поменявшись с другим священником. Церковь и его дом вместе с еще несколькими домишками приютились, так сказать, на холме, напоминавшем спину крокодила; вокруг росли вязы. Сомневаюсь, собирались ли на его проповеди хоть два десятка прихожан. Он был не слишком словоохотлив, его старая, сгорбленная жена и того меньше; у него были камни в печени и язва на ноге, но больше всего неприятностей ему, кажется, доставлял новый священник, сторонник «высокой церкви», недавно прибывший в соседний приход Марш Хэверинг. Сам он, по-видимому, принадлежал к «низкой церкви» и склонялся к кальвинизму; но первое время я не мог понять, почему он говорит о своем более молодом собрате с такой опаской и с таким возмущением. Дворянских поместий на Каиновом болоте не было, население, если не считать ветеринара, нескольких учителей начальной школы, трактир-

щиков и содержателей гостиниц в окрестностях Бикон Несса, состояло исключительно из фермеров и сельскохозяйственных рабочих. У них не было ни фольклора, ни песен, ни кустарных изделий, ни местных костюмов. Трудно представить себе почву, менее подходящую для каких бы то ни было психических явлений. И все же, знаете...

Он нахмурился и продолжал рассказывать ровным голосом, словно стараясь выразиться как можно ясней и заранее отвечая на возможные возражения с моей стороны:

— В конце концов... Жизнь там такая тихая, простая, невозмутимая... Может быть, именно потому все, что скрывается в глубине, все, что осталось бы незаметным в менее серой и скучной обстановке, там выплывало наружу, действовало на воображение.

Он помолчал, выпил бокал вина, задумался, потом продолжал:

— Тишина в тех местах удивительная! Иногда я останавливал автомобиль на извилистой дороге, проходящей по дамбе, и долго стоял, прислушиваясь, прежде чем двинуться дальше. Было слышно, как блеют овцы на лиловых холмах в четырех-пяти милях от меня, иногда доносился далекий крик водяной птицы, резкий, похожий на вспышку неонового света среди безмолвной лазури неба, или шум ветра и морских волн у Бикон Несса, до которого был добрый десяток миль, и тогда мне казалось, что я слышу сонное дыхание земли. Ночью, разумеется, звуков было больше: вдалеке выли и лаяли собаки, свистали коростели, какие-то твари шуршали в камышах. Но и ночью бывает порой гнетущая тишина...

Первое время я не придавал значения тому, что местные жители, такие бесчувственные с виду, потребляют все больше снотворных лекарств и опиума, а число самоубийств и таинственных преступлений, в отличие от преступлений с ясными и легко объяснимыми мотивами, в этой округе исключительно велико и возрастает на глазах. Хотя, конечно, в округе с таким маленьким населением одно-два убийства уже составляли значительный процент от общего числа преступлений. Встречая местных жителей днем, я не замечал в их облике ничего злодейского. Они не смотрели в глаза, но, может

быть, таково было их представление о благовоспитанности. А ведь за последние пять лет на Каиновом болоте были совершены три, если не больше, чудовищных убийства, видимо, дело рук родичей и соседей, причем в двух случаях преступников найти не удалось. Третий преступник был братоубийцей. Когда я заговорил об этом с викарием, он буркнул что-то насчет «дегенератов, которые женятся только между собой», видимо, не желая обсуждать эту неприятную и малоинтересную для него тему.

Странная и тягостная обстановка на Каиновом болоте не замедлила сказаться: у меня началась бессонница. Раньше я спал превосходно, но не прошло и двух месяцев после моего приезда, как сон мой стал тревожным. Я просыпался, охваченный странным беспокойством, меня без всяких причин мучили кошмары. Раньше мне никогда не снилось ничего подобного. Мне грозили, меня подстерегали, выслеживали, преследовали, я отчаянно дрался, обороняясь, и просыпался с криком,— знаете, как жалобно кричат люди во сне,— весь в поту, дрожа всем телом. Порой сны бывали до того жуткими, что я боялся уснуть снова. Я пробовал читать, но никакая книга не могла рассеять мое беспокойство.

Стараясь избавиться от этого тревожного состояния, я испробовал все средства, какие обычно приходят в голову молодому врачу, но ничто не помогало. Я соблюдал диету. Делал гимнастику. Вставал ночью с постели, одевался и шел гулять пешком или ехал в автомобиле, преодолевая страх. Ночные кошмары продолжали преследовать меня и днем. Ощущение кошмара окутывало меня, и я не в силах был его стряхнуть. Это были сны наяву. Никогда еще я не видел такого зловещего неба, как во время этих ночных прогулок. Я пугался каждой тени, чего со мной не бывало даже в детстве. Иногда по ночам я громко кричал, тоскуя по дневному свету, как человек, задыхающийся в запертой камере, молит о глотке воздуха.

Эта бессонница, естественно, начала подрывать мое здоровье. Я стал нервным, склонным к фантазиям. Я стал замечать за собой галлюцинации, похожие на те, какие бывают при белой горячке. Но они были еще страшней. Иногда я внезапно оборачивался, испытывая

ощущение, что у меня за спиной бесшумно крадется собака, готовясь броситься на меня; или же мне мерещилось, что из-под чехла кресла выползает черная змея.

Появились и другие симптомы потери душевного равновесия. Я поймал себя на том, что подозреваю врачей «Острова» в заговоре против себя. Какие-нибудь незначительные мелочи, досадные пустяки, нарушения профессиональной этики, мнимые обвинения разрастались у меня в воображении, словно я был одержим манией преследования. Я с трудом удерживался от желания писать дурацкие письма, бросать вызов или требовать объяснений. Потом мне стали казаться зловещими молчание и жесты некоторых моих пациентов. Я сидел у постели больного, и мне мерещилась какая-то враждебная суетня, злобные перешептывания за дверью.

Я не понимал, что со мной творится. Я старался вспомнить, не было ли у меня какого-нибудь нервного потрясения, но не мог ничего припомнить. Все это осталось позади, в Лондоне. Температура и самочувствие у меня были нормальные. Но ясно было, что я никак не могу приспособиться к новой среде. Каиново болото обмануло мои ожидания. Оно не принесло мне исцеления. Но необходимо было взять себя в руки. Весь свой небольшой капитал я вложил в эту практику, и приходилось держаться за нее. Мне некуда было деваться. Надо было сохранить самообладание, мужественно встретить эту напасть и побороть ее, прежде чем она доконает меня.

Но только ли во мне дело? Неладно ли только с моим здоровьем, или же виновата обстановка? Преследуют ли кошмары и галлюцинации и других местных жителей, или же это бывает лишь с приезжими и потом проходит? Быть может, это должен испытать каждый? Быть может, это своего рода акклиматизация? В расспросах мне приходилось быть осторожным: врачу нельзя признаваться, что он нездоров. Я стал наблюдать за своими пациентами, за своей старой служанкой, за всеми, с кем мне приходилось общаться, искал симптомов, подобных моим. И я нашел то, что искал. Под внешним тупым безразличием в этих людях таилось глубокое беспокойство! Их, как и меня, преследовал страх. Страх привычный, укоренившийся. Но при этом какой-то неопределенный. Они страшились неведомого. Этот страх в любое

мгновение мог перейти на что угодно и перерасти в непреодолимый ужас.

Приведу вам несколько примеров.

Как-то вечером одна из моих пожилых пациенток оцепенела от ужаса, увидев какую-то тень в углу; когда я придвинул свечу и тень заколебалась, старуха громко вскрикнула.

— Но ведь тень не может причинить вам никакого вреда,— стал я ее убеждать.

— Я боюсь! — отвечала она, и это был ее единственный довод. Не успел я остановить ее, как она схватила часы, стоявшие у нее на ночном столике, швырнула их в черную, жуткую пустоту и с головой накрылась одеялом. Должен признаться, что на минуту я остолбенел, уставившись в угол, на разбитые часы.

В другой раз я видел, как один фермер, охотясь на зайцев, вдруг остановился, с ужасом оглядел трепетавшее на ветру воронье пугало, не замечая меня, вскинул ружье и выстрелом разнес в клочья безобидное чучело.

Все поголовно боялись темноты. Я убедился, что моя старая служанка после сумерек не решается выйти даже к почтовому ящику, который был в каких-нибудь ста шагах от дома. Она приводила всевозможные отговорки, когда же ее припирали к стенке, просто отказывалась идти. Мне приходилось самому вынимать письма или ждать до утра. Я узнал, что даже влюбленные парочки не выходили из дому после заката солнца.

Не могу передать,— продолжал он,— как это ощущение жути овладело мной и мало-помалу усиливалось; оно так захватило меня, что стоило ветру хлопнуть ставнем или угольку выпасть из камина, как я вздрагивал.

Я не мог отделаться от этого состояния; ночи стали невыносимы. Я решил серьезно поговорить об этой странной тревоге со старым викарием. В определенном смысле округа была в его ведении, так же как и в моем. Должен же он знать хоть что-нибудь. К этому времени мои нервы вконец расстроились. После одной особенно жуткой и тяжелой ночи я решил, не откладывая, отправиться к викарию. Очень уж мне было плохо...

Помню, с каким чувством полнейшей беззащитности ехал я к нему по болотам. Они были такими голыми, та-

кими открытыми, что, казалось, там не могла гнездиться опасность. Но когда я приближался к кучке деревьев или кустов, мне мерещилась засада. Я утратил уверенность, присущую всякому живому существу. Я чувствовал, что окружен силами зла, что они угрожают мне. И это среди бела дня, в ясный солнечный день! И никого кругом, кроме птиц...

Мне повезло: в тот день старик был словоохотливей обычного.

Я прямо приступил к делу.

— Я в этих краях человек новый,— начал я.— Не замечается ли тут что-нибудь неладное?

Он уставился на меня и, почесывая щеку, обдумывал ответ.

— Как же, замечается,— сказал он.

Он увел меня к себе в кабинет, с минуту прислушивался, как бы желая удостовериться, что никто нас не услышит, потом тщательно запер дверь.

— Вы очень чувствительны,— проговорил он.— С вами это началось раньше, чем со мной. Сначала ощущаешь что-то неладное — и чем дальше, тем хуже... Что-то скверное!

Мне запомнились эти его первые слова, его слезящиеся старческие глаза и приоткрытый рот, в котором виднелись гнилые зубы. Он подсел ко мне поближе, приложил к волосатому уху ладонь и сказал:

— Говорите тихо и медленно, тогда я услышу.

Он был очень доволен, что может наконец поговорить об этом. Он надеялся спокойно дожить здесь свой век, но понемногу им овладела смутная тревога, неприметно перешедшая в страх. Уехать он не мог. Он, как и я, застрял здесь. Говорить об этом ему было нелегко. С женой он на эту тему никогда не разговаривал. До переселения сюда они жили дружно и легко находили общий язык.

— А теперь,— сказал он,— нас что-то разделило. Я не могу больше разговаривать с женой! Не пойму, что с ней творится.

— Что же вас разделило? — спросил я.

— Зло.

Так он назвал это.

— Оно разделяет всех,— продолжал он.— В самых обычных вещах начинаешь усматривать признаки чего-то зловещего.

Недавно у него вдруг зародилось странное подозрение,— ему почудился какой-то привкус в еде и необычные ощущения после нее.

— Я начинаю опасаться за свой рассудок,— продолжал он.— Или я схожу с ума, или моя жена. И все-таки с пищей было что-то неладно. Хотя — кому это нужно?..

Больше он об этом ничего не сказал.

Местные жители показались ему вначале просто тупоумными. Потом он начал понимать, что они вовсе не так уж тупоумны, но до крайности скрытны и подозрительны. Иногда в их глазах ему чудился блеск, как у собаки, готовой укусить. И даже у детей загорались глаза, когда он начинал следить за ними. Без причины. Решительно безо всякой причины! Все это он говорил шепотом, сидя рядом со мной.

Потом он придвинулся еще ближе.

— Они жестоко обращаются с животными,— сказал он.— Бьют своих собак и лошадей! Не всегда. Это похоже на какие-то приступы.

— Дети приходят в школу с синяками,— продолжал он.— И от них нельзя добиться ни слова... Они запуганы.

Я спросил его, не чувствует ли он, что эти таинственные явления нарастают. Всегда ли здесь было так? Письменных свидетельств о прошлом этой округи нет. Но он считал, что они действительно нарастают. Не всегда это было так. Я высказал предположение, что в здешней атмосфере всегда было что-то зловещее, но мы заметили это лишь тогда, когда испытали загадочное влияние на себе.

— Возможно. Пожалуй, отчасти вы правы,—согласился он.

Старый викарий рассказал мне кое-что о своем предшественнике. Этого человека вместе с его женой посадили в тюрьму за зверское обращение с девушкой, которая была у них в услужении. В тюрьму! Они утверждали, что она лгала и у нее были дурные привычки. Так они оправдывались. Они якобы хотели ее исправить. Но на

деле они просто ненавидели ее... А ведь до их приезда сюда за ними никто не знал ничего дурного.

— Это было всегда,— прошептал старый викарий.— Всегда! Где-то в глубине. Какой-то проклятый злой дух овладевает всеми нами. Я молюсь. Не знаю, что было бы со мною, если бы я не молился. Я просто не вынес бы этой жизни: денег уходит пропасть, и все так грубы и делают мне всякие гадости, швыряют в меня камнями... И потом эта мысль о яде. Она угнетает меня больше всего...

Так разговаривали мы среди бела дня в его большом, убогом, скудно меблированном кабинете, хотя этот разговор скорее пристало бы вести в темной пещере.

Постепенно его речи все больше становились похожими на бред. Зло гнездится в почве, заявил он, под землей. Он особенно подчеркнул эти слова —«под землей». При этом он дрожащей рукой указал вниз. В Каиновом болоте погребено нечто могучее и страшное. Какое-то огромное зло. Оно разбито. Рассеяно по всему болоту.

— Мне кажется, я знаю, что это,— боязливо шепнул он, но не сразу объяснил, в чем дело.— Они тревожат его, не хотят оставить в покое!

Кто эти «они», понять было трудно. В последние годы через болото прокладывали дороги, там шли осушительные работы, а теперь начались раскопки. И это еще не все. Во время войны распахали старинные пастбища. Вскрыли старые язвы.

— Понимаете, вся эта местность была некогда пустыней, и всюду могилы!

— Курганы? — спросил я.

— Нет,— настаивал он.— Могилы, кругом могилы! Некоторые из древних людей, по его словам, «окаменели». Здесь попадались камни самой удивительной формы. Омерзительные! И они продолжают выкапывать всякие штуки, говорил он. А лучше бы оставить их в покое. Это просто необходимо. Они сеют сомнения, растерянность, разрушают веру!

И вдруг викарий ни с того ни с сего напустился на дарвинизм и эволюционную теорию. Воспоминания о полемике, которую ему приходилось вести всю жизнь, причудливо переплетались у него в мозгу с ужасами

Каинова болота. Он спросил меня, был ли я в музее в Истфоке.

Потом он заговорил о выставленных там исполинских костях. Я заметил, что он, вероятно, имеет в виду кости мамонтов, динозавров и тому подобных животных.

— Великанов,— настаивал он.— Обратите внимание на то, что «они» называют орудиями труда! Орудия эти слишком велики и неуклюжи, чтобы обыкновенный человек мог управляться с ними. Топоры, копья — огромные орудия убийства, и ничего больше.

«Смертоносные камни» — так окрестил он их. Смертоносные камни великанов!

Он сжал костлявую руку в кулак, его дрожащий голос поднялся до крика, и глаза вспыхнули неподдельной злобой.

— Люди, откапывающие эти кости,—продолжал он,— ни перед чем не останавливаются. Они извлекают на свет темные тайны! Им кажется, будто они что-то опровергают... Но могила есть могила, покойник есть покойник, пролежи он в земле хоть миллион лет! И пусть бы эти злобные существа лежали в земле! Пусть лежат! Оставьте их прах в покое! — Теперь старик уже не говорил робким шепотом, как вначале; охваченный яростью, он забыл о своих страхах. Он не слушал моих возражений.

Наконец он разразился гневной речью. Его дряхлое тело тряслось, он весь преобразился от злобы. Главным объектом его нападок были местные археологи и натуралисты, но самым странным и нелогичным образом он приплел сюда свое возмущение обрядами «высокой церкви», которые ввел новый священник в Марш Хэверинге.

— Как раз теперь, когда Зло вырвалось на волю и, подобно испарениям, поднялось из болот, когда всего нужнее истинная вера, единая истинная вера,— кричал он, потрясая руками,— является этот субъект со своими ризами, статуями, музыкой и балаганом!

Впрочем, даже если бы я мог описать неистовство этого несчастного старика, его яростные хриплые вопли, я не стал бы докучать вам этим. Он требовал подавления, преследования науки, Рима, всякой безнравственности и нескромности, всякой веры, кроме его собственной, преследований и насильственного покаяния, без

которых нельзя спастись от Гнева, неумолимо надвигающегося на нас!

— Они переворачивают землю, выкапывают бог весть что, и мы дышим прахом давно умерших людей!— Казалось, этими криками он хотел разогнать страх, нависший над всеми обитателями этих мест.— Проклятие Каина!— вопил он.— Воздаяние за Каинов грех.

— Но при чем тут Каин?— вставил я наконец.

— Здесь он кончил свои дни,— заявил старик.— Уж я-то знаю! Ведь недаром это место называется Каиновым болотом! Он скитался по лику земли и пришел наконец сюда — пришел с худшими из своих сынов. Они отравили землю. Долгие века преступлений и зверств, а затем потоп похоронил их в этих болотах, и здесь они должны бы лежать до скончания века!

Я пытался оспаривать это фантастическое измышление. Каиново болото — это лишь искаженное название «Гайново болото», как значится во всех путеводителях и главное — в кадастровой книге[1]. Но старик перекричал меня; где мне было тягаться с его неистовым карканьем! Глухота служила ему щитом против всяких возражений. Голос его заполнял всю комнату. Викарий высказал все, что накопилось в нем за долгие месяцы одиноких раздумий. Слова его казались обдуманными, приготовленными заранее. Подозреваю, что многие из них неоднократно звучали с кафедры в церкви Святого Креста в Слэкнессе. В его воображении беспорядочно переплетались сыны Каина и пещерные люди, мамонты, мегатерии и динозавры. Это был какой-то ураган дикого вздора. И все же... И все же, знаете ли...

Несколько минут доктор Финчэттон безмолвно смотрел на залив Ле Нупэ.

— После всего этого у меня возникла догадка. Не знаю, покажется ли она вам хоть сколько-нибудь разумной — здесь, в это ясное утро. Но я подумал, что нас преследовало и угнетало нечто древнее, первобытное, звериное...

Он кивал головой, как бы подкрепляя свои слова, в которых, казалось, сам сомневался.

---

[1] Кадастровая книга — земельная опись Англии, произведенная в 1086 году Вильгельмом Завоевателем.

— Видите ли... Когда вас преследует привидение эпохи королей Георгов, эпохи Стюартов или елизаветинских времен, привидение в латах или в цепях, это уже скверно. Но к таким привидениям испытываешь нечто вроде дружеского чувства. В них нет жестокости, подозрительности или дикой злобности! А вот души какого-нибудь племени пещерных людей... Жуткие духи... Как, по-вашему?

— Может быть, и так,— уклончиво ответил я.

— Да. А от пещерных людей один шаг до человекообразных обезьян. Представьте себе, что на нас восстали все наши предки! Пресмыкающиеся, рыбы, амебы! Эта мысль была до того фантастична, что на обратном пути из церкви Святого Креста в Слэкнессе я попытался даже засмеяться.

Тут доктор Финчэттон умолк и посмотрел на меня.

— Но мне было не до смеха,— добавил он.

— Пожалуй, и мне было бы не до смеха,— сказал я.— Ужасная мысль! По-моему, пусть уж лучше мерещатся духи в образе человека, чем всякие обезьяны.

— Я возвращался домой,— продолжал доктор,— испытывая еще больший ужас, чем когда ехал к священнику. Теперь мне повсюду начали мерещиться привидения. Старик, нагнувшийся в канаве над упавшей овцой, превратился в уродливого, горбатого дикаря со звериными челюстями. Я не решился посмотреть, что он делает, и когда он крикнул мне что-то,— может быть, просто «здравствуйте»,— я сделал вид, что не слышу. Когда я проезжал мимо кустов, душа у меня уходила в пятки, я замедлял ход и, миновав кусты, развивал бешеную скорость.

В тот вечер, сударь, я напился — в первый раз в жизни. Оставалось одно из двух: либо пить, либо бежать! Может быть, я еще неопытен, но таково мое правило: врач, без предупреждения бросающий практику, то же самое, что часовой, ушедший с поста. Как видите, мне оставалось только запить.

Собираясь ложиться спать, я поймал себя на том, что боюсь отпереть входную дверь и выглянуть наружу. Тогда я сделал над собой судорожное усилие и распахнул дверь настежь...

Передо мной в лунном свете лежали болота: низко стлавшийся туман, казалось, заколыхался, когда я открыл дверь. Он как будто настороженно прислушивался. И казалось, над болотом витало что-то злоеещее, чего я никогда раньше не ощущал.

Но я не ушел с крыльца. Я не отступил. Я даже попытался произнести какую-то пьяную речь.

Не помню, что я говорил. Быть может, я сам перенесся далеко назад, в прошлое, в каменный век, и издавал лишь нечленораздельные звуки. Но в своей речи я бросал вызов — вызов всему злому наследию, оставленному прошлым человеку.

3

ЧЕРЕП В МУЗЕЕ

И вдруг доктор Финчэттон прервал свой рассказ.

— Вам это кажется бредом сумасшедшего? — спросил он.— Хотите, чтоб я продолжал?

— Нет, ничуть,— пробормотал я.— То есть да, пожалуйста. Я хочу сказать: пожалуйста, продолжайте! Меня это очень заинтересовало. Разумеется, когда сидишь здесь, за столиком, а кругом так светло, и все так ясно и просто, ваш рассказ кажется несколько невероятным... Вы меня понимаете?

— Понимаю,— сказал он, но не улыбнулся мне в ответ.

Он огляделся по сторонам.

— Да, здесь может показаться, что ничего, кроме вермута с сельтерской да завтрака и на свете нет!

На его лице появилось выражение крайней усталости.

— Я отдыхаю,— проговорил он.— Да. Но рано или поздно мне придется вернуться все к тому же. Мне бы хотелось еще немножко поговорить с вами. Если, конечно, вы ничего не имеете против. В вас есть, если можно так выразиться, какое-то ободряющее отсутствие воображения. Вы как чистый лист бумаги!

Я готов был слушать его дальше. Мне и в голову не приходило, что эти россказни могут потревожить мой

сон. Я люблю видеть сны по утрам, перед тем как проснуться. Люблю предаваться мечтам и фантазиям. В такие минуты чувствуешь себя в безопасности. Иной раз проберет дрожь, но настоящего страха нет. Рассказы о невероятном я люблю именно потому, что они невероятны. С тех пор как я в детстве открыл Эдгара Аллана По, у меня появился вкус к жуткому и таинственному, и я, несмотря на сопротивление тетушки — она буквально в ярость приходит при одном намеке на возможность чего-нибудь необычайного или незаурядного,— потихоньку зачитывался его произведениями. Моя тетушка совершенно лишена воображения, а для меня воображение стало ручным зверьком, с которым я любил играть. Я не думал, что он может когда-нибудь серьезно оцарапать меня; этот котенок знает меру. Впрочем, сейчас я уже не так уверен в этом. Но как приятно было спокойно сидеть в безопасности под ярким солнцем Нормандии и слушать рассказы о болотах, над которыми витал ужас.

— Продолжайте, сэр, прошу вас,— сказал я.— Продолжайте!

— Итак,— снова заговорил доктор Финчэттон,— я решил бороться всеми средствами, какие только допускало мое воспитание и звание врача. Виски и произнесенная мной вызывающая речь,— хотя я произнес ее не столько в действительности, сколько в воображении,— принесли мне пользу. В ту ночь я впервые за много недель забылся крепким сном и наутро почувствовал себя настолько освеженным, что мог обдумать свое положение. Как медик я, естественно, должен был предположить, что эта повальная эпидемия страха и галлюцинаций, охватившая целую округу, вызвана каким-нибудь вирусом, находящимся в воздухе, в воде или в почве. Я решил пить только кипяченую воду и не есть ничего сырого. Но все же я склонен был допустить, что эти явления могут быть вызваны чем-нибудь не столь материальным. Я не могу назвать себя убежденным материалистом. Я готов был поверить и в чисто психологическую инфекцию, но, разумеется, не в Каиновых сынов, о которых говорил викарий. На другое утро я решил наведаться к стороннику «высокой церкви» в Марш Хэверинге, преподобному Мортоверу, которого так ненавидел

викарий; мне было интересно узнать, что он скажет по этому поводу.

Но вскоре я убедился, что этот молодой человек так же безумен, как и его коллега, склонный к кальвинизму. Если старик во всем винил науку, раскопки и католицизм, то этот молодой человек поносил реформацию и горячо распространялся о пуританских гонениях на ведьм в шестнадцатом веке. Он без колебаний заявил мне, что от нас отступились ангелы-хранители и на землю вернулся дьявол. Нас тревожит вовсе не дух Каина и его грешных сынов: мы одержимы дьяволом. Мы должны восстановить единство христианства и изгнать дьявола.

Это был очень бледный, гладко выбритый молодой человек с тонкими чертами лица и горящими черными глазами, говорил он высоким тенором. Он почти не жестикулировал и только крепко стискивал свои худые руки. Будь он не англиканским священником, а католиком, его обязательно сделали бы миссионером. Он владел красноречием, необходимым миссионеру. Он сидел передо мной в своей сутане, глядя куда-то в пустоту поверх моей головы, и излагал свой план изгнания дьявола из болот.

Я чувствовал, что он воображает медленные, длинные процессии, идущие по извилистым болотным тропинкам, шествия с хоругвями и ризами, в церковных облачениях, хоры мальчиков, курящиеся кадила, священники, окропляющие топи святой водой. Я представил себе, как старый викарий, увидев все это из окна своего грязного кабинета, с хриплым криком выбегает из дома и во взгляде его жажда крови.

— Но ведь найдутся люди, которые этому воспротивятся? — заметил я.

В тот же миг мистер Мортовер преобразился. Он встал и простер руку, похожую на когтистую орлиную лапу.

— Мы сломим сопротивление,— произнес он, и в этот миг я понял, почему убивают людей в Белфасте, Ливерпуле и Испании.

Слова доктора показались мне странными. Я перебил его:

— Но, доктор Финчэттон, какое отношение имеют к Каинову болоту Белфаст, Ливерпуль и Испания?

Он замолчал, посмотрел на меня с каким-то странным выражением, не то упрямства, не то подозрительности.

— Я говорил о Каиновом болоте,— сказал он, подумав.

— Так при чем же тут Белфаст и Испания?

— Ни при чем. Я упомянул о них просто к слову... Или нет, позвольте! Позвольте! Я думал о фанатизме. У обоих этих людей — у викария и у пастора — были свои убеждения, да! Убеждения, несомненно, возвышенные и благородные. Но в действительности-то им хотелось драться. Им хотелось вцепиться друг другу в глотку. Вот как подействовал на них болотный яд! Не вера волновала их, а страх. Они чувствовали потребность кричать и приводить друг друга в ярость...

Ну, я испытывал те же чувства. Отчего я орал и бредил накануне ночью на своем крыльце возле болота? И потрясал кулаками?

Он вопросительно посмотрел на меня, как будто ждал ответа.

— У греков было слово для обозначения этого состояния,— сказал он.— Паника. Эндемическая[1] паника — вот заразное начало болот!

— Может быть, это название и подходит,— заметил я,— но разве оно объясняет что-нибудь?

— Видите ли,— продолжал доктор Финчэттон,— к этому времени мной самим овладел панический страх. Я почувствовал, что должен действовать, и как можно скорей. Если я не изгоню дух болота сейчас же, он овладеет мною! Я не выдержу. Нужно принять решительные меры. Так как у меня не было в то время никаких срочных дел, я решил сбежать на полдня из своей приемной и съездить в Истфок, в музей. Я думал, что мне будет полезно посмотреть на кости мамонта, которые под влиянием викария начали уже превращаться в моем воображении в человеческие; может быть, мне удастся поговорить с хранителем музея, я слышал, что это незаурядный археолог.

---

[1] Эндемическая — свойственная данной местности.

Хранитель оказался приятным человеком небольшого роста, в очках, с широким приветливым бритым лицом. Но в нем была какая-то настороженность. Это была настороженность хорошего фотографа или портретиста — единственная неприятная его черта. Я чувствовал, что стоит мне отвернуться, как он изучает меня...

Я проявил большой интерес к кремневым орудиям, которые во множестве были найдены в невысоких холмах над болотами, и к ископаемым человеческим останкам. Хранитель любил свое дело и был не прочь поговорить с неглупым человеком. Он принялся рассказывать мне историю этой округи.

— Вероятно, здешние места были обитаемы уже тысячи лет назад,— заметил я.

— Сотни тысяч,— поправил он меня.— Тут жили неандертальцы и... Но позвольте показать вам нашу гордость!

Он подвел меня к запертому стеклянному шкафу, и я увидел массивный череп с низко нависшими надбровными дугами, который, казалось, хмуро глядел на меня пустыми глазницами. Рядом лежала нижняя челюсть. Это грязно-рыжее, как ржавое железо, сокровище представляло собой, по словам хранителя, самый совершенный в мире экземпляр. Череп был почти в полной сохранности. Он уже помог разрешить множество спорных вопросов, возникших из-за плохой сохранности других черепов. В соседней витрине лежало несколько шейных позвонков, искривленная берцовая кость и целая куча всяких обломков; раскопки на том месте, где все это было найдено, еще не закончились, потому что кости, наполовину истлевшие, были очень хрупки, и извлекать их приходилось с большими предосторожностями. Раскопки производились с особой тщательностью. Ученые надеялись в конце концов полностью восстановить весь скелет. В той же самой расселине, в известняке, куда, вероятно, это первобытное существо упало, оступившись, были найдены очень примитивные, грубые орудия. Пока я осматривал череп, обратив внимание на его свирепый оскал и словно живой еще взгляд пустых впадин, из которых некогда глядели на мир глаза, хранитель внимательно наблюдал за мной.

— Это, вероятно, один из наших предков? — спросил я.

— Более чем вероятно.

— Вот что у нас в крови! — воскликнул я.

Я украдкой покосился на чудовище и заговорил так, как будто оно могло нас услышать. Я задавал десятки дилетантских вопросов. Я узнал, что этот вид существовал на земле много тысячелетий. Бесчисленные поколения звероподобных, свирепых людей бродили по этим болотам в доисторическую эпоху несчетные века. По сравнению с их невообразимо долгим господством все бытие современного человечества могло бы показаться одним днем. Миллионы звериных существ прожили свою жизнь, оставив после себя обломки, орудия, камни, которые они обтесали или обожгли на кострах, и кости, которые они обглодали. Нет камешка в болоте, которого они не держали бы в руках, нет кочки, которой они не попирали бы ногами миллиарды раз.

— В нем есть что-то страшное,— рассеянно проговорил я, думая о своем. И наконец решился поставить вопрос ребром. Я спросил хранителя, не слыхал ли он — не высказывал ли ему кто-нибудь мнение,— что на болоте нечисто.

Взгляд его глаз, увеличенных очками, стал еще пытливее. Да, он кое-что слышал.

— Что же именно? — спросил я.

Но он хотел, чтобы я высказался первым. Он молча ждал, и мне пришлось начать. Я рассказал ему, собственно, все то, что вы сейчас услышали.

— Мне не вырваться из этих болот,— жаловался я.— И если я не предприму что-нибудь, они доведут меня до помешательства. Я не могу этого вынести — и вынужден терпеть. Скажите мне, почему тут снятся такие ужасные сны, почему страх преследует меня днем и ночью?

— Вы не первый обращаетесь ко мне с таким вопросом,— сказал он, не сводя с меня глаз.

— И вы можете объяснить, что это такое?

— Нет,— отвечал он.

Хранитель говорил осторожно, взвешивая слова, и пристально смотрел на меня. Он сказал, что ездил туда на раскопки и встречал кое-кого из местных жителей.

— Им не нравятся раскопки,— заметил он.— Нигде не встречал я такого недоверчивого отношения. Может быть, это объясняется местными суевериями. Может быть, страх заразителен. Они явно чего-то боятся. И теперь мне кажется, их страх возрос. В последнее время очень трудно бывает добиться разрешения вести раскопки в частных владениях.

Я прекрасно понимал, что он рассказывает мне далеко не все. Казалось, он делает опыт, как бы проверяя на мне свои мысли. Он вскользь заметил, что ему самому никогда не удается уснуть среди этих болот, даже днем. Иногда, просеивая землю, он останавливался, прислушивался, опять принимался за работу и опять останавливался.

— Я ничего не слышал,— добавил он,— а все-таки нервы были напряжены!

Он умолк. Пристально, с непередаваемым выражением смотрел он на череп пещерного человека.

— Неужели вы думаете, что такое безобразное существо могло оставить после себя призрак?— спросил я.

— Он оставил свои кости,— ответил хранитель.— Вы думаете, у него было то, что называют духом? Дух, который, может быть, до сих пор испытывает потребность вредить, пугать и мучить? Дух подозрительный, который легко приходит в ярость?

Тут я, в свою очередь, посмотрел на него с удивлением.

— Вы сами этому не верите. Вы стараетесь внушить это мне. С какой-то целью...

Он рассмеялся, по-прежнему не спуская с меня глаз.

— Если так, то мне это не удалось,— сказал он.— Я действительно хотел внушить вам это. Если это страх перед привидением — что ж, привидение можно изгнать. Если из-за него начнется лихорадка — лихорадку можно вылечить. Но что можно сделать, если это просто панический страх и затаенное неистовство,— что делать тогда?

— Это очень мило с вашей стороны,— сказал я,— что вы пытаетесь подбодрить меня таким образом, укре-

пить, так сказать, мой дух для изгнания дьявола. Но это не такое легкое дело.

— И тогда,— сказал доктор Финчэттон,— он перестал гипнотизировать меня взглядом из-под очков и заговорил откровенно.

Теории его сильно отдавали метафизикой, а я плохой метафизик. Это были странные наукообразные бредни, и все же они кое-что объясняли. Я попробую изложить их, как умею. Вот как он выразился: мы ломаем рамки настоящего — «рамки нашего настоящего».

Доктор Финчэттон вопросительно посмотрел на меня. Я благоразумно промолчал. Я не имел ни малейшего представления о том, что такое «рамки нашего настоящего».

— Продолжайте,— сказал я.

— Он стоял ко мне в профиль и уже не следил за мною, а смотрел в окно и, видимо, выкладывал то, что было у него на душе.

— Лет сто назад,— сказал он,— люди гораздо больше жили настоящим, чем теперь. Прошлое их уходило назад на четыре-пять тысяч лет, а будущее, вероятно, представлялось еще более ограниченным, они жили сегодняшним днем и, как им казалось, вечностью. Об отдаленном прошлом они ничего достоверно не знали. Не заботились они и о близком будущем. Вот этого,— он кивнул на череп пещерного человека,— попросту не существовало. Все это было похоронено, забыто и вычеркнуто из жизни. Людям казалось, что их окружает магический круг, который оберегает их, хранит их безопасность. И вдруг в прошлом столетии этот круг разорвался. Мы заглянули в прошлое, стали ворошить век за веком и все дальше заглядывать в будущее. Вот в чем наша беда.

— На болоте? — спросил я.

— Повсюду. Ваш викарий и тот молодой священник бессознательно чувствуют это, но не умеют выразить. Или, во всяком случае, они выражают свои чувства совсем не так, как мы с вами. Иногда прошлое лежит ближе к поверхности, но оно всюду. Мы сломали рамки настоящего; и прошлое, долгое, темное прошлое, исполненное страха и злобы, о существовании которого наши деды не знали и даже не подозревали, хлыну-

ло на нас. А будущее разверзлось, как пропасть, готовая нас поглотить. Вернулись звериные страхи, звериная ярость, и былая вера уже не в силах их сдержать. Пещерный человек, обезьяноподобный предок, зверь-прародитель вернулись. Вот в чем дело! Уверяю вас, то, о чем я говорю, вполне реально. Это происходит всюду. Вы были на болотах. Там вы почувствовали их присутствие, но, говорю вам, эти воскресшие звери бродят повсюду. Во всем мире ощущается их грозное присутствие.— Он умолк, блеснул на меня очками и снова стал смотреть в окно.

— Ну хорошо,— заметил я,— только чем же эта мистика может помочь мне? Что мне-то делать?

Он ответил, что это — явление психического порядка и от него необходимо избавиться.

— Мне придется сегодня же вернуться на болото,— сказал я.

А он все твердил, что рамки настоящего сломаны и восстановить их невозможно. Я должен раскрыться — он так и сказал: «раскрыться»— и охватить сознанием тот всеобъемлющий мир, в котором пещерный человек— такое же «сегодня», как ежедневная газета, а грядущее тысячелетие уже у порога.

— Все это прекрасно,— сказал я,— но какой в этом смысл? Что мне делать? Я спрашиваю вас: что мне делать?

Он опять посмотрел на меня.

— Боритесь с этим, если можете,— сказал он.— Возвращайтесь домой. Бегством вы не спасетесь. Возвращайтесь и снова начните борьбу с тем, что вам мерещится: со Злом, Страхом, духом Каина или духом вот этого существа...

Он замолчал, и мы оба посмотрели на безобразный череп, словно ожидая, что он тоже скажет свое слово.

— Приспособьтесь к новым масштабам, постарайтесь охватить их мыслью,— сказал он доверительно, понизив голос.— Сопротивляйтесь. А если начнете терять почву под ногами, ищите помощи. Хорошо бы вам съездить в Лондон и полечиться. Обратитесь к Норбергу, он живет на Харли-стрит, кажется, в доме номер триста девяносто один, я могу узнать точно. Он один из первых открыл психическую болезнь, от которой вы

страдаете, и нашел какой-то способ лечения. Признаться, он помог и мне. Правда, методы у него грубые и необычные. Я страдал приблизительно тем же, что и вы, и, услышав о нем, обратился за помощью. Это было как раз вовремя. Раз или два в неделю он бывает в Ле Нупэ. Там у него клиника...

Этим и кончилась моя встреча с хранителем музея в Истфоке. Он ободрил меня. Современный научный язык, на котором он со мной разговаривал, был мне понятен. Мне стало ясно, что тут нет ничего загадочного, невероятного и что положение мое не безнадежно; я просто экспериментатор, которому предстоит совершить неприятный, рискованный, но все же вполне осуществимый опыт.

— Но мне не посчастливилось в этой последней борьбе с призраками пещерных людей,— продолжал доктор Финчэттон.— Я уехал из Истфока засветло. Еще по дороге домой я увидел жуткое зрелище. Это была собака, которую забили до смерти. Да, до смерти! Вы скажете, на этом свете столько ужасного, что зверски убитая собака не такая уж важность. Но для меня это было важно.

Она лежала в крапиве у дороги. Я подумал, что какой-нибудь автомобиль переехал ее и отбросил в сторону. Я вышел взглянуть на собаку и удостовериться, что она мертва. Она была не просто убита; ее буквально превратили в месиво. Ее били каким-то тупым и тяжелым орудием. Вероятно, у нее не осталось ни единой целой косточки. Кто-то обрушил на нее град, ураган ударов.

Я знаю, что для медика я слишком чувствителен. Как бы то ни было, я уехал в ужасе, мне стало страшно за человека: какой глубокий источник зверства таится в его природе! Что за взрыв ярости убил это злополучное животное? Но не успел я вернуться домой, как получил новый удар. Вам это опять-таки может показаться мелочью. Меня же это буквально сразило. Из прихода Святого Креста примчался запыхавшийся мальчишка на велосипеде. Он был так испуган, что в первую минуту я ничего не мог понять из его слов и только потом разобрал, что старый викарий Роудон набросился на свою несчастную жену и чуть не убил ее. Он повалил ее на пол и начал избивать.

— Бедная старуха! — проговорил мальчик.— Езжайте туда скорей! Мы связали его и посадили в сарай, а она лежит в постели и до того перепугана, что говорить не может. А ему все мерещится что-то страшное. Просто ужас. Он говорит, будто она хотела отравить его... А ругается как!..

Я сел в свою машину и поехал. Мне удалось кое-как успокоить бедняжку; муж не так сильно избил ее, как я опасался,— несколько ссадин, все кости целы; но главное — моральное потрясение. Пришли два полисмена и отвезли старика Роудона в полицейский участок в Холдингем. Я не хотел спускаться вниз, не хотел видеть его. Женщина почти не могла говорить. «Эдуард!» — пробормотала она и с изумлением повторила: «О, Эдуард!» Потом с каким-то ужасом вскрикнула: «Эдуард!» Я дал ей снотворного, попросил соседку посидеть с ней ночью, а сам уехал домой.

Пока мне приходилось заниматься делом, я был бодр, но как только добрался домой, почувствовал резкий упадок сил. Я не в состоянии был есть. Я выпил довольно много виски и вместо того, чтобы лечь в постель, заснул в кресле у камина. Проснулся я в холодном поту и увидел, что огонь в камине догорает. Я лег в постель, но когда наконец уснул, меня начали преследовать кошмары, и я опять проснулся. Я встал, надел старый шлафрок, сошел вниз и развел огонь, решив ни за что больше не спать. Но я все же задремал в кресле, а потом опять лег. Так, между кроватью и креслом, я провел всю эту ночь. В моих сновидениях все смешалось: несчастная запуганная старуха, ее не менее жалкий супруг, рассуждения хранителя музея, засевшие у меня в голове, а над этим всем маячил дьявольский палеолитовый череп.

Этот первобытный человек все больше и больше преследовал меня. Я не мог выбросить из памяти его безглазый взгляд и торжествующий оскал ни во сне, ни наяву. Просыпаясь, я видел его таким, каким он был в музее, словно живое существо, которое задало нам загадку и потешалось над нашими бесплодными попытками ее разрешить. Во сне череп увеличивался. Он становился исполинским, огромным, как утес, а глазницы и впадины на месте скул превращались в пещеры. Мне

казалось — сновидения так трудно передать,— что череп вздымался и в то же время по-прежнему неподвижно высился у меня перед глазами. А перед ним кишели, как муравьи, его бесчисленные потомки; полчища людей метались во все стороны. Вид у них был обреченный, они робко, почтительно склонялись перед своим предком, и, казалось, их неодолимо влекло скрыться в его всепоглощающей тени. Вот эти полчища начали строиться в шеренги и колонны, облеклись в мундиры и зашагали к черному провалу его рта, ощерившегося темными, словно ржавыми, зубами. И из этой тьмы потекло нечто... нечто красное и липкое, что он явно смаковал. Кровь.

И тут Финчэттон произнес очень странную фразу:

— Маленькие дети, погибающие на улицах во время воздушных налетов.

Я ничего не сказал. Я спокойно и внимательно слушал. Это была «реплика в сторону», как говорят актеры. Он продолжал свой рассказ с того места, на котором остановился.

— Утро,— продолжал он, сосредоточенно помолчав несколько мгновений,— застало меня у телефона. С огромным волнением и трудом, едва не разорившись, я нашел себе заместителя и помчался в Лондон, к пресловутому Норберту, стараясь удержать, так сказать, остатки рассудка. И Норберт направил меня сюда... Норберт, надо сказать, человек весьма незаурядный. Он оказался совсем не таким, как я думал.

Доктор Финчэттон умолк. Он взглянул на меня.

— Вот и все.

Я молча кивнул головой.

— Ну,— сказал он,— что вы обо всем этом думаете?

— Через день или два я, может быть, начну об этом думать. А сейчас не знаю, что и сказать... Это неправдоподобно, и все же вы меня почти убедили. Я хочу сказать, что не думаю, чтобы все это на самом деле могло произойти,— это я не решусь утверждать,— но я верю, что это случилось с вами.

— Вот именно! Я рад, что мне представился случай поговорить с таким человеком, как вы. Именно это и предписал мне Норберт. Он настаивает, чтобы я освоился с происшедшим и научился отличать действительно

случившееся со мной, жизненную реальность, как он выражается, от страхов и фантазий, которыми я ее окутал. Он говорит, что я должен смотреть на это бесстрастно. Ибо в конце концов, как вы думаете,— он пытливо поглядел на меня,— что именно из всего, что я вам рассказал,— реальность, действительное событие и что следует считать — как бы это выразиться?— психической реакцией? Старик Роудон, набросившийся на свою жену,— это реальность. Зверски убитая собака — тоже реальность... Норберт, видите ли, считает, что я должен спокойно поговорить обо всем этом с человеком уравновешенным, который не слишком тревожится о прошлом или о будущем. Чтобы факты воспринимались именно как факты, а не как страхи и ужасы. Он хочет вернуть меня к тому, что он называет «разумной чувствительностью», и таким образом направить мои дальнейшие действия.

Финчэттон допил вино.

— Очень любезно с вашей стороны, что вы выслушали меня,— сказал он.

Тут какая-то тень упала на террасу перед нами и воскликнула:

— А, здравствуйте!

4

НЕСНОСНЫЙ ПСИХИАТР

Тень доктора Норберта не понравилась мне еще до того, как я поднял голову и увидел его самого́. Вид у него был нарочито самоуверенный и внушительный, а я, хоть и ленив, изнежен и пассивен, порой бываю упрям, как целый табун мулов. Он еще и рта не успел раскрыть, а я уже готов был встретить в штыки каждое его слово.

На мой взгляд, он совсем не был похож на психиатра. У психиатра, по-моему, должен быть мягкий взгляд, успокаивающие манеры и полнейшее самообладание. Вид он должен иметь свежий и здоровый, а доктор Норберт был похож на труп. Он был рослый, подвижный, неопрятный, у него были непослушные черные во-

лосы и густые брови, а большие сверкающие темные глаза либо бегали по сторонам, когда он разглагольствовал, либо неподвижно, сосредоточенно разглядывали меня, сверкали на меня из-под нахмуренных бровей в минуты зловещего молчания. Черты лица были у него крупные, рот выразительный, как у оратора, голос необычайно звучный и сильный. Он носил старомодный стоячий белый воротничок и свободный черный галстук бабочкой, сдвинутый на сторону. Казалось, он оделся раз навсегда по какой-то старинной довоенной моде и с тех пор ни разу не переодевался. Он скорей смахивал на актера в отпуску, чем на психиатра. Глядя на него, я вспомнил карикатуры в старинных номерах «Панча» — на Гладстона, Генри Ирвинга или Томаса Карлейля. Самый неприятный субъект, какой только может нарушить покой двух прилично одетых современных англичан, сидящих за аперитивом на террасе отеля «Источник» в Пероне.

Но вот он здесь, совсем не такой, каким я его себе представлял, великий доктор Норберт, целитель душевных недугов Финчэттона; подбоченившись, он смотрел на меня сверху вниз с самым внушительным видом. Финчэттон назвал вид Норберта «неожиданным», но меньше всего я мог ожидать такой огромной, самоуверенной и старомодной фигуры.

— Я наблюдал вас сверху,— заявил он таким тоном, словно он был сам всемогущий господь бог.— Не хотел прерывать Финчэттона, пока он рассказывал свою историю. Но я вижу, вы кончили,— теперь держитесь!

Финчэттон поглядел на меня, безмолвно умоляя примириться со странными манерами Норберта и выслушать его.

— Вы слышали его рассказ?— спросил меня Норберт. Он и не думал скрывать, что он психиатр, а Финчэттон его пациент.— Рассказывал он вам, как пещерный человек овладел его мыслями? Говорил об ужасах Каинова болота? Отлично! А о все усиливающемся ощущении зла, разлитого вокруг? Ну, и как вы к этому отнеслись? Что вы, человек нормальный, об этом думаете?

И он приблизил ко мне свое широкое лицо, на котором выразилось любопытство.

— Расскажите это своими словами,— прибавил он и ждал, как учитель, экзаменующий ребенка.

— Доктор Финчэттон,— сказал я,— рассказал мне много необычайного. Это так. Но мне нужно как следует все обдумать, прежде чем я смогу высказать свое мнение.

Норберт скорчил гримасу, как учитель, раздосадованный непонятливостью ученика.

— Но я хочу знать, как вы относитесь к этому сейчас. Прежде чем вы это обдумаете.

«Можешь хотеть сколько угодно»,— сказал я про себя.

— Не могу,— сказал я вслух.

— Но для доктора Финчэттона чрезвычайно важно, чтобы вы высказались сейчас! На это есть особые причины.

Вдруг я услышал бой часов.

— Боже!— воскликнул я, вставая и бросая десятифранковую бумажку официанту.— Тетушка ждет меня к завтраку! Это невозможно!

— Но не можете же вы так это оставить,— сказал Норберт, изобразив на своем лице удивление и недоверие.— Никак не можете! Ваш долг по отношению к ближнему — выслушать эту историю и помочь разумно ее объяснить. Вы должны помочь нам.— Глаза его сверкнули.— Я положительно не могу отпустить вас!

Я повернулся к Финчэттону.

— Если доктор Финчэттон,— сказал я,— захочет продолжить разговор на эту тему...

— Разумеется, он хочет продолжить разговор!

Я не сводил глаз с Финчэттона, который кивнул мне с умоляющим видом.

— Я еще приду,— сказал я.— Завтра. Примерно в этот же час. Но сейчас я больше не могу задерживаться... Ни в коем случае.

Я стал спускаться по извилистой дороге быстрым шагом, почти бегом,— я в самом деле был обеспокоен тем, что так замешкался: тетушка моя, надо сказать, из себя выходит, когда ее заставляют ждать в час завтрака. Я уже немного жалел о своем обещании и злился, что дал вырвать его. Выходило, что я уступил каким-то глупым требованиям, лишь бы поскорей уйти.

Я обернулся и увидел над собой обоих моих собеседников — они сидели рядом, причем Норберт закрывал собою Финчэттона.

— До завтра! — крикнул я, хотя вряд ли они могли меня услышать.

Норберт важно махнул рукой.

Между тем меньше всего на свете мне хотелось снова увидеть этого доктора Норберта! Право, я чувствовал к нему сильнейшую неприязнь. Мне не нравилось, что он всем своим видом как бы говорил: «Вы с Финчэттоном — кролики, и сейчас я начну вас анатомировать». Мне не понравился его громкий и словно бы обволакивающий голос, его нависший лоб, его настойчивость. К тому же я не выношу повелительных угловатых жестов, особенно когда у человека непомерно длинные руки. Но, с другой стороны, мне очень понравился доктор Финчэттон, и его история меня заинтересовала. Мне кажется, он очень живо все рассказал. Мне очень хотелось бы, чтобы и в моем пересказе прозвучала его убедительная интонация. Расставшись с ним, я начал обдумывать вопросы, какие следовало бы ему задать, и мне захотелось снова его увидеть. Норберт казался мне нахалом, который прервал рассказ на самом интересном месте. Я отбросил мысль о нем и продолжал думать о Финчэттоне.

Было что-то необычайное в этой истории с заколдованным болотом, куда человек попадал душевно здоровым и уравновешенным, любовался бабочками и цветами и откуда убежал сломя голову в безумном страхе и ярости,— она завладела моим воображением. А этот зловещий древний череп, череп предка, который сперва таился где-то в тени, а потом медленно выступил на передний план!.. Словно за прозрачной перегородкой зажегся свет. Это объяснение само по себе было загадкой. И вот мало-помалу эти челюсти облекались плотью, призрачные губы появились над оскаленными зубами, а под низко нависшими бровями загорелись злобные, темные, налитые кровью глаза. Чем больше я думал об услышанном, тем больше пещерный человек становился живым существом.

В конце концов уже не череп, а лицо смотрело на меня, когда я вспоминал эту бредовую повесть. Конеч-

но, это нелепо, но мне, право, казалось, что глаза чудовища следят за мной. Они следили за мной весь вечер, лицо кривлялось и скалилось всю ночь. В тот день я играл в крокет очень рассеянно и небрежно, а вечером оскорбил тетушку до глубины души из рук вон плохой игрой в бридж. Она была моим противником, но ожидала от меня обычного искусства, и ее так смутили и сбили с толку мои промахи, что она проиграла партию вместе со своим партнером. Но я едва ли слышал ее упреки и, уйдя к себе в комнату, раздевался медленно, поглощенный мыслями о болоте, заклятом и таинственном, по которому бродил звероподобный выходец с того света. Я долго сидел, размышляя об этом, прежде чем лечь спать.

На другой день я довольно поздно пришел в отель «Источник», хотя собирался прийти пораньше. Я рассчитывал поехать на трамвае, но полицейский в штатском сказал мне, что трамваи не ходят. Коммунисты организовали забастовку, и в трамвайном парке произошла стычка, несколько человек было ранено.

— В наше время нужно быть твердым,— заметил полицейский.

Пришлось идти пешком, и я с неудовольствием увидел длинные ноги доктора Норберта, торчавшие из-под столика на террасе, а доктора Финчэттона не было и в помине. Норберт знаками подозвал меня к себе, и я сел на зеленый стул за его столик. Сделал я это с большой неохотой. Я хотел дать ему понять, что желаю видеть только Финчэттона. Мне хотелось узнать о нем поподробней, а анализ моей психики, вивисекция, вторжение этого самоуверенного субъекта в мой интимный мир мне вовсе не улыбались.

— А где ваш друг? — спросил я.

— Сегодня он прийти не может. Но это все равно.

— Но ведь мы, кажется, условились...

— Да, он тоже так считал. Но ему помешали. Однако, как я уже сказал, это не имеет значения.

— Я этого не нахожу!

— С *моей* точки зрения это неважно. Мне очень хочется узнать, как здравомыслящий, посторонний человек смотрит на эту историю, завладевшую сознанием Финчэттона. Для него это не менее существенно, чем для меня.

— Но как же я могу вам помочь?

— Очень просто! Слыхали вы когда-нибудь о местности, называемой Каиновым болотом?

Он повернулся и взглянул на меня совершенно так же, как посмотрел бы на животное, которому только что сделал впрыскивание.

— Вероятно, это где-нибудь в Линкольншире.

— Никакого Каинова болота не существует!

— Значит, оно называется иначе?

— Это миф!

С минуту он рассматривал меня, потом решил, что больше наблюдать за мной неинтересно. Он сложил на столе свои огромные руки и заговорил, тщательно подбирая слова, устремив взгляд на море.

— Наш приятель,— сказал он,— был врачом и жил близ Или. Все, что он рассказывал вам,— правда, и вместе с тем все, что он рассказывал вам,— ложь. Его необычайно волнуют некоторые вещи, а высказать их, даже про себя, он может только в форме вымысла.

— Но что-нибудь из всего этого было в действительности?

— О да! Был случай зверского обращения с собакой. Был пьяный бедняга викарий, избивший свою жену. Такого рода случаи бывают каждый день во всех странах света. Это в природе вещей. Тот, кто не в силах примириться с такими фактами, сэр, не сможет жить на свете. И Финчэттон действительно ходил в музей Трессидера в Или, и хранитель музея Каннингэм понял его состояние и направил его ко мне. Но его заболевание началось еще до того, как он попал на болото. Он рассказал вам, в сущности, все, но вы увидели это как бы сквозь бутылочное стекло, искажающее форму. А знаете, что побудило его измыслить всю эту историю?..—Доктор Норберт повернулся ко мне, подбоченился и посмотрел мне прямо в глаза. Он говорил неторопливо и вдумчиво, точно писал заглавными буквами: — Современная действительность так страшна и чудовищна, так его угнетает, что ему приходится облекать ее в форму сказки о древних черепах, о безмолвии в стране бабочек; он хочет внушить себе, что все это лишь галлюцинация, чтобы поскорей от этого отделаться.

Выражение лица у доктора было такое странное,

что мне стало не по себе. Я отвернулся и поманил официанта, чтобы заказать еще вермута и вернуть себе самообладание.

— Но что же ужасного в нашей действительности? — спросил я небрежным тоном.

— Неужели вы не читаете газет? — сказал доктор Норберт.

— Не слишком усердно. Большая часть того, что там пишут, кажется мне либо напыщенной ложью, либо преднамеренным искажением истины. Но я почти каждый день решаю кроссворды в «Таймсе». Кроме того, читаю почти все статьи о теннисе и крокете. Разве я пропустил что-нибудь интересное?

— Вы пропустили все то, от чего Финчэттон сошел с ума.

— Сошел с ума?

— Разве он не повторял мои слова — эндемическая паника? Зараза, носящаяся вокруг нас? Болезнь, таящаяся в самой основе нашей жизни, прорывающаяся то в одном, то в другом месте и сковывающая людей бессмысленным страхом?

— Да, он употребил это выражение.

— Вот видите! С этим-то мне и приходится иметь дело. И я еще только начинаю разбираться. Это новая чума — чума психическая! Умственное расстройство, долго таившееся в сокровенных тайниках сознания, эндемическая болезнь, возникающая внезапно и разрастающаяся во всемирную эпидемию. То, что наш друг рассказывал про какое-то заколдованное болото, на самом деле происходит сейчас с тысячами людей, а завтра будет происходить с сотнями тысяч. Вас ничто не тревожит. До поры до времени... Может быть, у вас иммунитет... Для моих исследований этого распространяющегося заболевания чрезвычайно важно знать, как реагирует на него незатронутое сознание!

— Мое сознание всегда с трудом воспринимало чуждые мне мысли, — сказал я. — Но все-таки я не хочу рисковать. Не думаете ли вы, что теперь и я начну бояться темноты и открытых мест, что мне будут мерещиться обезьяны и дикари, угрожающие человечеству?

Он положил на стол свою огромную руку, придавив ею мою.

— Если это с вами случится,— сказал он, зловеще сверкнув глазами,— могу посоветовать вам одно: мужайтесь.

Мне вдруг пришло в голову, что этот человек, в сущности, такой же помешанный, как и Финчэттон. Я спросил его напрямик:

— Доктор Норберт, уж не заболели ли вы сами?

Глаза его сверкнули еще ярче. Он вскинул голову, потом уронил ее тяжело, как молот.

— Да!

Он произнес это таким тоном, что у меня на лбу выступил пот.

— Я заболел давно,— продолжал он.— Мне пришлось лечить себя самому. Помочь было некому. Я должен был изучать болезнь на себе. Да, сэр, через все это я прошел. И выкарабкался. Теперь я закален, приобрел иммунитет. Ценой отчаянной борьбы...

И он прочел мне самую удивительную лекцию, какую я когда-либо слышал. Прежде чем начать, он некоторое время молчал. Он не мог говорить о таких вещах, откинувшись в удобном кресле. Сперва он сидел, ухватившись за подлокотники обеими руками. Потом встал и, говоря, расхаживал взад-вперед по террасе, не столько говорил, сколько ораторствовал. У меня неплохая память, но я не могу восстановить все хитросплетения его рассуждений. Поэтому я приведу дословно лишь некоторые его фразы. История Финчэттона казалась фантастичной. В словах же Норберта не было ничего фантастического. Он начал с псевдонаучных и философских рассуждений, но мало-помалу его речь превратилась в бурную, путаную проповедь. Мы должны овладеть жизнью, ухватиться за нее. Некоторые его мысли мне уже были известны со слов Финчэттона. Я узнавал его любимые выражения. Например, «сломанные рамки настоящего».

— Но что это означает?— спросил я не без раздражения.

— Животные,— сказал он,— живут всецело в настоящем. Их кругозор ограничен непосредственно окружающей средой. Точно так же жили и примитивные народы. Израэли, Сэндс, Мэрфи и множество других ученых работали над этой проблемой.— Он быстро перечис-

лил десятка два фамилий, но я запомнил только эти три.— А мы, люди, проникали в прошлое и в будущее. Мы множили свои воспоминания, предания, традиции, мы полны предчувствий, надежд, страхов. И потому мир стал для нас подавляюще огромным, страшным, пугающим. То, что казалось навсегда забытым, вдруг воскресло в нашем сознании.

— Иными словами,— сказал я, стараясь удержать разговор в конкретных рамках,— мы узнали о пещерном человеке.

— Узнали! — воскликнул он.— Да мы живем с ним бок о бок! Он никогда не умирал. И не думал умирать. Но только...— Он подошел и хлопнул меня по плечу.— Только он скрывался от нас. Скрывался долгое время. А теперь мы очутились с ним лицом к лицу, и он, скалясь, издевается над нами. Человек ничуть не изменился. Это — злобное, завистливое, коварное, жадное животное! Если отбросить все иллюзии и маски, человек оказывается все тем же трусливым, свирепым, лютым зверем, каким был сто тысяч лет назад. Это не преувеличение. То, что я вам говорю,— чудовищная реальность. Зверь затаился и выжидал подходящего времени, чтобы наверстать упущенное. Любой археолог скажет вам это; у современного человека череп и мозг ничуть не лучше, чем у первобытного. Это настоящий пещерный человек, только более или менее дрессированный. Никакой существенной перемены не произошло, никакого ухода от прошлого не было. Цивилизация, прогресс — все это, как мы видим, самообман. Мы ничего не достигли. Решительно ничего! Некоторое время человек строил себе в уютном мирке своего настоящего, мирке богов и божественного промысла, радужные надежды. Это были искусственные выдумки, красивый обман. Только теперь мы начинаем понимать, до чего все это надуманно. Все это рушится, мистер Фробишер! Все вокруг нас рушится, а мы, кажется, бессильны помешать этому. Кажется, это так... И спасения не видно. Нет, сэр. Вся цивилизация была жалкой, бесполезной фикцией. И теперь это обнаружилось; слишком беспощадной была ее судьба. Ошеломляющее открытие приходится делать, сэр! И когда чувствительные, не подготовленные к этому люди, вроде нашего бедного друга

Финчэттона, осознают это, они оказываются слишком слабыми и не выдерживают. Они отказываются воспринимать такой жуткий, огромный мир, как наш. Они жадно слушают всякие россказни об одержимости, о случаях помешательства в надежде узнать какой-нибудь способ изгнания дьявола, им кажется, что это принесет исцеление... Но исцеления нет. В наше время невозможно отмахнуться от действительности, приукрашая ее.

— Да, сэр! Фактам надо смотреть в глаза! — загремел Норберт.— Прямо в глаза! — Он размахивал руками и, казалось, обращался не ко мне, а к какому-то многолюдному публичному собранию.— Прошло то время, когда на людей можно было надевать шоры, чтобы они не видели слишком много... Прошло навсегда. Ни одна религия уже не вселяет в душу уверенность. Ни одна церковь не приносит утешения. С этим навсегда покончено.

— Ну и что же? — спросил я подчеркнуто спокойным тоном. Чем громче он орал, тем холоднее и неприязненней я становился.

Норберт сел и опять схватил меня за руку. Голос его стал проникновенным. Он уже не кричал, а говорил тихо и многозначительно:

— Сумасшествие, сэр, с точки зрения психиатрии — это лишь реакция бедной Природы на ошеломляющий факт. Это — бегство. Теперь интеллигентные люди во всем мире сходят с ума! Они дрожат, ибо понимают, что борьба против пещерного человека, который над нами, в нас, который, в сущности, и есть мы, это борьба против их воображаемого «я». Ни от чего в мире нет спасения. Мы только воображали, будто нам удалось победить Его. Его! Зверя, неотступно преследующего нас!

Я высвободил руку движением, которое, надеюсь, показалось ему непроизвольным. У меня явилось нелепое ощущение, что я похож на свадебного гостя, схваченного Старым моряком[1].

— Но в таком случае,— сказал я, пряча руки в карманы и откидываясь назад, чтобы он не мог снова схватить меня,— в таком случае, что вы делаете с Финчэттоном? Что вы намерены предпринять?

---

[1] Старый моряк — герой одноименной поэмы английского поэта С. Кольриджа (1772—1834).

Доктор Норберт развел руками и встал.

— Говорят вам,— крикнул он, словно я находился в двадцати шагах от него,— ему придется в конце концов сделать то, что должны будем сделать все мы! Взглянуть в глаза фактам! Взглянуть им в глаза, сэр! Пройти через это. Пережить, если хватит сил, или погибнуть. Сделайте, как я, приспособьте свое сознание к новым масштабам! Только гиганты могут спасти мир от гибельного возврата к прошлому, и потому мы — все, кому дорога цивилизация,— должны стать гигантами. Нам придется сковать мир, как стальной цепью, более крепкой, более сильной цивилизацией. Мы должны сделать такое умственное усилие, какого еще не бывало под небом. Воспрянь, о Дух Человека! (Он так и назвал меня.) Или ты будешь сокрушен навеки!

Я хотел было сказать, что предпочитаю поражение без шума и крика, но он не дал мне вставить ни слова.

Ибо теперь он просто-напросто бредил. На губах у него даже выступила пена. Он шагал взад-вперед и говорил, охваченный безумием.

Думается мне, что с незапамятных времен приличным людям, вроде меня, не раз приходилось выслушивать подобные бредни, но было нелепо слушать все это на террасе отеля «Источник» в Пероне, над Ле Нупэ, в прелестное утро лета от рождества Христова тысяча девятьсот тридцать шестого. Он метался взад и вперед, как древнееврейский пророк. Все это, пожалуй, было бы неплохо для далекого прошлого — вся эта риторика, судьбы мира и прочее, но в современной жизни его хриплые вопли звучали неуместно. Скажу прямо: это была возмутительная неблагопристойность. Я старался не слышать и не запоминать то, что он говорил.

Отвечать ему не имело смысла. Легче было бы плыть против гигантских каскадов Ниагары.

Теперь он уже открыто уговаривал меня. Да, именно меня. Никогда еще я не слышал таких дурацких угроз. Он заклинал меня ободриться духом, чтобы спастись от Грядущего Гнева. Так он и выразился: «От Грядущего Гнева». Он напомнил мне о Петре Пустыннике[1], которому

[1] Петр Амьенский-Пустынник — французский монах, которому приписывалась организация первого крестового похода (1096—1099 гг.).

торый буйствовал в тихих христианских городках в одиннадцатом веке и затеял крестовые походы. Он напомнил мне Савонароллу и Джона Нокса[1], всех этих смутьянов, так много нашумевших в истории, но ничего не изменивших в мире, призывавших людей отдать свою жизнь, «все по шатрам своим, израильтяне» — взяться за оружие, штурмовать Тюильри, разрушить Зимний дворец и совершать множество бессмысленных поступков. И все это — заметьте — в крохотном Ле Нупэ!

Он принялся перечислять зверства, убийства и ужасы, творившиеся во всем мире. Конечно, в наше время на белом свете немало кровавых злодеяний и мучений. Конечно, перспективы наши довольно мрачны. Возможно, нам предстоят жестокие войны, воздушные налеты и погромы. Но что могу сделать я? Что толку меня запугивать? При всей его пылкости нетрудно было заметить, что в нем нет уверенности, что в лучшем случае он борется с призраками идей. Всякий раз, как я пытался что-нибудь спросить, он повышал голос и осаживал меня.

— Слушайте, что вам говорят! — гремел он.

Но, как видно, сказать ему было нечего.

— В скором времени,— продолжал он,— люди окончательно лишатся покоя, уверенности, отдыха. (Слава богу, он не сказал, что я «живу у кратера вулкана».) Человеку не останется другого выбора: он должен будет либо превратиться в загнанное животное, либо стать ревностным приверженцем истинной цивилизации, упорядоченной цивилизации, какой до сих пор не видел мир. Либо жертвой, либо членом Комитета общественного спасения! И я имею в виду вас, друг мой! Я говорю это вам! Вам! — И он ткнул в меня костлявым пальцем.

Так как на террасе, кроме нас, никого не было — официант ушел,— это «вам» и это тыканье пальцем было совершенно излишне. Доктор Норберт был лишен чувства меры.

---

[1] Савонаролла, Джироламо (1452—1498) — знаменитый итальянский проповедник и религиозно-политический реформатор. Нокс, Джон — шотландский реформатор XVI века.

И все же... Как мне ни неприятно, должен сознаться, что эти два человека в конце концов загипнотизировали меня, заразили своим беспокойством и одержимостью. Я стараюсь трезво взглянуть на них, когда пишу эти строки, и вижу, как трудно мне остаться беспристрастным. Мне это удается так же плохо, как Финчэттону, когда он изливался передо мной. Не думал я, что можно подпасть под гипноз, просто сидя рядом с человеком и слушая его. Мне казалось, что при этом нужно сидеть смирно и сознательно «поддаваться» гипнозу, иначе ничего не выйдет. А теперь я замечаю, что сплю уже не так хорошо, как прежде; я ловлю себя на том, что меня заботят мировые проблемы; между строками газет я читаю про всякие ужасы и сквозь прозрачную оболочку вижу иногда неясно, но порой достаточно четко лицо пещерного человека... Как это выразился Финчэттон? «Вздымается и в то же время по-прежнему неподвижно высится у меня перед глазами». И должен сознаться, что я теперь не так спокойно разговариваю с людьми, как раньше. На днях я даже осмелился довольно резко перечить тетушке, что глубоко удивило нас обоих. И накричал на официанта...

Но всю серьезность положения я понял только после разговора с Норбертом. С этих пор я потерял душевное равновесие и, расставшись с Норбертом, твердо решил никогда больше не встречаться ни с ним, ни с Финчэттоном. Но семена безумия были посеяны и дали всходы. За эти два утра я успел заразиться. Зачем только, о глупец, слушал я этих людей? Теперь я уже болен.

Мне это кажется возмутительным. Зачем обрушивать на человека ужасы Каинова болота, не сказав при этом толком, что ему делать? Да, я понимаю, что наш теперешний мир скоро провалится ко всем чертям. Я вполне сознаю, что мы все еще находимся под властью пещерного человека и что он готовится снова ввергнуть нас в первобытное состояние. Удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Мне уже является во сне исполинский череп, и эти кошмары мучительны. Но что толку говорить о них? Если я расскажу тетушке, она решит, что я спятил. Что вообще может поделать такой человек, как я?

Познать действительность, приспособить свое сознание к новым масштабам? Стать «исполином духа»? Ну и выраженьице! Строить новую, могучую, стальную цивилизацию на месте старой, гибнущей?.. Это мне-то?.. Но ведь я не так воспитан. Разве это для меня?

От таких, как я, этого нечего и ожидать.

Я готов поддержать все, что сулит людям надежду. Я всей душой за мир, за порядок, за социальную справедливость, за служение обществу и тому подобное. Но если от меня требуют, чтобы я думал!.. Но если от меня хотят, чтобы я решил, что мне делать с собой!..

Нет, это уж слишком.

В то утро я с большим трудом избавился от потока норбертовского красноречия. Я встал.

— Мне надо идти,— сказал я.— В половине первого я должен играть с тетушкой в крокет.

— Но что значит крокет,— крикнул Норберт нетерпеливо,— когда мир рушится у вас на глазах?

Он сделал такое движение, словно собирался преградить мне путь. Ему хотелось продолжать свои апокалиптические пророчества. Но я был сыт ими по горло.

Я посмотрел ему в глаза твердым, спокойным взглядом и сказал:

— А мне наплевать! Пусть мир провалится ко всем чертям. Пусть возвращается каменный век. Пусть это будет, как вы говорите, закатом цивилизации. Очень жаль, но сегодня утром я ничем не могу помочь. У меня другие дела. Что бы там ни было, но в половине первого я, хоть тресни, должен играть с тетушкой в крокет!

1936

СОДЕРЖАНИЕ

Индекс 70665

Герберт Уэллс.
Собрание сочинений в 15 томах.
Том XII.

Редактор тома
В. Хинкис.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
Е. Казакова.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 5/XI 1964 г. Тираж 350 000 экз.
Изд. № 2085. Зак. 2396. Форм. бум. 84×108 1/32.
Физ. печ. л. 16,5 + 4 вкл. иллюстраций.
Условн. печ. л. 27,47. Уч.-изд. л. 28,91.
Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. Москва, А-47,
улица «Правды», 24.